

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ЛЕОНИД АГРАНОВИЧ
 НАУМ БАСОВСКИЙ
 ТАТЬЯНА БЕК
 ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ
 БОРИС БОРУХОВ
 ХАИМ ВЕНГЕР
 МАРК ВЕЙЦМАН
 АСЯ ВЕКСЛЕР
 ЕУДИТ ГЕНДЕЛЬ
 ИННА ГЕРШОВА-СЛУЦКАЯ
 МОШЕ ГИМЕЙН
 ЮРИЙ КАМИНСКИЙ
 ИМПРЕ КЕРТЕС
 ЮЛИЙ КИМ
 ФЕЛИКС КРИВИН
 АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ
 ЛЮБОВЬ ЛАТТ
 ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
 МОРДЕХАЙ ЛИПКИН
 ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ
 ДАВИД МАРКИШ
 ШИМОН МАРКИШ
 ИЦХОКАС МЕРАС
 ЛЕОНИД СЛОВИН
 ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ
 ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
 АЛЕКС ТАРН
 АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
 ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ
 ЖУЖА ХЕТЕНИ.
 ПАВЕЛ ХМАРА
 ВЕЛВЛ ЧЕРНИН
 СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
 И ДРУГИЕ

14-15



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ישראלית ספרותית

2003' 14-15

★ ★ ★

Светлане Шенбрунн

Пока автобусы взрывались,
я тоже вроде был при деле.
Мне даже из Москвы звонили
и живо интересовались.
А я сидел, уставясь в теле-,
и слушал, как сирены выли.

И уши рдели от смущенья -
За то, что езжу на машине
и не на ту свернул дорогу.
Да-да, вот эти ощущения:
"...отсиживаться, мол ...мужчине?
...и дети живы, слава Богу!"

И вся страна - или казалось? -
оплакивала, проклинала...
Надеялась и собиралась
смертельный бой начать сначала.
Скрипя зубами, дожидалась
какого ни случись - финала.

И кончилось... Листай газеты,
обетования, обеты.
Крепчает шекель, дни струятся,
кафе туристами забиты -
не протолкнуться, не дождаться.
...Да нет ...какие там обиды.

июль 2003

Егоръ Бялосиль

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

העמותה לליטת עץ
רח' סג' 20 חיפה 33041
זפריה 7688
מס'



И Е Р У С А Л И М

⑭⑮ 2003

Иерусалимский журнал, № 14-15, 2003

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Юлий Ким, Шимон Маркиш, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрун

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник **Сусанна Черноброва**

Веб-дизайн – **Карина Пастернак**

Редактура и корректура – **Бина Смехова, Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Ольга Аксютинна,**

Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн,

Лина Виленская, Виктор Гопман, Григорий Гордин,

Светлана Мойбер, Антон Мухин, Илан Рисс

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке
Министерства абсорбции;
Министерства культуры;
Центра интеграции репатриантов –
деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры
и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета;
Иерусалимской русской муниципальной библиотеки

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2002. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел./факс: 972-2-6716184; 972-2-6720025; 972-2-6434005, 972-2-6432962

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Новосибирск – Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – Александр Блиштейн, 1-847-6761134; masis1@home.com

Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон – Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Будапешт – Жужа Хетени, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu

Париж – Владимир Смехов, vladimir.smekhov@wanadoo.fr

Торонто – Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. Ариэль – Самуил Кушниров, 03-9365452

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. Герцлия – Леонид Шейнкман, 09-9502681

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. Лод – Михаил Гиль, 08-9201291

Реховот – Марк Павис, 08-9353758. Хайфа – Михаил Басин, 04-8213657

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

Феликс Кривин *ИЗ НОВОЙ КНИЖИ **

СКАЗКА О КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ

Жизнь идет тяжелым шагом, прямо, криво и зигзагом, чтобы тяжестью своей не всегда давить людей. Только к острову Гвидона жизнь не слишком благосклонна: плачет мать, грустит жена, не отходят от окна.

Как уплыл по океану князь Гвидон – и в воду канул. Сколько лет прождали зря – нет ни князя, ни царя.

Гонит юная супруга мысли черные про друга: может, болен? Может, пьян? Может быть, Гвидон – Жуан?

А мамашу мучат мысли, что сынок не знает жизни. Он добрый, он доброхот, он такой Гвидон, Кихот!

Белка, старая пройдоха, между тем живет неплохо, но орешки не грызет, а на рынок их везет. Там дают за них скорлупки – и не нужно портить зубки. С рынка белка – на базар, закупает там товар и опять спешит на рынок, волоча вагон корзинок. Словом, вертится, как все, в нашем общем колесе.

А ребята Черномора не выходят из дозора: что увидят, то упрут – вот и весь дозорный труд. И тоскует производство, и клянет свое сиротство: на десятки верст вокруг не найдешь рабочих рук. Если молвить без обмана, руки все в чужих карманах, где куют и стар и мал оборотный капитал.

А Гвидонова супруга от тоски и перепуга так худа и так бледна, словно в лебеда она начинает возвращаться... Только б с мужем попрощаться. Где он, милый? Где же он? Нет, не едет князь Гвидон.

А давно ли было дело, что во лбу звезда горела и под пышною косою плавал месяц золотой? И звезда, и месяц в скупке за проклятые скорлупки. Тридцать три богатыря не теряли время зря, поработали на суше, потрясли людские души и нырнули в моря гладь капиталы отмывать.

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, на кораблике купцы приготовили концы. И на острове Гвидона их встречают благосклонно: пушки с пристани палят, но не точно, не впопад, все тяжелые снаряды с кораблем ложатся рядом, не в гостей, а в честь гостей в ожидание новостей. И рассказывают гости, перебив знакомым кости: в мире есть страна одна, издалёка не видна, и вблизи, пожалуй, тоже – разве только в день погожий,

* Сборник новых произведений Феликса Кривина «ВСТРЕЧНИК, ИЛИ ПОВАРЕННАЯ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ» выйдет в Библиотеке Иерусалимского Журнала в 2004 году. Или раньше. Заказы принимаются.

но хватает места всем, кто приехал насовсем. А вокруг другие страны, так обширны, так пространны, их объехать – тяжкий труд, но народ живет и тут – мужики, а также бабы, называются арабы. Ходят в шелковых штанах, да поможет им Аллах. А у них посередине, между небом и пустыней, между сушей и водой государство Божежмой.

Много званых и незваных в той земле обетованной. Среди прочих там, пардон, поселился князь Гвидон.

Рассказав такие вести, поклонившись честь по чести, корабельщики-купцы дружно отдали концы.

А ребята Черномора для большого разговора тот же час легли на дно с Черномором заодно и пустились строить планы о земле обетованной. Хороша она, земля, особливо издаля.

Волны катятся на берег из Европ и из Америк... Да, пустил он здесь росток, этот ближний всем восток. Даже гордые арабы к этим землям сердцем слабы: так и смотрят – глядь-поглядь! – где бы тут обетовать.

Эта жуткая картина в сказке только середина. Но зачем смущать сердца? Обойдемся без конца.

НАПУТСТВИЕ В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

Быть может, станешь ты рекой, тогда глядеть придется в оба: не разливаться широко – иначе можно стать потопом.

Быть может, станешь ты костром, тогда пылай. Но не мешало б не подниматься высоко – иначе можно стать пожаром.

Да, это, право, нелегко любую жизнь прожить без риска – ни широко, ни высоко, ни далеко, ни слишком близко.

ЦАПЛЯ № 1

Когда лягушке цапли доверили кормило, доверие ни капли ее не удивило. Она сидела в кресле, расставив ноги-грабли, и наслаждалась лестью: «Вы истинная цапля!»

Заботливая свита ей угождала рьяно, кормя ее досыта, поя ее допьяна. Не нужно ни таланта, ни знания, ни силы, чтоб превратить кормило в кормило и поило.

Но на душе тревожно и не смешно ни капли, когда совсем несложно лягушке выйти в цапли.

ПЛАСТИЛИНОВАЯ БЫЛЬ

Пластилиновая память – не игрушка, не каприз. Скольких этими зубами заяц до смерти загрыз. А теперь кладет на полку, если нечего погрызть. Был он волк, но смяли волка. Потому что это – жизнь.

Где его былая сила? Где он, леса властелин?

Ничего, что прежде было, не запомнил пластилин.

Из клыков слепили уши, трансформировали пасть и велели старших слушать, потому что это – власть.

Не ему б ушами хлопать да усами рисковать, у него огромный опыт всякой твари кровь пускать.

Может, зайцем быть недолго? Наша жизнь полна чудес. Может, снова слепят волка?

Потому что это – лес.

ИСПОВЕДЬ СЛЕГКА ТРЕЗВОГО ЧЕЛОВЕКА

Я тут встретился с быком, был я раньше с ним знаком – то ли виделись в Москве, то ли в Питере. И сидим мы с ним вдвоем, то ли курим, то ли пьем, рассуждаем, есть ли жизнь на Юпитере.

А Юпитер – это я, дома у меня семья, и на службе у меня положение. Нет, постой, не так, старик. Он Юпитер, а я – бык. Вот какие с ним у нас отношения.

Извините, гражданин, или я сижу один? Разве мы с тобой, кретин, не приятели? Ты Юпитер, а я бык, ты к хорошему привык, все по батюшке тебя, не по матери.

У тебя такая жизнь, что куда ни повернись и о чем ни заикнись – мигом сделают. Не дозволено быку, а тебе – мерси боку! И Европа для тебя – лебедь белая...

Ну чего ты лезешь в крик? Ты Юпитер или бык? Или мы с тобой, мужик, просто жители? Я один или вдвоем? Мы тут курим или пьем? Мы о чем?

Да все про жизнь...

На Юпитере.

Может, эта жизнь легка, но не та, что у быка. Та мне нравится пока чуть поболее. И хоть что-то на веку не дозволено быку, но ведь счастье-то, оно – в недозволенном!

ОХОТА НА БЕКАСА

Один смекалистый бекас в охотничьем сезоне весь продовольственный запас назначил к обороне. Построил крепость из харчей и зажил там, в середке, вдвоем с напарницей своей, своей родной нететкой.

А за стеною – страшный суд: снаряды и фугасы, стрельба, пальба – идет в лесу охота на бекаса.

Но он и цел, и невредим, живет себе в охотку.

– Давай немного поедим, – советует нететка.

– Молчи! Не накликай беды! – бекас ворчит сердито. – У нас еда не для еды, а для самозащиты.

А тут – гремит со всех сторон, ну просто нету спасу! Вокруг охотничий сезон, охота на бекаса.

– Вот так живешь... какая честь? К тому же век короткий... А если даже не поесть... – печалится нететка.

Ничто бекаса не спасет, ему не будет жизни. Грызет нететка и грызет. И наконец – догрызла.

Лежит он, лапки вверх задрав, безропотно и кротко. И кто там прав, а кто не прав, но голод – он не тетка. Хоть выстрой крепость до небес, и это не поможет. Когда снаружи враг не съест, то изнутри изложет.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Любит заяц детектив, чтоб кидало в дрожь, чтобы страх в него входил, как под сердце нож. Любит он читать о том, распалая страх, как под каждым под кустом притаился враг.

И в такой-то час невзгод видит он себя, как по лесу он идет, кобурой скрипя.

Волк петляет впереди, путая следы. Ну, бандюга, погоди, мать твою туды!

И ныряет волк во тьму, в лоно тишины, прижимается к стволу вековой сосны, а другие два ствола на него в упор.

Волк басит:

– Твоя взяла, гражданин майор!

Пасть приходится закрыть и потупить взор.

– Разрешите погодить, гражданин майор?

А майор ему:

– Шалишь! Ну тебя совсем! Погодишь, как загудишь этак лет на семь!

Любит заяц детектив, чтоб под сердце нож. Там он смел и справедлив, там он всем хорош. Ну, а в жизни он другой, сам себе не люб. Выбивает дробь ногой, зубом бьет о зуб. Не вписать ему в актив выправку и статью...

Дайте зайцу детектив, чтоб героем стать!

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ

1. Моление Ироду

Любят слабых гордые сердца, оттого любовь и правит миром.

Пуще сына, брата и отца возлюбил младенцев грозный Ирод.

Он над ними и вздыхал, и млел, государством правил – им в угоду. Взрослым людям на его земле от младенцев не было проходу.

И однажды почта принесла всю в слезах и подписях бумагу: «Ирод, Ирод, отойди от зла, сотвори какое-нибудь благо!»

Грозный Ирод на расправу лих, и, не видя в мягкости резона, он для блага подданных своих объявил младенцев вне закона.

Побрели младенцы по земле, сырые, без крова и призора... За последних десять тысяч лет не было подобного позора.

И опять молениям нет числа, за бумагой следует бумага: «Ирод, Ирод, отойди от зла, сотвори какое-нибудь благо!»

Ирод все же царь, а не злодей, хоть и срывы у него не редки. Перестал преследовать детей, приказал им выдать по конфетке. И – дабы в дальнейшем избежать толков и досужих разговоров, он младенцев приказал держать в специальном доме – под запором.

Но опять молениям нет числа, от просящих не ступить и шагу: «Ирод, Ирод, отойди от зла! Сотвори какое-нибудь благо!»

Никуда не спрятаться от просьб, от петиций никуда не деться...

Вот тогда оно и началось, это избиение младенцев.

Тяжела ты, шапка, тяжела! Снова все кланут и укоряют:

«Ирод, Ирод, отойди от зла, ничего взамен не сотворяя!»

2. Торжество победителей

Династию Тан сменила династия Сун.

И это случилось в таком-то году и часу, в такой-то столице одной из таких-то стран.

Династия Сун сменила династию Тан.

И все ликовали, плясали, кричали ура и дружно кивали, что, дескать, давно бы пора, судили, рядили, обиды свои вороша, – к династии Тан у людей не лежала душа.

Династию Сун сменила династия Мин.

Четыреста лет пронеслись над страной, как один. Четыреста веппрей голодных в дремучем и темном лесу.

Династия Мин сменила династию Сун.

И сразу – как будто все из лесу вышли на свет. Подумать ведь только: не шутка – четыреста лет! Страна веселилась, на время забросив дела. Династия Сун, видно, здорово всех допекла.

Династию Мин сменила династия Цин.

На это имелось немало серьезных причин.

Как солнце из ночи, как клин, вышибающий клин, династия Цин сменила династию Мин.

Вот радости было в таком-то году и часу, в такой-то столице одной из таких-то стран! Династия Цин – это вам не династия Сун, она далеко не династия Мин или Тан!

Ох, как далеко от династии Цин до Мин! Как будто меж ними незримо пролег океан...

Так все говорили, вздыхая без всяких причин, тайком вспоминая династию первую – Тан.

3. Время реформ

*Два дня, которых не хватает февралю,
были отняты у него и добавлены к августу.*

На исходе прошлой эры стало холодать. Ну такая атмосфера – хуже не видать. Просто жуткие примеры, верится с трудом. Накануне новой эры – и такой содом!

Цезарь тут же принял меры, подтянул войска. Не теплеет атмосфера – экая тоска! Все воюют – страны, веры, в мире нет тепла. В мире холодно и серо – скверные дела.

И не раз об этом Цезарь прямо говорил, говорил, что до зарезу миру нужен мир. Но все так же приходили сообщения с мест, что, мол, нету мира в мире, есть один зарез.

Небывалые размеры страха и вражды. Не теплеет атмосфера, долго ль до беды? И народы, и державы пьют из чаши зла. Хоть земля горит пожаром – в мире нет тепла.

И тогда великий Цезарь климат изменил: он февраль слегка урезал, август удлинил. Сделал зиму он короче, лето растянул и, не думая о прочем, отбыл на войну.

4. Служба спасения

Утопающий хватается за соломинку, и соломинка чувствует, как непрочен, как зыбок этот мир, и понимает, что она в нем – единственная соломинка, за которую можно еще ухватиться, она осознает, что, если бы не она, все к черту пошло бы ко дну, – да-да, пошло бы ко дну, – так думает она, идя ко дну вместе с утопающим.

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Принцесса на горошине, и нечего скрывать: горошина подброшена в принцессину кровать. Ну что же тут хорошего? Опаснейший сюжет: горошина подброшена на шелк и креп-жоржет.

Но поутру прохожие вдруг стали замечать: горошина подброшена в принцессину кровать. Была б она подброшена в кастрюлю или в таз, как это ей положено, – тогда бы в самый раз. А чтобы сытой задницей поверх продукта спать – уж ты прости, красавица, как это понимать?

Ругаются прохожие: в стране гороха нет, еще не огорошены детсад и горсовет, и ничего похожего в сельмаге не сыскать, – они ж ее, горошину, подумайте, – в кровать!

С кого за это спрошено? Кому держать ответ за каждую горошину, которой в супе нет, за каждую картошину, что разлетелась в дым, за каждую галошину, в которой мы сидим?

Ругаются прохожие и поминают мать:

– Принцесса на горошине, а мы не можем спать!

ПОХОРОНЫ

*Иногда муравьи по ошибке хоронят
живых товарищей.*

Биологический эксперимент

Приходят к муравью друзья, печально хмурят брови:

– Хотим тебя похоронить, прости на этом слове.

– Да что вы, братцы! Я живой! Зачем вы сняли шапки?

Качают братцы головой, заламывают лапки.

– Наш милый брат! Наш добрый друг! Нам бесконечно жалко!

И муравья они берут, влекут его на свалку.

Но он не мертвый, он живой, во здравии и силе, а потому идет домой, а не лежит в могиле.

Приходят к муравью друзья:

– Старик, ты нас не понял. Мы выплакали все глаза, а ты не похоронен.

И, высказав такой упрек, берут его под ручки:

– Да, кстати, мы тебе венок купили в счет получки.

И вслед за этим без труда, без лишней проволоочки, они ведут его туда, где можно ставить точку.

Но он не мертвый, он живой и жить еще способен, а потому идет домой, а не лежит во гробе.

Приходят к муравью друзья:

– Да что ж это такое? Уже протоптана стезя к молчанью и покою. Будь другом! Не сочти за труд!..

И, к уговорам глухи, они опять его берут... Ну, словом, в том же духе.

Из всех гробниц, из всех могил сбегал домой покойник, куда не сообразил, что там лежать – спокойней. Никто тебя не тербит, никто не докучает, и все живые муравьи в тебе души не чают.

С тех пор упрямый муравей лежит вдали от дома. И кто-то из его друзей, смеясь, сказал другому:

– Как будто парень не дурак, а главного не понял. Других хоронят разве так! А он – смотрите – помер!

РАЗМЫШЛЕНИЕ У КРЕПОСТНЫХ СТЕН С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ

Эта старая крепость все рыцарей ждет, хоть для боя она старовата. Но мечтает она, чтобы брали ее так, как крепости брали когда-то. Чтобы было и страха, и трепета всласть, и сомнений, и мыслей преступных. Чтоб она, подавляя желание пасть, долго-долго была неприступной.

Дорогая, ты слышишь: вокруг тишина, ни снаряды, ни бомбы не рвутся... Мы с тобою в такие живем времена, когда крепости сами сдаются.

ЛЮБОВЬ – ЭТО ПОНИМАНИЕ

На свете жил один король, он был не гений, не герой, хотя был многих званий удостоен, но разговаривать привык с людьми на ты, с собой на вы. «Мы...» – говорил, и прочее такое.

Король еще не старым был, и он однажды полюбил бесхитростную девушку Наташу.

– Наташа, – говорит король, – сегодня двери нам открой, сегодня, говорит, – ты будешь наша.

Наташа задрожала вдруг, и на лице ее испуг, и щеки зарумянились стыдливо:

– О, государь мой, как мне быть? Я вас готова полюбить, но не могу я... с целым коллективом.

Король ответил, пошутив:

– Мы уважаем коллектив, и мы готовы с ним считаться даже. Но в твой гостеприимный дом сегодня мы одни придем.

– А сколько вас? – сконфузилась Наташа.

Король внезапно замолчал и сразу как-то заскучал. И проворчал:

– С тобой не сваришь каши... Сегодня ночью дверь закрой! – сердито приказал король и полюбил смышленную Дуняшу.

Закон сохранения любви

Говорил мужчина даме:

– Есть закон теплообмена. И тепло, что между нами, исчезает постепенно.

Но другой закон угоден даме был. Она сказала:

– До сих пор еще в природе ничего не исчезало.

И мужчина вдохновенно поддержал подруги мнение:

– Это верно. Во вселенной всё, как в камере хранения. Где-то там, за неба краем, кто-то вспыхнет с новой силой...

Для того и остываем, чтобы им тепла хватило.

Совет да любовь

Жил на свете султан по прозванию Карем. У султана Карема имелся гарем: шестьдесят четыре персоны, все крикливы, ленивы и сонны.

Настоятель гарема, красавец Селим, называвший гарем не «гарем», а «горим!», умолял султана Карема отпустить его из гарема.

Он учиться хотел. Но султан отвечал:

– Что такое, Селим? Почему заскучал? Ты, что предан работе всецело, оставляешь любимое дело? Каждый хочет учиться, – добавил Карем, – но не это от нас ожидает гарем. Об учебе думать не время: посмотри, что творится в гареме.

А в гареме такое, что бедный Селим наводил бы порядок до самых седи́н. Но собрал он сознательных женщин и нарек их советом старейшин. Эти мудрые женщины, знавшие толк в чувстве долга и в том, чего требует долг, неусыпно и неустанно направляли желанья султана. Только тех отбирал для супруга совет, кто имел и заслуги, и выслугу лет, кто был сдержан, уравновешен, в мыслях скромен и в страсти безгрешен.

И султан загрустил от порядков таких:

– Что-то стал ты, Селим, затирать молодых. Правда, старость почтенна, но все же ты дорогу давай молодежи.

А Селим уж и рад продвигать молодежь, только где молодую такую возьмешь, чтоб она подошла по заслугам и годами была, как старуха?

И все чаще султан уходил в кабинет, говоря, что для радостей времени нет, что в его, государевой, власти не свое, а народное счастье.

Но заметил, заметил дотошный совет: он впускал посторонних к себе в кабинет. Стоит только окну раствориться, как в окошко сигает девица.

Что тут можно добавить? Гарем под рукой, а супруг изменяет гарему с другой. Тут – открыто сказать не пора ли? – возникает вопрос о морали. Был с султаном серьезный, большой разговор. Пригласили его на персидский ковер и просили его объяснить: что он делает с этой девицей?

От такого вопроса увяла трава. Что-то мямлил султан, подбирая слова, и о чем-то смущенно просил он... Но любовь придала ему силы.

– Я люблю эту женщину! – крикнул Карем. – И любить ее буду до гроба!

И султан распустил нелюбимый гарем, а Селима послал на учебу.

ПРАВДА – ТОРЖЕСТВУЕТ

1.

Вышла правда в сверкающий зал – из забвенья, из тьмы, из тумана, отвели для нее пьедестал, тот, что раньше служил для обмана. Натерпелась она на веку, надорвала сермяжные жилы, ну и хочется быть наверху. А чего же? Она заслужила.

И она улыбается в зал, как всегда, и проста, и желанна. Возвышает ее пьедестал – тот, что раньше служил для обмана.

2.

Сколько было радости! Туш. Цветы.

Удивлялись искренне:

– Это ты?

Сомневались дружески:

– Ну, даешь! Неужели правда? А может, врешь?

И в душе почувствовав: не к добру, – отвечала правда:

– А может, вру. Правда-то я правда, да только я не вдохну не выдохну без вранья.

Растерялись граждане: как, опять? Как же, чтобы правда – и стала врать? Но один очкастый прошел вперед:

– Так она ж, товарищи, врет, что врет. Если ты, товарищи, врешь, что врешь, это правда чистая, а не ложь!

Тут, конечно, мысли у всех вразброд:

– Ну, а если врет она, что врет, что врет?

– Или даже больше, – шумел народ, – врет она, что врет она, что врет, что врет?

– Наврала с три короба, а лжи ничуть?

– Ну, загнул очкастый, не разогнуть! Это ж чтобы правды на грош набрать, сколько ж полагается нам наврать?

ВЫБОР ГЕНИЯ

Науке просто повезло с Ньютоном, что не был он бездельник и глупец, не говорил с начальством грубым тоном, не разбивал доверчивых сердец, что отличался скромным поведением, был чист и безобиден, как дитя, всем будничным, житейским тяготеньям всемирное навеки предпочтя.

Науке просто повезло с Ньютоном, что он не пил и в карты не играл, не нарушал общественных законов и тех, что сам в природе открывал.

Когда бы он присвоил чьи-то деньги и за растрату угодил в тюрьму, закона мирового тяготенья, конечно, не доверили б ему.

И кто б сегодня знал тогда Ньютона? Не допустил бы просвещенный век, чтоб открывал всемирные законы морально ненадежный человек.

РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ

Кочуют деньги по дорогам – и золотой, и медный грош. То их скопится слишком много, то их со свечкой не найдешь.

Подобно им кочуют мысли – случайный гость и частый гость. От денег мысли не зависят, они всегда кочуют врозь.

И будет вечно, как бывало с тех пор, как существует свет: где много денег, мыслей мало, где много мыслей – денег нет.

ПУТЬ ИСТИНЫ

Шумер собрался истину сказать. Хотел ее изобразить на камне. Нашлось немало истин под руками, но только камня нигде было взять.

И египтянин пил из родника, наполненного мудростью и силой. Ему б куска папируса хватило, но не хватало этого куска.

А древний грек? Ведь этот древний грек избороздил всю Грецию кругами. Но было даже в городе Пергаме с пергаментом неважно, как на грех.

И в наши дни заботится прогресс об истине, как о великом благе. Но что же делать, если нет бумаги? Для истины ее всегда в обрез.

СЛОВО СОВРЕМЕННИКОВ О ГОСПОДИНЕ ДЕ БОЗЕ, СЕКРЕТАРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ НАДПИСЕЙ И ХРАНИТЕЛЕ КОРОЛЕВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МЕДАЛЕЙ

Когда грядущий человек заявит вам на всем серьезе, что все, чем славился наш век, давным-давно почило в Бозе, – не удивляйтесь: этот Боз – наш знаменитый современник, он занимает крупный пост в одной из крупных академий.

Сегодня на вершине он, отечества великий отпрыск. Все надписи со всех сторон к нему стекаются на подпись. Его король благодарит, и – на приеме ли, на бале – всегда он помнит: Боз хранит его коллекцию медалей. И он спокойно кофе пьет и возлежит в удобной позе. Уверен он: не пропадет все то, что почивает в Бозе.

Недаром он, мудрейший Боз, лауреат различных премий. Его бы называли: босс, – когда б он жил в другое время. При этом он, почтенный Боз, хоть от других людей отличен, ничуть не задирает нос, он очень прост, демократичен. К нему – об этом знают все – пришел ничем не знаменитый не то Руссо, не то Руссе – фамилия его забыта, но он пришел и был спасен, и говорят, что в нашем веке Руссе... нет, все-таки Руссо как будто делает успехи. И может статься, что потом, когда-нибудь – в стихах ли, в прозе, – он всем поведает о том, что в наши дни почило в Бозе.

ДЕМОСФЕН

На греческой площадилюдно. Усталый и спавший с лица, какой-то оратор приبلудный тревожит умы и сердца.

Афинское жаркое лето, его не отыщешь, оно давно уже кануло в Лету, куда-то на самое дно.

Кольцом окружая столицу, столетья над нею встают. А там, у подножья толпится ахейский рассеянный люд.

А в центре, как огненный кратер, как пламя, что рвется из тьмы, грохочет, клокочет оратор, тревожа сердца и умы.

Но что-то не видно тревоги, скучает ахейский народ и прямо оратору в ноги оливки лениво плюет.

И зря вдохновения реки струит исступленный пророк...

Эх, греки, эх, древние греки, вам даже и древность не впрок.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

Строптивому судьба не тетка, ему повсюду неуют: где кроткому дают на водку, строптивного за пьянку бьют. Строптивного жена не любит, и дети у него не мёд. Где кроткие выходят в люди, строптивный голову свернет. Не сядет он в машину «Волга», ногами кормится, как волк. Живут строптивные недолго: почертыхался и умолк. А кроткий всеми уважаем: работа, крепкая семья. С ним ласкова жена чужая – та, что строптивому своя.

КОГДА ЖЕ РАК СВИСТНЕТ, А РЫБА ЗАПОЕТ?

Жила на свете собака. Простая такая собака. Но верящая, однако, что свистнет когда-нибудь рак.

Приходят такие мысли в унылой собачьей жизни: что вот, мол, когда рак свистнет, наступит счастье собак.

Она отыскала рака. Простого такого рака. Но он не свистел, а плакал, печально скрививши рот. И рак объяснил со всхлипом, что скажет судьбе спасибо тогда, когда встретит рыбу, которая запоет.

Ну, рыбу они отыскивали. И тоже нашли в печали. Они ее утешали, а после учили петь. И рыба, вытянув губы, запела сипло и грубо, что легче, мол, дать ей дуба, чем жизнь такую терпеть.

Поскольку рыба запела, а это уже полдела, собака ждать не хотела и тут же за рака взялась. Она то журила рака, то с ним затевала драку, ну, словом, к раку собака свою применила власть.

И рак еле слышно свистнул, как будто от боли пискнул, как будто от страха взвизгнул испуганный жизнью рак.

Посвистывал рак уныло, и рыба тоскливо выла, но все же не наступило заветное счастье собак.

Какая ж причина, однако, что все это кончилось крахом? На то ни одна собака ответа не даст, не взыщи.

Прекрасны поиски счастья, опасны происки счастья. А что до приисков счастья – ну что же, ищи. Свищи.

ЧЕРНАЯ ДЫРА

*В черных дырах время и пространство
меняются местами.*

Практическая астрономия

Жил старик.

Он прожил сотню верст, сотню лет вспахал и обработал. Годы были трудные, хоть брось: то песок, то камень, то болото. Ну кому такое по нутру? Возроптал старик на эти вещи. И его отправили в дыру, что его дыры еще похлеще.

Двадцать верст он прожил в той дыре, а потом его вернули в эту. Голова, конечно, в серебре, и в душе уже давно не лето.

И еще минуло двадцать верст, жизнь пришла к положенному краю. Старику пора бы на погост, а старик живет, не помирает.

Жизнь ему немалая дана и, как оказалось, не напрасно. Заглянул в газеты – вот те на! Поменяли время на пространство!

Катаклизм подобный в мире звезд иногда случается. Не часто. Старику теперь его сто верст – будто приусадебный участок. Для него переменялся свет, и куда его болезни делись! А поскольку он не нажил лет, то теперь он снова как младенец.

Он выходит из дому с утра, вечерами на печи не дремлет.

Вот и все. А Черная дыра – попросту название деревни.

И старик уходит за сто верст, бодрый и ни капельки не старый...

Многие мечтают в мире звезд: поменять бы годы на гектары!

ВОСПОМИНАНИЕ О КАЗАНОВЕ

Сколько в мире женщин – тех, что не про нас! До отказа их, но суть не в этом. Казанова плакал, получив отказ, потому что он привык к победам. И не раз хотел покончить он с собой, добираясь до жены соседа. Затянуть на шее шарфик голубой, – потому что он привык к победам. Мы не казановы, и во цвете лет нас не сломят мелочные беды. Поражений в мире больше, чем побед, но из них мы делаем победы. Мы умеем делать радости из бед, нас судьба за горло не ухватит. Сколько поражений нужно для побед? Не горюй! На нашу долю хватит.

НОЧЬ

Вышла ночь на улицу купить керосину, город весь обегала, тычась в магазины. Все напрасно, все темно, на дверях запоры... Только слышно: в темноте шевелятся воры.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

О дороге...

Равнодушно стелется дорога. Только прямо. Прямо и вперед. Прошлое кричит вдогонку: «С Богом!» Будущее терпеливо ждет. Время, время, это неспроста ведь мы в тебе, как узники в тюрьме: стоит только буквы переставить – и уже не ВРЕМЯ, а В ЯРМЕ.

О снеге...

Далеко еще весна, но притихший лес не дремлет: снега белая листва распустилась на деревьях. Как приятно быть листвой! Снег от счастья леденеет. Может статься, что весной он еще зазеленеет.

О дереве...

Все оно между солнцем и тенью. Два начала в себе храня, все оно – как соединенье солнца с тенью и с ночью дня. Но когда его пламя коснется, содрогнется испуганный лес. Солнце дерева к солнцу взметнется, его день дорастет до небес. А потом все бледней, все короче, день осядет, вершину клоня... Только малая горсточка ночи на руинах сгоревшего дня.

О звездах...

Из глубинной черноты небес, когда больше ждать не станет мочи, звезды возникают как протест будущего дня царящей ночи. Потому что не исчезнет прочь темнота, не сменит зиму лето. Такова космическая ночь, в ней напрасно ожидать рассвета. И взывать напрасно к небесам, небеса мертвы и безответны. Тут уж либо загорайся сам, либо стань таким же беспросветным. Главное – развеять этот страх, вспыхнуть мыслью, гневом и талантом... И сгорают звезды на кострах, как всегда сгорают протестанты.

О разговорах...

Кто говорит: подошва или снег? Их голоса слились в едином скрипе. Быть может, это слезы или смех, а может быть, простуда, как при гриппе? Кто говорит: песок или волна? Дождь или крыша, в неумолчном споре? Но вот заговорила тишина... Чей это голос – неба или поля? Там ветер заблудился в сосняке, там лист весенний ливнем потревожен... Все говорят на общем языке, который мы найти никак не можем.

О кругах времени...

Изгибы ли это, изломы пути, фантазия времени или усталость, но то, что манило тебя впереди, в какой-то момент позади оказалось. А ты не заметил. Нелепый финал нарушил святы законы природы: так быстро ты гнался, что все обогнал – и лучшие чувства, и лучшие годы. Они неподвижно стоят позади, а ты все уходишь, уходишь куда-то... Пора возвращаться на круги свои, но круги не круги уже, а квадраты.

О цветах

Как различить, где белое, а где черное? Как распознать, где черное, а где белое? К белой вершине тропинка взбегают горная, к черной земле снежинка жметя несмелая... Черные дни тоскуют о белых ночах, белые ночи вздыхают о черной темени. И голова, что белеет на ваших плечах, видится черной в каком-то далеком времени... Белым по черному – это времени след. Черным по белому – это листы газеты. Буквы спешат. И тоскует вопрос по ответу – так же, как где-то по вопросу тоскует ответ.

ДОРОГА НА ХЕВРОН

Илья Беркович

СВОБОДА

Ну вот, собственно. Я наговариваю это звуковое письмо для тебя, тебе в первую очередь, ну, может быть, еще для Ольшанского, вы ведь самые лучшие из моих израильских знакомых, не убоюсь высокого слова – Друзья. В Израиле у меня таковых, кроме вас, не осталось, да и здесь, как оказывается.

Извините за присущий мне сумбур. Я просто хочу нарисовать картину нашей здешней жизни, чтобы вы посмотрели со стороны, а не входили в нее, как я один раз вошел в картину Кандинского так, что понять-то я ее понял, а вот сказать по выходе ничего не мог, – а я как раз хочу, чтобы вы мне, может, даже посоветовали, как быть. Я всегда считал тебя человеком с конем в голове, так что не поленись – отпиши.

Ну вот. Про Файнгольдов: что бы там ни говорить, и как бы оно потом ни повернулось, но именно они нас приняли (хотя знали нас только понаслышке), объяснили основные вещи про город, ввели, так сказать, в процедуру оформления и дали тот необходимый в новой стране первый толчок, в котором всегда есть элемент пенделя, в случае с Файнгольдами смягченного уверениями, что у таких замечательных ребят, как мы, все в этой стране получится просто отлично. Собственно, первые три недели, пока нам не дали муниципальную квартиру, мы и прожили у Файнгольдов, так что мне бы про них, как про покойников, говорить только хорошее, но, видимо, склонность к злословию вместе с безответственностью и бытовым пофигизмом являются столь неотъемлемыми чертами моей натуры, что тратить остаток сил на их искоренение просто бессмысленно.

Ну вот. Боря Файнгольд, – начать с того, что зовут его, точно как меня, Борис Львович. Папа у него, соответственно, Лева Файнгольд, мама – интеллигентная узбечка, но от папы в нем – ничего, то есть полный азиат; и внешность, и манеры, и отношение к женщине – чисто азиатские. Вообще, я посмотрел – это, конечно, кошмар. Тарелку с пятнышком может выкинуть в окно – или вдруг встать из-за стола и сесть на пол – правильного места ищет, по Кастанеде. И, конечно, восточная мудрость – у-шу и путь воина. Мы в первые дни курили, смотрю – у него крестик на шее, так я его в надежде понять спросил:

– Ты христианин?

– Бог, – говорит, – посадил четыре сада: христианство, ислам, иудаизм и буддизм.

– Так ты буддист?

– Каждый сад цветет в свое время, и с каждого сада Бог в свое время соберет плоды. Понял?

– Да, вроде, понял – но ты-то из какого сада плод?
– Эх-х-х! Ты когда последний раз смотрел на свечу?
– Не помню. В училище, наверно, на дискотеке. Там на столах горели свечи. Только я, в основном, под стол смотрел, на бутылку водки.

– Но ты помнишь, какого цвета пламя свечи?

– Слушай, столько лет прошло...

– У пламени свечи в темной комнате три цвета – красный, желтый, белый. Потом прибавляется четвертый – чернота вокруг пламени. Но если много раз, подолгу смотреть – увидишь пятый цвет. Голубой. Он обнимает черноту вокруг пламени. Понял теперь?

– Ладно, извини.

Короче, Борис Львович. Образ жизни ведет такой: часов до пяти дня спит, потом выползает, пьет чай, пыхает – летом поменьше, зимой просто сидит на марихуане – и заходит в интернет. И так по кругу. При этом всегда побрит, туфли с четырехугольными носками, не сядет, брюки не поддернув, – стрелки бережет.

Вера, его жена, стоически терпит то, что все надо самой делать, организовывать быт, при этом Борис Львович постоянно на нее наезжает – бить, вроде, не бьет, но усаживает крепко, а она как бы считает, что надо оставаться с ним и продолжать борьбу за лидерство.

Мы с Анькой глубоко с Верой не согласны – вообще, их с Б. Л. жизнь сразу стала для нас основной темой разговоров, причем, первые две недели мы были вынуждены вести эти разговоры шепотом, потому что предметы обсуждения спали за тонкой стенкой. Мы жарко шептались, первый раз за долгие годы у нас была на что-то общая точка зрения. Мы не раздумывали, как все нормальные иммигранты, остаться ли здесь или двигать на побережье, где поживей с работой, и что делать, если присудят к высылке – тут такое бывает. Может, мы просто устали, а может, считали, что раз уж мы так напряглись и перебрались в страну получше (только, ради Бога, не обижайтесь; вы же знаете, что я в душе – бородатый Герцль), то все уже само организуется. Так или иначе, – мы на разные лады талдычили, что плохой Б. Л. недостойн хорошей Веры, и жить она с ним не должна.

Причем, днем мы как бы с удовольствием ели их сосиски, стряхивали пепел в их пепельницу и смеялись приколам, которые Боря зачитывал из интернета.

...Короче, через две недели после приземления въезжаем в свою первую собственную, т. е. муниципальную квартиру. Ставим сумки. Оглядываемся. Все, как в московской песне: «У Веры в квартире был старый патефон, железная кровать и телефон», только железной кровати и патефона нет. И инструментов, чтобы поставить замок на незапирающуюся дверь, я из Израиля не привез, обрыдли инструменты, а Аня, по умолча-

нию, не привезла кастрюль, и на обед или там ужин надеяться нечего. Но не успеваем мы в это погрузиться, как в дверь стучат – войдите – и входит Вера. Бросается Аньке на шею – а расстались-то сорок минут назад, так что разлука не была уж такой мучительной – и идут на балкон курить, причем меня не приглашают. Дети пускаются в пятнашки между расставленными на полу кутулями, Игорь тут же падает и разбивает лоб, я начинаю на него орать, причем ору как-то невнимательно, потому что не его лоб меня волнует, а происходящее на балконе.

Возвращается Аня, светясь от собственного благородства, как будто решила следовать за мной в Сибирь, отстраняет плачущего Игоря, берет меня за руку – чего не бывало, наверное, со дня нашей свадьбы, – и сообщает приглушенным голосом, что Вера бежала тиранства Б. Л. и просит политубежища. Я, конечно, соглашаюсь, как и Аня, страшно гордый собой, хотя гордиться особо нечем – долг платежом красен, Аня идет сообщить о нашем решении – и наступает просто золотой век.

Вера промывает Игорю ссадину на лбу, бежит к соседям, которых она, оказывается, знает, потому что дом-то, в общем, эмигрантский, приносит йод – по-русски написано, по-русски пахнет и этикетка порыжелела от старости, такой же пластырь – я не раз встречал в домах эти рыжие советские лекарства. Они прошли три страны и ничего, срок годности все равно уже от старости нечитаем, короче, Вера умело обрабатывает Игорю лоб, заказывает по телефону семейную пиццу, вытягивает из кармана ниточку и начинает играть с Яэлью в колыбель для кошки, причем ребенок крайне удивлен и счастлив, потому что с ней последние полгода никто не то что не играл, а вообще не разговаривал. Вера объясняет, что беспокоиться нечего и торопиться некуда – мебель и посуду можно получить вечером на углу возле церкви – как раз сегодня четверг, у них с 7 до 10 выдача. Посыльный долго не знает, куда положить коробку, так и стоит с мотоциклетным шлемом в одной руке и коробкой в другой – стола-то нет, но мы тут же подхватываем и съедаем пиццу стоя, благо, нарезана, и идем гулять в downtown.

А город – высоколобые называют его *bustard city* (английская архитектура смешана с французской), но я не вижу особых преимуществ чистопородности ни в людях, ни в художественных стилях, разве что для функциональных животных – молочных коров, сторожевых собак – чистопородность важна. Мне лично город нравится. Зимой тут настоящий снег, можно спускаться греться в метро, а главное – никакой промышленности, нет не только краснокирпичных доменных труб с огоньками поверху и щелочной вони – но и компьютерных фирм здесь, я думаю, немного, и это определяет контингент, то есть люди вроде наших старших товарищей по алии, для которых работа равняется жизни, сюда если и попадают, то быстро бегут на побережье, к станкам и кульманам. Зато у нас два университета – исключительно гуманитарные факультеты, две старые крепости,

вокруг которых выросло два старых города, и народ, в основном, занимается самовыражением в области театра, кино, уличной музыки и т. п. В муниципалитете давно победили зеленые – думаю, они-то и не дают никакой промышленности развиваться. Купить их невозможно, потому что все зеленые – миллионеры в четвертом поколении, и ничего, кроме экологически чистой морковки, им уже давно не нужно. То есть убить здесь безопаснее, чем бросить на газон банку из-под пива.

В Старый Город ходят только туристы и новоприбывшие – я еще в Израиле заметил, что первый признак натурализации – полная потеря интереса к истории, географии, ботанике и т. п. нового места. Я имею в виду интеллигентов – у нормальных-то людей с самого начала бесполезных интересов нет.

Вообще, здешние старые города – это не падение в колодец на 400 лет назад, вроде мамлюкского караван-сарая в Иерусалиме, где гулко, темно, воняет ослиной мочой, и у железных дверей конюшен сидят небритые арабы, совершенно парализованные борьбой между желанием перерезать тебе горло и продать тебе же за пятнадцать шекелей деревянного верблюда; и не тщательно собранная, как в Таллинне, горсточка старых домов с башенками, готических решеток и окованных ворот, между которыми ходят экскурсанты, с тупым уважением рассматривая каждый гвоздь.

А когда, как здесь – тумб, цепей, башенок и коленчатых переулков хоть жопой ешь, и среди них нормально живут пристойные современные люди: в готическом окне светится телевизор, к кованым воротам приделан интерком, а на каменную бочку задирает стриженую ножку с кисточкой карликовый пудель, – старина как-то обесценивается, хочется на простор, освободиться, тем более, старых городов два: выберешься из одного – сразу влипаешь в другой.

Так что народ, в основном, ходит гулять в новый центр, на Place de Liberte – это такая бескрайняя, как Ладожское озеро, пешеходная зона со всякими учреждениями по берегам, начиная с муниципалитета, кончая собором и синагогой, мечеть там тоже должна быть, не обратил внимания – странно, как это я минарет проглядел. Правда, он мог проканать под какую-нибудь из леса вертикальных цветных вывесок и реклам, парень-то я – для художника, увы, не зоркий. Естественно, полно кафе и магазинов типа цветов, брелков и воздушных шаров – серьезные торговые центры, конечно, в автомобильных местах.

А в центре площади огромный фонтан – Фонтан Желаний. Наши называют его просто Рюмкой. Ну, во-первых, как он выглядит – действительно, гигантская хрустальная рюмка, точнее, плоский бокал на ножке, из каких пижоны поколения наших пап пили коньяк, чтобы лучше почувствовать букет, причем, вода то просто льется через края, то начинает бурно фонтанировать подсвеченными струями – не знаю, как это делается. Создается эффект радуги и т. д. Сам бассейн у подножия фонтана ок-

ружен бордюром из непрозрачного стекла – издали кажется невысоким, но подойдешь – стена в человеческий рост с множеством дверей. Если какая-нибудь дверь открыта – по коридорчику из непрозрачного же стекла подходишь к бассейну, кидаешь в воду монету и говоришь самое заветное желание. Желания, соответственно, тут же сбываются, а монеты раз в неделю аккуратно вылавливают и сдают в муниципалитет, сотрудники которого и придумали сказку про чудесную силу фонтана. Я понимаю, что я старый грязный циник и т. д. Причем, чтобы ты мог в голос кричать о сокровенном, сохраняя ривасу, на трех трибунах вокруг фонтана до поздней ночи одновременно играют три оркестра, играют одно и то же – обычно вальсы Штрауса, но бывает диксиленд, попурри из «Биттлз», создается впечатление полного шиза, но народ, как ни странно, вполне серьезно к этому относится; я видел, как в двери фонтана заходили солидные местные дядьки в плащах, с портфелями.

У Рюмки, как у Машбира в Иерусалиме или питерского Сайгона, конечно, назначаются встречи; есть более-менее постоянные тусовки, малопримечательные с виду; есть отдельные фрики, которые там просто существуют, – например, совершенно уехавший чувак на роликовых коньках, зимой и летом в одних шортах, коричневый от загара, стриженный бобриком, с наушниками на голове, аккуратная физиономия сжата в кулачок, – так и жужжит вокруг фонтана в полном одиночестве, вроде большой мухи, иногда подкатит к какой-нибудь туристке, что-то доверительно сообщит – и дальше полетел.

Короче, пока мы пересекали площадь, Вера нам все объяснила про фонтан и спросила, не хотим ли зайти, высказать желания, монеты у нее на всех есть.

Ну, я и у Стены Плача-то за десять лет был один раз, а у этой Рюмки просить – совсем смешно, дети тоже не пошли, а дамы нашли, где двери открыты – и исчезли. Дети постояли секунду спокойно и начали опять друг за дружкой гоняться, а я решил пока народ посмотреть. Отошел шагов на двадцать – прямо по курсу сидит за мольбертом рыжий, в джинсовом костюме, явно земляк, причем, рожа кирпича просит – это *understatement*. Я иду как бы мимо – зырк на полотно – вижу, там что-то совсем несуразное, а автор, не оборачиваясь, баском, подходящим к внешности:

– Ты на мазок, на мазок смотри.

– А откуда, – спрашиваю, – ты знал, что я по-русски?..

– А я не знал. Теперь знаю – и, не отрывая взгляда от натуры, левую рыжую руку протягивает: – Пит.

Не успели мы с Питом выкурить по одной – летит просветленная Вера:

– Уже познакомились? Пит, ты куда пропал?

– Работаю, Верочка.

Короче, вернулись мы домой, прихватили на углу у церкви пару коробок чьей-то посуды, брякая, занесли домой, верну-

лись за журнальным столиком – он у нас сразу стал основным культурно-семейным обеденным центром, с того же угла притаранили трехногий шкаф в детскую – ничего, протезировали кирпичом, но у одной из кроватей, которые Верка достала по телефону на благотворительном складе, при установке отвалилась нога, – кирпичом не отделаешься, нужна дрель и шурупы – пришлось купить, а где дрель и шурупы – там вешать полки, короче, как говорил один обрюзгший шашлычник, когда у него просили вилку: «Вам дашь вилку – вы попросите тарелку».

Записались мы с Анькой на курсы: я – язык, Аня – продвинутый язык и компьютеры; за это еще и стипендию платят 150 долларов, дети пошли на подготовительные к школе; словом, все знакомо по Израилю. Аня на новой квартире совершенно перестала обсуждать со мной проблему Бориса Львовича – зато круглосуточно обсуждает ее с Верой, причем, в моем присутствии это выражается в обмене многозначительными гримасами и репликами: «Ну что, подруга? – Нет, этот вариант... – Броня крепка и танки наши быстры. – А хоронить-то здесь дорого. – Ну, это мы еще посмотрим».

Ночью на кухне обе продолжают курить, пить кофе и обсуждать, а я одиноко пытаюсь заснуть, что мне, как правило, неплохо удается.

Проходит где-то неделя такой жизни, и вдруг на площадке под нашими окнами проявляется и начинает назойливо маячить Верин муж и мой тезка Борис Львович. Он ничего не предпринимает, просто покоится на скамейке, руки на коленях, пока не провалится в темноту – не знаю, ночует ли он на скамейке, но с утра уже тут, сидит, отлично видный из окна, что между раковиной и газовой плиткой – постоянными Вериными местами, когда она не курит и не пьет кофе. А стереть Б. Л. занавеской нельзя, потому что занавески, естественно, нет. Вера держится героически, только с Анькой у них начинается совсем уже тесное общение – разве что в туалет вместе не ходят. Так сидит Б. Л. день, сидит два, на третий – стучит и просит закурить. Дети еще не вернулись, дамы в комнате. Проходим с ним на кухню, закуриваем. И Б. Л. неожиданно закрывает лицо руками и начинает шумно рыдать. Плач, даже тихий, если вы не знаете, слышен через много стен – а тут такой крик, и стон, и скрежет зубовой – чувствую, за стенкой у девушек тишина. Б. Л. прорыдался, вытер рукавом слезы и ушел без лишних слов.

А Вера молчаливая стала. Моет посуду, не отвечая на Анькины реплики, и браслеты звенят сильней обычного.

Вечером звонок. Рыжий, который у Рюмки рисовал, весело кричит с порога:

– Верочка, забирай Боба, опять весь пол мне перепачкал.

Вера опрометью – вон, а я, естественно, спрашиваю, в чем дело.

– Да в чем дело – друг твой опять у меня в квартире вены перерезал. А ты что не заходишь-то?

Зачем-то я к нему поперся. Квартира – весьма небогатая, но все-таки подобие чего-то. Телевизор, шавка лает, сервант со стеклами, уж не знаю, где достали, скуластая баба вытирает тряпкой пол, а посреди комнаты сидит на стуле Б. Л., а колени-нопреклоненная Вера перевязывает ему предплечье таким белым, чисто пахнущим бинтом, что даже завидно.

Так этот период и закончился.

Не помню, говорил я вам или нет, что Вера вообще очень мила и красива, и, думаю, что мои стати и вновь отросшая ко-суха ее сразу впечатлили – во всяком случае, когда мы жили у них с Б. Л., Вера все время меня дразнила, а я, не зная, как на это реагировать, не реагировал никак, и в конце она таки довольно больно меня куснула. Но это на их территории. А на нашей – заняла пустовавшее место хозяйки и матери, старательно обходя пространство жены. Я, надо сказать, чувствовал себя при таком раскладе гораздо лучше, но когда Вера ушла – а она, конечно, поехала провожать ослабевшего от потери крови Б. Л. и, конечно, не вернулась, – мне стало настолько пусто, что я спустился в ночной *liqueur store*, взял бутылку водки, одолел сто ступеней до дверей Пита и выслушал повесть не менее, по-моему, печальную, чем повесть о Ромео и Джульете. Впрочем – судите сами.

– Теперь я стал художником, – начал Пит, вытерев усы, – а раньше был бизнесменом. Кооператив «Антонина», экспорт продуктов из Белоруссии. Первый бизнес в Ургенче. Полсамолета заряжал. Только русскоязычные – русские, евреи, немец Эрик. С чурками я не то что работать – в общественном транспорте годами не ездил, чтобы какого чурку не зашибить. В 89-м стали класть открытки в почтовые ящики: русским – год, евреям – два. Ну, евреи сразу поняли намек. А русским-то особо ехать некуда. Работаем – вроде ничего. Потом – раз ларек сломали, два – ларек сломали, магазин в центре сожгли – и не проявляются, денег не просят. Я знал людей, замначальника милиции Савельев был еще отцовский друг, борец, отец первое место в среднетяжелом весе имел, я тоже занимался, пока не сломал предплечье. Я сказал борцам, у меня у самого двое работали, чтобы они через борцов-казахов повлияли, и к Савельеву в милицию сходил. Вроде затишье. Потом, как раз считал выручку в магазине на Ленина, – трубят. Похоронный микроавтобус ползет, за ним – только наши, чурки ни одного. Савельев пустил себе пулю в лоб в результате несчастного случая при чистке личного оружия. А обстановка такая, что дети уже только по одной дороге ходят: в школу – домой, и дорога все уже становится. Как раз «Тойоту» с Дальнего Востока пригнали – отличную, синюю такую, лаком облита. Обмыли. Сажу один в гараже. Входит молодой чурка. Садится. «Давай сто тысяч долларов на мечеть». И я, честно тебе скажу, – приссал его выкинуть. Сказал «нету». А он стул отставил от стола, чтобы я его всего видел, туфлей покачивает и говорит: «У вас есть деньги». Это он хо-

рошо сделал, что «у вас» сказал; скажи он «у тебя» – тут же похоронил бы. Чувствую – заливает меня. Хочу его ебануть – и не могу. Первый раз чурку испугался. Я в жизни их не боялся, даже когда вечером идешь, а они навстречу темной толпой, обсаженные, не уступал дороги, это они передо мной расступались – они страх чувствуют, а я не то что их не боялся, я их просто считал за говно – да говно они и есть; даже дружок твой, Боб – ходит тут, мусорит. Хотя он культурный, еврей наполовину – чурка и есть чурка. Ну-ну – не суди, о чем не знаешь. Я-то с ними родился, и в детский сад ходил, и в армии любил посвящать время их воспитанию. Словом, спрашиваю: «Ты от кого?» – «От Махмутова. Сказал – даю десять дней». Махмутов – первый секретарь райкома. Своя подземная тюрьма, лев на цепи, соколы. Потасились я опять к борцам, они разливаху в центре города держали. Спрашиваю: «Где Коля?» «Лежит Коля, вчера опять мокрый припадок был». «А Рыжик где?» Показывают на потолок, в смысле – на небе. «А кто же у вас теперь босс?» Заглянул в контору – на месте Рыжика казах сидит. Через десять дней опечатали магазины, взломали дом – нас никого не было – так они... Жена пришла с рынка – пудель на люстре висит. В тот же день я Тоньку с детьми отправил в Гродно, к сестре. Чувствую – опоздал к Махмутову. Пойдешь – не вернешься. И тут осенило. Мы ведь из сектантов, из молокан. Брат деда со всей семьей в Сан-Франциско на Русской Горке живет. Еще отец пару посылок получил – Евангелие, нейлоновую куртку, носки. Короче, послал я своим родственничкам авиапочтой заказное письмо, про свои дела, что физически здоров и на шее сидеть не буду. Через две недели получаю ответ. Напечатано на компьютере: «Возлюбленный брате! С Вами Христос! Сердечно рады вашему желанию воссоединиться с нашей общиной. Не сомневаясь, что вы, как и все мы, веруете в Спасителя нашего и блюдете обычай истинной веры – правильное крестное знамение, правильная жизнь, правильная молитва. Позволим задать вам несколько вопросов, дабы узнать, не будет ли Вам наша жизнь в тягость. Посещаете ли вы заутреню каждодневно? Есть ли у вас криминал рекорд? Окажись в Великий Пост в месте, где нет возможности достать постное, станете ли есть скоромное? Пьете ли вы чай, кофе, вино и другие дьявольские напитки? Посещаете ли конские ристалища, синема, тиви, зу?» И т. д. Возле каждого вопроса – да, нет и кружочки – нужное зачеркнуть.

А вечерами уже по окнам стреляют. Ждем лобовой атаки. Ребята две машины ментам отогнали. Взял я как-то газету в сортир, объявления посмотреть – газета-то так по-русски и выходит. Возрождение возрождением, а по-своему чурки читать не научились. Смотрю: «Быстрая эмиграция. Помощь в оформлении виз. Статус беженца. Консультация опытного адвоката». Приходим по адресу. Табличка «Юрисконсульт» Сидит пучеглазая еврейка, непонятно, почему сама не уехала. Разговор короткий: «Еврейское происхождение – триста. Религиозные и политические пре-

следования – шестьсот. Деньги вперед. Гарантии не даем – всё решает разговор с консульской группой». «А вы-то что делаете?» «А я и учу, как с ними разговаривать. Плюс документы». Ладно, достаю шесть стодолларовых, даю ей. «Вы, говорит, хотите преследования? Не советую. Берите еврейское происхождение. Дешевле и надежнее». «Нет, спасибо. Мне, пожалуйста, преследования». «Поймите, еврейское происхождение всего за триста долларов дает право на эмиграцию в две страны и статус беженца. Ведь являясь евреем, вы автоматически подвергаетесь преследованиям. А факт чистых преследований надо еще доказать – это шестьсот; плюс как минимум три свидетельства комитета защиты прав человека по сто пятьдесят долларов за каждое. Поверьте, я знаю, сама в комитете. Я ваши же деньги экономлю». Не выдержали нервы: «Что, блядь, говорю, еще ты щемить будешь?» Взял Эрика, махнули в Бабаевск, где консульская группа. Ну, об этом даже рассказывать не хочется. На обратном пути звонит мобильник: «Петя, не ходи сюда. Здесь менты». Короче, менты – не менты, а дела доделать надо. Оставил «Тойоту» с Эриком в роще, добрался на грузовике до юрисконсульта, она же нотариус. Кладу пятьсот: «Пожалуйста, мне происхождение. Времени есть час». Подтвердила. Приехал сюда один, без семьи, Тоньку только год назад перетащил, дети вообще недавно приехали, да еще за Тонькину дочку пришлось две тыщи выложить. Осмотрелся, прикинул хер к носу – вижу, с бизнесом надо переждать. Для политики – я здесь слишком мало кого знаю. Остается искусство – не в клинеры же идти. А я еще в детстве рисовать любил. Поднял литератулку, выбрал направление – мазок. Главное самому в себя поверить – тогда и другие в тебя поверят. Правильно говорю?

– Конечно.

– Берем еще одну?

– Пошли.

Мы с Анькой между тем исправно посещаем курсы – я язык, она компьютеры, и такое это двухслойное дежавю – будто опять я хожу в десятый класс, даже сны абитуриентские снятся. Я, как и все наши соученики, поначалу всерьез думаю, что если не пропускать, каждый день выучивать по десять слов из тетрадки и старательно тянуть вслед за учительницей: «fe-el e-a-sy; such a pity, little kitty», то отлично выучишь язык, найдешь работу по специальности и станешь местным. А главное – до судорог в шее страшно упустить этот последний в жизни шанс. Потом достанешь из портфеля эту самую тетрадку – и как радикулитом в поясницу ударит, что это уже третий круг: в школе я был хорошим учеником, поступил, был хорошим студентом, а по окончании таскал в Петергофе раствор, потому что лучшей работы по распределению для меня не нашлось. Тогда я уехал в Израиль, пошел в ульпан, где был хорошим учеником, а потом месил раствор, пока не приехал сюда. Тут я хожу на курсы. И так мне не хочется быть хорошим учеником, чтобы снова на раствор не

попасть – что все судороги как-то сами собой проходят, грунт размягчается, язык ложится, и все товарищи начинают меня страшно уважать.

А так – школа как школа. Класс светлый, зима кончается, на переменах все курят внизу, у открытых дверей, возле доски с объявлениями: «Заслуженная артистка УССР Нина Пархомовская поет ваше любимое: Запрягайте хлопцы кони, Идише мамэ»; «Частные курсы английского и французского. Все преподаватели – носители языка», или нечто совсем уже израильское: «Женский клуб приглашает на занятие по художественной нарезке овощей с последующим угощением, а также танцами и пением». Классный шут, Миша, конечно, толстый (только в 526-й школе на Алтайской ему было шестнадцать, в иерусалимском ульпане – двадцать шесть, а теперь под сорок), поневоле угощает сигаретами...

Мальчики смотрят на девочек, девочки на мальчиков. Бабы, конечно, оживляются, выставляют у кого что есть, одна, например, сикорака, вся-то размером со стручок, но с роскошным черным хвостом на затылке, так она все трясет этим хвостом. Половина – одиночки, или осколки современных семей, типа муж в Торонто – жена в Мюнхене, да и у тех, что с мужьями, семейный крепеж от тряски на эмигрантских ухабах сильно поослаб. А прямо через дорогу – овощная лавка, как огромный букет, там можно купить за доллар такую кайфовую коробочку карликовой редиски или клубники, китаец тебе помоеет со счастливой улыбкой и высушит ручным феном, я покупаю две коробочки, оделяю всех курящих – кого редиской, кого клубникой, и говорю: «Вы понимаете, что вы на Западе? Запад – это и есть коробочка клубники, которую моют, продают и едят с улыбкой удовольствия. Понимаете?» Конечно, не понимают, многие только что из России, улыбаются натянуто – Боря умный парень, Боря шутит. Некоторые кладут фрукты и овощи в карман – детям. Соседка по парте, Зинаида Матвеевна, вздыхает: «Смотрели вчера? Что творится... Опять наших мальчиков поубивали...» Что? Где? Каких мальчиков – вроде все целы. Кто-то погиб?! «Та не здесь». В Израиле, что ли? В новостях ничего не было, я утром слушал. «Та не в Израиле, в Чечне». И давно вы из России, Зинаида Матвеевна? «С Украины-то? Четырнадцать лет».

Серьезного, тяжелого народа в нашем классе почему-то нет. Никто не грузит питерсоновскими проектами включенной стажировки программистов и ценами на трехбедрумные квартиры – так, анекдоты, кто где работал. Я рассказываю, как ставил в зоопарке замки на клетках крупных хищников, а девочка – я ее даже как-то раньше не замечал, молодая, лет двадцати, поднимает ко мне лицо и тихим, инфантильным голосом спрашивает: «А вы не могли бы мне кран починить?»

Я сказал Аньке, чтобы сама возвращалась, меня тут попросили помочь – наследственная привычка сообщать жене, куда идешь, помню, папа страшно доставал этим маму.

Короче – починили кран. И стал я к ней ходить. Зачем – даже не знаю. Наверное, просто трахаться нравилось. Да и трахаться, собственно, не нравилось, просто приятно слушать, какой ты замечательный. Аньке раз сказал – полку вешать, в другой раз – мебель передвигать, в третий упредила: Ты идешь сегодня к Свете? На обратном пути зайди в Bankers Bagel, там, на углу, купи бубликов.

Самой Ане в числе пятнадцати лучших учеников муниципалитет подарил компьютер, и она впала в интернет. Теперь я засыпаю под вентиляторный гул и перед тем, как закрыть глаза, вижу свою сгорбленную жену, алчно вглядывающуюся в летящие ей навстречу надписи и картины.

– Дорогая, что тебе там так интересно?

– Ой, отстань, пожалуйста.

– Ну скажи, я тоже хочу понять.

– Доступ к источникам информации, возможность прочесть любое место в любой книге.

– В какой, например?

– Ой, отстань, пожалуйста

На почве интернета у Ани начинается мощнейший контакт с Борисом Львовичем, которого она вообще с трудом выносит, а тут – сорокаминутные телефонные консультации, чаты, линки и собака ком. Потом, под предлогом объяснить необъяснимое по телефону Б. Л. вползает в наш дом и с санкции хозяйки утверждается – приходит каждый день часа в три, после краткой компьютерной беседы перетекает на кухню и звонит Питу, у которого творческий кризис – без кризисов какой же художник. От травы он даже не соловееет, но лучше сидеть у нас, чем дома, где Антонина хронически пилит, чтобы искал работу, и природная способность Пита надеть противнику на голову бетонную мусорную урну помочь тут не может – все, не надел уже, моментум упущен. Теперь будет его баба пилить, как графниткой в каменной пыли пилил решетку, пока не перепилит и не упадет вместе с решеткой в море.

Короче, сядут они, затынутся, и начинают тягучими голосами:

– Коммерция здесь херовая. – Грубо, грубо. – Надо что-то затевать. – Без капитала чего затевать-то? – Надо делать подстаканники. Такого нет. – Круто, круто. – Мой дед всегда пил чай из стакана с подстаканником. Стакан такой тонкий был, с насечкой. Заказать в России пресс-форму, наштамповать. На подстаканнике – Кремль, звезда или охотник с ружьем и собакой. – Да это фляжки с охотником, ты что. – Потом, когда пойдет, начнем еще маленькие делать, под стопки, и большие, с медведями – под пивные кружки для бундес. Можно миллиарды сделать. Через год вся пивная Европа будет пить из наших подстаканников. – Отлично, Боря, отлично. – А можно еще магазин открыть, «Ностальгия». – Ностальгия – знаешь, что значит? Наша боль. Нельзя черным словом называть – удачи не будет. – Ладно, назовем «Золотые дни». Или «Родина». Не то продавать, что все

– «Смирновскую» и икру, а настоящее, что было, – фаустпатроны с красным вермутом, ржавую кильку. – Впускать по человеку в час, чтобы очередь была. – На дверях напишем «Вас много, я одна». – В промтоварном – боты, сатиновые трусы, бидоны. – Купившему на 100 долларов – удар по роже. – Эх, дыньку бы сейчас, сладенькую. – Дынь нет, плова нет – это жизнь? – Не говори. – Надо что-то начинать, делать что-то.

А сами уже засели навсегда, как валуны в грунте, и только пепельницу могут взглядами по столу передвигать.

Дети меж тем возвращаются из школы. Ходят, уже всюю вписались – такая новая отчужденность – а то все жались к нам. У них общая комната.

Из огромной кучи мелких, сложно сделанных и совершенно бесполезных предметов торчит школьный рюкзак. Из рюкзака торчит ботинок. Вообще, видимо, китайцы при помощи урагана музыкальных поздравительных открыток на микросхемах и кукол в мокалинах ручного шитья с детства внушают человечеству мысль, что любой предмет материального мира можно купить у них за доллар и возиться с производством чего бы то ни было – просто бессмысленно. Но это как бы лирика, а в жизни все мое общение с детьми заключается в том, что я на них периодически ору, чтобы навели в своей комнате порядок, потому что это действительно невозможно.

Яэль воспринимает мои вопли нормально, опустит глаза и молчит – отцу положено кричать, а детям – слушать. Я и сейчас думаю, что в том, что я стал нормальным человеком, кончил школу и получил специальность, есть большая заслуга моего отца – он страшно на меня орал, что я не убираю секретер, никогда не бил, конечно, но и я, в общем, редко...

Короче, Яэль воспитание, вроде, переносит ничего, а Игорь – совсем теряется парень. Белеет, дрожит, и вижу – сейчас укусит. Домой приходит поздно, а по законам штата детям до четырнадцати запрещено находиться вечером на улице без сопровождения взрослых. Я решил сходить к ним в школу. Школа муниципальная, бесплатная, не учатся там только черви и ящерицы, и о ненормальном поведении или плохой учебе детей родителям не сообщают не из разгильдяйства, а потому, что норма понимается столь широко, что в нее укладывается практически все.

Ну, до классных руководителей меня не допустили. Школьный секретарь, такая симпатичная косоглазая негритянка, я бы сказал – черная монголка, разговаривала со мной через микрофон, вмонтированный в разделявшую нас перегородку из прозрачного пуленепробиваемого пластика, по которой, пока она набирала на компьютере имена моих детей, медленно и нагло ползла сверху вниз средних размеров черная муха. «Яэль Портной? – Прирожденный лидер. Отношения с товарищами отличные. Замечаний по учебе нет». – Муха доползла уже до середины перегородки – до секретаршиного лица, и ес-

ли бы я шлепнул по ней ладонью – секретарша могла бы подумать, что я пытаюсь ее ударить.

Изо всех сил сдерживаясь, спросил про Игоря.

– Игги? – Два аккорда на компьютере, взгляд на экран. Мудрая муха застыла на уровне белого секретаршинного воротничка. – Игги немного эпсент.

– Как? – закричал я в микрофон. – Физикали или ментали?!

– И так и так. Вообще мальчик социально приемлемый, не взрывает на уроках, не нападает на товарищей.

Муха тем временем пересекла стекло, шагнула на деревянную стойку, но, как только я поднял ладонь для страшного удара, рванувшись в воздух с оскорбительным воем, исчезла в воплях, стуке и мелькании школьного коридора.

Возвращаюсь домой. Приходят дети. Начинаю орать:

– Где ты был?! Где ты шляешься вместо школы?! Ну-ка, говори! Ты понимаешь, что нормальную жизнь нужно заработать? Ты видишь, как Яэль вкалывает? Как мы с матерью вкалываем? Тебя хоть что-то в жизни интересует?

Молчит.

Яэль с такой злодейской усмешечкой:

– Пагим его интересуют.

– Что за пагим?

– Игра такая. Они их собирают, махлифим, меняют.

– Ну-ка, давай сыграем. Надо же мне тебя понять.

Стоит. Не знает, как реагировать. Глаза бегают.

– Ну давай, я тоже хочу сыграть.

Видит – деться некуда. Откапывает рюкзак, достает оттуда такую здоровую круглую жестяную коробку из-под печенья, на крышке – дома с красными крышами.

– Так вот что ты в портфеле носишь!

Опять дернулся, но поздно, достал уже. В жестянке – кружочки из плотного картона с компьютерными чудищами на одной стороне и какими-то знаками и цифрами на другой.

– Ну, и как в это играют?

– Мехалким. Тебе пять, мне пять.

– И что дальше?

– Есть фосез.

– Что это значит?

– Ну оэс, файе, воте

– Ага, понял.

– Мэйк э тен.

Яэль поясняет: «Сделай свою очередь».

– В смысле – ходить? А как ходят?

– Возьми и сроу.

– Да ты на каком языке говоришь?

Молчит.

– Э-э, милый, да ты у нас без языка остался. Ты думаешь-то на каком?

Яэль: «Он вообще не думает».

Игорь со счастливым от освобождения злобы лицом дает Яэль пинка. Яэль вцепляется ему ногтями в щеку. При этом они задевают за кусок кирпича, заменяющий книжному шкафу переднюю ножку, книги сыплются мне на голову, я успеваю поймать шкаф спиной и дико кричу:

– Сто-о-ять, с-суки!!! Кирпич под ножку!

Испуганные дети подсовывают кирпич.

– Быстро подняли книги!..

Книги со стуком занимают свои места.

– А сейчас будем языком заниматься! Взяли ручки, бумагу, сели! Какую вам выбрать книжку... Вот. Триста полезных советов. Я читаю по-русски, вы пишете по-английски, а потом устно переводите мне на русский. Поняли?! Заодно хоть научитесь за вещами своими смотреть. Так. Составитель Н. В. Федорова. Редактор Л. П. Вишня. Художник И. А. Махранянц. От издательства. За последние годы, написали? за последние годы у нас ощущалась большая нужда в книгах по домоводству. Стремясь восполнить этот пробел... издательство выпускает настоящую книгу, в основу которой положены материалы, опубликованные в периодической... печати и брошюрах. Ее назначение – помочь молодым и малоопытным хозяйкам в их повседневной... домашней... работе. Так. Содержание жилища. Различают два вида уборки – ежедневную и генеральную. Ежедневную уборку рекомендуется проводить так: утром надо открыть форточку или, если позволяют погодные условия, распахнуть окно...

В общем, раз в неделю, как штык, мы с ними начали заниматься языком. А что? Ведь иначе вырастут дети, захочешь по душам поговорить – и никак будет. Да и мне эти уроки помогали в смысле английского, в свой-то ульпан я уже почти не ходил, потому что эта девочка стала сильно меня тянуть в свою сторону, а просто отшить ее не хватало духу. Но самое печальное – что и Аня бросила свои курсы – все равно, говорит, работы после них не найдешь (а я-то сладко мечтал стать мужем программистки и безбедно рисовать, сидя дома), а пользоваться компьютером она и так умеет. Но истинная причина была, конечно, в том, что Анькины связи с источниками информации осуществлялись по ночам, так что встать утром ни на какие курсы она, естественно, не могла.

Так и живем, как слизняки на веранде, – ползем в разные стороны, до стен еще не доползли и друг другу не мешаем.

А в природе – весна света. Капли дрожат на бельевой веревке перед окном и все никак не сорвутся в лужу, лужа блестит и рябится от ветра, световые пальцы бегают по стенам – короче, такая погода, что душу из тебя как занозу тянет-потянет, да вытянуть не может. И хочется, как, помнишь, на первом курсе, сидеть с кассетником в Михайловском саду, пить вино «Эрети» и слушать «Роллинг стоунз»...

...А как же бабки, спросите вы, материальная сторона? Как говорит моя жена – не хотел бы поднимать этот топик, но на

сосиски хватает. Из наших окон виден парк, типа очень культурного соснового леса с белками (они здесь серые), даже собачники его не портят, псы в намордниках, и с дерьмом нет таких проблем, как в Тель-Авиве, где, чтобы не вляпаться, все время смотришь под ноги, отчего бьешься лбом о фонарные столбы – здесь, благодаря зеленым, все чисто, по утрам, выпив свой кофе, хожу в этот парк, сижу на краешке полупросохшей скамейки и даже начинаю снова немного рисовать, зная, что в два придут Борис Львович с Питом, и все будет как всегда. Но вскоре, вернувшись из парка, вместо Б. Л. застаю Веру.

Дамы, естественно, пьют кофе. Обе крайне серьезны, приглашают участвовать в консилиуме. Вера – кто бы мог подумать – окончательно, вдрызг, разругалась с Б. Л. и пришла посоветоваться – как ей быть. Оказывается, у Веры живет здесь, в двадцати минутах езды, самый настоящий родной папа, первый кефирник города Ташкента, который боится ее, как СПИДа, то есть СПИДа-то ему уже бояться нечего, а боится он, что родная дочь с мужем въедут в его квартиру, воспользуются его статусом беженца, боится, что соседи донесут в муниципалитет – якобы он сдает дочери квартиру, и его лишат велфера – короче, папа боится Веры, как боялся бы СПИДа, если бы был молодым, нелюдимым и похотливым.

– Так что вы скажете? – спрашивает Вера.

– Ясное дело! Конечно! Живи у нас! – перебивая друг друга, кричим мы с Анькой, и вопрос, почему сама Вера не может получить муниципальную квартиру, как ее папа, мы или Б. Л., естественно, застревает у меня где-то на уровне основания совести.

Вера тут же открывает свой портфельчик – он у нее вместо чемодана, повязывает вынутый оттуда, пахнувший утюгом передничек и становится к раковине мыть, а вернее разбирать посуду – раковина полна настолько, чтопустишь воду – выйдет потоп. Еще у нее в портфеле оказывается пара хваталок, так что кастрюлю с сосисками теперь не нужно снимать с огня мокрым, грязным полотенцем, и корова на чайник – это вам подарок, бабушка сшила. Очень быстро в доме появляется туалетная бумага, соль и даже спички. А что, спросишь ты, я сам не мог купить спичек или помыть посуду?

Конечно, мог, просто я считаю, что функция мужчины, моя то есть – делать работы, а не мыть посуду. Правда, я в то время ничего особо не делал – так, подходы, вроде штангистских, но ведь и это стадия необходимая и требующая полного покоя.

Короче, с Верой опять становится веселей, даже Анька иногда выходит из своего компьютерного обморока. Уж не помню, писал ли я, что она купила драндулет – «Пежо-88». То есть купили мы вместе, но я на права так и не сдал, – и начала по вечерам ездить на встречи своей, как говорила, *conference group*.

Дамы, естественно, продолжают бесконечный разговор о том, куда деть Б. Л., который, по их с Верой графику, через не-

делю должен уже появиться на скамейке, а потом начать звонить, рыдать и резать вены. Аня убеждает Веру как можно резче Б. Л. отшить. Я тоже иногда, выпучив глаза, присоединяюсь, типа: «Подумай о себе! Ты что, всю жизнь его будешь на себе тащить!?» – причем, чувствую себя дураком, младшим лаборантом, встрявшим в беседу профессоров. И когда ровно через неделю, высунувшись в окно с первой утренней сигаретой, я различаю внизу Бориса Львовича в красивом тренировочном костюме, Вера, не дожидаясь стадии вен, спускается к нему, и мы с Анькой, полуодетые и нечесанные (для меня это процедура, потому что коса отросла уже до пояса), жадно смотрим на их удаляющиеся в сторону парка спины.

Через полтора часа Вера возвращается и бодро сообщает:

– Согласился! Оставляет меня в покое, если найду себе замену.

– Как это замену?! Какую замену?! – восклицаю я, и мой вопрос повисает, как сигнальная ракета, освещающая мудрые улыбки дам, которые просто не сочли нужным поставить меня в известность о своем блестящем плане.

И через несколько дней Анька, дети, Б. Л., я, Вера и – неожиданно – Питова приемная дочка, тоже Вера, сидим в открытом кафе на Place de Liberte, напротив Рюмки. Почему-то всегда попадаешь сюда, как в Питере на угол Невского и Литейного, или к Машбиру в Иерусалиме. До неузнаваемости веселый, живой и нормальный Б. Л. спрашивает Питову Веру, что заказать музыкальному автомату, какую музыку. Все мы ждем и смотрим – это же для нашего поколения главный вопрос, а девушка просто отвечает: «Биттлз». Как это я ее раньше не замечал? Вера, Антонинина дочка – но не в маму, не в маму. Бывают, видимо, и положительные мутации. Пит, когда упоминал про падчерицу, каждый раз сбивался на две тыщи долларов – тяжелая травма, но я слышал, что эта Вера два года проторчала у тетки, причем, малые Питовы дети были полностью на ней, сама взяла эмиграционные барьеры, знает язык и даже, в отличие от нас всех, где-то работает, и мне совершенно непонятно, за что на ее долю должен выпасть Б. Л. – а к этому явно идет. С другой стороны, не Б. Л., так какой-нибудь козел ее возраста – я так посмотрел по моим юным соученикам из здешнего ульпана, что молодежь эпохи загнивания империи была не такой тупой, как в эпоху становления демократии, – в наше время было как-то стыдно выглядеть уж совсем бескультурным, а теперь этот комплекс прошел вместе с остальными. Но грустно-то не от этого. Чужая юность – статная, с большими серыми глазами проходит мимо.

Официантка приняла заказ и ушла в недра кафе за мороженым, все, кроме меня, бегут к Рюмке кричать желания, последними идут Борис Львович с Питовой Верой, еще не держась за руки, – но уже почти касаются друг друга, а мне не земляничного со сливочным хочется, а стакан водки.

Дальше все разворачивается стремительно, и очень скоро Пит, с утра пораньше, торжественно и очень настойчиво, как понятых, приглашает нас к себе в квартиру, усаживает за стол напротив серванта, и, тряся какой-то брошюрой, напечатанной слепым шрифтом на серой бумаге, заявляет, что теперь он все, все знает, что Б. Л. околдовал, зомбировал и увел Антонину дочку, навел на нее порчу, но не на таких напали – огненный взгляд в мою сторону – не на таких!

– Повторяйте за мной!

Обратясь лицом к серванту, явно играющему роль алтаря, давась и спотыкаясь с непривычки, Пит начинает зачитывать из брошюры.

– Сухая роза, возьми ты порчу от раба божьего... три точки...

– Вероники Николаевны, – подсказывает Антонина.

Но Пит, не замечая, скандирует дальше:

– На корни, на стебли верченые, на листья крученые. Исуши порчу, преврати в прах, обратно не выпусти.

Там где мы должны повторять за ним, он рубит воздух рыжим кулаком, и, к моему полному удивлению, все тетки не просто охотно, а в каком-то упоении кричат тонкими голосами за ним вслед:

– Колючками заколи, сухими ветками засеки, корнями в землю уволоки, шипами забей! Помоги на этот час, на этот день, на этот год, на веки вечные. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Аминь! Повторить семь раз!

Правда, женщины не харкают, как Пит, на пол, и даже косятся на Антонину – что она скажет, но ничего, смолчала Антонина – ради дочки можно стерпеть. Потом над Вериной кроватью вешают три мешочка с солью, под подушку ей кладут три головки чеснока, достают из шкафа ее то ли майку, то ли юбку, хором читают над ней заклинания, а я смотрю и просто не верю, что вся эта херня может происходить в двадцать первом веке.

Антонина наливает нам кофе.

– Ты помнишь?! Помнишь про две тыщи?! – кричит Пит жене, тряся чашкой, из которой расплескивается ему на руку, отчего он, не переставая кричать, шипит и дует на обожженное место: – Она мне заплатит – или ты заплатишь!!

Потом все дружно поносят Б. Л. Отдохнув, читают заклинания. Пьют кофе. Поносят Б. Л. Читают заклинания. Пьют кофе. Поносят Б. Л. Причем особо стараются Пит и Вера с Анькой. Пит, во цвете лет превратившийся из хозяина жизни в городского сумасшедшего с мольбертом, просто хочет показать себе и своей бабе, что еще на что-то способен, и заодно организовать нас в некий кооператив. Веру задел вид веселого, здорового и влюбленного в девчонку мужа – но причины Анькиного энтузиазма остаются для меня тайной.

Надо сказать, что сухая роза сработала, и Вера достаточно быстро вернулась под отчий кров, вернулась под обещание, что родители в полицию не пойдут и никаким другим образом

Борю не тронут – но тут Боря неожиданно сам позвонил Питу и попросил о randevу, а Петя, в свою очередь, пришел ко мне:

– Твой друг придет, нам поговорить надо, но я не хочу, чтобы он с Веркой встречался и работу мне портил.

– Так что?

– Ну, можно у тебя?

– Конечно, можно.

Короче, в назначенный час является Б. Л. Я прошу дам удалиться в парк, оставляю на кухонном столе пачку «Captain Black», пластиковую бутылку соды, два одноразовых стаканчика – ничего тяжелого и стеклянного, закрываю дверь и, сидя в гостиной, жду стука падающей мебели, чтобы броситься спасать Б. Л., потому что, несмотря на у-шу и путь воина, Пит, конечно, забил бы его, как котенка. Но где там! Как я понимаю, Боря и приходил проверить, опасен Пит или нет, и укрепился в своем мнении, что Пит совершенно не опасен и на вопрос Красной Шапочки: «Бабушка! А почему у тебя такие страшные, волосатые, с набитыми костяшками кулаки?» ему оставалось бы ответить горькой правдой: «А это чтобы лучше слышать тебя, деточка».

Он конечно рычит:

– Ты понял?! Понял?!

А Боря что-то мелодичным голоском отвечает, типа «да-да, конечно», но через сорок минут дверь распахивается, выпуская клуб дыма и невредимого Б. Л., который с бодрой улыбочкой уруливает.

А Петя так и остался за столом, повис, уронил рыжую голову на руки и стонет:

– Как меня ребята уважали!

Глядя на него я подумал, что колдуй не колдуй, Азию не переколдуешь. Но все оказалось сложнее – и Боря, чувствуя шаткость своих побед, вскоре позвонил мне и пригласил съездить с ними на побережье, в Локшир, посмотреть что за место – может, переберемся туда жить.

– Поехали на несколько часов, развеемся.

Поехали. И так мне с ними хорошо. Боря неожиданно оказался классным водителем. Едем на маленьком фольксвагене из антикварного отдела «Rent a Car». Вокруг рощи, ненавязчиво взятые в бетон протоки, поля с кубическими скирдами, комбайн широким валиком стрижет желтое поле – как будто и правда кто-то еще печет хлеб, и он не выскакивает из некоего огромного компьютера. Я вдруг соображаю, что никуда еще в этой стране не ездил – это в Израиле по приезде возили нас, обалдевших, к истокам Иордана. Помню каменистую тропинку и огромного жука, которого мужик из нашей группы, видимо, сильно злой, что приехал в Израиль, с чувством размолот ногой.

Короче – едем. Солнышко так легко светит. Похоже то ли на Прибалтику, то ли на этикетку с Пшеничной водки. Поначалу заблудились – нам, конечно, дали в «Rent» карту, но меня любая карта, как папины рассказы про электротехнику, сразу от-

ключает, так что Б. Л. должен был и ориентироваться, и машину вести. В какой-то момент он остановил и говорит:

– Нам нужно Тридцать шестое шоссе, а мы на Четвертом. Пальцем по карте поводил, поводил: – О! скоро направо, потом налево, и выйдем на Тридцать шестое.

Сделали направо, налево, еще не знаю, куда, – и действительно, впереди огромное шоссе, и на столбе под светофором – 36. Стоим, ждем зеленого, смотрим, как мимо катят семи-трейлеры, четыре на четыре, американские, длинные, уже желтый зажегся, как будто кран закрыли, только последняя машинка с надписью «Rent a Car» тихо так перекресток перетекает – а за рулем сидит Пит и сардонически нам улыбается.

Тут Боря доказывает, что он настоящий, качественный псих – падает головой на руль и лежит, не обращая внимания на истерические гудки сзади и наше испуганное: «Боря, Боря, давай проедем светофор! Боря, ты что, это же я Питу сказал, куда мы едем, Боря!»

Потом он неожиданно выпрямляется, и мы, слава Богу, не на красный свет, на желтый, выскакиваем на перекресток, делаем бешеный поворот на 180 градусов и летим всю обратную дорогу до города и через город, останавливаясь, только чтобы в кого-нибудь не въехать, с визгом тормозов, так, что нас бросает вперед, и я думаю уже только о том, что хорошо бы еще пожить. Никакому Питу я, конечно, ничего не говорил.

А дома как бы полный уже развал, потому что единственный стабилизирующий фактор – Вера – впадает в глубокую депрессию, перестает мыть, варить и подметать, а исключительно курит. А Анька, жалея Веру, начинает мне нашептывать, что я просто по-человечески обязан помочь Вере эмоционально освободиться от проклятого Б. Л.

– Да я бы и рад помочь, но как?

– Ну, ты же понимаешь, как.

– Вообще, по заказу такие вещи не делаются. Нужна взаимная эмоция, что ли.

– Неужели? –

– И я, вообще говоря, женат.

– Ты имеешь в виду – на Свете?

Короче, сама Аня каждый вечер сваливает на свою группу, дети к десяти-одиннадцати уже спят, и мы с Верой остаемся вдвоем – но меня почему-то не тянет освободить ее рекомендованным Анькой способом. Нам и так хорошо. Мы смотрим MTV, приглушив звук. Вера читает, я думаю о работах.

Но как-то – свет горел только в прихожей, мы сидели лицом к только что совсем погасшему окну. Я потряс пачкой сигарет – оставалась последняя.

– Больше нет? – спросила Вера.

– Возьми.

Не отрывая глаз от окна, она приняла сигарету и правой рукой, как слепой, осторожно ощупывающий палкой предметы,

стала искать среди чашек, книг, тарелок, коробок из-под печенья и крекеров зажигалку. Зажгла, затянулась – я смотрел на ее пальцы, на мягкий рот, выпускающий дым, – молодые-то мы молодые, а в полутьме уже выглядим лучше – и протянула сигарету мне. Фильтр был сухой. Я вытянул сигарету до половины и бережно, как косяк, перевел ее в центр воздушного пространства между нами, а Вера, опять не глядя и точно приняла, – и я уже не смотрел, а курил глазами это освещенное тоской не по мне лицо, потом опять затянулся, стараясь не высосать все – Вере достался тонкий ободок над пеньком фильтра, но и его она, коснувшись сжатыми губами, только ополовинила, а дотянул все-таки я, и оторвал глаза, ища, куда бы захабарить – пепельница то ли есть, то ли разбили, вот блюдце – на нем темнеет варенье, вот круглая коробочка из-под плавленых сырков – и почуствовал, как ее рука касается моих волос.

В общем, вышло все с моей стороны очень слабо, причем, когда вернулась Аня, мы мирно спали каждый в своей кровати, и отчетов о произошедшем я ей, проснувшись, почему-то представлять не стал.

Назавтра, ближе к ночи, Аня снова уезжает, и все повторяется, причем, между нами происходят романтические объяснения, и Вера, между прочим, сообщает мне много интересного – например, что Аня постоянно рассказывала ей, какой я дурак и импотент, причем у самой Ани уже несколько месяцев как есть прекрасный ночной друг Витя – так я узнаю, что я рогат. А рога, доложу я вам, – нелегкая ноша. Зато совесть не тревожит. Короче, в одну прекрасную ночь мы незаметно для себя отключаемся. Просыпаюсь от толчка ужаса и вижу над собой Аню в дубленке. Проносится в голове – сесть – но я голый, натянуть на голову одеяло – стыдно, и я просто поворачиваюсь рожей в подушку. Аня топает на кухню, и слышно, как она кругами трет пальцем мокрое оконное стекло. Вера неторопливо одевается – я тоже, причем я совершенно не знаю, что делать, – а Вера, судя по всему, знает отлично – она аккуратно собирает свой портфельчик, кладет туда хваталки, подумав, забирает со стола корову на чайник, проходит мимо Ани на балкон, снимает с веревки свои трусы, берет меня за руку и выводит за дверь, которую я без стука за собой закрываю.

В конце концов, не мог же я отпустить ее одну ночью – ведь и идти ей некуда – не к родному же папе. Короче, идем мы – Вера с портфельчиком, я вообще без ничего – хорошо, кошелек с документами оказался в кармане куртки. Последний автобус тормозит у остановки – виден номер 67 – думаю: к матери в Автово или к Жене в Тальпиот?

...Приходим, конечно, к Рюмке. Кафе работает всю ночь. Не успеваю я даже глотнуть своего кофе, как Вера – что значит собранный человек, не мы, говорит:

– Ты должен утром, к открытию, пойти в Иммиграционное управление к госпоже Фостер – рыжая, крашеная, и попросить

немедленно дать тебе двухбедрумную муниципальную квартиру, потому что ты разошелся с женой, и ваши постоянные скандалы и драки ставят под угрозу моральное и физическое состояние детей. На однобедрумную – соглашайся. Потом пойди в финотдел и заполни бланк по разделу велфера. Давай потренируем текст.

– Аня! То есть извини, Вера! – восклицаю я, удивленный крутостью своей возлюбленной, любви ведь вообще присуще удивление, – Вера! Может, тебе сходить? Там ведь и по-английски надо, и тему ты как знаешь, просто потрясающе!

– Тему-то я, – отвечает Вера с неожиданной злостью, – знаю, а вот ты, дорогой, знаешь, что я для них вообще никто, иллегал, а из документов у меня – метрика, диплом об окончании средней школы и узбекский паспорт? Так что давай поучимся. Нет, виски брать не надо.

Короче, глухая ночь, холод, за столиками потасканные ночные рыбаки – ждут, не приплывет ли с площади какая рыба, греются в глубине кафе вокруг телевизора, мимо с рокотом проносится этот псих на роликовых коньках, по-прежнему в трусах, но жилетку надел, – вот, думаю, счастливый человек.

– Эй, не спи, – толкает меня Вера. – Ну? My wife and me are constantly fighting. We have two adolescent children.

– Вера, пойдем вместе желание скажем?

– Эдолессент чилдрен.

В общем, промучившись до утра и применив на практике инструкцию для проходящих интервью в консульстве – не злоупотребляйте бижутерией и косметикой, примите скромный вид советского инженера, – я, как ни странно, получаю из рук рыжей, крашеной госпожи Фостер ключ от квартиры, где до нас, судя по двум обоссанным и изорванным в клочья матрасам на полу жила пара больных анурексией тигров. Три дня шпаклюю, крашу, меняю проводку, причем, Вера мне просто потрясающе помогает – вообще как приятно, когда женщина разделяет твои увлечения, – а потом иду к Ане, чтобы как-то поговорить, и детей я уже неделю не видел и не занимался с ними.

Вместо удара доской, которого я жду, – ласковая, немного застенчивая улыбка:

– Проходи! Ты ел?

Стол на кухне накрыт неразгибающейся после десятка лет в чемодане скатертью. Аня повязывает Верин фартук – забыла-таки – и становится к раковине чистить картошку, а я сижу на табуретке и смотрю на ее спину.

Приходит Игорь, взгляд вопросительный, Аня говорит:

– Из кроссовок вырос, смотри, нога какая стала, а новые купить не на что. Сходишь с нами после обеда в секонд хенд?

Сходили, тут Яэлька подтянулась, как раз Monday, день наших занятий, и так они хорошо на этот раз переводят про ремонт мягкой мебели. Потом я зашнуровываю свои высокие ботинки, Аня обняла себя за локти и спрашивает: «Уже уходишь?» – и я

чуть было не сказал ей, что она мне вполне мила, просто я должен делать работы, а с ней я такой возможности не имел.

А дома Вера: «Договорились? Очень важно до суда договориться об условиях и поставить все точки над і».

Что делать? На завтра с утра я опять у Ани, мы целуемся, как влюбленные, причем, никакого Вити как бы и не существует – и идем в парк смотреть на маленькие листья, на обратном пути я набираюсь смелости и говорю:

– Аня, я понимаю, что это страшно неприятно, но мне кажется, мы должны договориться об условиях развода, типа брать детей и прочее, – ты же понимаешь, что вечно так продолжаться не может.

Но Аня совершенно перестает меня понимать: «Тридцатитрехлетний мужик и тридцатитрехлетняя тетка плюс два – это совсем разные вещи, а если человек из-за первой б... отказывается от своих детей, то видется ему с ними незачем. Кстати, твоя подруга забыла у нас дома передник. Как она, все убивается по Б. Л.? Не ори, пожалуйста, а то я вызову полицию».

– Не хочет слышать, – докладываю я дома.

– Ловко, – говорит Вера, почему-то без всякой злобы. – На праздник-то завтра пойдем?

И правда, Яэль показывала мне приглашение – Праздник Дня Независимости на Place de Liberte – они тоже получили, – но как-то со всеми этими делами забылось. А что? Конечно, пойдем – сколько лет уже ничего общественного не праздновали. Первое мая отвалилось, как у ящерицы хвост – жаль, я любил весеннее шествие; Рош а-Шана и Суккот не привились – трубный глас, как известно, – не салат оливье, напиваться под него неудобно – так и остались сиротами с одним слаботлеющим Новым Годом – а тут можно даже сходить куда-то.

Проснувшись, я сразу услышал с улицы непривычный шум – правда, проснулся я часов в 12. Посмотрел из окна – вау! Арабы идут, и не такие как в Хайфе, а арабы – арабы, вроде хевронских – белые рубахи по щиколотку, бороды, бошки в арафатовских платках, за ними – гроздья подруг в черных платьях с головами типа черных бус, каждая несет младенца и сумку – холодильник, между ними – дети россыпью.

– Аня, – говорю, – тьфу! Извини. Вера! Может, не пойдем? Это что-то явно мусульманское.

А Вера, в Израиле-то не жила, спрашивает: «Тебе белый костюм погладить?»

Открыл окно, высунулся – нет, не только арабы – облако розовой парчи, белых плюмажей и туфель, лоснящихся черных плеч пляшет вперед, грохоча барабаном из живота, руки барабанщика – как водопад, чем-то намазаны – латинос. Пока мы облачились и вышли, латинос сменили индусы – не знаю, где весь этот народ прятался в будние дни. Я, конечно, встречал негров – даже в парадном напротив Б. Л. жили, вместо входной двери у них висело одеяло – но не столько и не в таком виде.

Только не подумайте, что я расист – просто... вы видели женщину с тарелкой в нижней губе? Мимо нас протопало целое племя. Попадались и русские, семьями, одетые, в общем, как местные, и узнаваемые, в основном, по тяжелым взглядам – вообще, это, видимо, только мы чувствуем, что обязаны одеваться, выглядеть, говорить и думать, как те, кто нас кормит.

Неподалеку от площади налетели на Антонину с детьми. Старший, рыжий чертенок, пристал:

– Ты откуда приехал? Как ты там праздновал Independence Day? А в России как праздновал? Что это – демонстрация? Что это – плакат? Ты что, за коммунистов?

Отвечаю по порядку:

– Я приехал из Израиля. Там на День Независимости жарят шашлыки на заброшенных промасленной бумагой, полиэтиленовыми пакетами и бутылками лужайках парков. А в России Дня Независимости не было, может быть, сейчас есть годовщина Куликовской битвы, но было Седьмое ноября, я ходил на демонстрацию, дул резкий и свежий ветер с Невы, по мокрому, черному асфальту шло много людей, некоторые с плакатами. Вера, как будет по-английски плакат? Постер, «Слава Октябрю», «Слава Коммунистической Партии», да, я за коммунистов, я и есть самый страшный коммунист и сейчас я тебя съем. Ам!

А народу уже – начинаю наступать на сари впередиидущих, а сзадиидущие толкают меня губными тарелками в затылок. Мы с Яэль наивно договорились встретиться возле Рюмки, но где там. Не то что к Рюмке – к эстрадам было не подойти. Одну эстраду занял сводный оркестр рэгги с мощнейшей ритм-секцией – бочонки из под нефти, сигарные ящики, тазы – чего море не приняло... Глядя на расты певца – мы попали в течение сотен людей с растами, и нас несло к этой эстраде, – я вдруг вспомнил, где я видел такие, цвета красной земли, тугие, свисающие с мощных стволов косицы – на пальмах. Все вокруг подпевали: «Fighting for rights, Babilon prophets jaal!» Господи, в сколько же слоев грязного полиэтилена мы должны были обернуть свои идеи и верования, как мы должны были их забыть, для того, чтобы их выловленные мулатами из моря и сложенные в незамысловатую хижину обломки показались нам новым откровением! Но как это было круто! Хотелось петь и танцевать и курить с ними, но другое течение подхватило нас и пронесло мимо Фонтана Желаний с запертыми на висячие замки дверями, мимо второй эстрады – ее заняли народные дудари с остановившимися глазами в халатах вроде черкесских, но без папах. Сильнее всего нас толкали в спину, к центру площади, но и оттуда народ ломился – думаю, сверху площадь напоминала ванну с набрызганными на воду с желчью пятнами краски – помнишь, была такая техника мраморной окраски бумаги: краски разбегаются по поверхности, желчь не дает им соединиться, они крутятся, дрожат, мнутя – так и тут, все пытались соединиться со своими, чтобы праздновать с ними вместе, так, как каждый на-

род понимал этот Day в силу своей испорченности: латинос видели в нем карнавал, арабы – пикник, и им было легче поставить сумки-холодильники и есть свои питы рядом, они бы и для мангалов место нашли, что уж говорить о растафари – чтобы устроить священную обкурку, они просто обязаны были собраться в свой огромный круг с ансамблем рэги в центре. В своем полухаотическом движении эти краски налетали на прожилки русских и китайцев, которые одни не стремились слиться с себе подобными, русские – потому что не имели коллективных форм веселья, а построить их в колонну и дать им в руки транспарант было явно некому, а китайцы были вместе и не соединяясь физически. Впрочем, какие-то обветренные, китайского вида люди в широких панамах, – наверное, монголы или тибетцы, соединились таки и, ни на кого не глядя, муравьиной цепочкой перетекали толчею – каждый держал в руке жезл, увенчанный катушкой медной проволоки – видимо, завод «Электросила» перешел с гигантских генераторов для братских стран на микроскопические, и, закупив партию этих генераторов, тибетцы транспортировали ее в свое далекое далеко, натолкнулись на наше празднество и миновали его, не заметив.

Уже понесло шашлычной гарью, и слева, с края площади, зашипело, и повалил дым – тайландцы начали жечь кукурузу. Нас толкали вперед, к муниципалитету, вернее, к огромной сцене перед муниципалитетом, – в общем, весь цветной народ остался за спиной, в центре площади, нас окружали русские и китайцы, перуанского вида женщина с привязанным за спиной младенцем судорожно, как птица, проталкивалась сквозь толпу, от нее шла волна, мы с Верой держались за руки, сцена наплывала, в какой-то момент я заметил, что перед ней, опустив головы, расставив ноги, положив руки на черные рукоятки дубинок, синей шеренгой стоят полицейские.

Возня людей в униформе с колонками и микрофонами и поступательное движение толпы прекратились почти одновременно, стало ясно, что нас не затопчут – и не выпустят. Четыре ведущих, упакованные, как букетики, в юбки цвета нацфлага, одна за другой пропели «Good Morning, brothers and sisters! Bon jour, les freres et les seurs!», по-испански, уж не помню, как, и, конечно: «Добрый день, дорогие братья и сестры!»

Потом пришлось по очереди вытерпеть акробатов и акробаток, бурого медведя (в такой же юбочке) с барабаном, хореографический ансамбль муниципальных школ. Я прошелся глазами по лицам земляков – национальность однозначно соответствовала выражению: каменное недоверие – русский или украинец, вежливая улыбочка сквозь сводящий скулы стыд – еврей.

Китайцы между тем откуда-то надыбали сэндвичей в полиэтилене, вроде тех, что продавались в Израиле на автовокзалах по пять шекелей, и страшно оживились. Не успевший получить издавал гортанное мяуканье, сосед передавал сигнал дальше, и через минуту сэндвич, блестя полиэтиленом, прихо-

дил по цепочке. Китайцы немедленно сдирали с булки кожуру и начинали жевать, двигая мощными, лошадиными мышцами челюстей.

Потом музыка внезапно смолкла, освободив грохот барабанов и визг дудок с центра площади, даже запах горящих углей стал сильнее, на сцене произошла заминка, рабочий бегом вынес на середину пятый микрофон, и к нему, под звуки, судя по бравурной пошлости, государственного гимна, двинулся, приветственно махая рукой, плешивый, рыжеватый мужик в голубом костюме – где-то я его уже видел.

Мужик постоял, держась за микрофонную стойку, не снимая улыбки, вдохнул – и, раскатившись на всю площадь, не только заглушил этнические звуки, но впервые с начала представления заставил барабанщиков, дударей, детей и танцоров замолчать и остановиться: «Brothers and sisters!» – и ведущие по очереди повторили за ним на всех языках.

– Я рад, что мы вместе! – оратор потряс над головой сжатыми руками. Сзади раздался рев. Переждав его, он сделал знак переводчице. Переводчица, показывая пример, зааплодировала в микрофон.

– Я рад, что мы с вами собрались здесь, чтобы вместе отпраздновать день рождения – день освобождения нашей великой независимой матери! Всеми миру известно, чего достигла наша страна за 88 независимых лет. У нее прекрасная и заслуженная репутация, высокий уровень жизни и глубоко укоренившиеся демократические традиции.

Дальше он торжественно и нудно, как Гомер – корабли, начал перечислять достижения своей страны, от чистейшего воздуха до права пенсионеров на бесплатный проезд в общественном транспорте, из-за которых весь мир к ним ломится, а они пускают только самых хороших.

– Да, нам приходится поделиться и потесниться – но мы не жалеем об этом. Мы считаем, что в конечном итоге вы – наша золотая жила. Лучшие люди Нигерии и Китая, Коста-Рики, Курдистана, России и Индии! Самые смелые и предприимчивые, самые жаждущие гражданских свобод, самые нетерпимые к проявлениям диктаторских режимов и религиозных угнетений! Я счастлив, что мы вместе. Видите – я, полковник, уроженец страны, сенатор, решил отпраздновать этот день не в кругу своей семьи и друзей – а с вами.

Тут полковник и сенатор по-дирижерски махнул рукой трем переводчицам, и они замолчали – осталась его английская речь и русский перевод с металлическим носовым акцентом, как будто через велосипедный насос.

– Вы знаете – когда разрабатываешь золотую жилу, выходит много пустой руды. Наша страна не делает различий. Она, как настоящая мать, принимает всех – лечит раны, дает кров и хлеб, помогает встать на ноги, прощает обиды и неблагодарность, привыкает к чужим обычаям, принимает вас такими, ка-

кие вы есть. Мы пьем апельсиновый сок – вы пьете водку – не беда. Мы празднуем Хэллоуин – вы Новый Год – не страшно. Лишь одного наша родина не терпит. Паразитов! – палец полковника как дуло, уперся мне в рожу, впрочем, ненадолго, опустив его, он продолжал: – Я обращаюсь не обо всех, – переводчица от удивления не вписалась в поворот русской речи, – я говорю о тех, кто за годы жизни в нашей стране не ударил палец о палец, о профессиональных получателях пособий, на которые вы покупаете водку и наркотики, о фальшивых матерях-одиночках, при проверке прячущих в шкаф законных мужей, о тех, кто привозит сюда десятки нелегальных родственников, – а потом мы должны их одевать, учить и лечить?! – палец опять пополз вверх, но время для последнего выстрела еще не пришло. – Вы висите, как камень, на шее честного налогоплательщика и плодите детей, которые тоже повиснут у него на шее, потому что паразиты могут воспитать только паразитов.

Я обернулся на взрыв звука и увидел взлетающую в воздух, как огромная бабочка, королеву карнавала.

– Я не спрашиваю, как вы сюда попали. Я не спрашиваю, почему у евреев такие фамилии. Я не спрашиваю, почему пострадавший за веру христианин не знает, какой рукой крестятся. Мы – не расисты. Не смейте называть меня расистом! – как я потом узнал, полковник был начинающим кандидатом в губернаторы штата от консерваторов и обращался к своим врагам-либералам, – мы, уроженцы страны – дети всех народов. Да, у наших отцов был разный цвет кожи. Да, они говорили на разных языках. Знаете, что их объединяло?! Все они работали. Китайцы клали рельсы железных дорог. Итальянцы строили дома. Кенийцы и нигерийцы выращивали хлопок. Французы делали вино и сыр. Евреи шили одежду. Немцы варили сталь. Их кровью и потом построена наша страна. И от их лица я говорю вам: Паразиты! Вон!!! – на этот раз, уперев мне в рожу спусковой палец, полковник присел, как и полагается перед выстрелом. Я закрыл глаза и тут же открыл их, потому что меня толкнули, подавшись назад, впередистоящие. А он все стоял с пальцем у меня в рожу, все не стрелял – и вдруг вскрикнул, охнул, отпрыгнул, впереди засвистели, полицейские с дубинками бросились в толпу, на сцену полетел еще один камень, Вере наступили на ногу, она закричала от боли и схватилась за меня. Пока менты не скрутили и не вынесли Пита, чья рыжая голова и малиновая рожа мелькали между их синими спинами и руками, он успел выворотить и метнуть в оратора еще пару брусчаток.

Короче, вечером собрались у Антонины – Анька, общие приятели Сухомлинские, мы с Верой и Верин папа, первый кефирник города Ташкента, нанес нам внезапный визит и, стеноя, поплелся за нами к Питу. Меня он как-то не воспринял, особенно с именем возникла путаница – до того, что в ответ на Верин традиционное: «Познакомьтесь. Это папа. Это Боря» спросил: «Как Боря? Ведь тот был Боря?».

– И этот Боря.

Зато между ним и Антониной вспыхнула просто мгновенная симпатия, и началось одновременное излияние сердец.

Кефирник: Вы понимаете, что это фашизм, обыкновенный фашизм, как фильм был.

Антонина: Ой, не говорите. Сколько мы сюда пробивались...

Кефирник: Сначала такие речи, потом желтые повязки, а потом – сами знаете, что.

Антонина: Ой, не говорите, сколько денег выложил, все пришлось бросить, дети два года без матери у сестры, а тут сначала с этими красками...

Кефирник: Если так, зачем мы приехали? Мы бежали от фашизма – и куда мы приехали?

Антонина: Сначала с этими красками, прости Господи, как дурак с писаной торбой, потом запил, теперь вообще в тюрьме. Вышвырнут из страны в 24 часа, а я-то с детьми куда? К сестре в Гродно? Опять начинать жизнь с раскладушки?

Сухомлинский, басом: Это пробный шар. Если общественность не восстанет, они дальше пойдут.

Короче, они долго рассуждают о фашизме, о горькой Петин судьбе, как Петя переживает, что дочка связалась с нерусским, причем, кефирник поддакивает, оказывается, еще давно Петина сестра поехала учиться в институт Лесгафта и вышла замуж за араба по имени Мубарис, отец чуть не застрелился, а теперь вот и дочка – хоть и приемная, но все-таки семья, неприятно, и как теперь Антонине ехать начинать жизнь с раскладушки, уже и раскладушек-то, наверное, не выпускают, и что же нам всем теперь делать, как объяснить местным, что ненависть к приезжим несовместима с демократией и в конечном итоге ударит по ним же самим – не поможет ли нам в этом русскоязычная пресса. Тут дверь открывается и входит Петя.

И уже по тому, как он входит, я сразу понимаю, что это совсем не тот Петя, с которым я имел удовольствие быть знакомым. Ему очень идет пластырь на лбу, и левый глаз, как будто приклеенный на синий пельмень. Но дело не в глазу. Дело в том, что перед нами – победитель, настолько другой человек, что было бы уместно переименовать его из Петра в Виктора.

Он еще не видел вечерних новостей, только завтра в газетах появились заголовки: «Сенатор Блэкбэрн извинился перед Питером Слепцовым»; «Блэкбэрн: Я буду ходатайствовать о предоставлении Слепцову гражданства. Нам нужны гордые люди», Петю еще не фотографировали, не брали у него интервью; лейбо, враги полковника, еще не предложили ему место советника партии по работе с иммигрантами (Петя отказался), полковник еще не предложил ему место в хозотделе муниципалитета – предложение, которое Петя, естественно, принял, но, как только раскрылась железная дверь и в камеру с протянутой рукой и красной улыбкой на лице вошел Блэкберн, Петя понял, сколько очков он выбил каждой брошенной на сцену брусчаткой.

Новый Петя стоит посреди комнаты, держа за горлышко бутылку виски J&B, со стуком ставит ее на стол и, распарывая молчание, говорит:

– Тоня, я что-то устал. Посиделки перенесем на Новый Год.

Антонина, конечно, начинает хлопать крыльями и восклицать:

– Как тебя! Как тебя! Как тебя выпустили?!

– Подробности письмом. Посиделки окончены, я сказал. Боб, давай по стошке. Напиток богов. – Такой отзыв Пети о виски потрясает меня сильнее его чудесного появления. Обосранные гости, толкаясь, надевают куртки.

– Спасибо, Петя, – говорю я, – в другой раз.

– Была бы честь предложена, – резюмирует Петя, булькая виски в быстро поднесенный Антониной стакан.

На улице я говорю Вере, чувствуя, что ее папа имеет в виду идти к нам домой говорить про фашизм:

– Пойду подышу. Скоро вернусь.

Почему я пошел на площадь Liberty?

Была совсем уже ночь. Я сел за пластиковый столик в вечно открытом кафе возле Рюмки и спросил порцию виски. И знаете, вдруг сфокусировалось в голове, что я ведь воплощаю нашу подростковую мечту – одетый в хорошие джинсы и мягкую кожаную куртку, сижу в ночном кафе, на центральной площади большого англоязычного города западной страны и стучу льдом в стакане виски. Радостно-то как. А сколько не дожили.

Ночные люди сели со скуки за один длинный столик: несколько проституток, полицейский в форме, полицейский в штатском, парень с куку – явно торговец травой, рабочий-румын с бутылкой пива. Румын обнимал толстую проститутку, которая, облокотившись о стол, ела из пакета один за другим маленькие липкие пирожки с вареньем. Другая проститутка, высокая, худая, в очках, то и дело вскакивала и делала быстрый виток вокруг фонтана, говоря при этом по мобильнику. Потом хрипло затеяла спор с третьей проституткой, говорившей с русским акцентом: «Я знаю! Я работала за границей и знаю: любой человек может зайти в любую гостиницу!» Было видно, что для работников страстей это время – скучнейшая ночная смена, как для грузчиков на хлебозаводе, которым, пока не рассветет, нечего даже на часы смотреть.

Площадь была, в общем, освещена, следы нигерийских жертвоприношений, карнавала и пикников уже замыли, только в воздухе еще стояла едкая гарь.

Вдалеке, перед муниципалитетом, как игрушечный луноход, ползала подметалка с огромным ершиком. Вокруг Рюмки крутил вялые пируэты этот роликовый псих. Больше не было никого, и я издали услышал рокот еще одних коньков и сразу узнал в целенаправленно летящей к Рюмке черной фигуре своего сына Игоря. Анька-то, наверное, до сих пор не вернулась – зашла к Сухомлинским и уже сорок минут, опершись о косяк, прощается с зевающей хозяйкой – бойся гостя стоячего.

У Рюмки Игорь слепо оглянулся и исчез в одной из кабинок. Чего может хотеть двенадцатилетний мальчик от Фонтана Желаний? Мотоцикл? Чтобы школьный враг попал под машину? Чтобы единица в дневнике стерлась? Чтобы папа вернулся?

Согретый этим предположением и виски, я пересек брусчатое пространство, сразу увидел дверь, которую закрыл за собой Игорь, приоткрыл соседнюю и на цыпочках зашел внутрь. Белые стены узкого коридора пластмассово светились. Я впервые был внутри, впервые видел черную чашу и растущий из нее световой гриб фонтана. Слегка пахло мочой – трудно представить, чтобы человек, попросив о выздоровлении жены, или денег, начал тут же ссать на стену – с другой стороны, удобно – двери запираются, бесплатно, ничего не слышно. Впрочем, звукоизоляция была слабой – недаром днем здесь играли три оркестра. Я слышал стук и бряканье роликов, а когда Игорь заговорил – я слышал каждый звук его голоса, сначала совершенно ничего не понимая, а потом стало доходить – на каком языке он говорит, с кем и о чем.

Как мальчик, выросший в Израиле, где принято считать, что Бог есть, и единственная претензия к нему – что его монополизировали ненавистные религиозные, Игорь обращался к Богу. Все нынешнее Игоревое начальство было англоязычное – поэтому и с Богом он говорил по-английски, на языке, которого толком не знал, ему было трудно дать техническое задание, в поисках максимально точной формулировки он вертел фразу так и так: «God, I want him not to come more. Almighty God, I ask you that he'll not come to our place». Он повторил это, наверное, раз двадцать, уточняя титул того, у кого просил, а также временные и пространственные параметры своего желания, так что, когда мой сын дошел до последней детали – имени того, кто никогда больше не должен был приходить к нему домой, имя это было мне более или менее ясно. Может быть, Игорю было все-таки подсознательно трудно его назвать? И все же он сказал: «Великий и Всемогущий Бог, сделай так, чтобы мой отец никогда больше не приходил к нам домой».

Произнеся эту полностью совершенную фразу, Игорь с грохотом подпрыгнул – повернулся на своих роликах, толкнул дверь и укатил.

Сначала я не хотел выходить, не хотел, чтобы меня видели, вообще не хотел выходить. Потом я понял, что должен выйти, потому что должен быстро что-нибудь сделать, а там я даже стену пнуть не могу – нет места.

Снаружи все было, в общем, по-прежнему. Устало светила мизансцена кафе. Полицейский-турок по-прежнему зевал. Высокая проститутка стояла и, одной рукой прижимая к уху мобильник, другой так механически-яростно крошила воздух, что я подумал – не местная. Толстая подруга уже совсем легла на стол, выкусывая из пакета последний пирожок. Ее руки, как протезы, покоились на скатерти ладонями вверх. Я видел ото-

двинутый стул, на котором только что сидел, пустой стакан, пепельницу с перекладной пластиковой соломинки.

Я сам был деталью этой мертвой натуры, пустой стакан на черной брусчатке между двух источников света. Вечный конькобежец медленно спланировал мимо меня, он тоже был неживой – что-то вроде порыва ветра, я бы его не заметил – но он заметил меня – новый предмет, вокруг которого можно сделать красивый виток. И тут я его поймал. А я, как вы знаете, парень крепкий и верен правилу: взялся – так держись. Разве что человек умеет освобождаться от захватов. Но этот даже не пытался освободиться. Он только с ужасом смотрел на меня своими, как оказалось вблизи, совершенно сумасшедшими глазами и шевелил губами.

– Give me your rollers, быстро! – крикнул я ему в лицо. Он покорно нагнулся развязать шнурок – но я отпустил меховой лацкан его жилетки, только когда он снял ботинок. Ботинки прилипли мне впору. – Стой здесь, – сказал я ему, ударил копытом о землю и...

Ребята! Это такой класс – вы просто себе не представляете. Советую вам – купите быстро. Не жаль никаких денег. Лично я взял ссуду, купил за 450 долларов экстремальные ролики (психу коньки пришлось-таки вернуть) и катаюсь каждый день. А в сочетании с авангардным джазом – дискмены и диски сэконд хэнд не стоят почти ничего – это просто новая жизнь.

Ну, что еще? Стал немного подрабатывать – наш консьерж, такой довольно неплохой мужик, только, по-моему, никогда не моется, как-то в парадном шел с молотком и пилой в руке, и вдруг наступил мне на ногу. Тогда я тоже наступил ему на ногу. Тогда он наступил мне на другую ногу. Только я размахнулся дать ему в ебло – а он так спокойно говорит – по-французски, но я понял: «Но-но-но. Ты рабочий парень. Хочешь делать со мной мебель?».

Сделали с ним несколько заказов – хотя этого, конечно, недостаточно. Нужно что-то давать Аньке, нужны деньги на Верину легальную иммиграцию. Короче...

Напишите, если будет желание – очень надеюсь, что оно будет. Что меня интересует, кроме мудрых советов? – да все, собственно. Как там Иерусалим, что нового? Я слышал, наконец, достроили новую тахану мерказит. Как вообще ситуация на ваш взгляд? Все ли так мрачно, как кажется отсюда? Если все действительно так хреново, может, вам имеет смысл податься к нам? С работой здесь вовсе не так безнадежно – можно устроиться клинером, можно развозить пиццу, хорошо тоже, сразу как приедешь, спрятаться в какой-нибудь муниципальный колледж. Кстати, отличный способ определить, какая карьера тебе подходит больше всего – это купить книгу Алена Бернштайна «Guide to Your Career». Классная книга. Я, правда, не читал, но Вера ее проштудировала – и очень рекомендует.

А если у вас начнется большая война – я сразу приеду.

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Ася Векслер

БЛИЖНИЙ СВЕТИ

* * *

Если бы нынешнее понимание
вдруг снизошло бы на время на раннее,
не перехватывало бы дыхание,
не бормоталось бы «если бы».

В горы взбираются сосны и сосенки,
голову кружат нагорные просеки.

Лишь в одну сторону катят колесики.

И ни при чем равновесие.

Если бы, зная дорогу обратную,
даты и сроки пошли на попятную,
вроде отлива порой предзакатною
вдоль да по краю прибрежному.

Снизу подсвечено, облако плавится.
Утро не знало, с чем вечер не справится.
Вновь прозвучала бы смолоду здравица –
разве б не шло все по-прежнему?

* * *

Дорога с гор! Твой посвист – мой мотив,
под шум помех, расслышанный над краем
шоссе Ерушалаим–Тель-Авив,
а также – Тель-Авив–Ерушалаим.
Рассыпь мне справа пригоршни огней,
повыветри следы почти с концами,
блести в дожде, знать не знавав саней,
морозца к ночи, тройки с бубенцами.

Меня постбиблейский окоем, –
то соберет он тучи, то рассеет, –
минуй еще не высохший подъем
на ответвлении на Мевасерет;
протиснись в каменистый коридор,
примерь его, расширь в нем горловину
и, выпроставшись, ринься на простор
холмами, что нисходят на равнину.

Увы, не разгуляться. Тем верней
ты примешься, как будто по лекалу,
две точечных цепочки фонарей,
сближая, отдалять мало-помалу.
А в стороне заветная звезда
горит, сверх ожидания, покуда.
И это не цитата, господа,
зане заветы – выходцы отсюда.

На том и прерывается курсив,
маршрутом в два конца неисчерпаем:
туда – Ерушалаим–Тель-Авив,
обратно – Тель-Авив–Ерушалаим.

* * *

Как замыслы многообразные
стыкует Господь, неизвестно.
Смешав обстоятельства разные,
небось, глянуть вниз интересно.

Кто выиграет долголетие,
кто – верные подступы к средствам,
кто, маясь, оставит наследие,
а кто осчастливит наследством.

То громы, то солнышко выкатит –
смотритель земных территорий.
Все в целом по-божески выглядит
из божиих лабораторий.

Одним вроде власть причитается,
других подвергают гоненьям;
кто вовсе с собой не считается,
а кто – с общепринятым мнением.

Отчетливость или неясности,
как смена времен, быстротечны;
и неисчерпаемы частности,
а близкие сроки конечны.

Ах, все б разводить антимины,
держаться дорожки пунктира.
Что мыслит Господь о гармонии
со дней сотворения мира?

ОСКОЛОК ЗИМЫ

Как зябнут, Бог ты мой,
в земном раю зимой,
когда в восточном Средиземноморье
дугообразной тьмой,
как финишной прямой,
ток холода возносится в нагорье.
От неги далека,
вверху гнетет рука
басовые азы надмирных клавиш.
И, ободрав бока,
меж склонов облака
так мчат, как на равнинах не представишь.

Над крышей сдует мгла
ноябрьское число.
Декабрь созреет в высях законных.
Испарина тепла
осядет на стекло,
но не согреют железобетонных
стен – газовый камин,
нефть, или керосин,
ни киловатты, – минус на пределе.

Уймись. Не хмурь чело.
Поддерживать тепло
нам не трудней, чем некогда Рахели.

* * *

Я хотела б дожить до квартиры сухой,
до укромого бденья с утра в мастерской,
до закатного отсвета на полотне,
до огней по горам в полукруглом окне.

Я хотела б сподобиться жить, как хочу,
будто это под занавес мне по плечу,
будто выпадет долю до строчки прочесть
честь по чести, поскольку не старится честь.

А пока я хотела б дознаться вполне,
что в наполненной рюмке сверкает на дне.
Поглядишь на просвет – незнакомы с тщетой
вспышки яркого пурпура, блеск золотой.

НОВЫЙ ГОД

Из-за того, что, смягчив ухмылку,
черт надоумил купить бутылку,
ту, что стояла на заднем плане,
ведать не ведая о Шампани,
но приводила на ум недели,
текшие некогда в Коктебеле,
через полсуток имела место
как бы случайность.

В кругу семейства,
в полночь на стыке второго с третьим
тысячелетьем,
гость, откупоривая напиток,
был начеку. Но вина избыток
с выхлопом пробки вдруг брызнул мимо
рты разевавших бокалов. Крыма
не предусматривая, чревата
вечностью, пенилась кровь муската
так, будто перекись водорода
соприкоснулась с ней вместо йода.

Алые лужицы, капли, пятна.
Губка слизнула стоп-кадр, но внятно
зримое эхо. И вот невольно
почерк фиксирует протокольно
мелочи, производя дознание:
видеть ли нам предзнаменование,
или беспочвенность опасенья
вследствие метода вытеснения.

АМЕРИКАНСКИЙ ЗОДЧИЙ

Легко ли Гофману три имени носить?

А. Кушнер

Наделенный искрой Божьей Фрэнк Ллойд Райт,
полный творческих возможностей и сил,
временами сам с собой вступал в разлад, –
ведь недаром он два имени носил.

Фрэнк усердствовал. Ллойд мудрствовал, как сноб,
и за словом никогда не лез в карман,
обожал порой превозносить взхлеб
сверхвысотность, – в нем сидел гигантоман.

Фрэнк был против авантюры: «Умерим прыть.
Без того трудов с избытком на двоих.

Как там ангелы? Берутся ль окна мыть?
Не пойдет ли кто в пожарные из них?»

Фрэнк смолкал. Ллойд обижался не всерьез;
Как бы вскользь, глядел на облачный сугроб
и придумал, в пику Фрэнку, «Иллинойс» –
запредельный, вон из ряда, небоскреб.

Со словами: «Ох, погонят нас взащей», –
Фрэнк рукой не мог попасть в рукав пальто.
«Ты в своем уме? Пять сотен этажей?!»
Ллойд ответствовал: «Не жмись. Пять раз по сто».

Фрэнк замерил этажи по высоте:
проще пять раз на попу поставить гроб.
Но, трудяга, взялся строить на листе
звездолетных очертаний небоскреб.

И достался, воплощен в карандаше,
с уменьшеньем тиражирован вразнос,
до последних дней – и далее – душе
Фрэнка Ллойда, как заноза, «Иллинойс»

по сентябрь две тыщи первого, вконец
отделивший от бетона небосклон,
где с пристрастием выпрашивал Творец:
«Не жалеешь ли, что не осуществлен
тот проект?»

НЕМОТА

...Пой, птичка, пой!

Г. Р. Державин

Не до голоса и не до глагола.
Так вот – хватъ! – держали в рифму за горло
птаху певчую. Глумясь, вразнобой
приговаривали: «Пой, птичка, пой!»

Не державы, не Фонтанки, – жаль птички.
Дай-то Бог ей упорхнуть сквозь кавычки,
видеть с лету горний край голубой.
В средостении земель, – вот где пой.

Но – не время: въявь, а не понаслышке,
Взрыв за взрывом – и ни дна, ни покрышки.
Лишь огни свечные близ мостовой.
Не поется. А молчать – не впервой.

* * *

Не без выхода родимый круг земной.
Снявшись с места в затененной глубине,
можно засуху оставить за спиной
ради плена в фараоновой стране.

Кто останется, тому несдобровать.
Поторапливайтесь, отгоняя страх.
Надо вон из королевства уплывать
на колумбовой эпохи кораблях.

Отчужденность берегов. Зиянье стран.
Тени, отсветы двоящихся свечей.
Отбывайте, чтобы жить, за океан
от погромов, душегубок и печей.

Кладь ручная, – легкий путь вам, господа.
Меньше стоит в одну сторону билет.
Исчерпавшись, обновляются года, –
Новый Свет ли, Старый Свет ли, Ближний Свет.

Мир не сделался безумен вдруг: давно
он вполне безумен. Влившись в круговерть,
жизнь дешевле, чем дешевое вино,
и не так изобретательна, как смерть.

Велика округа, а не предпочесть,
в свете сказанного, ни один сюжет.
Может, время оставаться, где мы есть, –
Новый Свет ли, Старый Свет ли, Ближний Свет.

* * *

Из того, что инициалы, звуча, как «Ave»,
прикасаются ненароком к чужой им славе,
из аванса латынью и тяготенья к нотам
ничего не следует мимолетом.

Зря давали мне фору два инициала.
Расточительница, я возможности выпускала,
вроде птиц, на свободу – в противовес хватанью
всей ладонью, – для рифмы – дланью.

Исключение – хватать перо; и не делать вида,
что харизма к лицу, хотя в самый раз планида,
в коей черновики на пути к белой странице
не нуждаются в колеснице.

А другой атрибут, венок из лавровых веток,
вряд ли диво для мест, обжитых тобой напоследок.
Вон он, лавр, за окном в полутьме бессонной
собственную персоной.

* * *

Вадиму Бродскому

И через десять лет жизни
в трехтысячелетней столице,
после почти сорока,
на закат унесенных к заливу,
языку, обретенному там,
не судьба измениться:
тот же, как в бронзе конь
от хвоста по гриву.

Восполняя отсутствие дельты,
речь ветвится, как бы прозрачна;
падает свет на слова,
кое-где оставляя по блику.
Не сбиваются на криминал
«конкретно» и «однозначно».
Если же что мочить,
не яблоки, так бруснику.

А услышав «держать базар»,
вижу рынок Махане Иегуда
под его разносортный галдеж,
зазыванье, торговцев охриплость.
И, подхвачена сквозняком,
вдруг скольжу налегке оттуда,
протолкнувшись от улицы Яффо
к императорствующей Агриппас.

Леонид Левинзон

ШТУКА СЛОЖНАЯ И НЕПРАВИЛЬНАЯ

ОТЕЦ ПРИЕХАЛ...

Мы с мамой его долго ждали в аэропорту «Бен-Гурион». Фонтанчик посреди зала ровно шумел. Люди выходили, везли чемоданы. Мгновение – и в чуть великоватом костюме появляется лысый, напряжённый человек с удивительно родными чертами лица. Одна рука кулаком засунута в карман пиджака и оттого выдаётся оттуда через тонкую ткань, в другой дипломатик крепко зажат. И так, как бы прогулочным шагом, он идёт, особо даже не осматриваясь. Что-то подкатило к горлу, и тут мать толкает меня и смеётся:

– Свободный, как муха!

Мы бежим.

Встреча. Он останавливается, мать переходит на шаг, я тоже.

– Здравствуй, – говорит она.

– Здравствуй, – говорит он.

Она, чуть поколебавшись, целует его в щёку, а отец нерешительно её обнимает. Потом смотрит на меня:

– Ну, сын, здравствуй!

– Здравствуй, папа.

Слово «папа» даётся мне с трудом.

– Какой ты...

– Похожий на тебя, – улыбаюсь.

Я действительно очень похож. И лысина такая же. Хотя, когда мы с мамой уезжали, её ещё не было.

Мы выходим из аэропорта, и я показываю ему нашу машину. Это чуть помятая чешская «Шкода» тёмно-красного цвета.

– Вот, – говорю, – машина.

Он не удивляется и садится рядом со мной, водителем. Мать молча сзади.

– Хорошо ведёшь, – говорит чуть позже. – А чинить умеешь? Вдруг сломается?

Отрицательно качаю головой.

– Но ведёшь хорошо, – повторяет.

С любопытством оглядывается. Я начинаю объяснять: в ту сторону – Ашкелон, юг; за плечами – Тель-Авив, сейчас въедем в Иерусалимский коридор.

Квартирка наша в 54 метра сильного впечатления, конечно, не производит. Вот только вещи, думаю, напомнили о себе – два ковра, красный и зелёный, да сервант двадцатипятилетней стойкости. И тут мне торжественно вручаются мужские подарки: одеколон «Офицер», пара тёмных носков и маечка.

Что ж, я не против.

За столом на вопросы отец отвечает односложно:

– Как на Украине?

– Нормально.

– Пенсии хватает?

– Да.

– Мы слышали, – говорю, – военным пытались её сократить?

Немедленно срывается:

– Пусть только попробуют!

Включаю телевизор: одна русская программа, другая, третья.

– У вас, на Украине, такого нет?

Пренебрежительно машет рукой:

– На кой бес мне нужен стресс.

На следующий день, утром, мы уходим на работу: мне отпуска не дали, а мама сидит с ребёнком. Отец будет один.

В семейном альбоме больше всего люблю одну фотографию: молодой лейтенант с чубом, его жена, моя мать, русоволосая учительница, и я, маленький. Конечно, там есть и другие фотографии – тот же лейтенант, страшно довольный, держит руками большущую рыбку перед камерой; майор с залысинами произносит энергичную речь в обклеенной лозунгами комнате; напряжённый, измученный человек в неудобном гражданском отставил левую ногу, подчёркивая свою как бы свободную позу. Альбом мы, когда отправлялись в путь, забрали с собой. А нового почти не нафотографировали. Все десять лет уместились в пять-восемь снимков, яркостью извиняющих скудость бытия.

Перед приездом отец спрашивал, сколько здесь стоит день проживания. Я ответил – два доллара. Два доллара умножить на двадцать дней получается сорок. Он успокоился и приехал.

Итак, я выхожу из дома и отправляюсь на фабрику. Когда возвращаюсь, отец стоит и рассматривает картину, подарок мне местного художника.

– Что за мазня? – ехидничает. – Хочешь, закрасшу?

Я дёргаюсь, и он смеётся, как ребёнок:

– Поддел? Заделал тебе козью ногу?

Гордо рассказывает: оказывается, в последнее время он стал активно рисовать, и все-все его очень хвалят. Что ж, я приношу с работы небольшие картонки и покупаю кисточки и краски.

В ближайшие выходные мы отправляемся в Старый город. Религиозные святыни спрятаны в укромных закоулках базара, от пестроты рябит, и мой растерявшийся спутник начинает ошалело вертеть головой по сторонам.

– Русски, русски, сюда иди! – кричат ему арабы.

Зло выпрямляется и шипит на них:

– Скотобаза...

Чёрной кляксой мелькает ортодокс, отец хватается за старенький «Зоркий», поднимает его к глазам, нажимает куда-то не туда пальцем, растерянно опускает и рассматривает:

– Что-то я без очков рубильник не найду, – говорит беспомощно.

Я показываю нужную кнопку. В это время появляется и опять быстро теряется в толпе очередной человек в чёрном, и отец, было потянувшись за ним, обречено машет рукой:

– А, ч-чёрт, пропускаю! – для него они экзотика.

– Можешь не волноваться, – улыбаюсь, – ещё встретишь.

Доходим до Храма гроба Господня, он забежал, приседает:

– Крупно, крупно надо взять, – бормочет, – захватить.

И неожиданно разворачивается:

– Какая девка пошла! – делает из ладони козырёк над глазами и, провожая, восхищённо качает головой. – Царица! – В мимолётном на меня взгляде чувствую снисходительность.

Мы очень плохо уезжали. Деревянные ящики в сразу ставшей похожей на сарай квартире и напряжённое молчание. Разрыв был полный. Когда-то прильнувших друг к другу людей разбросало, словно электрическим разрядом. Я не в счёт: долго жил один, приехал только перед отъездом. А теперь мы с мамой условились: ни о чём серьёзном не спрашиваем. Захочет остаться – милости просим. Захочет уехать – уедет.

Отправляем его в трёхдневную поездку на Мёртвое море.

– Знаешь, – делится мать, – он ведёт себя, будто ничего не случилось. Фотографирует, обнимает, даже ревнует, – лукаво улыбается. – Ты это понять можешь?

Пожимаю плечами.

– Я позвонила тогда, помнишь? Очень обрадовался. А когда попросила развод – бросил трубку.

– Мама, я помню и другое.

Она вздыхает:

– К сожалению.

Через три дня отец приезжает с Мёртвого моря совершенно больной. Укладывается в большой комнате с тряпкой на голове и охает.

Выясняется, что, оставшись без присмотра, папаня немедленно решил тряхнуть стариной: купил бутылку водки и героически распил её на двоих. А теперь последствия: давление, глаза, ещё кое-что. Свалился. Мать, сдерживая смех, за ним ухаживает. Она за прошедшие годы отвыкла от таких фокусов, а теперь потихоньку привыкает обратно.

Но вот отец снимает тряпку со лба, переходит из лежачего положения в сидячее, и немедленно выясняются интересные подробности. Оказывается, мужик, с которым он пил, проявил себя «некачественно», оказался «кусочником» и «скотобазой», за что получил по заслугам. Короче, подрались. Показывая свою силу, толкает меня в грудь и приходит в очень хорошее настроение. Кричит:

– Молодец! – и через паузу совершенно счастливо добавляет: – Твой отец.

Ну, это, как и «свободный, как муха» я с детства помню...

Немедленно решает нас запечатлеть. Командует:

– Встаньте так, и встаньте так. Повернитесь. – Пускается в объяснения. – Света, понимаешь, у тебя шея обвисла, а я хочу, чтобы её не было видно.

Мать краснеет:

– Ты облезлый старый павиан, а моя шея всем нравится! – уходит в другую комнату.

Отец медленно опускает фотоаппарат, на лице ожесточение.

Проходит ещё неделя.

– Он молчит, – шепчет мать, – а если он молчит, зачем он приехал? Он что, турист?

– Не знаю.

– Так может, спросим? Чего мы боимся?

– И что ты получишь в ответ?

Она пожимает плечами и, как-то враз устав, тяжело поднимается и идёт к плите.

Неожиданный звонок. Девичий голос важно объявляет:

– С воскресенья милуим.

– А почему вы мне заранее ничего не прислали? – возмущаюсь.

Девушка признаётся:

– Наш офицер забыл.

– Тогда не поеду!

И она запальчиво заявляет:

– Это некрасиво!

Отец в спортивных штанах фланирует рядом. Навострил уши и спрашивает:

– Ну что?

– Да вот, – говорю с досадой, – армия.

– А вот если бы я был помоложе, – заявляет, – точно пошёл бы служить. Ведь таких, как я, в Прикарпатском военном округе никого не было! Уж быстро бы заделал арабам козью ногу! – мрачнеет.

– Может, всё-таки отложишь отъезд? – под руку спрашивает мать. – Ну, кто приезжает в Израиль на двадцать дней?

– Вам же накладно, – мнётся.

Когда я возвращаюсь из милуима, в воздухе чувствуется напряжение.

– Ты спрашивала?

Мать резко кивает и отворачивается.

В последнее время отец целыми днями рисует на принесённых картонках пейзажи, весь краской заляпался. Закончит миниатюру, вешает на стену и немедленно – за следующую. Видимо, расплачивается. Два доллара умножить на двадцать дней – сорок долларов.

Но вот упакованные сумки подтаскиваются ближе к двери, ночью звенит будильник, мы встаём и одеваемся.

– Давайте посидим на дорожку, – предлагает мать.

Сели, помолчали, и с богом. По пока безлюдному шоссе в аэропорт.

А в аэропорту уже регистрация полным ходом, и человек в форме, подозрительно косясь на набитые сумки, спрашивает:

– Вы провожающие? Вы его знаете?

Отец краснеет. Я смеюсь и объясняю:

– Обычная процедура.

После регистрации ему надо подниматься на второй этаж, нам же с мамкой туда хода нет, и мы останавливаемся. Отец – будто делая последнюю фотографию – напротив.

– До свидания, – выговаривает с усилием.

– До свидания, – послушно повторяем.

Мать бодро говорит:

– Учти, если будет война, придётся тебе нас принять.

– Да нет, – отвечает, – вас всех в Америку заберут.

Он отходит и, чуть спотыкаясь, шагает на эскалатор, медленно съедающий его силуэт. А мы, оторопев, стоим и смотрим, как бесконечно поднимаются и поднимаются пустые ступени.

октябрь 2000

ХОЗЯИН

Люди вообще очень отличаются друг от друга. Возьмём, например, Менаше. Оказывается, наш кудрявый, смуглый Менаше не может складывать маленькие коробочки. Но зато очень хорошо складывает большие. Они вроде и тяжёлые, и неудобные, а вот, поди же – Менаше с ними как песню поёт.

Или Сильвия, завязывающая узлом волосы на затылке – она через месяц идёт на пенсию, и в то время как тот же Менаше работает в поте, скажем, лица, постоянно волюнит время.

В самом запале производственного процесса, ни к кому конкретно не обращаясь, вдруг спрашивает:

– Это почему у нас так жарко? Опять кондиционер не работает? Пойду проверю.

И больше её нет. А появившись, ёжится и, зримо страдая, опять спрашивает:

– Интересно, а почему так холодно? Менаше?

– Ну?

– Менаше?

– А?

– Пойду надену носки.

Ещё есть Борис. Он чуть сутулится, но ходит быстро и ловко, так быстро и ловко, что каждый раз успевает первым отбить свою карточку об уходе. Борису всё равно, что складывать, но и у него есть особенность – неожиданно застыть посреди цеха и тяжело вздохнуть: «Ой, мама дорогая...»

Четвёртый наш человек, Адина, медленно ходит в бесформенном платье.

– Что-то меня тошнит, – говорит Адина. Открывает рот и тяжело дышит.

– А у моего младшенького, – живо отзывается её подруга Мирьям, – понос. Вчера были на бар-мицве, и вот теперь... понос!

Ольга, ещё одна сотрудница, обращается к Адине:

– Вы не можете ближе поставить клей?

– У нас рабов нет, – отвечает Адина, – встань и поставь, – кривится.

– Понос, зелёный такой, – уточняет Мирьям.

И тут неожиданно очень сильно волнуется Менаше:

– Где премия? Я спрашиваю, где премия? Мы ж всё выполнили? Опять не дали! А ведь начальник производства, он же... он же... как отец родной должен нам быть! А премии нет.

Женщины переглядываются.

– А ты скажи, скажи ему! – ележно тянет Адина.

– И скажу!

– Да побоишься!

– Скажу! Скажу! – синеет Менаше и от расстройства роняет коробку на ногу рядом работающей Ольге. Та охает, от боли у неё на глазах появляются слёзы. Менаше совсем растерялся и, чтоб как-то загладить вину, идёт к приёмнику и ставит Ольгину кассету с давно не играемой музыкой Чайковского.

– Что это ты выдумал? – резким голосом спрашивает Адина.

– Ну, немножко музыки, Адина... – примиряюще говорит Менаше, – немножко культуры ведь не помешает?

Адина обращается к Мирьям:

– Ты представляешь, они нас культуре будут учить!

Мирьям поднимается, идёт выключать приёмник. И тут слышит чёткий, натянутый струной, голос Ольги:

– Не смей!

Воцаряется напряжённая тишина, в эту тишину входит Сильвия и, подбоченясь, вызывающе объявляет:

– Ну, вышла на пятнадцать минут, ну и что?

На следующий день, в отличие от обычного, рты женщин плотно закрыты – рядом дети начальников.

– Я считаю, лучшее образование дают в Европе, а не в Америке, – громко заявляет один из них, светловолосый, – и папа мой так считает.

– А я уже решил, где буду учиться, – чёрненький подросток хмыкает, разглядывая заполненную коробочку, и отодвигает её подальше.

– Надеюсь, не в Бар-Илане?

Смех:

– Вот ещё!

– Эх, сейчас бы в Париж, там одно место есть на Монмартре, – светловолосый потягивается на стуле, – ресторанчик... Был?

– На ступеньках?

– Да.

– Конечно, был, а кто ж там не был... Устрицы кайфовые...

– Ой, мама дорогая! – неожиданно вздыхает Борис.

Светловолосый мельком оглядывается:

– У нас такого нет.

– А что у нас вообще есть? Провинция, скука... Одни крики: «Не отдавать, не отдавать!» Фашисты! Хочешь, вступи к нам в региональное отделение. Завтра совместная демонстрация на КПП.

– Да я уже.

– Странно, что не встречались.

– Я недавно. Слушай, а на кого ты учиться хочешь?

– Экономика, управление, а ты?

– Юридический. Больше привлекает. Папа советует международными делами заняться – там столько тонкостей...

В отдел заглядывает крепкий, холёный мужчина:

– Ну, Майкл, как ты?

– Нормально, па, – отвечает светловолосый и щелчком отбрасывает картонную коробочку к Менаше. Менаше багровеет.

– Давай, давай, как раз интернет оплатишь... – смеётся отец.

Конец дня. Ольга идёт домой. По пути заскочить в магазин, что-то купить – для рынка уже сил нет. Открывает дверь, заходит, квартира не своя – зябко. Сын, нескладный, высокий, как всегда, у компьютера – экран светится. Вот он повернул голову, улыбнулся. Глаза усталые.

– Как дела, мама?

У неё подкатило к сердцу, но она сдержалась.

– Серёжа, – сказала, – Серёжа... – и с трудом выговорила, – я сегодня видела твоего хозяина.

май 1999

СОБИРАТЕЛЬ САМОЛЁТОВ

Видел сюжет по российскому телевидению: отставной милиционер построил самолёт и летает. Моторчик в самолёте слабенький, и отставник делает только пару кругов над родной деревней. Но обещает долететь до райцентра. Ещё знаю человека по фамилии Самолётов, он не строит – собирает марки, и не с самолётами, а с кораблями. Много людей собирают марки, но этот – член международного клуба по маркам кораблей. Престижно. Вообще, важно в любом деле соблюдать традиции. Прадед, например, Самолётова занимал большую должность и сфотографирован в мундире с орденами, горизонтально торчат изумительной красоты и густоты чернящие усы. Так вот, он собирал картины передвижников. Дед, человек искусства, не очень знаменитый, но удачливый, продолжал собирать картины и построил дачу в Гурзуфе: небольшой домик, веранда закрыта виноградом, апельсиновые деревья, в бочке с проржавевшими обручами накапливается дождевая вода и плавают в ней лёгкими лодочками упавшие листья. Забор в забор рядом – Лев Пав-

лович, Константин Абрамович, а потом даже Захар Петрович. Утром выбегаешь во двор, послали укропчик с грядки сорвать, и слышишь характерный, знакомый всей стране голос:

– Здравствуй, Коленька, а где дедушка?

Дед ещё успел сделать фильм «Дни хирурга Шишкина» – попытался прославить сына. Я фильм не смотрел, но многие смотрели, хотя уже не могут вспомнить сюжет. Шишкин коллекционировал трубки – больные привозили. Теперь отпрыск славной семьи показывает мне и марки, и трубки, а картины прячет. И на дачу в Гурзуфе не пригласил: пропала дача в перестройку и переделку. Вообще, непонятно, что русский Самолётов делает в Израиле. В России сейчас март, ветер, на обочинах тротуаров лежит истончившийся потемневший снег, а у нас апрель и высокое бездонное небо над жёсткой сухо-красной землёй. Единственное сходство – приклеенные над головами, как фетровые шляпы разных фасонов, надменные недотроги-облака. Мучается Самолётов, не показывать марки, а излить душу пригласил он: в Израиле у него семья, в Питере – любовь. В Израиле апрель, в Питере март, самое начало весны, и горит сусальным золотом торжественный шпиль Адмиралтейства, любимая живёт на Фонтанке, и под её окнами, звеня, ходят трамваи. Это вам не поспешно собранный одинаковыми кубиками Арад. В таком городе, как известно, тайн не бывает: пустынно, открыто, цветочки на площади, местный культурный центр, оттуда баян, центральная клумба выложена цветными кирпичиками. Ни тебе мансард, Медного всадника, закрытых карет, императорского дворца, только накатывают с Мёртвого моря неистовые закаты, окрашивающие кровью кипящий молоком воздух. Я был на свадьбе в этом Араде. Раввин в тишине прочитал необходимое, запинаясь, повторила слова пара, раввин облегчённо подмигнул, хлопнул жениха по плечу, и тот с удовольствием стал целовать невесту. Заиграла музыка, гости бросились танцевать, и вдруг среди белотелых больших женщин я увидел эфиопа. Маленький, растянув губы в улыбке так, что на остатках щёк образовались жёсткие вертикальные полосы, показывая крупные зубы, он счастливо дёргался в такт ближайшей жаркой изнемогающей в тесном бюстгальтере груди, и на ушах его блестел шоколадный свет. «Пушкин», – подумал я. И все кругом зашелестели: Пушкин, Пушкин, Пушкин!

Потом я долго уезжал из Арада, нет, меня ничего не держало. Просто машина, у меня ещё тогда была машина, упрямо возвращалась к Мёртвому морю. И мы с девушкой, у меня ещё тогда была девушка, она закончила школу медсестёр и устроила с моей помощью каникулы, груди её от жары и солнца были солёные, мы постоянно попадали в место, где европейские бомжи, прижавшись друг к другу, спали в палатке. Рассветы сменялись закатами, и было непонятно, пока не попробовали, как можно спать в такой жаре. Нам удалось уехать через три дня, я был счастлив, все три дня мы ели только мороженое. А

теперь я сижу с Самолётовым в его большой квартире, где для носков отдельный шкаф в стене.

– Ты меня уважаешь? – спрашивает пьяный Самолётov и плачет. – Я ничего не могу решить. И жена молчит, хоть бы крикнула! После этого ты меня уважаешь?

Когда-то я подрабатывал на выборах, обходил русские квартиры в районе, где на въезде стоит железная красная корова с разлетающимися ушами и открывается панорама на насупленный Старый город в перекрученных в тугие яростные жгуты молитвах. Странное было дело, заходишь в квартиру: стены, диваны, дверь в кухню открыта, женщина в ситцевом халатике, и сразу чувствуешь, мир тут или надлом. Без слов.

– Ты сложный человек, – сказал я Самолётову, – в эмиграции тебе не хватает чувства ностальгии, а дома чувства причастности. В собственном столе ты не можешь найти чайную ложечку, чтобы помешать кофе.

– Автобус через дорогу, – ответил Самолётov.

Я шёл к автобусу, новенький тротуар, создавая видимость обжитости, снисходительно стелился к подъездам таких же новеньких домов, сияла жёлтым флагом остановка и кругом алели, спускаясь с нетронутых холмов, такие эфемерные и такие вечные маки. Я подумал: любовь – странное чувство. Одновременно ностальгия и причастность. Было время, я познакомился с охранником Борей. Его только перевели стоять с коротким чёрным автоматом, защищаясь ладонью от солнца, все торопились, и вдруг он меня задержал.

– Был в отпуске.

Я промолчал.

– Женился.

На следующий день опять:

– Был в отпуске.

Потрогал нос.

– Женился.

– Поздравляю.

Я отошёл и, не выдержав, обернулся: охранник, закрыв глаза, блаженно улыбался. А через месяц вдруг выпалил:

– Женщины такие примитивные!

Я сочувственно развёл руками, я тогда его поддерживал.

К Боре приходил сменщик, пожилой Яков Абрамыч. Боря обклеивал будку фотографиями женщин, Яков Абрамыч – машинами. Они поссорились, каждый начинал рабочий день с того, что сдирал со стен не нравящиеся репродукции. Наконец Боря налепил картинки снаружи и победил. Так вот у Якова Абрамыча был родственник-банкир, и Яков Абрамыч, как бы сиюсья понять, каждый раз риторически спрашивал:

– Как же так, ведь он торговал презервативами, откуда банк?

Я пожимал плечами.

– Он мне до сих пор четвертак должен, а теперь звоню, и мне отвечают: его нет дома. А я ведь только на квартиру занять,

– на розовом лице бывшего советского инженера явственно прорисовывалась обида, – я бы вернул, – повторял неуверенно.

Да, Самолётов, что ты теперь? Ни презервативов, ни нефти, ни дачи в Гурзуфе. А ведь и Лев Павлович, и Константин Абрамович и Захар Петрович вывернулись. Сохранили и дачи и квартиры. Не хватает деда, ох как не хватает, отец подкачал, а внук тем более: мотается по делам хозяина на синеньком «фиате-уно», чтобы сесть на заднее сиденье, надо поднять переднее. Единственное, усы как у прадеда, только вниз. Я его опять встретил:

– Одна девушка, – сказал с тоской Самолётов, – поскользнулась в ресторане, сломала ногу, подала в суд и выиграла двадцать тысяч. Почему поскользнулась? Выплеснула воду в лицо бой-френду и собралась уходить. Другая вылезала из окна уборной, упала и сломала два зуба. Получила четырнадцать тысяч. Зачем вылезала? – Убегала из бара, не хотела платить. Третьего укусила собака соседа – тридцать тысяч. Почему укусила – он постреливал в неё из пневматического ружья.

Вздыхнул:

– Везёт же людям.

– А как же Питер?

Безразлично бросил:

– Всё.

Да, Самолётов, что ты теперь? А ведь мог плакать. У него ещё тогда вырвалось:

– Я вдруг понял, насколько я счастлив с этой женщиной, мы прожили два месяца, я никогда так не жил, мне ничего кроме неё не нужно. Начать бы жить сначала.

Хитрец. Как просто: начать жить сначала – в синем небе набирает высоту самолёт. Остается внизу золотой гордый Санкт-Петербург со ставшими публичными императорскими дворцами, тонет в гармошечной мелодии и наплывающих с Мёртвого моря мрачно-торжественных закатах Арад, стоит на площади Восстания банк богатого родственника, спешат к нему чёрные длинные машины, то ли «мерседесы», то ли катафалки, выше – растерянно оглядываются, изумлённо качая известными всей стране головами, Лев Павлович и Захар Петрович, воздуха уже не хватает: читает письмо в маленькой квартирке у Фонтанки женщина, жестокий город Иерусалим возносит молитвы. Ещё выше! В сплошной весёлой синеве нет ничего, фетровые шляпы облаков где-то совсем внизу истончаются и рвутся, самолёт радостно покачивает крыльями, этот лётчик похож на Икара.

Меня преследует одно и тоже чувство: я бегу по беговой дорожке в спортзале, дорожка движется всё быстрее, быстрее, я не успеваю, начинаю отставать, дорожка делает неожиданный рывок, я падаю и врезаюсь спиной в сзади стоящую стеклянную дверь, сыплется стекло, крики, я открываю глаза – жизнь начинается снова. Отставной милиционер строит самолёт.

ТРИДЦАТЬ ТРИ ШЕКЕЛЯ

Я люблю, когда в городе темнеет. Дома, дорожные фонари, машины, колючая проволока над бетонным ограждением у рынка «Махане Иеуда» приобретают более отчётливые очертания, и сами разноцветные люди: с одной стороны, приглушены проявившейся в воздухе дымкой, с другой, — ярче звучит их смех, голоса, обособленная жизнь. Как раз в это — вбирающее свет и не отпускающее на волю темноту — время я зашёл в книжный, где у входа на деревянной подставке красуются искристые журналы с гляцевыми актёрами.

Свет проливался неправильной окружностью на выщербленные плиты перед дверью.

Полная женщина сидела за широким столом, а рядом с ней — седой бородатый человек.

— Юра, ну что вы прячете журнал с женщинами в сумку, — смеялась продавщица, — зачем вам, вы же их не любите?

— Ничего и не прячу, — защищался старик, — просто в руки взял.

За последнее время книги испортились — плохая бумага, топорливые серые буквы, странное оформление: на томе Стейнбека девушка подмигивает, на стихотворениях Мандельштама Юдифь с головой Олоферна. Но важно — в спокойном свете еле колеблемая атмосфера остановившегося времени, лихорадочный наружный мир исчезает. Из глубины магазина знакомый человек идёт здороваться:

— Вижу, вижу, привет, купишь что-нибудь моё? — обвёл загорелой рукой репродукции на стенах. — Хотя это, конечно, не сами картины. Всего сто долларов. Но могу скинуть. Немножко. А если нет денег, купи альбом Иоселиани. Волшебник Иоселиани! Смотри! — чиркнул указательным пальцем по картинке — ноготь отполирован. И обратился к продавщице. — Тут человек интересуется, Иоселиани сколько стоит? Восемьдесят? А скинуть? Семьдесят пять? Человек интересуется.

— Человек ушёл в сторону, — я отодвинулся.

Я действительно уверен: книги могут остановить время. Они останавливают, а ты стоишь, читаешь. Маленький шаг, опять читаешь. Среди ярких горделивых ламинаций — книжечка карманного формата. Название на жёлтом поле мягкой обложки еле видно. Внутри: «...человек, живущий одновременно в двух мирах — материальном и духовном, является единственным существом, которому дана возможность духовно подняться над самим собой». Перевернул страницу: «...борьба души за достижение поставленной перед ней цели является в то же время и борьбой всего мира за своё спасение». Мне стало не по себе. Невозможно дочитать и жить как жил: «Миры», «Божественное проявление», «Душа человека», «В поисках самого себя», «Заповеди»... Понять мироустройство — и что, отложить в сторону? Хотя, спокойнее, я всё-таки преувеличиваю — ведь хожу в своём Иерусалиме по улице Пророков? И ничего. Надо просто ку-

пить как обычную книгу. Она старая – восемьдесят девятый год, издательство «Шамир», типография «Искра революции», своеобразное сочетание. Что особенного, кто-то прочитал, сдал на комиссию, сейчас выручит двадцать шекелей. Хотя несправедливо – двадцать шекелей. Блестящие с твёрдыми обложками книги стоят ненамного дороже. Нет, свинство – двадцать шекелей. Вот сбросят, куплю, а так, пусть подавятся. Хоть шекель выторговать. Подошёл к столу.

– Одному приятелю давали пробовать разные салаты, – рассказывал старик, – приятель поливал кетчупом и всё хвалил.

Продавщица шмыгала носом.

– А Новая Зеландия, представляете, приглашает на место жительства.

Продавщица шмыгала носом.

– И в Японии я жил.

Продавщица чихнула.

– Вы что, простудились?

– Да вроде нет, аллергия.

Обратила внимание на меня:

– Хотите купить?

– Почему она стоит двадцать шекелей?

– Ну, стоит.

– Скиньте.

– Ладно, – опять чихнула, – девятнадцать.

Старик скосил любопытный глаз, брови кустистые, неожиданно чёрные:

– Каббалой интересуетесь?

– Нет, – я внезапно разозлился.

Положил книжку и вышел. Уже стемнело, журналы на деревянной подставке жалобно просились внутрь, я обернулся: по-прежнему уютно сидели старик и женщина, круг света, так бестолково лежащий на мостовой у входа, светился ярче, и в нём появились тени. Вот подниму и уйду, подбрасывая на ладони. Этот свет вряд ли обжигает, ну греет, в лучшем случае. Поток навстречу люди, продавец нумизматики и старых часов, всегда сидящий чуть ниже, медленно складывал не покупаемый товар. Я, кстати, заметил, он каждый раз забывает какие-то монеты. В этот раз оставил греческие. Я их рассмотрел в русском магазине у прилавка с колбасой и направился на рынок. Приткнувшись к пиццерии, стояла военная машина, и без отсветов мерно вращался её синий предупреждающий свет, маленькая светловолосая девушка с птичьим худеньким лицом задорно подпрыгивала вместе с автоматом, пытаясь показать таким же военным, как и она, подружкам супермодный танец.

– Скидка, какая скидка! – орали со всех сторон. – Ай-я-яй, скидка!

Я нащупал в кармане полтинник, купил помидоры, кабачки, синенькие, немного лука, картошку, капусту, зелень. На всё про всё тридцать три шекеля. Если бы цапнул книжку, точно бы не

хватило. Не надо быть математиком. Позвонил домой и добавил десять булочек за пять шекелей. Это уже не тридцать три, а тридцать восемь. Перехватил сумку и через дорогу. А на автобусной остановке женщина мается, лицо полное, круглое, подошла ближе:

– Мужчина, не вы мне советовали купить самокат?

– Нет.

– Вы понимаете, если купить велосипед, то ведь можно с него упасть, правда? А самокат – оттолкнулся и ножкой, ножкой. У вас часы есть?

– Есть.

– А у меня нет. Интересно, сколько времени?

– Не знаю.

– А восемнадцатый будет?

– Будет.

Восемнадцатый появился. У шофёра улыбка такая, будто зла в мире нет. Убил бы.

май 2002

МОЙ БУДДА

Я уезжал, а на следующий день начинался фестиваль. Только вчера тайская девочка с тугим сильным телом делала мне, ошарашенному красной полумглай, скользящий мыльный массаж, и я осторожно дотрагивался подушечками пальцев до её лица-маски мадонны с узкими глазами, как бы оставляя свой рисунок-паутину на гладкой коже её нерезко очерченных скул или чуть припухших потрескавшихся губ. Она улыбалась, не меняя выражения занавешенных глаз, потом поднялась, и надо было смывать с тела мыло, но тут мне стало неожиданно очень холодно под презрительным взглядом могучего стражника этой комнаты – кондиционера, сквозь решётки нагнетавшего ледяное дыхание всей силой фреоновых лёгких. Видимо, ей тоже нечто не понравилось в его поведении, и, плавно переступая маленькими ногами, приблизившись, как истинная повелительница, она легким нажатием равнодушно отключила и его взгляд, и его лёгкие. Повернулась ко мне сосками торчащих в стороны полных грудей, и я обрёл уверенность в наплывающем вытягивающем чувстве. Потом она терпела моё тело, удивлённо вздыхая и показывая уже не сонными глазами, что не ожидала таких атак, а когда всё кончилось, села, скрестив ноги, и негромко рассмеялась. Включила настоящий свет, осветивший стенные углы и край ванны, видный с моего места, и надо было одеваться, закрывать враз ослабевшее существо нижним бельём, рубашкой, брюками, носками, сандалиями, часы на руку, чтоб зачем-то знать очень точно время, разбить эти стрелки... Мадонна в наброшенном халатике повернула ручку, открыла дверь, и мы пошли по коридору, устланному ковровым

покрытием, к лифту, а в лифте она, неожиданно потянувшись, чмокнула меня в губы, просто прося немножко денег, ну, может, купить контурный карандаш, подвести свои занавешенные глаза, или лучше – алый лак для ногтей на руках и ножках, или.... Но я не дал ей денег. Она, ещё надеясь, робко, обиженно взглянула, но вдруг дёрнулась и, разом занавесив глаза, шагнула в сторону. Нет, я действительно не знаю, почему я не дал ей денег. Счастья, по крайней мере, такое их количество мне не принесёт, а ей было бы спокойно, что всё на свете правильно и после хорошей работы следует достойное вознаграждение. Но жизнь, мне представляется, всё-таки штука сложная и неправильная, хотя я в ней ещё до конца не разобрался.

Я уезжал. Я стоял с чемоданами в холле гостиницы, собираясь вернуться в прерванную на две недели реальность сухих точечных дней, в которой, заняв у банка сто тысяч долларов, купил маленькую квартирку с проржавевшей канализацией, и где мои одинокие отношения с окружающим миром вроде бы утряслись. Смешно: вроде бы утряслись.

Отправляясь в отпуск, я не хотел ни с кем видаться. Узбекская авиакомпания на свежкупленном Боинге перенесла меня с группой соотечественников сначала в город Ташкент, но в город нас не выпустили, и шесть часов пришлось сидеть в транзитном зале, где, напоминая о былом, на мраморных лестницах лежали величественные ковры, но в туалете из сломанных крапов безостановочно текла вода, и, дополняя картину, холодный мартовский ветер дул из полуоткрытых зарешеченных форточек. Нас пригласили в помещение под громким названием «Ресторан», дали на бесцветных тарелочках еле тёплые макароны с варёной котлетой худших брежневских времён и распределили на четыре человека по две бутылки «Кока-колы» без стаканов, так что один из израильтян с кудрявой головой и весёлым носом, одетый в широченные шорты и тесную жёлтую майку с надписью «Офаким», имел все основания заявить, что окружающий мир прост и примитивен. Бангкок же встретил мощным ударом насыщенной духоты, и водитель такси с глубоко запавшими глазами повёз меня в отель «Азия», где окна моего номера выходили прямо на поднятые над восьмимиллионным городом пролетающие один за другим поезда метро. Но тут – стоп: я не буду рассказывать о крылатом, устремившемся в небо Бангкоке, крепко держащем в зубастой пасти вечно пылающий факел для освещения своих Будд. Нет – его горделивым небоскрёбам, изматывающим дорогам, зелёной речной воде, куда по колени шагнули сваями дощатые дома жителей, плавучим рынкам, чайна-тауну, в глубине которого спрятан на удивление прохладный храм, воздух которого одет в красное. Опять красное. Два старых китайца населяли этот храм, храня тишину в складках морщин, и, смущённо попятившись, я увёл себя назад.

Я бежал из Бангкока на третий день. В Эраванском святилище золотой Брахма спокойно принял купленные дурмящие

цветы, я, как бы уже имея право, сложил руки ладонями вместе, поднял их выше себя, встал на колени и неожиданно задохнулся. Ручеёк пота сбежал за ухом, солнце взорвалось, руки разошлись, и влажный воздух недоумённо прошёл между пальцами. Странное чувство: к красному цветку примешивалось жёлтое. Я неловко поднялся, звучала негромкая музыка, чего-то мне не хватало, монах с тележкой собирал и собрал чадящие палочки, я не находил себе места, девушки в национальных костюмах начали танцевать, я согнулся в приступе какого-то странного пароксизма, пожилой таец положил впереди бешеной яркости овальные плоды, тут неожиданно блеснуло, я, освободившись, рванулся, чуть не упав, к выходу, крикнул так-си, забился в нём на заднее сиденье, и последнее, что видел: текущий с золотыми пылинками воздух за окном. Через два часа я уже ехал в Патайю на рейсовом автобусе с тщательно задёрнутыми от солнца занавесками.

Ленивая, вялая Патайя. Ты опять спишь, или нежишься у моря, чтобы, как всегда, встрепенуться ночью, а я, вернувшись, украшаю себя витиеватыми воспоминаниями, будто слащавыми виньетками на старой фотографии.

На знаменитом шоу в предательском белом тоненький, чуть ли не в ладонь талия, накачанный гормонами трансвестит под восторженный визг китайцев ломал медленную музыку их эпоха иноходью диско. В неожиданном переключении ломко и восторженно забились летающие руки, и его утончённая фигура с бледным бумажно-напудренным лицом сладострастно ввинтилась в победный негритянский ритм. Прощай, Радищев. Твои записки – сор на дороге. Твоё чудище кусает свой хвост. Хватит, лучше заплати деньги, купи билет и смотри, как играет, танцует и искусно держит застывшую улыбку на необходимом месте эта сосущая непонятная тварь во всём белом.

После шоу я, как оглушённый, шёл под громадой чужого неба мимо открытых баров с их мигающими разноцветными лампочками и гремющей музыкой.

– Стой!

Я остановился как вкопанный: девушка с подсинёнными искрящимися глазами и чувственным ртом, улыбающимся нежно-розовой помадой, чуть подалась вперёд, ко мне, на сложенные по школьному на стойку бара смуглые руки.

– Ты куда идёшь, парень?

– Ну, – признался, – просто иду. Прямо.

Смех.

– Может, хочешь пить?

Я пожал плечами:

– Да, наверное.

Сел на высокий стульчик.

– Кола?

– Отлично.

И сам предложил:

- А тебе?
- Если платишь, – прищурилась.
- Плачу.
- Спасибо. Ты откуда?
- Израиль.

Тень недоумения в глазах.

– Маленькая страна, – объяснил, – совсем маленькая, всего пять миллионов.

– В Бангкоке восемь, – и пожаловалась: – мой английский очень плох.

– Мой тоже.

Девушка рассмеялась и протянула руку:

– Нет.

– Что, что?

– Меня зовут Нет. Смотри! – написала на счете за напитки: «Inter-Net» – А как зовут тебя?

– Непросто: Алексей.

– А-лек-сей, – повторила по слогам, – действительно, не-просто.

Мимо сплошным потоком двигалось нескончаемое желтоглазое стадо машин; с набережной ни ветерка, чуть подальше, в глубине, между стойками были видны канаты высоко поднятой площадки ринга, где двое худых, жилистых, одетых в широченные трусы резко били друг друга ногами. Я посмотрел на время: стрелка перескочила за час ночи, и решился.

– Нет, ты можешь пойти со мной?

– Конечно.

Спрыгнула со своего стула и вышла за перегородку. Стоя, она мне доставала до плеча.

– Я маленькая леди, – посмотрела тревожно.

– Мне нравятся маленькие леди.

Мы доехали до гостиницы, в номере Нет сразу пошла в душ, а выйдя, закутанная в синее гостиничное полотенце, как-то странно доверчиво прижалась. Я растерялся и погладил сверху мокрые блестящие волосы. Нет подняла лицо:

– У тебя есть жена?

– Подруга, но мы с ней разругались.

– Бэби?

Покачал головой и осторожно развернул полотенце: у маленькой леди были большие для её роста груди с поразительно длинными тёмными сосками. Нет лукаво посмотрела и отобразила полотенце:

– Холодно!

На той израильской девушке, о которой только что сказал, я хотел было жениться.

На восьмой праздничный день робкой весны мы встретились, и я подарил ей гордые, как лебеди, готические колюче-красные нежные розы. Она, ахнув, вдохнула аромат, застыла, и я клянусь: неплохое вышло сочетание бледного лица с полузакрыты-

ми на мгновение восторга глазами, пухлых капризных губ и ярко-го царапающего пламени цветов. Я и сам неожиданно получил подарок: тесно завёрнутый в коричневую бумагу дезодорант в чёрном флаконе. Тоже сочетание: смешно и немного стыдно.

– Этот запах меня возбуждает, – проговорила она, протягивая подарок.

– Понял, – я понял.

– Э-эй! Ты куда пропал?

Нет, сидя на кровати, покачивала руками свои заканчивающиеся морщинистыми дразнящими солдатиками груди и улыбалась.

Действительно, какая разница: розовые соски, тёмные соски, когда реакции одни и те же?

Я разделся, дотронулся до Нет и мгновенно забыл обо всём.

Через час она изумлённо сказала:

– Ну, ты даёшь! – и заснула сразу и беззвучно, забыв откинутую руку у меня на подушке.

Я же ворочался, ворочался, наконец, не выдержал и включил телевизор: в Бангкоке какой-то человек бил себя палкой по ногам, спине, на одежде всё сильнее проступала кровь. Но вот он отбросил палку, выхватил нож, воткнул себе в живот, упал, и фотографии приблизились вплотную. Через мгновение сцену повторили, плюс крупный план кровавых потёков у лежащего тела.

– Если хочешь, я уйду; если хочешь, я останусь, – сказала Нет на следующий день.

– Останься.

– Ура! Тогда пойдём есть. Я знаю место, где дёшево и вкусно.

Мы вышли, как пара детей, держась за руки: коренастый лысоватый очкастый израильтянин в шортах и майке и стройная смуглая девушка в красненькой кофточке и джинсах. Идём себе мимо «Herman House», где умный немец вкусно читает утреннюю газету, мимо заведения «Кабакъ» с пинающим стулья тонкогубым злодеем, мимо пустого «Irish Pub» – трубач, теперь он спит, сомкнув усталые губы, ночью выдул все звуки и забыл свою беззаботную трубу сверкать горячим жёлтым на солнце, и, наконец, увидели: на горизонте, сам себе тень и тепло, тонкий китаец в высоченном поварском колпаке пляшет у жаровни.

– Вот он, – повернула счастливое лицо Нет, – мастер! Мы будем есть «том йам гунг»!

Мы устроились за покаянный, наскоро протёртый тряпкой столик рядом с вентилятором, и он, разгоняя, разбивал горячий влажный воздух о наши спины. Важная круглолицая девушка в красном фартуке выслушала, кивая головой, подробные указания, ушла к своему мастеру, и я спросил, я всегда лезу, куда мне не нужно:

– Нет, у тебя есть парень?

Отрицательно покачала головой.

– Был муж, но мы разошлись, так что я одна, правда, у меня есть брат, но он далеко и он монах. Восемь лет, целую жизнь, я продавала рис, наконец, год назад оставила ребёнка с дядей, приехала сюда и все деньги, что я зарабатываю, я посылаю к ним. Моему мальчику десять лет, он учится в престижной школе, и ему надо полторы-две тысячи бат в неделю.

– Но это же страшно много! Сколько ты получаешь в баре?

– Две в месяц.

– А платишь за квартиру?

– Семьсот.

– Как же ты справляешься?

– Мне помогает мой Будда.

Круглолицая девушка принесла дымящийся суп и к нему белый-белый рис, я попробовал и оторопел от удовольствия.

– Скажи, здорово? – Нет сияла.

– Знаешь, я бы могла остаться с тобой, – вдруг храбро решила, справившись со своей порцией, – у тебя и снизу, и сверху всё нормально. Жаль, что ты на десять дней.

– Что у меня сверху, я ещё и сам не разобрался.

Нет хихикнула:

– Так разберись. Или пойдёшь к Будде.

Зазвенел звонок, она схватилась за сумку, вытащила телефон:

– Алло, алло! Ой! Ты где? Да? Ну и как?

Неожиданно сунула его мне:

– Поговори с ней, Алексей!

– Алло?

– Привет, – смеющийся голос, – что вы делаете?

– Завтракаем.

– В два часа?

– Так получилось.

– Очень даже интересно у вас получается.

Нет отобрала телефон и перешла на тайский.

– Это моя подруга, – сообщила потом, – она очень добрая. Я, приехав, была как слепой котёнок, не знала куда приткнуться, а Ой, встретив меня, поверила. Когда мне нечего есть, я иду к Ой, когда мне плохо, я иду к Ой, когда хорошо, я тоже иду к Ой.

– Ой красивая?

– Да. Если меня берут два раза в неделю, её берут каждый день. Но сейчас у Ой бэби, и она почти не работает.

Я расплатился, и мы встали.

– Тут рядом «Биг-Си», пойдём туда, погуляем?

– А что это такое?

– Такой центр.

– Давай, конечно.

Несмотря на то, что мы съели суп и к нему рис, а к рису рыбу с приправами, нас по-прежнему окликали продавцы съестного в шляпах-зонтиках, несущие на коромыслах огромные корзины с кальмарами, мясом, устрицами, креветками и ещё чем-то,

чему я не знаю названия, и каждый их шаг сопровождался звонком колокольчиков; нам призывно махали руками продавцы кокосовых орехов, а продавцы сладостей бодро катили навстречу светящиеся разноцветными лампочками тележки.

– «Success», – прочитала Нет название ресторана, у массивной двери которого был выставлен весёлый деревянный человек с открытым ртом, – что такое «success»?

– Ну, это как бы... Ну, например, – я нашёлся, – если бы ты была занята на следующей неделе не два дня, а все семь.

Вход в центр охраняли два маленьких бесстрастных солдата в коричневой форме, высоких сапогах и с пистолетами на поясе. Появился офицер, они, отдавая честь, синхронно взметнули руки к фуражкам и, подпрыгнув, ловко щёлкнули сапогами: вблизи будто лопнул воздушный шарик.

– Вперёд, наверх! – Нет не терпелось.

Мы вошли, забрались на последний этаж, попав в полукруглый сумрак кинотеатра, я машинально поднял глаза и ахнул: стремительный высокий потолок, раскрашенный синим и белым, вырываясь, создавал далёкое и прекрасное небо.

– Я ведь сюда часто прихожу, – сказала Нет с неожиданной грустью, – просто смотрю, больше ничего. А про «Success» неправильно, – вдруг добавила, запинаясь, – я не знаю, но совсем неправильно.

Мои нежные розы для черноволосой израильской девушки, моя ломкая гордость. Девушка, ахнув, прижала к лепесткам лицо, но тут зазвонил телефон и она, восторженно взвывая, взяла его со стола:

– Ой, это ты, Лена!

Она начала расспрашивать о знакомых, жаловаться на усталость, смеяться новостям, записывать рецепт торта, я же будто ждал очереди у телефонной будки, около которой проходят с шумом трамваи, и пронизывающий холод налетает ветром с набережной Фонтанки.

– Я к тебе хорошо отношусь, – часто повторяла эта девушка, а я только теперь понимаю, уйти надо было именно тогда, пока выпархивающие из любопытного рта мотыльки слов так мило кружились у передающей мембраны телефона.

– Не хотел тебя обидеть, – я виновато обнял Нет, – действительно, не хотел. Может, купим что-то? Хочешь мороженое?

Но она не хотела мороженого. Попросила:

– Пойдём домой.

Два дня мы любили друг друга, дышали в унисон, завтракали, обедали, ужинали, гуляли по набережной, смотрели телевизор, сначала CNN, и я возмущался и кричал:

– Это моя страна! Эти бомбы, эти трупы – это всё моя страна!

А потом переключались на тайские новости, показы мод, тайские фильмы.

Но на третий день я почувствовал – душно, я устал от близости чужого дыхания. В конце концов, я больше не хочу...

Вечером, когда хор слаженно пел славу их королю, я сказал:

– Нет, я завтра уезжаю в Бангкок.

– Я могу с тобой, – она не поняла.

– Я надолго.

Нет порывисто соскочила и начала одеваться: тоненькие чёрные трусики, лифчик, джинсы...

– Ты куда?

Бросилась ничком в кровать.

– Нет, ну пожалуйста, ну куда ты пойдёшь так поздно?

Медленно повернулась на спину. Сказала срывающимся голосом:

– У тебя отпуск, а я женщина для употребления. Мотобайк для поездок, женщина для употребления. Спи, Алексей, я уйду завтра, как ты хочешь.

Я заснул и во сне, как пытался вспомнить утром, кому-то что-то страстно доказывал, о чём-то просил, незапоминающиеся образы, смешиваясь, налетали один на другой, и при этом постоянно чувствовал, как рядом дышит и ворочается Нет. Но утром, решив не отступать, выложил деньги на столик рядом с зеркалом. Хотя она их долго как бы не замечала, мылась, потом красилась, наклоняясь очень близко к зеркальной поверхности, надела свою старенькую кофточку, особо медленно застегнув пуговички, тщательно пригладила её руками на себе, наконец, взяла, пересчитала, и ахнула:

– Алексей, это очень много, ты не ошибся?

– Бери, Нет.

– Знаешь, тогда что! – она решительно тряхнула волосами.

– Мы пойдём к Ой и устроим праздник!

Против этого, предчувствуя освобождение, я ничего не имел.

Но для начала Нет надо было переодеться: её комната с высоким потолком и облупленными стенами оказалась сплошь обклеенной оставшимися от прошлых жильцов плакатными целующимися парочками и полураздетыми женщинами, основной предмет обстановки – огромная тахта, у изголовья портреты: короля-мальчика с гордо поджатыми губами, короля-юноши с невестой-принцессой, и сегодняшнего короля, чуть усталого, с теми же жёсткими губами и в очках – за что они его так любят? У противоположной стены вешалка с несколькими сиротливыми платьицами, но мне не дали рассмотреть имущество до конца – опрокинули на основной предмет, раздели и использовали, двигаясь определённым образом, целуя и прижимаясь упругой тяжестью к груди, пока я, вскрикнув и выгнувшись, не отдал то, что от меня хотели.

Наконец, разъединившись, мы остывали, уже полубезразличные, вбитые в простыни, и смотрели, как вверх вентилятор безрезультатно размешивает плотную влагу воздуха; Нет опёрлась на локоть, потянулась к тумбочке, на торчащий сбоку острием гвоздь были наколоты счета, взяла тёмную шкатулку,

нажала на выступ, крышка открылась, внутри защebetала механическая птичка: «Сью-сью-сью, сью-сью-сью!»

– Смотри, смотри, какое чудо! – сказала Нет с восхищением. – Тебе, правда, нравится? Я возвращаюсь домой, открываю и мне становится легче.

Я взял шкатулку из её рук: маленькая зелёная птичка, раз за разом издавая звук, резкими движениями поднимала крылышки и голову. Круглая вешалка с тремя платяницами, портреты короля, поломанный вентилятор, жалкие удобства с тазиком и шлангом, изо всех сил старающаяся маленькая птичка: «Сью-сью-сью, сью-сью-сью».

Мне подкатило к горлу.

– Ну, хватит, – Нет осторожно закрыла шкатулку, – надо идти. Какое платье надеть, как ты думаешь?

Мы вышли и направились на рынок. Я уже за эти два дня увидел, что Нет умеет устанавливать дружественные отношения с самыми разными людьми, вот и сейчас, легко продвигаясь по рынку, как-то доверчиво советуясь, заразительно смеясь, важно расплачиваясь (от моей в этом помощи она возмущённо отказалась), Нет создавала вокруг себя ауру обаяния. Я же сзади ответственно тащил всевозможные пакеты. Наконец, мы закончили с покупками и приехали к Ой, высокой, выше меня на голову, девушке в мини, с яркой улыбкой и с хвостиком чёрных волос, небрежно перехваченных резинкой. На кровати лежал голый улыбающийся коричневый младенец.

– Это я с тобой разговаривала? – весело спросила Ой.

– Да.

Комната Ой была светлая, прохладная от кондиционера, на небольшой балкон смотрела стеклянная дверь.

Нет вдруг шепнула: – Я сейчас вернусь, – и убежала.

На работающем без звука телевизоре стояла фотография в рамке, я всмотрелся.

– Интересно? Это мой муж. Он итальянец. Мы разошлись, но он до сих пор ко мне приходит.

– Зачем?

– А ты как думаешь?

Ой взяла продукты и, напевая, стала возиться с ними на балконе, где на небольшой подставке стояла электрическая плитка, а резиновый шланг смывал с плиточного пола грязную воду в специальный сток.

Судя по фотографии, итальянец был гораздо старше Ой, лет, может, на двадцать; в его отяжелевшем лице читалось беспокойство, они стояли около каких-то коттеджей, и итальянец держал на руках девочку.

– Всё ему было не то, – сказала Ой, – всё меня ругал. А теперь приходит.

Она явно видела, что нравится мне, и относилась к этому с весёлым и необидным равнодушием.

– Скажи, Нет – сексуальная? – подмигнула.

Тем холодным мартовским вечером, кроме цветов, я ещё принёс моей возбуждающейся от дезодоранта израильской девушке стреляющий фильм «Матрица», мне почему-то очень хотелось его показать.

– Вот увидишь, он тебе понравится, – сказал я с восторгом.

– Ладно, – согласилась она, – будешь кофе?

– Буду.

– А конфеты?

– Пожалуй, не надо.

– Ну, я на всякий случай поставлю.

Включили телевизор и почти-почти досмотрели фильм: опять телефон.

– Алло? – вскочила и, ловко обогнув меня, пошла в кухню.

Мерцал телевизор, притушённые, стояли цветы, местный житель – рыжий скверный кот бродил кругами, то попадал в свет, проливавшийся через полуоткрытую дверь из кухни, то исчезал – уныло нанизывал на хвост минуты. И во мне стал сворачиваться и разворачиваться осьминог. Девушка вернулась, в глазах некое напряжение, полуулыбка. Взглянула на часы и вдруг зевнула:

– Что-то я устала, такой день тяжёлый.

Ожидаясь посмотрела. На журнальном столике чашка, из неё я так и не допил кофе. Жалко. Я было дёрнулся допить, но застыдился, встал, она торопливо меня чмокнула.

О, как сладко чувство унижения! Не смешивающееся ни с чем, чистое в своей незамутнённости, какие тоненькие струнки.... Но шутики в сторону, тут полумерами не обойтись, если ты способен что-то испытать, надо добрать до конца. Поэтому я не ушёл, и в приبلудной компании двух подмигивающих, забавляющихся под ногами кошек ждал, пока она не вышла и не села в машину. Но этого мне показалось мало, и я почти дрожащими руками стал набирать её номер, – а вдруг найдётся объяснение? Но телефон молчал. Со мной она ни при каких обстоятельствах не выключала его, а тут – закрыла. И тогда мне пришла в голову замечательная мысль, хотя вы, конечно, скажете, детство? Может быть, но я вскрикнул от восторга, и мои бедные сопровождающие кошки, забыв друг о дружке, рванули в стороны. Нет, я не сотворил ничего страшного, просто зашёл обратно в дом, вытащил дезодорант, ах, какой запах! И, сильно и долго нажав, выпустил весь газ на знакомую дверь: мне не жалко, пусть наслаждается. Аккуратно поставил пустенький на коврик: ку-ку, и, будто во сне, с телом легче наилегчайшего пуха, полетел домой. Вот теперь я её прощаю. Только так и надо поступать: тебя ударили, а ты прости, да не просто прости, а доставь удовольствие, облагородь ударившего. И тогда никаких войн, пожаров, дезертирства, а ты, уединившись, потихоньку потираешь другую щёку, чтобы она приобрела тот же цвет, что и битая.

– Скажи, она сексуальная? – повторила Ой.

– Сексуальная.

Длинная её прядь волос, каким-то образом выбившаяся из резиночки сзади, всё падала на глаза и явно ей мешала, но руки были заняты картошкой, Ой дула вверх, поправляла плечом, но это мало помогало. Я встал и, подойдя, убрал чёлку. Глаза Ой сузились, и, уже специально дёрнув головой, она упрямо уронила прядь. Но тут ворвалась счастливая Нет, сзади внесли большой ящик.

– Я купила телевизор, я купила телевизор!

Мы сидели на ковре около кровати, младенец заснул и не мешал, Ой обняла маленькую Нет, которая, внезапно погрузнев, совсем не ела, а сзади итальянец мрачно смотрел на их спины. Мне даже показалось, что его нервное лицо чуть повернулось для лучшего обзора.

Немного погодя, присоединилась ещё женщина, возрастом старше всех, очень медленная, с величавыми, плавными движениями:

– У меня был друг из Греции. Я думаю, Израиль рядом?

– Рядом, – я подтвердил.

– Так ты действительно оставляешь Нет? – неожиданно спросила Ой.

– Ой, зачем! – Нет дёрнулась, – я же тебе объяснила: моя работа с Алексеем кончилась.

Вечер пожирал звёзды одна за другой, но мне было всё равно, свободный, я шёл по ночному городу, и девка-реклама, светясь, зазывала меня в свои притоны.

Перед расставанием Нет, накрасив заново губы, подала мне по-мужски руку и, готовясь с побледневшим лицом, как к бою, к ночной работе, куда-то в пустое пространство сказала:

– Я точно знаю, мой Будда меня сегодня не оставит, я подцеплю американца.

Цепляй, цепляй, мне-то что? Игра в любовь для меня вышла дороже, чем обычные встречи. Я ещё раз взглянул на рекламу и застыл: всё вокруг стало жёлтым. Потекли жёлтыми пятнами здания, вспух жёлтыми пузырями асфальт, и жёлтое рассохшееся небо просыпалось ржавчиной на голову. И в этой сухой жаркой желтизне показалась тоненькая фигурка с детским личиком, в беленьких обтягивающих джинсах и беленькой рубашечке. Милая... Моё разовое чудо... Что? Мне махнули рукой? Вся безумная тяжесть спустилась вниз и сосредоточилась в одном месте, мир сузился до колеблющейся приглашающей узкой фигуры, я двинулся за ней, как сомнамбула.

Но чудо, как всякое чудо, продолжалось недолго: из комнаты в жуткой дощатой гостинице выскочил худой мужик в юбке, показав на мгновение старое лицо под чёрными спутанными волосами, и я понял. Комок подкатил к горлу, желтизна подёрнулась рябью и рассосалась, оставив привкус прогорклости в горле.

– Мужчина, что-то не то?

Меня замутило.

– Не то, – я собрался с силами, – но это уже не имеет значения.

«Мой Будда, а мне, значит, ты это приготовил? – мелькнуло, – ты так хочешь? – Ладно, я в твоей стране».

Фигурка разделась, обнажила чуть припухшие соски, ломкое, коричневое тело, руки тростинками, более широкие на локтевых сгибах, на бёдрах осталось полотенце. Да даже если бы я хотел уйти, уже не смог бы – ноги не повиновались.

От существа несло не женским и не мужским духом, некая смесь табака и духов, я прикасался и одновременно отталкивал его.

– Мужчина, а деньги?

– Всё тебе деньги, – и я, ахнув, шарахнулся в сторону.

Андрогинное тело на моих глазах стало изменяться, становилось усадистым, грузным, полез вперёд живот, оплыло лицо, на меня смотрел я сам.

– Мужчина, а деньги?

Мой Будда, каждый раз я трахаю себя сам.

Потный и грязный, я поплёлся обратно, совершенно обычный вечер (и откуда я взял желтизну?) к тому времени уже пожрал все звёзды и повесил пелену ещё большей духоты. А я думал, что всё-таки я дурак: ну зачем мне надо было следить тогда? Ведь мне нравилась эта девушка, и я догадывался об её фокусах. Ну, поспал бы дома, поулыбался, будто ничего не случилось, месяца через два женился, и потихоньку бы приручил. Я обязан силой приучить, вдолбить себе, написать на лбу: хочешь быть рядом с человеком – прощай ему!

Но не всё так легко заканчивается, в этот вечер я ещё раз встретил Нет. В дискотеке «Бомбей» девочка с узкими глазами и ниспадающей чёлкой, пританцовывая на эстраде в огромных сандалетных платформах, запела тайскую зажигательную песенку, все повскакали с мест, и я вдруг увидел рядом с полупьяным, голым по пояс, длинным парнем Нет. Маленькая, ловкая, со своей поразительной грудью, повязав голову его рубашкой расцветки американского флага, она вся отдалась танцу, при этом не упуская момент прижаться точно так же доверчиво, как прежде ко мне, к остоленевшему, еле передвигающему ногами, партнёру. Я растерялся – может, уйти? Но вместо этого упрямо сел около танцплощадки и взял кофе. Нет с парнем ещё потанцевали, парень заказал пиво, Нет хохотала, дурачилась, рисовала что-то ему на листочке бумаги, подмигивала, наконец, повела к выходу, бережно придерживая за талию. Но, проходя мимо, вдруг бросила на мой столик записку. На обратной стороне счёта за напитки были написаны всего четыре слова: «How are you, Alexei?»

Ну что я могу рассказать?

Сью-сью, прощай, маленькая птичка.

июнь 2001

Юлий Ким
ТЕМА ЛЮБВИ

К ГЕРДТУ

Изо всех наилучший Зиновий!
(Да простит мне товарищ Паперный)
Среди множества Ваших любовей
Я не самый, наверное, первый.

Но зато, даже если я мальчик,
По сравнению с Давидом – Булатом,
Я первеющий ваш воспевальщик!
Остальные хотят – да куда там...

Ну, напишут они фамильярность
Про Божественную субботу,
Под натужную высокопарность
Подпуская еврейскую ноту;

Ну, срифмуют, там, «замок» и «Зямок»,
Открывая ворота для прочих
Обезьянок, козявок и самок
И других параллелей порочных.

И ведь всё это как бы в обнимку,
Под закусочку и четвертинку,
Опустив, невзирая на совесть,
Вашу значимость, вес и весомость!

Ведь нема никого, кроме Кима,
Кто вставлял бы во все сочиненья
Ваше радио-, теле- и кино-
И театро-, и просто – значенье!

Кто бы ставил бы вас неустанно
Рядом с Байроном и Тамерланом,
А не с дьяволом и Паниковским
(Им же сравнивать вас всё равно с кем!)

Нет!
Когда я лобзаюсь с вами,
Я не с вами лобзаюсь, Гердт:
Я к Великой касаюсь Славе
В виде ваших обыденных черт!

К ЮБИЛЕЮ Д. А. СУХАРЕВА

Что скажу я об Антоныче?
А скажу я вам, товарищи,
Что Антоныч у нас тот ещё
И жена у него та ещё!
Он и гений биологии,
И титан родной поэзии –
Где ещё такие многие?
Разве только в Индонезии

Индонезия – любовь моя!

Люди ухают и ахают:
Ох, какой он многоликовый –
Он и Сухарев, и Сахаров,
Прям как Луферов и Вихорев!
Он из этих вот, из избранных,
Из Матвеевых и Визборов.
Но я думаю, скорей всего,
Он из роду из корейского.

Индонезия – любовь моя!

Он кореец, разумеется:
Он почти совсем не бреется,
И жена его – красавица,
Как корейцу полагается,
И как всякая кореица,
Он купается и греется
Главным образом в Израиле,
Где он вышел в роскошном издании!

Индонезия – любовь моя....

14.04.2002, Иерусалим

К ВОЛОДИНУ

Дорогой мой, дорогой мой,
Расчудесный человек!
Всё вы как-то вне обоймы
Уважаемых коллег.
Вставить вас в какой-то график –
Только лист испортить на фиг:
Вы не мэтр,
Вы не классик,
Не романтик,
Не фантастик,
Вы не сюр, не реалист –
Только зря испортить лист!

Ну – поэт.
Ни интересу,
Ни заслуги никакой.
Всё равно, что Геркулесу
Объяснять, что он герой.
Ничего к вам не приклеишь,
Уж такой уж жребий ваш,
Александр Моисеич
Замечательный вы наш!

Обожаю ваши сказки,
Как бы ваш простецкий толк,
Иронические глазки
И младенческий восторг.
А уж нос-то!
А уж нос-то,
Этот пламенный бушприт,
Утвердивший превосходство
Над румянностью ланит!
Как ужасно я смеялся
(Это был, скорее, стон),
Когда видел, как хватался
Вами в руки микрофон,
И в него с трибуны в зале
Как вы страстно обличали
Наших новых сволочей
Из недавних первачей.

А смеялся оттого я
Что, как помнится, нигде я,
Сколь Володина ни чёл,
Но у моего героя
Настоящего злодея
Толком так и не нашёл.
И того маленько жалко,
И тому отпустишь грех...
У кого какая планка,
А душонка – есть у всех.

Так и вижу Моисейча,
Как с какого-нибудь веча,
Распалённый, входит в дом
И – к тетрадошке бегом.
Но едва перо коснется
Этих девственных полей –
Злость уймётся,
Гнев свернётся,
И засвищет соловей.

И сейчас же, вне программы,
 По команде «раз-два-три»
 Прихромает чудный Зяма,
 Вынет розу из ноздри.
 И сейчас же
 Непременно
 (Ах ты, фокусник-чудак!)
 Эта женщина...
 Елена...
 И мы с нею скажем так:
 – На златом крыльце сидели:
 Царь,
 царевич,
 король,
 королевич,
 сапожник,
 портной, –
 Александр Моисеич!
 Ну и где же ваш коньяк?
 1995

ТЕМА ЛЮБВИ

Ни мелодрама ни трагедия,
 Ни клоунада ни комедия
 Не обойдутся ни за что
 Без неизбежного дежурного
 Сюжета нежного амурного,
 То безмятежного, то бурного,
 О чём бы дело ни пошло.
 В любое действие прескушное
 Добавь любви как перцу в кушанье,
 Интригу круто замеси –
 Увидишь, зрителю понравится,
 Он это съест и не подавится,
 Напротив, очень позабавится
 И даже скажет гран мерси.
 Нам важно это убеждение,
 Что звери, люди и растения,
 Пожары, битвы то да сё –
 Всё, что ни есть на нашем глобусе,
 Произошло от нежной склонности,
 От этой вечной нежной склонности –
 Иль от отсутствия её.
 2001

ПЕСНЯ СГНАРЕЛЯ

Эх, бутылка, моя ты бутылочка –
Как люблю я тебя, моя милочка!
Дай, слегка придушу твое горлышко
Да и всю осушу аж до донышка.

А на кой мне пустая порожняя,
Когда рядом другая – похожая?
А когда и её всю до донышка,
Там и третья выходит на солнышко!

Эх да кабы вот так же да с бабами,
Ничего и вообще бы не надо бы!

2001

* * *

Послушай, ты!
Достигни высшей доброты –
И будет дивно.

Послушай, она!
По гроб, навек, на все времена
И неразрывно!

Послушай, я!
Ты субъективно не свинья,
Но объективно...

1969

БАСНЯ

Поручик Ржевский на балу
Гусарам хвастался в углу:
«Я всё-таки уделал эту леди!» –
Совсем не ведая того,
Что леди в парковой беседке
Шептала весело соседке:
«Достала я таки его!» –

Как будто не было полгода слез и пеней,
Записок пламенных, взаимных обвинений
Как будто не было еще вчера
Ни пылкой нежности, ни высшего доверья
причем без тени лицемерья! –

Нет. Только шах и мат. И кончена игра.
Хотя
Все эти пени, клятвы, слезы
Нам сохранил архив
Как высший образец эпистолярной прозы.

Когда же человек воистину правдив?
1995

БАЛЛАДА О НАСЛЕДНИЦЕ

Каждый день она ходит по замку,
По её, по фамильному, родному.
Ничего себе замок, подходящий,
Крепко сбит и красиво подзапущен,
И история его драматична.
И проветривает она анфилады,
И осматривает она холодильник,
И, поджавши красивые губы,
За извечной халдой Степанидой
Всю посуду сама перемывает.
Но любимое её помещение –
Это личное её помещение,
Симбиоз алькова и читальни
С камином, отделанным яшмой.
Хорошо при свечах ароматных
При заливиستم берёзовом треске
Перечитывать старые письма,
Поражаясь их свежести вечной!
Да...
Но вот что меня удивляет:
Есть у ней особенный ключик
От одной особенной дверцы
Незаметной каморки запечной.
Ключ заржавел; дверца замшела
И завалена хламом чуланным.
Неужели забыла хозяйка
Про свою запечную каморку?
«Выйду, выйду я к бурному морю,
Брошу ключ ему на съеденье.
Не хочу открывать каморку!
Не хочу сметать паутину,
Пыль сдувать, поднимать документы!
М н е завещан фамильный замок!
М н е написаны старые письма!»
1995

ПОД ВЛИЯНИЕМ БРОДСКОГО

Вот железные крыши, белые от дождя,
Заслоняют пейзаж, зажимают меня.
У соседа моего по палате
Тяжелейший приступ как нельзя кстати.
Никаких журналов, никакого TV –
Единственное: плести вот эти стихи,
Так называемое – под влиянием Бродского.
Так пацан с папироской канает под взрослого.
Потому что, конечно, до легкости этой вычурности
Мне вовек не доехать в своей развинченности;
До вот этой вот завораживающей зыби,
Когда, сидя на одном синтаксическом загибе
И пяти словах, невозможных рядом,
Внезапно охватываешь всё разом.
Но особенно этот вот голос, монотонность, камлание,
Непрерывно упорное бормотание,
То с небрежной иронией, то с тоскливой досадой,
Всё вокруг и вокруг нее, одной, той же самой,
С постоянным подчёркиванием необратимости
Дюн, деревьев, объятий и прочей интимности,
И уже даже холодно простясь навсегда
– Никогда не веря в то, что уже никогда! –
Боже, как это всё во мне отзывается,
Когда тело моё по европам катается
И в каком-нибудь там нюрнбергском отеле,
Развалясь один в пятиспальной постеле,
Всё читаю и читаю про это его М. Б. да М. Б.,
И думаю о тебе.

1995

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Я лечу над Атлантикой и хочу сочинить стихотворение.
Не имея идеи, я тащу эту бредь из нуля,
В нервных поисках рифмы ища хоть какое-то удовлетворение,
И кой-как нахожу, до дремоты себя изнуря.
То-то радость, что нет ни у кого больше такого созвучия.
А на кой оно мне, если нет к этой ягоде стебля?
Эх ты, муза моя невезучая:
Так и будем висеть на хвосте, бля, констебля...

Над Атлантикой ночь. За бортом минус сто. От ацтеков к вогулам
Невесомо несёмся, несомые гулом чугуном.
Назревает законная точка. За ней расслабуха
Утомлённого духа.

01.12.2001

КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ

Ранее не знал я другого
теста на звание «интеллигент»,
Чем написание слова:
«Аккомпанемент»,
В котором, как правило, те,
Коиx доводилось тестировать,
Употребление «и» вместо «е»
Доказывали словом «аккомпанировать».
Теперь же орфографическим гением
Почитается индивид,
Исполняющий слабым мановением:
«Облитерирующий эндоартериит».
Это – я.
Поскольку болезнь – моя.

Чтобы не описывать подробно, вот – приблизительный эскиз:
По Питеру – ходишь ровно, по Иерусалиму – либо вверх, либо вниз.
Завяжите очи. Пустите ходить.
Если нога начинает ныть,
Понимаем: это подъём.
Ерушалаим. Тащусь по нём.
Навьючьте тонну. Иду без проблем –
Значит, по склону. Джерузалем.
Старательно вверх. Снисходительно вниз.
Часа полтора далеко иду,
Отчасти ради культуры физ
Осваивая синусоиду.
Но главным-то образом, этим-то способом
Я не в кабинете клещами вытягиваю, –
А стежок к стежку, по шажочку по шажку
Целеустремленно вышагиваю
В день по целому стишку
(Так называл это Бродский
И продолжает Губерман.
Тоже выдающийся неформал.
Тоже, по-своему, броский).

Ну, вот и пусть осеняет этот бред
Сияющий небосвод.
А на фоне его – вон тот
Двухэтажный парящий скелет
Виллы иорданского Хусейна,
Без сада и бассейна,
Брошенной им пятьдесят уже лет
Тому.
Известно почему.

18.04.2003

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА

До свиданья!
Пароходик мой гудёт, в даль далекую зовёт
Морехода.
До свиданья!
Можно трогать помолясь, и погода в самый раз
Для отхода.

На прощанье:
Надо б водочки налить,
Да с колбаской учинить
Бутербродик,
И честь честью проводить
Пароходик.

Это чудо,
Как у вас я погостил, как ваш дом я навестил
Хлебосольный.
Я отсюда
Отправляюсь по волне, как полковник на коне,
Всем довольный.

Потому что,
Дорогие господа,
Я скажу вам, как всегда,
Простодушно:
Было грустно иногда,
Но не скучно.

До свиданья!
До свиданья, милый зал, где вела свой скромный бал
Моя лира.
До свиданья!
С вами славно было мне, только жаль, что время не-
умолимо.

Жизни тайна
В том, что свой всему черед:
За свиданьем настает
Расставанье.
Пароходик мой гудёт:
ДО

СВИ

ДА

НЯЯ!..

Эли Люксембург

*ПРИНОШЕНИЯ СЫНОВЕЙ КУЛТУРЫ **

...Утром отправились мы на кладбище: «йорцайт» у Йохая, день поминовения его отца.

Тот же день календарный, и то же кладбище, и могила, где мне явилось видение: откуда мы, кто такие? Что за общее прошлое было у нас, объединило сейчас?

Я не поехал в аэропорт проводить Сашу, ташкентского друга, поэта, – в надежде, что снова явится чудо на этом высоком холме. В это зябкое, зимнее утро – исключительно ради... И чудо с нами случилось. Правда, не столь уж явное, сильное.

Рава забыли мы взять в наши машины, понадеявшись один на другого, а он не обиделся, не рассердился. Сказал по мобильнику, что все у нас будет в порядке, миньян наберется, а нас оказалось пятеро! Где же взять остальных? В столь ранний час на совершенно безлюдном кладбище, окутанном лиловой дымкой? И дело мне показалось дохлым и безнадежным.

Михаэль бросился вниз, на дорогу, надеясь там кого-нибудь изловить. И вскоре вернулся. Однако один, но радостный и счастливый.

– Стоят евреи на соседнем участке, пятеро мужиков, им тоже не хватает как раз пятерых! Давайте спустимся к ним! Сначала там прочитаем все, что положено, а после сюда вернемся, и отстреляемся здесь...

Ну, разве не удивительно, подумалось мне. Сбылись в точности слова рава – все у нас будет с миньяном в порядке, разве не чудо?

А может, не так, может, иначе: сама могила, само это место обладают удивительным свойством, и ощущения мои не ошибочны? Непременно случаются какие-то чудеса.

* * *

Сказал рав:

– С рождением каждого человека в мире возникает нечто новое, неповторимое. Долг каждого это понять: ничто подобное еще не являлось! Ибо будь оно хоть однажды, не было бы необходимости в нем самом.

Каждый человек – это новое абсолютно создание, и долг наш довести свою личность до совершенства.

* Журнальный вариант главы из готовящейся к печати новой книги писателя «В окрестностях Каббалы».

* * *

НАЧАЛОСЬ С ТОГО, ЧТО ЕЙ МАЙКА ПОНРАВИЛАСЬ СО СВИНЫМ РЫЛОМ, ОНА СТАЛА ЕЁ НОСИТЬ. Я СЗАДИ СТОЯЛ, НАПРАВЛЯЯ РУКАМИ УДАРЫ. ОНА КОЛОТИЛА – ВСЯ КОЛОТИЛАСЬ, ВСЁ ЗАПАДАЯ НАЗАД, ЗАПАДАЯ, И – ПАДАЯ, ПАДАЯ.

* * *

Дни рождения покойного нашего отца, да будет память о нем благословенна! Мы отмечаем их каждый год в Суккот, у Гриши, неподалеку от парка «А-паамон», и это стало уже традицией. Съезжаемся все: мы – его дети, внуки, наши друзья и родственники – со всего Израиля. Повод для встречи хоть раз в году!

Мой зять Ноам – военный, боевой летчик, засекреченный вдоль и поперек, а потому – в семье не принято обсуждать эту тему, само собой разумеется: предмет нашей тайной гордости, и даже это никто и никогда ему вслух не выражает. Тоже само собой разумеется! Худенький, немногословный, он заключает в себе элитную мощь нашей армии. Мозг его и мышление – я в этом не раз убеждался – подобны электронному чуду, задачи решает мгновенно и неожиданно, ибо не просто летчик, а офицер, вхожий в оперативные разработки, а что в этих недрах решают – лишь Б-гу известно!

Итак, мы сидим в сукке. Едим и пьем, кутаясь в теплые одеяния. Сеется дождь, и холодно. Пьем исключительно водку, виски и бренди, чтобы скорей согреться.

Брат Яаков поднимается с рюмкой, чтобы сказать тост.

– Отец наш, дети, простой был в России сапожник. Да-да, сапожник, не удивляйтесь. Но в те далекие годы это занятие было почетным. У нас, у евреев, по крайней мере. Таким же почетным, как быть сегодня...

И на минуту умолк, обойдя взглядом длинный, накрытый стол, десятки внимательных лиц к нему обращенных, пристальных глаз. Налитые рюмки в протянутых кверху руках. И встретился взглядом с Ноамом.

– Ну, летчиком, скажем! Так же почти престижно...

И все понимающе улыбнулись: славная, дескать, шутка! И Ноам ей улыбнулся. Грустно и как-то обиженно.

Час спустя, когда все поднялись и разбрелись, курили и пили кофе, беседуя, Ноама обступили – малыши, ребяташки: где он живет, чем занимается: кто по профессии, собственно?

И снова он улыбнулся горько и саркастически:

– Сапожник, и очень этим горжусь!

С юмором, кстати, все у него в порядке.

Год назад он отправлялся в командировку – с группой военных израильских пилотов – то ли в Швецию, то ли в Голландию, а почему, и зачем – никто не стал даже спрашивать. Само собой разумеется: лишь Б-гу да Генеральному штабу известно!

– Летим обычным рейсовым самолетом, – сказал он мне.

Я принялся с ним шутить:

– Не боязно? Не укачает тебя, не стошнит? Ты как переносишь полеты в воздухе?

– На всякий случай, приму таблетку, надеюсь, не причиню никаких неудобств пассажирам.

Мы посмеялись, помнится. Тогда я рассказал ему притчу из Агады:

– Жили два мудреца в местечке. Один был знатоком бесчисленных легенд и преданий, умел толковать Талмуд, Галахот. Послушать его всегда собирался народ, чуть ли не все местечко. Другой же славился тем, что понимал высшую мудрость Каббалы, глубочайшие тайны Торы, и мало кто его посещал. И вот однажды эти два мудреца разговорились об этом: почему к первому валят толпами люди, а ко второму – считанные единицы? Сказал ему первый: представь себе двоих торговцев на рынке! Один торгует бусами из пустых стекляшек, а другой – браслетами из драгоценных камней, из бриллиантов... И вот скажи: возле кого толпиться будет больше народ? Возле лотков у первого или второго?

* * *

ОН ВЫШЕЛ ИЗ ТУАЛЕТА, ХЛОПНУВ ДВЕРЬЮ, РАЗМАШИСТЫМ ШАГОМ ОТМЕРИЛ ВЕСЬ КОРИДОР, И К НАМ ПОСТУЧАЛ – ОСТОРОЖНО, ЗАТЕМ ЕЩЕ И ЕЩЕ РАЗ, НАСТОЙЧИВО ПО ГУЛКОЙ ЖЕСТИ. ОКНА БЫЛИ ЗАТКНУТЫ МАТАМИ, ТЬМА НЕ МОГЛА БЫ СПАСТИ. МЫ ОБМЕРЛИ, ЗАКОЧЕНЕЛИ.

* * *

Играли свадьбу Майкла Цинклера, репатрианта из Южной Африки, нашего ешиботника.

Жену сосватали из Бней-Брака, родовитую, это мне достоверно известно. Не сваты случайные, а раввины, включая и нашего.

Поначалу была хупа, как и положено. Под открытым небом, во дворе, забитом машинами и автобусами, на помосте, под бархатным балдахином, с четырьмя шестами в руках у сильных, плечистых парней.

Отец Майкла, богатый, видать, еврей, владевший английским и идишем, стоял рядом с сыном, справа.

С другой стороны – отец невесты, старенький и почтенный рав. Матери обходили кругом Майкла с невестой – семь раз обошли.

Притихшие гости молча слушали благословения: ученых мужей в мегафон, поочередно, один за другим – семеро... Наш рав зачитал ктубу, надели кольца на новобрачных, и Майкл разбил каблуком бокал. В память о разрушенном Храме. Гря-

нула музыка, запели все и потянулись в зал, где были накрыты столы.

Все были в черном – в зале мужчин, в праздничных облачениях, черных шляпах и в штреймлах – бобровых и соболиных. Гигантский зал был рассечен ширмами надвое. На той половине находились женщины, веселясь по-своему, недоступные нашему глазу, как в синагоге. Чтоб мысли мужчин не отвлекались на грешные помыслы.

Ели наспех и пили наспех. Под пляски и хасидские песни – беспрерывно: хасиды из Меа-Шаарим, Ир-Ганим, Бейт-Вагана – иерусалимцы. Плясали люди Бней-Брака, ешиботники наши носили на руках Майкла, восседавшего в кресле, ибо принято веселить жениха. Невесту и жениха: им предстоит нелегкая жизнь – исполнять заповедей немислимо много, плодиться и размножаться, и, как говорят Галаха и Поучения Отцов, – зарядить весельем и оптимизмом.

Я тоже был в черном, сидел с ребятами из ешивы, но в плясках не принимал участие. Из-за спины: малейший толчок в спину мог причинить мне непоправимый ущерб. А наши вовсю скакали и хороводили, изредка подлетая к столу, чего-то плеснув себе в рот, чего-то перекусив...

Кроме меня не принимали участие в плясках лишь те, что сидели напротив – известные раввины. Как Б-жьи ангелы, как князья, сидевшие за длинным столом, уставленным яствами, принимая со всех сторон поздравления, знаки почтения: им пожимали руки, целуя кончики пальцев, края одежд. Они же возлагали на головы руки и раздавали благословения. А музыка все гремела, не умолкая, парни скакали в неутомимом вихре, народ был мокрый, и все дымились. Каждого хоть выжимай!

Вот оно, полчище здоровых, молодых парней, подумалось мне. С утра до вечера изучают Тору и молятся Б-гу. В этом их наслаждение, служба стране и народу, так это они видят и понимают. Я-то ведь знаю – один из них!

Светские люди их обвиняют в том, что уклоняются от призыва в армию, всячески избегают... Надел на них мысленно солдатскую форму, дал автоматы в руки. Увидел полк, дивизию! И ничего утешительного: ах, если бы только весь Израиль им уподобился, весь еврейский народ... Сказано в Торе – Святом Писании – ясно ведь сказано: «В Моих руках победы и поражения! Не сильному слава дается, и не ловкому удача в бою. В Моих руках, во власти Моей – и жизнь и смерть... Живите же по Торе Моей!»

Не все ли обстоит именно так: эти вот парни и составляют тот самый щит Израиля от недругов, ненавистников? Бойцы невидимого фронта – не ради ли них свершаются чудеса ежедневно, что мы еще живы и существуем? Они – против несметных сонмищ врагов, которые давно бы нас с потрохами сглодали. Давным-давно, даже не поперхнувшись. Да только кто это знает, кто понимает? Нахлебники, про них говорят, паразиты...

* * *

В Каббале сказано неоднократно: когда приходит время поднять человека на другую ступень, более высокую, если созрел и готов, то прежде свергают вниз, спускают с прежних – духовных.

Я эту истину знаю, я испытал ее на себе!

На самом дне, в глубинах ничтожества своего, как червь, копошишься, ползаешь – во мраке крошечном, во прахе, и вдруг приходит однажды день – это обычно молитва, и происходят странные, удивительные вещи. Проходы внезапные в высоты духа, просторы – дыхание обмирает, воздуха не хлебнуть! Туда, где раньше никогда не бывал, куда не пускали, а смутно лишь понимал: да, говоришь ты себе, так и должно это быть! Обжитое, старое – необходимо разрушить! Оно заземляло тебя, тянуло вниз, и только со дна можно выстрелить в высоты космические.

Сказал я раву:

– Элиша, ученик Элиягу-пророка, ему говорит: «Вот, я знаю, тебя сегодня должны взять на небо, прошу поэтому: перед тем, как оставишь нас, передай мне часть своей святости от Духа Святого...» На что Элиягу ему говорит: «Если увидишь, как я вознесусь, то перейдет на тебя, если же не увидишь, не перейдет!» Что здесь имелось в виду?

Сказал рав:

– Очень все просто! Если Элиша, его ученик, стоит на той духовной ступени, что вознесение Элиягу ему доступно – зрительно и физически, то он достоин Духа Учителя. А если же не увидит, то нет – не дорос! И не о чем здесь просить...

Подумал рав и добавил:

– У рабби Нахмана из Брацлава эти же понятия окутаны еще большей тайной. Конечная цель духовного роста – это прийти к Незнанию. Да-да! И так он это толкует: внутри каждого знания уже сама по себе заключается эта цель... Несмотря на то, что нам удастся этого достичь – понимания своего незнания, тем не менее, это еще не конечная цель: мы осознали это лишь в отношении нашего предыдущего знания. Необходимо дальше стремиться! К пониманию своих незнаний в отношении знаний более высокого порядка. И так – до бесконечности, без конца. Из чего вытекает логическое следствие: хотя ничего мы по настоящему не узнаем, тем не менее, не приблизились к достижению конечной цели – полного абсолютно Незнания!

* * *

Спросил я рава:

– Испытание нищетой – про это мы говорили уже, это я помню, знаю! Но слышал, что есть еще испытание славой, и чаще зовут его наказанием. Почему?

Сказал рав:

– Верно: испытание славой, богатством, как наказание... Типичный случай из жизни святого БЕШТа! Однажды вызвал к себе

хасидов с обычным, вроде бы, поручением: велел им ехать в одну деревню, далекий хутор заброшенный, живет там, будто, один еврей, никто не знает о нем, и сам он почти ни с кем не общается – надо его навестить! Подарки кое-какие от рава, приветы и добрые пожелания. И хасиды туда отправились, в далекий, нелегкий путь. Когда же возвратились, были полны удивления: «Ребе, этот еврей похож на вас, как две капли воды, и даже, простите, превосходит своей ученостью! Может ли это быть? Мы все от вас передали, но он себя не открыл. К кому вы нас посылали?» Ответил им БЕШТ с сердечной печалью: «Это мой брат-близнец, мы вместе в детстве росли, потом судьба развела нас. Вы верно сказали, мой брат и в самом деле во всем меня превосходит: живет отшельником, общаясь исключительно с Б-гом, лицом к лицу со Всевышним. А я вот наказан славой, несу свое тяжкое бремя. И даже знаю, за что наказан. Я в детстве много капризничал, плакал, для матери был большим огорчением...

Добавил к этому рав:

– Люди известные, знаменитые, как правило, мало живут. Тот же святой БЕШТ едва дотянул до шестидесяти. В молодом относительно возрасте святой АРИЗАЛ скончался. А несравненный светоч рабби Нахман из Брацлава? Давай обратимся в далекое прошлое: меньше всех своих братьев прожил Йосеф, сын Яакова по прозвищу Египетский. Являясь вождями духовными, люди именитые вбирают в себя людские беды, страдания, и это не проходит бесследно. Не могут выдержать долго потоки вредных энергий. Слава не способствует долголетию.

* * *

В ОДНОМ ОНИ БЫЛИ ЕДИНОДУШНЫ – АНГЕЛЫ МОЙ И ЕЁ: БЫЛИ ТУТ ЖЕ, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ. СТРАННО МНЕ ЭТО БЫЛО, ПУГАЛО И УДИВЛЯЛО. МЫ НАЗЫВАЛИ ЭТО В БОРИСОВЕ «ЧАВКА-ЧАВКА». И ХОХОТАЛИ. ТАМ БЫЛИ СТИХИ, КАМИН И СНЕГА.

* * *

Украли мой пистолет! По собственной глупости и беспечно-сти – решетки и двери были вечно летом незапертые. Порой и вовсе распахнуты настежь, вот и забралось ворье: шпана, наркоманы...

Проснувшись под звон будильника, чтоб ехать в ешиву – было четыре утра, я не нашел вдруг сумки, она всегда была на столе, впритык с кроватью. А там пистолет, и деньги, и масса всяческих документов, и тут же я разбудил жену, она спала в соседней комнате. Сумка ее была на месте, однако и в ней пошарили – исчез кошелек с деньгами, сумма была приличной.

Я находился в шоке, в полном недоумении: черт подери! Ведь я же чутко обычно сплю, малейший шорох меня поднимет

– гудение комара! А тут ведь Б-г ведь что творилось: ногами топали, скрипели дверьми, в шкафу белье перерыто... И был фонарик при них – фонариком по лицу, и непременно шептались. А я вот дрых, как бревно! Не зря болит голова, они квартиру раствором обрызгали. Это уж точно, спрей усыпляющий.

И полетел в полицию, едва дождавшись рассвета.

Сказал дежурный по происшествиям:

– Имеется в доме сейф? Оружие положено запирать, и если не было в доме сейфа, будут судить: небрежное отношение...

Про это понятия не имел, впервые слышал, что должен быть сейф.

– А что им стоит украсть из сейфа? Разве не так же воруют машины? Залазят в дом, берут со стола ключи... Вы нас от воров должны беречь, а вы мне про сейф толкуете, грозите судом. Мне еще, потерпевшему! Вы это себе представляете? Весь ты спишь, а в доме жулье орудует, посторонние люди, ты целиком в их власти? И это не столь уж страшно, как оскорбительно, унижительно, вы это хоть понимаете?

Он кофе пил, жевал жвачку. Он дал мне понять, что таких, как я, прошли у него сотни, и так же мрачно сказал:

– Помочь ничем не могу, таков закон! Будем, конечно, искать... Полгода, не больше, и подадим в суд. Ваш пистолет может попасть к террористам.

Меня напугало другое.

– Так что же, останусь теперь без оружия? Без пистолета я не могу, я новый хочу купить!

– Про это поговорим потом! – и дал мне на подпись акт. – Я ведь уже сказал: месяцев через шесть. А копию акта о похищении пистолета предъявите в Министерстве внутренних дел, там есть особый отдел, все зависит, как они к вам отнесутся.

За эти полгода, оставшись без пистолета, я будто осиротел, оставшись без покровителя и защиты, и странные вещи стали со мной происходить. В первую очередь по отношению к сынам Ишмаэля, «двоюродным братьям».

Я будто бы сделался меньше, трусливей, что-то важное во мне поубавилось. Изменилось все мое поведение, я духом своим как бы слинял.

Все чаще возникали мысли о мире с арабами, о праве их на эту страну – жить наравне с евреями. И даже о праве бороться с нами, и воевать. И сомневался каждый раз, куда мне ходить и ездить.

Спустя полгода я снова пришел в полицию – нашелся ли мой пистолет? «Нет, не нашелся...»

И я отправился в МВД, оставив заявку с прошением на покупку оружия. Недели через две, что оказалось не столь неожиданным, как фантастичным, на почту мою пришло разрешение. И в тот же день помчался я в магазин, и выбрал вальтер, все ту же систему, девятый калибр – размерами покрупней, поувесистей, чуть ли не пушку.

И тут сказался тот самый злосчастный вирус, который меня разъедал, опустошая мысли и душу. Уже выбирая свой пистолет, примеряя к глазу, к ладони, вдруг обнаружил всякое отсутствие радости и восторга. Тяги к некогда дорогой игрушке, как части самого себя. Показалось даже ненужным. Напрасной тратой денег. Потом я спустился в тир, тут же, в подвале оружейного магазина по имени «Магнум», в названии которого заключалась и тайна и магия одновременно, но и на это не обратил внимания, не взволновало меня. Под строгим надзором деловитой блондинки с повадками безупречного командира, одинаково владевшей ивритом и русским – много стрелял: стоя, лежа, из-за колонны, и даже на четвереньках – сотню патронов, и барышня подписала мне документ, хлопнув туда печатью.

Несколько дней после этого была в голове ломота, и я не понимал – почему? Руками ничего не забылось, нет! А мысли отвыкли и изменились. Пообрывались, их приходилось заново приучать – к врагу, на всякий внезапный случай, к смелости и бесстрашию, ощущая себя хозяином жизни и смерти, любое высказывать мнение! Словом, от боли трескалась голова.

Пребывая в подобном состоянии духа – унылый, без настроения, встречаю вдруг Савву Бергера в торговом центре, людской толчее. Бывшего партизана и «узника Сиона», боксера, с которым годы возились в перчатках. Человека-легенду, соль и гордость земли иудейской.

Савва вытащил меня из толпы, с угрюмой и непонятной силой схватив за локоть. И так, как говорят предателю на допросах, сказал:

– Странные слухи дошли до меня, дурные слухи! Скажи, это правда? Или есть враги у тебя, злые люди хотят опорочить?

Я весь напрягся и насторожился. Чего он несет, шутит, или рехнулся? Какие вдруг слухи, какие враги? Я, вроде бы, лажу с людьми, дорожу своей репутацией: никому ничего плохого не причинил. Кому вдруг приспичило слухи обо мне распускать?

– Савва, кончай шутить! Да Б-г с тобой, смени пластинку...

– Я вовсе и не шучу, я более чем серьезен! Ты круто, говорят, полевел, мне это больно было услышать! Однополчанин, единомышленник?

И вдруг поверил, похолодев: это надо же – полевел!? Какой поклеп, какая чернуха! Собачья чушь... Ну да, какие то перемены происходили со мной, какой то процесс. Но я ни с кем об этом не говорил, не обсуждал, даже намека не высказал! А люди учуяли что-то в моем поведении, образе мыслей. По воздуху, что ли передается?

Пистолет! Украли его у меня.

«Все к лучшему в этом мире, и все к добру» – говорится в Каббале. – «И нет зла в поступках Всевышнего, во всех Его намерениях...»

Прибытки-убытки, попробуй-ка в них разберись?

* * *

Понравилась притча про ребе Нафтали из Ропщиц.

В городе, где он жил, было принято у богатых людей нанимать стражников для охраны. Поздно ночью ребе возвращался домой и повстречал одного из них.

– На кого ты работаешь? – осведомился ребе. И тот ответил ему. Спросив в свою очередь ребе:

– Ну, а ты на кого?

И этот вопрос его поразил. Ответил ребе в смущении:

– Да нет, пока еще нет – ни на кого! – И предложил минуту спустя: – А не наймешься ли ты и ко мне?

– Я бы с большим удовольствием! Да что мне делать у вас, вы, видать, человек бедный? Какое у вас имущество...

Сказал ему ребе:

– А только напоминать – почаще – эти слова: на кого я должен работать.

* * *

ЕЙ ВЗДУМАЛОСЬ ВДРУГ ТАНЦЕВАТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ ПОД ГРОМКУЮ МУЗЫКУ, А В СПАЛЬНЕ БЫЛ СВИТОК ТОРЫ. В ШКАФУ, ПОД ЗАМКОМ – СВЯТОЕ ПИСАНИЕ, ГРЕХ СТРАШНО ОПАСНЫЙ, ЧУТЬ ЛИ НЕ САМЫЙ... ЗАМОК УПИРАЛСЯ, ОТКАЗЫВАЛ, НЕ ПОДХОДИЛ И КЛЮЧ.

* * *

Недавно пришлось навестить сестру, провел у сестры субботу – в Гило, внезапно она захворала.

Утром отправился в синагогу, где все меня знают – отец наш покойный молился здесь много лет, и я всех знаю. Мы привезли из России свиток Торы, когда в Израиль приехали. Здесь он хранится в чехле из пурпурного бархата, где вышиты золотыми нитями имя отца, цитаты Псалмов. Свиток наш по субботам выносят, читают недельный отрывок, и это вызывает во мне благоговейный трепет, навевая давно забытые впечатления: вот мы выходим из самолета с Торой в руках, сходим по трапу – свиток в руках у отца. Становимся на колени. Я и братья целуем асфальт. Затем отец вручает мне свиток – довольно тяжелый, старинный, закутанный в белоснежную простынь из грубого льна, и тоже опускается на колени, тоже землю целует. Заминка происходит у трапа, народ дивится на нас... Первые наши шаги по Израилю! Щемит мне душу и горло, и набегают слезы: Б-г Ты мой, как это было давно! Все та же Тора, добытая из галута, отцовский трофей – она валялась в подвалах Львовского краеведческого музея, а он ее выкупил. К ней меня вызовут, дважды ее поцелую, перед началом и после. Всегда меня вызывают! Когда я здесь появляюсь – с годами все реже да реже – сижу я в зад-

них рядах, где кресла без именных табличек, места для гостей. Молюсь, время от времени обозревая затылки и профили. Мысленно сокрушаясь: кто постарел, изменился. А значит, и я – неминуемо, непременно. Время для всех одинаково! А дети вот подросли, мальчишки, сидящие рядом. И вдруг... Да нет, не может этого быть: знакомая рыжая голова, знакомый, вроде бы, профиль! Но с бородой хасидской, и в пейзах. Черная шляпа и черный сюртук. И жаром всего обдало – Стенька Разин, ну и дела!

А может не он, обознался? Тихонечко поднимаюсь, и, чуть пригнувшись, иду проходом. Сидит он с краю, и я убеждаюсь: он.

Шепчу ему на ухо:

– Степа, привет, это я, давненько не виделись!

Он отлепил глаза от молитвенника, поднял их на меня, сразу узнав, и поманил пальцем, чтоб ухо мое пришлось по его губам.

– Не Степа, прости, не Стенька, а Авраам, запомни! – сказал назидательно. – Авраам Разин...

И я понятливо закивал, вернувшись к себе, все так же тихо, крадучись.

Да, не виделись мы давненько, более года! Встречались на семинарах учительских, он тоже был учителем физкультуры. Длинный, сухой, с цепким, колючим взглядом. Мягкий, как пума, как дикий хищник. Словом, отличный баскетболист – Степа куда-то пропал, бесследно исчез. Мы звали его «монголоид», работал он в школе для дефективных детей – трудно себе представить, другой совершенно подход! И часто этим делился, изобретая свою методику. Довольный судьбою, зависти к нам не высказывал – трудягам обычных школ, нормальным нашим условиям, и это мне нравилось. Казалось, попал человек на нужное место, полон творческих поисков, счастлив. А больше всего – от Степы никогда не разило занудством новых олим. Претензиями к новой стране, ее и своим проблемам. Со Степой все обстояло прекрасно, и это тоже мне нравилось – благополучные люди не раздражают.

После молитвы мы выходили из синагоги вместе. Спустились под горочку к детской площадке, подальше уселись от гомона. Греясь под поздним осенним солнцем.

Со Степой мы были всегда бесхитростны, откровенны, я и сейчас себе мог такое позволить – быть искренним и не играть в деликатность. Даже эмоций своих не скрывать.

– Принял еврейство, хасидом заделался – рехнуться можно: Стенька Разин!? Ну, ты даешь, ты, брат, даешь!

Раскинув длиннющие ноги, в расслабленной позе центрального на отдыхе, с локтями на спинке скамьи, Степаша серьезен, невозмутим, обозревая молча ближайшую Бейт-Цафафу, переходящую в Катамоны – Новые Катамоны, блуждая, как я это понял, в истоках своей фамилии, прошлого имени.

– Странную вспомнил вдруг вещь! Сам я – ты это знаешь – родился в чисто русачьей семье. Родители, деды да бабки... Деревня на Волге: вырос, детство мое прошло. И что удиви-

тельно, совершенно непостижимо – меня, понимаешь, меня одного друзья-пацаны обзывали «жидом»! С моей-то рожей, ты погляди? Не то, чтобы было обидно – привык, внимания не обращал, у всех были клички. «Жидом» и все! А почему? На лбу написано было? Что я на еврейке женюсь, в Израиль уеду, по всем статьям заделаюсь иудеем – судьбу мою прочитали? Ну, ты понимаешь, ты можешь мне объяснить?

Мне вздумалось отшутиться:

– Дети есть дети, народ безжалостный, откровенный. Их память ближе туда, чем сюда. Помнят тебя оттуда: когда-то ты был еврей.

– На курсах гиюра нам объясняли! Про зовы души, про лоно народа, когда-то отторженность... Возможно, ты прав!

Дома нас ожидали с субботней трапезой – его и меня. Сестру – это я чуял уже – мое отсутствие волновало. Но мне про все хотелось узнать: куда он на год пропал? И что толкнуло его на гиюр? Как бы родиться заново. Жидом без кавычек.

– Помнишь, Эли, как в школе ко мне относились: директор, учителя?

Родители этих бедных детишек – любили и уважали. А дети больные, буйные, непредсказуемы их поступки. Всегда был выдержан, да однажды сорвался. Бес попутал, видать: один мальчишка вывел меня, и я его шлепнул. Легонько, ты ж понимаешь? И тут же жалобу накатали. Хуже того, в полицию дело попало. Тянулись суды, тянулись, покуда не оправдали. Однако диплом мне не вернули, и на работу тоже – лишили права преподавать. В Израиле – навсегда! Другой бы озлобился, озверел, уехал бы из страны: были такие мысли. А я стал рыться в себе. За что мне беда свалилась? И помаленечку стал прозревать: проблема во мне, руку поднял на ребенка! Где мое сострадание, где моя боль за чужое горе? Стыд выжигать и раскаяние, искорчевать из себя злодея. Молиться в душе, с Б-гом беседовать, заповеди еврейские соблюдать. А уж потом, естественно, на курсы гиюра... Ничуть диплома не жаль, душа полна одной благодарности!

Сказал я ему:

– С новым дипломом вас, Авреймале Разин, рабейну!

* * *

Из разговоров, подслушанных в бассейне.

– Будь моя воля, я бы Господу Б-гу присудил Нобелевскую премию, только за то, что изобрел нам воду!

* * *

ЕЁ ОСТАНКИ ПОКРЫВАЛ ГРЯЗНЫЙ БРЕЗЕНТ, ВЕСЬ В ДЫРАХ С ВОЛОКНАМИ, А В СТОРОНЕ МАХАЛИСЬ ДВА МУЖИКА КУЛАКАМИ. ТРЕТИЙ – ПОДПРЫГИВАЛ И ВИЗЖАЛ. ЗА ИСКРИВЛЕННЫМ ОТ УДАРА СТОЛБОМ ПРЯТАЛАСЬ КУЧКА ДЕТЕЙ. ВОТ И ВСЁ – ВСЁ БЫЛО КОНЧЕНО, ЯСНО!

* * *

Когда я прихожу в ешиву, после долгих командировок в Россию, рав встречает меня с неожиданным удивлением, будто вернулся я с того света или из иной галактики. Велит мне усесться рядом, всех подзывает и начинает с одних и тех же вопросов: какие новости, и что там слышно, евреи едут, не едут, и сколько их там осталось?

Я извлекаю толстые пачки сделанных фотографий: это Челябинск, а это вот Пермь – фестиваль израильской книги, читаю свои рассказы, а это уже – Украина, еврейское кладбище в запущенном состоянии, нет у евреев средств его реставрировать...

Это уже Москва, Красная площадь, стою в обнимку с каким-то дылдой в военной форме неопределенного воинства – гренадера, похоже. Явно поддатый, а на груди плакат весьма выразительный: «Явреи, убирайтесь в поганый свой Жидостан!» Да, стою с ним в обнимку, и от души хохочу.

– Видишь ли, братец, – сказал я ему, – я из Израиля, израильтянин. Позволь мне снимочек сделать? Ведь мы же коллеги с тобой! Как раз за этим сюда и приехал – жидов агитировать отваливать из России... Тебе зарплата положена за сионизм!

Никто не смеется, не улыбаются даже. Мой горький юмор не просекают. Веревочный, хамский. Помотаться бы им по зачумевшей России, вкусить обстановочку, менталитет! Ни голодуха евреев не гонит, ни мафия, ни беспредел – необъяснимо! Врут нам, и Б-гу, да и сами себе – разгул террора, дескать, у нас, конфликт бесконечный с арабами. Реки крови текут по улицам нашим, и гибнут люди: надо бы подождать...

– Нет, отчего же – едут, едут, капает помаленьку! Да все не те. А те, кто должны, кто нужен, сидят и не рыпаются – необъяснимо! Я думаю, ребе, Израиль не может им дать того, что души их требуют. Ключик бы, что ли, к еврейскому сердцу в галуте?

Рав сокрушенно кивает. Здесь он со мной согласен:

– Как понимать людей? Рабби Моше-Лейб из Сасова научился этому от одного мужика... Сидели и пили большой компанией мужики в кабаке, и были сильно пьяны. Подслушал рабби их разговор. «Скажи, ты любишь меня, уважаешь?» – спросил один из них у приятеля. «Очень крепко люблю!» – ответил тот и даже полез целоваться. «Говоришь, что любишь? А вот ответь: что надобно мне, по чему томится сердце мое? – и оттолкнул от себя собутыльника. – Если бы вправду любил, то знал бы...» Тут-то рабби все и постиг. Чтобы люди тянулись к тебе, надо жить их нуждой, тайными стонами душ и сердечными горестями.

Все расползаются по своим обычным местам – времени жаль: спорить об алии можно да хрипоты, бесконечно. Каждый останется при своем интересе – напрасно нервы трепать!

Мы остаемся с равом наедине. Вопрос у меня. Загадка неразрешимая. И я ему говорю:

– Друг мой Феля – в Москве известный врач. Нельзя сказать, что богатый, а все, что положено, есть. Квартира – Тверская улица, автомобиль – иномарка. И ехать в Израиль, конечно же, не намерен. Хотя здесь жена у него, любимый, единственный сын, он только их навещает. Звонит, конечно, чуть ли не каждый день. И я не могу понять: что его держит, чего не едет? Сидим мы с Фелей в его квартире, едим, выпиваем: «Какой ты к черту еврей! – кричу я. – Трус, твое еврейство надо бы хорошенько проверить!» Он возмутился, обиделся, и выдает мне такую историю: «Как ты смеешь мне говорить про мое еврейство, если я в десять лет за слово «жид» был выгнан из школы!? Запустил чернильницей в рожу! В классе, при всех, в учительку-антисемитку. Был хулиганистый, правда, наглец, вел на уроках себя паршиво – не отрицаю, и вдруг орет она на меня: «Эй, жиденок, да перестань, наконец, мешать!» И я тут же чернильницей запустил – тяжелой, фарфоровой, помнишь такие?» Говорю я, весь восхитившись: «Это в третьем-то классе, в десять лет!? Так это остро чувствовал? Ну, знаешь, снимаю шляпу, гигант! Беру обратно свои слова...» А он, не придав значения этим словам, продолжает: «В бараках наших, в эвакуацию, было полно евреев из Ленинграда, Москвы – интеллигенция, профессура. И дети их точно такие же хилаки, позорная шваль. А мы из местечек, из Белоруссии, с русскими пацанами только дружили. Их-то, изнеженных замухрышек, и обзывали жидами. И вдруг это мне говорят? Такое стерпеть я не мог: они – это да, тут все верно! Но чтобы меня?»

Сказал рав:

– Что в семь, то и в семьдесят! И еще. Покуда евреи разделяют себя на «я», и «они» – проблема неизлечима.

* * *

КАК ЛЯГУШОНОК, ОНА ЛЕЖАЛА НА ОБЕИХ ЛОПАТКАХ, РАСКИНУВ КОЛЕНИ – НА СПИНЕ: ГОСПОДИ, ТОЛЬКО БЫ СОН, ТОЛЬКО БЫ ЭТО ПРИСНИЛОСЬ... А МОЖЕТ БЫЛО? В ЖИЗНИ ДРУГОЙ, НЕ ЭТОЙ? СЛАВА Б-ГУ, Я ТОЛЬКО ЕЙ РАВНОДУШЕН, НЕ НЕНАВИСТЕН!

* * *

Сказал я раву:

– Поговорим о «Ган-Эдене», райском, цветущем саде, где поселил Всевышний Адама и сотворил ему Еву – первых людей на земле. О двух деревьях Добра и Зла, про то, как обольстил их Змей, и люди изгнаны были из Рая. А это нам говорит, что Рай был создан, и даже знаем – когда! И даже то, что люди в него вернуться... А Ад – «Геенум»? Он-то был создан когда? И души пошли в два направления – Рай и Ад, праведники и злодеи.

Сказал рав:

– Рабби Иехуда Ливо бен-Бецалель, известный как МААРАЛ из Праги, говорит по этому поводу: акт творения мира не был начальным из всех начал, ему предшествовал акт иных творений. Берет он первое слово Торы «Берешит», и делит его пополам: «бара» и «шит». И говорит, что шесть вещей предшествовали сотворению мира: Тора, *Кисе а-кавод* (Трон Всевышнего), отцы-патриархи, народ Израиля, Храм и Мессия. Поскольку «бара», переводится, как «сотворил», а «шит» – это шесть... Есть и иная версия – тоже по этому поводу, она приводится в трактате «Псахим»: семь вещей предшествовали сотворению мира: Тора, *Тшува* (раскаяние), *Кисе а-кавод*, Храм, Мессия, Рай и Ад.

Сказал я раву:

– Вот состоится в будущем *Гмарха-тикун* – всеобщее исправление, и не останется в мире зла, грешных людей – люди станут другими. И что же Ад – опустеет? Отпадет в нем всякая надобность. Чем займется тогда Сатана, тшуву, что ли, сделает?

Улыбнулся рав:

– Допустим, что так! А может, возьмется за мемуары... И он ведь ангел, и он ведь трудился во имя добра – все его сонмище: сначала людей соблазняют, а после судят и мучают.

...Мой бывший директор школы тоже любил говаривать: я получаю зарплату за то, что злой, за то, что скор на расправу. Это и есть моя роль, и я ее исполняю.

Бесом он не был. Конечно же, не был. Добрейший был человек.

* * *

Два пожилых репатрианта в автобусе:

– Да, Б-га в России не было, выросли мы безбожники, несколько поколений.

– Зато культура была, какая в России была культура!

* * *

Сказал я раву:

– Когда явились братья в Египет, впервые представ перед Йосефом, он принялся обвинять их в шпионаже: «Вы согляда-таи, пришли вы высмотреть наготу земли этой!» С чего это вдруг? Ведь, судя по тем обидам, что братья ему причинили, он должен был им сказать, что они мошенники, воры. Убийцы, даже, но никак не шпионы, не *мераглим*?

Сказал рав:

– В Торе ничего не сказано зря, и обвинение это вполне обосновано. Обладая пророческим даром, Йосеф увидел всех своих братьев в будущем их воплощении – князьями колен, которых Моше послал высмотреть Ханаанскую землю: «...Какова она и народ, живущий на ней: силен ли он, или слаб, многочис-

лен ли он, или же малочислен? И какова земля, на которой он живет: хороша ли она, или худа? И каковы города, в которых он живет: в станах, или в крепостях?» И вот они возвратились и стали распускать о земле и стране худую молву, ввергнув народ в отчаяние. И подняла вопль вся община, и плакал народ, и совершили тем самым великий грех. Это трагическое событие в грядущей истории Израиля Йосеф сумел увидеть, и ужаснулся, накинувшись на братьев с нелепыми, казалось бы, обвинениями.

Я о себе подумал: и на меня возводили в жизни напраслину, несколько раз! Про это я неожиданно вспомнил: как не было сил себя оправдать, да и охоты особой... С чего это вдруг?

Мы жили в конце тупичка, на взгорочке. Неподалеку от рынка, он назывался Алайским базаром. А тупичок Тишик-таг. Светлая речушка Чулья протекала вдоль тупичка, мы в ней купались, ловили рыбу сачками. Раз в неделю в полдень возле моста появлялся старьевщик-узбек с мешком на плечах, и принимался вопить: «стар-вещь, стар-вещь!», и начинали тащить ему всякую рвань с барахлом. В основном – мальчишки... Мне было в ту пору лет десять-одиннадцать. Мы тратили эти рубли на семечки, на мороженое, ходили в кино.

В одно прекрасное утро отец не нашел свои сапоги. Хромовые, комсоставские, почти что новенькие. Весь дом перерыл, бегал даже в сарай, в подвал спускался: пропали и все, исчезли! И тут его осенило, он подступил ко мне: «Да это же ты их продал, сознайся, этому басмачу-старьевщику?!» – «Папа, я никаких сапог не брал! – испугался я. – Ведь ты же знаешь, я ничего ему не тащу, только то, что дает мне мама!»

Он стал меня бить ремнем по голой заднице, переломив пополам на своих коленях. Ни крикам моим не внимая, ни воплям о помощи. С какой-то особой жестокостью бил, и я себя оболгал: «Да, да, за пять рублей ему продал!» И порку он прекратил, а у меня обида осталась. На всю мою жизнь. И если потом случалось, что бочки на меня катили, обвиняя в том, чего я не делал, я им вопил, выкипая от возмущения: «Продал я сапоги, продал!», что понималось, как символ самонавета.

Потом был случай с армяночкой Ирккой, с которой мы познакомились на Главпочте. Я получал свои письма в ту пору «до востребования» – со всего Союза: от корешей-боксеров, друзей и подружек из Литинститута... Заметил рослую, смуглую девку в пустынном и мраморном зале, кобылку-красотку, и мы с ней помчались. На пару, вперегонки, как две лошадки – галопом, взбрыкивая одновременно и весело хохоча. Из-за нее меня была однажды букетом цветов по харе, изумительным букетом цветов, такая же точно кобылка, но чуточку флегматичней и поплоней.

Был Первомай, Ирочка прихватила подружку, а я Калеткина Гену, борца и мастера спорта, он жил на «Динамо», на островке. И мы там жили уже, перебравшись с Алайского – поехали отмечаться, гулять. Почти на окраину города, напротив ворот Экскаваторного завода. Там были танцы, столы с закуской и выпивкой.

Мы веселились вовсю, плясали... Я попросил кольцо у Ирочки – из золота, голубых бриллиантов, она сняла и дала. Надел я его на мизинец, на средний сустав, дальше оно не шло, и продолжал плясать, выкаблучивать. Руками вовсю махать – мы были крепко пьяны. И не заметил, конечно же, как с пальца оно слетело и укатилось. Б-г знает куда! И обнаружил пропажу уже в такси. Поддатые и бесшабашные, мы возвращались.

– Ирка, кольцо пропало! Давай вернемся, может, отыщем?

Она махнула на это рукой.

– Да ну его к черту! Пропало, значит, пропало, нечего за ним возвращаться, где мы там станем его искать!?

По пьяному мозгу промчались мысли: вот мы приедем в зал, там будет пусто. Уборщицы моют и подметают – авось, найдут? Вопрос – вернут ли кольцо золотое с бриллиантами? Может, и да, надо бы вернуться для очистки совести! Но если Ирке до фени – зачем возвращаться? Возьмет вину на себя, семья богатая – это я знал – скажет, что потерялось, и все ей простится, забудется: пропало кольцо, ну и черт с ним, подумаешь! Бывало, я провожал домой Ирочку – жила она на Жуковской, неподалеку от пивзавода – стояли у калитки подолгу, далеко полночь. Она мне совала деньги: езжай, мол, шашечкой, возьмишь такси. И странно мне это было: откуда у девки деньги – странно и неприятно, и я их у нее не брал.

Спустя пару дней она явилась ко мне домой на Пушкинскую, глотая слезы, со следами бессонницы на лице, и, давясь рыданиями, сообщила, что мать ее выгнала, что это кольцо наследство от бабки: семейная, родовая реликвия. Мать пыталась ее, она честно во всем призналась. «Вот и иди к своему ухажеру, кольцо у него, пускай не врет, он попросту его украл!»

И я, как побитый пес, пришел к ее матери. Это была красивая, моложавая женщина, мне она не поверила. Кольцо ей было искренне жаль, она сама едва ли не плакала. Кричать на меня не кричала, не обзывала «вором» – я находился в полном отчаянии. Не зная, чего придумать, пришел в этот дом еще раз, уже с отцом.

Отец втолковывал ей: кольцо я не мог украсть, не так я воспитан.

– Мой сын предлагал же за ним вернуться, но ваша дочь отказалась! Возможно, оно бы нашлось. Вина лежит на обоих поровну.

Беда заклинила ей, видать, рассудок. Серьезная, умная женщина, она продолжала твердить свое:

– Я денег у вас не прошу, верните назад кольцо! Господи, что же мне делать, отдайте мое кольцо...

На том мы и разошлись. Окончились дикие скачки во сне и наяву с Ирочкой – безумные наши скачки. Так они с матерью и считали – кольцо это я украл. По сей день, я думаю, при этой версии.

Была еще одна бочка с поклепом – Мартель ее звали, уже в Израиле, в Иерусалиме. Тогда мы жили на Горке Французской,

снимали одну из роскошных квартир Ноймана. Квартира ее была этажом ниже, как раз под нами. Мартель читала лекции по англосаксонской литературе в Еврейском Университете, была не замужем, с черными бесенятами в выпуклых с очками глазах, жили они вдвоем с мамашей. За просто так, по дружбе соседской, я время от времени к ней спускался, она мне читала тексты моих переводчиков на английский – мы их сверяли, Мартель давала свои заключения. Писала письма моим издателям – в Америку: я был в английском сибирский валенок.

И вдруг позвонила однажды. По телефону, не в дверь, и странным голосом велела спуститься срочно, необходимо выяснить одну неприятность. Голосом прокурорским и совершенно чужим.

– Пропал кошелек с деньгами! – сказала Мартель, едва сел я на диван в салоне. Она и старушка мать, стояли обе напротив. – Вчера ты был у меня, и никого других посторонних. Никого в течение суток. Я отлучалась на кухню, если ты помнишь, варила нам кофе, а кошелек был тут, на тумбочке телефонной...

Мне снова сделалось дурно. Спустя минуту я мысленно улыбнулся: «Ну да, украл сапоги! Продам сапоги, давай признавайся!»

– Мартель, дорогая, ничем не могу помочь! – ответил я ей, глядя прямо в глаза – злые и черные, из которых торчали рога, а не веселые бесенята. – Ничем, к сожалению! Я искренне верю, что он найдется, такое бывает, ты подожди. Имей в виду, мы оба люди религиозные – «ират шамаим» – Б-га боимся, и соблюдаем заповедь «не укради». Все остальное на полное твое усмотрение. Можешь в полицию заявить, я то же самое им повторю: к моим рукам ничего не прилипло!

Поцеловал мезузу, откланялся, поднялся снова к себе. Все рассказал жене, и напоследок добавил: «Легко себя чувствовать с чистой совестью!» И все, и больше к Мартель никогда не спускался. Понятия не имея, чем это кончилось все – история с ее кошельком.

Рав говорит: ничто не сказано в Торе зря. Ответы на все загадки он отсылает искать то в прошлых, то в будущих воплощениях. Так это же в Торе! Видать, когда-то и я воровал – предполагаю. Много работал, старался. Я этот порок из себя изжил, а чтобы оно закрепилось – напоминают. Чтобы бесспорно, чтобы стало оно ненавистным...

Вдруг верю, что вру, что в самом деле украл, что оправдания безуспешны.

* * *

ОНА ПЕЧАТАЛА ДОКУМЕНТ НА МАШИНКЕ, РЯДОМ ТОПТАЛСЯ Я, ЕЁ ЛИЦА Я НЕ ВИДЕЛ, А ТОЛЬКО ЗАТЫЛОК И ЗАПЛЕТЕННЫЕ КОСЫ И СЛЕЗЫ – ПАДАЛИ НА ДОКУМЕНТ НА БЕЛЫЕ КЛАВИШИ. ПЛАКАЛА И СТУЧАЛА, БЕЗЗВУЧНО ПЛАКАЛА.

* * *

Сказал я раву:

– Станный мне слышался зов во время болезни: неумолимо вдруг потянуло в землю, в вечный покой! Что это может быть?

Сказал рав:

– Есть, как ты понимаешь, внезапная смерть: несчастные случаи, аварии, катастрофы. Уход из жизни насильственный в расцвете сил и цветущем возрасте. А смерть естественная подкрадывается незаметно, неумолимо, как наступают сумерки, как надвигается ночь. Само наше тело начинает желать этого. Ему хочется в землю, ибо плоть человека – это земля, это прах, заключенный в пищу, которую потребляем. Земные недра как бы зовут к себе человека, зовут и тянут. Подобное жаждет соединиться с подобным. Особенно старики, когда покидают их страсти, не манят к себе соблазны, не те гормоны и соки...

Гостил у нас Саша, ташкентский поэт.

Как раньше, как в юности, вели бесконечные разговоры о смысле жизни, о смерти, об опыте прошлых реинкарнаций.

Спросил он меня:

– Ты прыгал когда-нибудь с парашютом?

– Нет, ни разу! И даже бы не решился, я высоты боюсь. Фобия у меня – акрофобия!

– А я вот в армии прыгал, прекрасно помню все ощущения. Вот ты бросаешься в пустоту и начинаешь парить. Высота под тобою огромная! Безбрежные пространства земли – паришь ты в них бесконечно, словами не передать наслаждение. И все-таки земля надвигается, осталось несколько сотен метров. И только тут ты вдруг понимаешь, с какою скоростью она на тебя летит. Только и думаешь: как бы помягче сесть – кости не раскрошить! Так и жизнь: покуда ты молод, жизнь кажется бесконечной, смерти нет и не будет. Во всяком случае, для тебя, и ты наслаждаешься ею. Потом взрослеем и понимаем, что годы летят, несутся, как сумасшедшие, дни рождения мелькают один за другим. И понимаем, что надвигаются старость и смерть. Словом, прыжок с парашютом!

Сказал я ему:

– Красиво, Сашок! Поэтично и образно – нравится мне! А вот послушай, как повествуется в Агаде про то же самое. Про долготу и относительность жизни...

Дело было еще до Потопа, и люди жили чуть ли не тысячу лет. Так вот, приходит Ангел Смерти к Метушелаху, и говорит: время твое подошло, давай собирайся, братец! Прожил ты больше всех – девятьсот семьдесят лет!

А Метушелах, он же Мафусаил, принялся спорить, весь выкипая от возмущения: да ты, мол, с ума сошел, я и пожить-то еще не успел! Хочешь, я покажу тебе, что такое девятьсот семьдесят лет? Вошел в одну из дверей своего шатра и вышел через другую. «Одно лишь мгновение – видел?»

Марк Вейцман

ЛИСТОК ЭВКАМИПТА

* * *

Ты говоришь о жажде неуспеха,
мол, звук, не претендующий на эхо,
всегда предпочитаешь. Вот те раз!
Предела нет, дружок, твоей гордыне,
ведь даже вопиющего в пустыне
рассчитан был на слушателей глас.

«Торите, – он вопил, – дорогу к Богу!»
И пусть никто не стал торить дорогу,
экспрессия, однако, какова!
Уходят бесноватые пророки,
оставив огнедышащие строки,
скупые, но нетленные слова.

Мы им, дружок, в подмётки не годимся
и, кажется, напрасно суетимся,
как в старину сказали бы, – вотще.
Не в том проблема, что гадать придётся,
как, дескать, наше слово отзовется,
а в том, что отзовется ль вообще...

НАСЛЕДСТВО

Как у птички-эпохи увяз коготок,
я по глупой беспечности не зафиксировал.
Где вы нынче, бараки да мазанки сырые,
да замёрзших помоев бесплатный каток,
да лесок, раскалённый небесным огнём,
педантично являвший цвета побежалости?
Регулярней печали и явственней жалости
многолетняя надобность помнить о нем.

Птичка сдохла. И мир обновлённый предстал
перед внуками в виде незыблемой данности,
без вещдоков былого, истлевших по давности.
Обвиняемых нет, а свидетель устал.

Описать же наследство большого труда
не составит – лишь несколько строчек раскованных,
не способных спасти от поступков рискованных
никого никогда. Никого. Никогда.

ДУБ

Такого, как он, великана
я в жизни своей не видал,
из черной земли вытекал он
и в синее небо впадал.

И листья, как волны, мелькали –
по солнцу на каждой волне,
и шустрые птички мальками
сновали в его глубине.

А в гнездах, как в маленьких лодках,
по бурным стремнинам ветвей
неслись надрывавшие глотки
птенцы неизвестных кровей.

И стоя, а в сущности, лёжа
на правом крутом берегу,
пред щедростью мира, похоже,
я был в неоплатном долгу.

Тень кроны легла на дорогу,
заверив её как печать.
И жить надлежало. И Богу
нытьём своим не докучать.

* * *

Сколько ненужных вещей навезли. Флотский
здесь не подходит ремень ни к одним брюкам.
С новеньким штепселем вятским контакт плотский
местным розеткам явно претит, сукам.

ВЭФ барахлит, о частотах иных грезит,
а у владельца в пьяных глазах – злоба.
В том-то и дело, что, если взглянуть трезво,
в Рамле ни на фиг они не нужны – оба.

Где примененье шубке сыскать куньей?
Разве что, может, в Пурим на адлояде
шалая какая-нибудь плясунья
мехом наружу напялит потехи ради.

Сколько нелепых, но милых, на кои сносу
нет и не будет, которые суть приметы
жизни, сбежавшей, как девочка, в лес без спросу,
не откликаясь на крики «Ау!» и «Где ты?!»

* * *

Не надо чуть свет просыпаться –
ах, вновь батареи холодные!
Не надо опять устремляться
на поиски счастья бесплодные.

Не надо казниться изгойством,
враждебность терпя и неискренность.
Не надо глухим беспокойством
платить за свою богоизбранность.

Не надо бахил-сорокоходов,
и шубы, и кроличьей шапки,
и вечного братства народов,
знамёна пустивших на тряпки,

свирепости своры собачьей,
овечьего кротости стада,
соблазнов удачи – тем паче.
Не надо, не надо, не надо...

ЛИСТОК ЭВКАЛИПТА

Я твой запах, дитя эвкалиптовой рощи,
ещё в детстве далёком запомнил навеки,
когда мама предтеч твоих лёгкие мощи
покупала, бывало, в дежурной аптеке.

Я присутствию их был, должно быть, обязан
бесконечным простудам да гриппу-злодею,
а теперь вот страной пребывания связан
и бесплатно, по праву гражданства, владею.

Вот нарву сколько надо, залью кипяточком,
ну а веточку вставлю в эйлатскую вазу.
Не березовым – клейким, выходит, листочкам
осенять моей жизни последнюю фазу.

* * *

Рыженький мальчик, краснеющий
от мимолётного взгляда.
Папа в неверье коснеющий,
чтоб не отбиться от стада.

Мама с романом Ажаева
в меланхолической позе.
Запах трески пережаренной,
купленной в долг на Привозе...

К склону холма поселение
лепится круглой кипюю,
с детства его население
ладит с природой скупюю.

В скалах, ветрами израненных,
маков кровавые сгустки –
место, где с Богом Израиля
стыдно общаться по-русски.

Ну, а с нечистым – и рыжему
шанс выпадает сквитаться.
Думает: «Ежели выживу,
надо б в Одессу смотаться».

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Не хмурьтесь, товарищ Примеров,
профессор престижного вуза:
мой шнобель нормальных размеров,
и я говорю – кукуррруза!

По паспорту я россиянин,
люблю деревенскую прозу,
мой дедушка – тульский крестьянин,
полжизни отдавший колхозу.

Я в дымной родился котельной,
а рос средь овечьего стада,
а это – мой крестик нательный,
ко мне придираться не надо.

Живу в автономном полёте,
с «Бней-брит» и Мосадом не связан.
А крайней наличие плоти
я вам предъявлять не обязан!

* * *

Когда рыб сумасшедших стаи спешат на нерест,
а каштаны ещё не успели затеплить свечи,
и не в Понт Эвксинский впадает мой Днепр – в Кинерет,
словно брезгуя памятью о Запорожской сечи,

ты стоишь на углу Васильковской и Бней-Йегуда
и букетик сжимаешь подснежников или маков,
и до синего неба рукою подать, откуда
поощряюще машут Шагал и авину Иаков.

Когда почки т а м не раскрылись, а здесь цветущим
невозможно миндаль назвать ещё в полной мере,
настоящее медленно входит в контакт с грядущим,
и неверие нехотя путь уступает вере.

На Хермон взобраться не легче, чем на Говерлу,
но, о ноющей боли в коленных забыв суставах,
приближаешься потихонечку к откровенью,
из железных слов состоящему и картавым.

НАЧАЛО

Просёлка грубое рядно,
овраг, изогнутый дугою,
затона илистое дно
слегка пружинит под ногою.

Горяч песок береговой,
прозрачен полог небосвода,
грохочет молот паровой
судоремонтного завода.

Ряды заклёпок – стройный хор
или ухоженная грядка,
простой ритмический узор
как воплощение порядка.

Он растворяется в крови
альтернативой силам тёмным,
предощущением любви
к соединеньям неразъёмным.

* * *

Л.В.

Пальтишко в проймах тесное. Дыра
с торчащей ватой.
Пространство затрапезное двора.
Сортир дощатый.

Домишки скособоченные в ряд
стоят сутуло.
Здесь «проценты» и «чёлка» говорят,
сядась на стуло.

Но, с куколкой тряпичною бродя
в пределах ада,
смеёшься ты и думаешь, дитя,
что так и надо.

В эпоху ту прорваться мне невмочь,
и что я значу,
коль даже не могу тебе помочь
решить задачу,

сводить на представленье в шапито
у велотрека.
Вот пожалеть надумал, да и то –
спустя полвека.

* * *

– Признайтесь-ка, старик,
листающий «а-Арец»,
вы – друг степей калмык
иль гор кунак – аварец?
Целинных брат земель?
Приятель влажной сельвы?
Явились вы – откель?
Что делали досель вы?

– Я кит нездешних вод
и плод воображенья,
и рифмы антипод
в саду стихосложенья,
и рыцарь Ланселот,
и автор текстов Танич,
но в высшем смысле тот,
кем ты с годами станешь.

ВЫБОРЫ

Между чем выбирать – экстремизмом жлобов,
сребролюбьем святош, равнодушьем рабов
иль снобистской покорностью садо-
мазохистов, сплотившихся в стадо?

Тель-Авив, я ещё не хочу выбирать,
но боюсь то, чего не нашёл, потерять,
но страшусь оказаться в ответе
за бардак на любимой планете.

И поэтому медленно, словно в бреду,
к избирательной урне я всё же бреду –
заложиться зарядом фугасным
между Просто Плохим и Ужасным.

ДРОБЬ

– Дятел, ты спятил? Неужто тебе
место на этом бетонном столбе?
Что же долбишь ты ни свет ни заря
твёрдый латунный колпак фонаря?

– Что-то меня заставляет долбить.
Знаю, что корму мне здесь не добыть.
В пору тотального краха знамён
мню достучаться до лучших времён.

– Милый! Повсюду разлад и разброд.
Стоит ли злить озверевший народ?
Он ведь к единственной дроби привык –
к той, что вмещает его дробовик...

Стоит взглядеться: искусства модель.
Спорные средства. Бредовая цель.
И невесомое, в духе Коро,
ветром несомое птичье перо...

Евгений Тенгелъ
РАССКАЗ БЕЗ АДРЕСА

В пятницу я пошла в угловой магазин за газетами.

В магазине стояла высокая женщина в белом платье и курила. Возле нее сидела маленькая собака.

Женщина наклонилась к собаке, и вдруг стоявшая рядом девушка хрипло закричала:

– Вы что, рехнулись совсем, бросать сигареты на пол? Кто так курит?!

Женщина медленно выпрямилась и поправила белый воротник своего платья.

– Прошу прощения, – сказала она.

– Что «прощения»? Что «прощения»?! – завопила девушка. – На кой хрен мне ваши «прощения»? Бросает сигареты на пол и еще, видите ли, прощения просит!

На губах у нее выступила белая мучнистая пена. Девушка высунула язык и слизнула ее.

– Я прошу прощения, – повторила женщина.

– Ах, ты прощенья просишь? – не унималась девушка. – Да ты меня без ноги оставила сигаретой своей, а теперь прощения просишь! Приперлась в магазин с огромной собакой, сожгла мне ногу и прощения, видите ли, просит! Раскидалась тут, понимаешь, своими сигаретами!

Женщина побледнела, но не двинулась с места.

– Я прошу прощения, – сказала она.

– Совсем уже с ума посходили! – хрипло кричала девушка, топая ногой и размахивая руками. – Прощения она просит, посмотрите на нее!

Она так быстро вертела головой и так сверкала глазами, что казалось, будто у нее два лица – одно спереди, а второе на затылке.

– Ты мне ногу сожгла, а теперь прощенья просишь? Не видишь, что ты мне ногу сожгла? Не видишь, что я босиком?!

Собака встала на задние лапы, а передними обхватила ноги женщины в белом платье.

– Простите меня, – сказала женщина, побледнев еще больше, – правда, простите. Я не видела, что вы босая.

Девушка продолжала топтать ногами. Широко растопыренные пальцы ее больших ступней были похожи на кривые шевелящиеся стебли, вырастающие из-под земли. На губах у нее снова выступила белая мутная пена.

– Что «не видела»? Что ты «не видела»?! Тушит мне сигарету об ногу и говорит «не видела». Откуда только берутся такие...

– Хватит уже, – сказал продавец газет.

– Что «хватит»?! – заорала девушка, смахнув с подбородка белую пену. – Что «хватит»?!

Собака опустилась на пол и заскулила.

– Стул... Дайте мне стул, – попросила женщина.

– Прижгла мне ноги, – крикнула девушка, – а теперь, видите ли, стул просит. Вот наглость! Цаца какая!

Собака заскулила пронзительнее.

– Дайте мне стул... пожалуйста... – прошептала женщина. Лицо ее стало серым, как оберточная бумага. – У вас есть телефон? – спросила она еле слышно.

Продавец газет не услышал, и она повторила:

– У вас есть телефон?

Собака попыталась запрыгнуть на женщину, тычась в нее мордой и отчаянно обхватывая лапами, потом неожиданно закружилась волчком, отбежала на некоторое расстояние и встала на задние лапы. Шерсть на ее тонких щиколотках вздыбилась.

Женщина слабо застонала от боли, уронила голову на плечо, покачнулась и тяжело осела на стул, как будто рухнула на пол.

– По-моему, надо вызвать скорую, – сказал кто-то.

– Скорую? – завизжала девушка. – Как ноги сжигать – так мне, а как скорую вызывать – так ей! Вы только подумайте!

Вытянувшись, как струна, собака стояла на задних лапах и как-то странно, утробно урчала.

Когда приехала скорая, женщина уже едва дышала. Посадить собаку в машину врачи отказались. Собака снова крутнулась волчком и вцепилась в открытую заднюю дверцу «Скорой помощи». Спустя несколько минут я увидела, что она, как одичавшее животное, мчится по шоссе среди машин, и, в унисон с сиреной, непрерывно скулит.

Вечером я пошла в «Ихилув». Посреди полупустого больничного двора лежала собака и царапала себя. Услышав шаги, она подняла голову и уставилась на меня. Глаза у нее горели, как две красные вишни.

В приемном покое никто ничего не знал. Я сказала, что днем должны были привезти женщину с собакой.

– Не было тут никаких собак, – буркнула дежурная.

Я сказала, что собака до сих пор лежит во дворе.

Врач, перед которым лежала большая стопка бумаг, пожал плечами.

– Какая еще собака? – спросила дежурная.

– А-а-а, это та, из магазина, – вздохнул врач, выглядевший очень усталым.

– Адрес неизвестен, – сказал он. – Искали в сумочке, но ничего не нашли.

Потом он спросил, не хочу ли я опознать труп.

Я сказала, что незнакома с ней.

– Жаль, – сказал он. – Кто-нибудь должен опознать труп.

Я спросила, когда она умерла.

– Ее доставили уже мертвой, – сказал врач и посмотрел на меня неподвижным, ничего не выражающим взглядом. – Никакой собаки не было, – добавил он и снова посмотрел на меня пустыми, стеклянными глазами. – Ее одежду можно забрать в морге.

Я сказала, что женщина была в белом платье.

– Может быть, – сказал он. – Белого платья я не видел.

– Да, она была в белом платье, – сказала я. – Она покупала газеты.

– Может быть, – сказал врач. – Я не видел никаких газет.

Он поднял голову, посмотрел на меня равнодушно и повторил:

– Я не видел никакого белого платья. А это имеет какое-нибудь значение, что она была именно в белом платье? В любом случае, нужно, чтобы кто-нибудь опознал труп.

Дежурная медсестра сказала, что можно попросить собаку.

Врач пристально посмотрел на нее.

– Не знаю, – сказал он. – Я не уверен, что такое опознание будет считаться действительным.

– А почему бы и нет? – сказала дежурная.

– В принципе, оно, конечно, – сказал врач, – но собака не может организовать похороны.

Собака подпрыгнула, как будто в нее выстрелили, и бросилась на врача.

– Только этого мне не хватало, – пробормотал врач. – Сидеть!

Собака отстала и покорно поплелась за врачом по направлению к моргу. Я не видела, как она входила туда, но зато я видела, как она вышла оттуда. Она шла медленно, задевая боком больничную стену. Из ее раскрытой пасти стекали капли крови. Потом, неестественно выгнув спину, она прижалась к стулу, стоявшему в коридоре, и стала тереть лапой глаза. При этом она издавала какой-то странный звук, похожий на скрежет пилы, вонзающейся в деревянную доску.

Я возвращалась домой по аллее царя Давида. Уже стемнело. Аллея была пуста. Высокие, тонкие, бледные деревья то шумели на ветру, то затихали.

Рядом со мной шел парень, прижимая к ушам наушники плеера. На парне была ярко-красная майка, полыхавшая в пустынной аллее, как светофор.

Следом за мной молча и терпеливо шла собака. Ее маленькое прежде тельце стало почему-то большим. Она шла совершенно мертвая. Ее неподвижная челюсть казалась жесткой, как подкова.

Парень с плеером вынул из уха наушник и сказал:

– Миллион человек строили Великую китайскую стену.

Я не поняла. Он повернулся ко мне и улыбнулся.

– Миллион человек строили Великую китайскую стену, – повторил он и спросил, не хочу ли я послушать.

Я сказала, что следом за мной идет собака. Он внимательно посмотрел на меня и сказал, что никакой собаки тут нет. Я сказала, что ясно ее вижу.

Парень с плеером снова улыбнулся.

– Миллион человек строили Великую китайскую стену, – сказал он, – и это единственное, что видно из космоса, представляете?

Он снова приложил к уху наушник, нажал на какую-то кнопку и из плеера тотчас же вырвалась дикая музыка.

– Представляете? – повторил он.

Казалось, что музыка звучит откуда-то изнутри его тела, как будто все его существо издавало эти звуки, напоминавшие долгий хроматический вой. Он снова полуобернулся ко мне и сказал:

– Киты любят саксофон. Не знаю, что любят собаки.

Он понизил голос и улыбнулся чересчур широкой улыбкой.

– Может быть, они тоже любят саксофон, – сказал он.

В сумерках белки его глаз казались очень яркими.

– Вообще-то я тоже люблю саксофон, – сказал он, – а вы?

Я оглянулась. В аллее не было никого, кроме меня, парня с плеером и мертвой собаки. Собака шла так, как ходят собаки, привыкшие годами бродить по дорогам.

Парень с плеером ускорил шаг и стал медленно удаляться от меня. Он был похож на длинный, наглухо закрытый футляр, до отказа набитый звуками дикой музыки. Время от времени он высоко вскидывал голову, как будто плыл и боялся, что волны захлестнут его. Потом его ярко-красная майка исчезла совсем.

Стояла праздничная ночь. Аллея была пуста. Улицы – тоже. Я решила, что пора отправляться домой, и оглянулась. Мертвая собака продолжала идти за мной, и я подумала, что раз она мертва, то теперь будет идти за мной вечно. Морда у нее была худая и печальная, а листья отбрасывали на нее ажурную тень, похожую на татуировку. Я снова увидела, как она запрыгивает на женщину в белом платье, отчаянно тычется в нее мордой и гладит лапами, и вдруг вспомнила, что египтяне дотрагивались до глаз мертвеца и до его рта, желая тем самым вернуть ему чувства. Собака делала то же самое. Набитые опилками, обмотанные тряпками мертвые тела постепенно высыхали. Высохшую мумию украшали маской и отправляли в вечность на деревянном ложе в форме лодки. Потом душу усопшего бальзамировали и помещали в специальный саркофаг.

Я вернулась домой. Телевизор был включен. В новостях сообщили о нашествии саранчи в Южной Африке и об осво-

бождении заключенных на Филиппинах. Дикторша сказала, что это желто-белая саранча, и что миллионы вредителей распространились по лесам и полям, уничтожая на своем пути всю зелень. Показали джипы, разбрызгивавшие яд, потом чернокожего рабочего, который очень радовался. Оказалось, саранча для них – лакомство. Потом показали похороны парня, который подорвался на mine в Ливане. Его мать высоко воздевала руки и кричала. Раввин качал головой и приговаривал: «Кадош, кадош». Было жарко, раввин вспотел, но продолжал качать головой и говорить «кадош, кадош». Мать упала на колени. Показали именитых гостей, приглашенных на похороны. Они были в больших черных очках и то и дело утирали руками пот с лица. Раввин начал читать «Эль мале рахамим». Мать стала есть землю.

Я выключила телевизор, заварила кофе и стала думать о женщине в белом платье, потом о собаке. Пришел ли кто-нибудь опознать труп? Неожиданно я вспомнила, как по Сене плыло тело Пауля Целана. Парижские полицейские наверняка ругались, когда нашли труп, плывущий по Сене. Я поняла, что не знаю, были ли при нем документы и нужно ли было опознавать его труп. Я не знала, с какого моста он прыгнул, было это днем или ночью, летом или зимой. Мне казалось, что он плыл в черном костюме.

Я позвонила своей подруге в Хайфу.

– Что-что? – переспросила она. – В каком он был костюме? Нет-нет, какой там костюм. Он закрылся в комнате и больше из нее не выходил. Это было в школе. Он преподавал в школе. Он больше не мог.

– Что не мог? – спросила я.

– Жить, – сказала она.

Я спросила, летом это было или зимой. Она не помнила.

– А мост? – спросила я.

Она помолчала и сказала, что не знает, был ли мост, и где это произошло. Снова помолчала и добавила:

– Сена, она такая... неторопливая.

Я вспомнила, как в Венеции мы ездили на остров, где Святой Франциск разговаривал с птицами. Там продавали цветные баночки из венецианского стекла. Стекло было очень красивое, а сами баночки уродливые. Я спросила: «А где же птицы?» И Цви ответил: «Видишь, они продают хрустальные глаза: можно купить желтые глаза, красные, лошадиные, а у кошек – зрачки зеленые. Смотри, здесь есть и зеленые. Это из-за окиси железа они такого цвета. Благодаря этому кошки видят ночью. Стекло очень хрупкое, но хорошо выдерживает давление и прекрасно проводит свет. Девяносто процентов света. В течение стольких лет, стольких поколений. Идем, – сказал он, – тут наверняка есть птицы».

– Почему ты молчишь? – спросила подруга.

– Я не молчу, – сказала я.

На следующий день я опять пошла в больницу. Никакой собаки там не было. Домой я снова возвращалась по аллее. Там тоже не было никакой собаки. Ни живой, ни мертвой. Я вспомнила, как мама говорила мне когда-то, что не надо бояться мертвых. Это было в Нешере. Мы жили возле кладбища. Я была совсем еще девочкой. Сколько мне было тогда? Сколько мне сегодня? Сколько лет было тогда ей? Сколько теперь?

– Не надо бояться надгробных памятников, – сказала мама, – они сделаны из камня.

– Ты думаешь, в камне нет жизни? – спросила я. – Но ветер может изменить камень.

– Нет, – сказала мама, – ветер не может. Только время.

Я помню, как принесли ее вещи. Тогда я уже была подростком. Помню небольшое зеркальце на деревянной подставке, покрытой белым лаком. Перед ним она причесывалась. Что случилось с ними потом, с ее личными вещами?

– Она не умерла, – сказал отец моего отца, – она просто ушла.

Мой отец промолчал. Дед вышел, а потом вернулся. Пальто его было мокрым, лицо тоже. Он не подошел к отцу, только вытер лицо рукавом пальто и сказал:

«День первый, день последний.

И трубят в шофар, и кричат горлом.»

Отец ничего не ответил.

Она ушла под утро. Ей было сорок, когда она ушла. Тогда я не знала, какой она была молодой.

– Из кипариса делают музыкальные инструменты, – сказала она однажды, когда кипарис, росший возле нашего дома, умер. – Может быть, и наш станет музыкальным инструментом? Сухое дерево, оно сильное.

В то утро мы были с ней одни. Светало. Балкон и сад были залиты ослепительным светом. Она вздохнула и чуть слышно застонала. Я вышла на балкон и долго там стояла. До сих пор я помню этот свет.

Сколько лет ей было тогда? Сколько лет ей сейчас? Что я знала тогда? Что я знаю сейчас?

– Ты думаешь, этому можно научиться? – спросила она меня однажды. – Посмотри на окна, когда они закрыты. Это черные дыры, сквозь которые проникают несчастья.

Нет, нет, этого она не говорила.

Я поспешила домой, быстро приготовила кофе и включила радио. Рассказывали, что какой-то город в Португалии украсили бумажными цветами. Десятки тысяч бумажных цветов. Весь город был в цветах: дома, люди, даже электрические столбы. Я переключила на другую станцию.

Говорили о пятнах на солнце.

– Выбросы солнечного ветра происходят в районах солнечных пятен, а скопления нескольких солнечных пятен излучают огромное количество энергии.

Голос ведущего звучал мягко, и я стала слушать этот неторопливый, мягкий голос, рассказывавший о том, что выбросы солнечного ветра подобны земным ливням, и еще про то, что самые сильные солнечные бури бушуют в околосолнечном пространстве.

– Деятельность солнца тоже непредсказуема. Почему солнечные пятна возникают в разных местах? Почему это повторяется каждые одиннадцать лет? Может ли это привести к изменениям на солнце? Как это отразится на солнечном ветре? – спрашивал он.

Я прижалась ухом к приемнику.

– Был период, длившийся семьдесят лет, когда не было пятен, – сказал голос.

– Как это не было пятен? – спросила я.

– Солнечная корона исчезла, – ответил мне голос.

Я нажала на выключатель.

На следующий день я снова пошла в больницу. Врача опять не было. Дежурная сказала, что ничего не знает и добавила:

– У нас тут каждый день умирают.

Я спросила, похоронили ли собаку.

– По поводу мертвых собак, – сказала она, – обращайтесь в мэрию.

Я вновь возвращалась по пустой аллее. Было жарко. Я села на скамейку. Кроны высоких деревьев были похожи на головки высохших колючек. Над деревьями висела белая узкая тропинка.

Перевел с иврита Борис Борухов

Ицхокас Мерас

ОАЗИС

В яму углом опустили носилки, на которых лежал этот человек. Могильщик, мужчина средних лет с небритым смуглым лицом, принял носилки, опустил свой край на дно ямы и снял с мертвого талес. Неторопливо сложил, подал другому мужчине, стоявшему у края ямы. Куда его потом девали, я не видел. Может, потому, что слеза, словно попавшая в глаз соринка, саднила веки и мешала смотреть.

А может, нет. Может, потому, что впервые в жизни я наблюдал за могильщиком.

На этом кладбище я бывал не раз, но никогда не смотрел, как опускают в могилу умершего. Закрывал глаза или отворачивался, осматривался, пытаюсь понять, что же это такое — кладбище.

Оно раскинулось на ровном месте, большое кладбище, обнесенное каменной оградой, а за оградой — песок, желтый, слепящий, там, подальше сметенный ветрами в невысокие дюны, а за дюнами — море, но моря отсюда не видно и, странно, даже шума волн не слышно, хотя море и недалеко, может, это дюны скрадывают звуки, а может, так уж оно бывает, потому что на кладбище должна царить тишина.

На той равнине, широкой и еще не заполненной, зелеными озерами разливались газоны, одинаково свежие, ровные, ухоженные. Росли и деревья — невысокие сосны, и кусты — то там куст, то здесь, и цветы. Господи, каких только красок здесь не было, самые разные, местами кусты сплошь были покрыты цветами, словно гигантские букеты, — фиолетовыми цветами, и розовыми, и красными, и светло-светло-зелеными, почти желтыми цветами, но всегда, когда я отворачивался от могилы и, отвернувшись, оглядывал кладбище, меня ослеплял одинаковый светлый цвет, словно ничего больше не было вокруг, только песок, всегда такой слепящий на солнце, как ослепительный снег.

Я не смотрел на могилу, потому что непривычно было, когда хоронят человека без гроба, бросают, спеленатого простыней, в яму, заваливают землей — нет, не мог я к этому привыкнуть.

Я знал, что человека, если он умирает, укладывают в гроб, и он остается так лежать, больше не поднимается — обмытый, чисто обряженный, со сложенными на груди руками, с закрытыми глазами, словно он спит и ничто больше не тревожит его.

И когда все простятся с ним, гроб закрывают крышкой. Потом, на кладбище, его осторожно опускают в могилу и стараются, чтобы гроб не накренился, чтобы умерший остался лежать в покое, как лежал, и когда земля комьями посыплется вниз, ударяясь о

крышку гроба, уснувший вечным сном остается лежать нетронутым, защищенным крышкой, и только на миг звук сыплющейся земли потревожит его, а его тело, удобно вытянувшееся во весь рост, всё ещё окутывает воздух, принесенный из мира живых. И не давит потом ни могильный холм, ни памятный камень.

Я обычно не смотрел в яму, если человека, хоронили без гроба, потому что всем телом чувствовал, как прикасается, обсыпая тебя, песок, как давит грудь, забивает рот, ноздри, зажимает глазные яблоки, давит и душит. Страшно было, что тебя душат и ты вот-вот задохнешься.

* * *

На этот раз я наблюдал за могильщиком. Передав другому мужчине сложенный талес, он широко расставил ноги в могиле, чтобы стоять твердо и удобно, и взял мертвого за плечи. Я ощутил на своих плечах жесткие ладони могильщика и вздрогнул. Под белой простыней, туго спеленавшей тело, ясно вырисовывались округлые плечи человека, его нос, впалая грудь, локти, пальцы рук.

Я никогда раньше не знал о его существовании, только недавно, ранним утром, когда чуть брезжило, после долгой ночной дороги из Европы в Малую Азию, после четырехчасового пути, длившегося целую вечность, я впервые увидел его, маленького человечка, терпеливо прождавшего меня всю ночь только для того, чтобы произнести четыре слова: «Я - друг твоего отца».

Как будто отец еще был – здесь, в Азии, или там, в Европе, или, может, в каком-то другом месте, как будто он еще был после того, как мы виделись в последний раз там, на въезде в старинную усадьбу, в трехъярусной белой башенке под высокой, крытой красной черепицей крышей, куда мы с матерью тяжело поднимались по каменным ступеням, до третьего яруса, и его вывели из камеры, и я увидел его таким, как всегда, только в очках от правого стекла торчали осколки, а глаз за ними был залеплен тряпичей.

Он не спросил, как мы живем и где, не погладил меня по голове, только достал из-за пазухи свои круглые карманные часы с серой крышкой и длинными тонкими стрелками, таких теперь уже не делают, – и сказал: «Это тебе».

Я протянул руку и дотронулся до кожаного ремешка, свернувшегося рядом с часами на ладони отца, – тогда еще не зная – а отец уже знал, – как я буду жадать этой серой вещицы позднее, через год, через десять, через тридцать лет и еще Бог весть сколько я буду мечтать об этих серых часах, каких теперь уже не бывает.

Но охранник сказал: «Нет».

И не видел я, как отец лег в могилу и как его засыпали землей, и не знаю, кто был его могильщик.

А если бы видел, и меня бы в землю положили.

* * *

На этот раз я наблюдал за могильщиком, видел, как он обхватил ладонями плечи умершего, а сам широко, насколько позволяла яма, расставил ноги, чтобы иметь упор и не потерять равновесие, поднимая этого маленького человека, спеленатого простыней.

Не так давно говорили с ним по телефону.

Был праздник Песах.

– С праздником, – сказал я.

– И тебя.

– Желаю здоровья.

– И тебе. Как живешь?

– Спасибо. Хорошо.

– Навести меня.

– Непременно.

– Давно не виделись.

– Замотался я.

– А ты приходи.

– Конечно.

– Хочу тебе кое-что сказать.

– Обязательно.

– Не откладывай.

– В ближайшее время, да.

Не успел, замотался. А может, и не потому.

Видимо, неинтересно было, что он хотел мне сказать, хотя, может, это и было что-то важное. Не было и потребности увидеть его, достаточно было знать, что он есть, где-то рядом, почти рукой достать: «Я – друг твоего отца...».

Мне позвонили в день похорон, потому я не видел его мертвым.

А ждал я в тот момент звонка из другого места, совсем из другого. Женщина должна была мне позвонить. Этого звонка я ждал всю жизнь.

Услышал незнакомый мужской голос. Говоривший представился двоюродным братом этого человека, «вечная ему память...»

– Что?! – спросил я.

– Да, – ответил он.

– Когда?

– Вчера.

– Почему? – хотел я спросить, но не спросил.

– Через два часа похороны.

– Да, – ответил я и осторожно положил трубку.

Я забрался в глубокое кресло, свернулся в клубок и сидел неподвижно, и не подходил к телефону, хотя было несколько звонков, и звонили долго, а потом натянул берет, хотя было лето и стояла жара, сел в машину и включил фары, хотя был день, и поехал на кладбище.

* * *

Он был такой же невысокий, как мой отец, он даже, может быть, чем-то был похож на отца.

Могильщик, крепко обхватив за плечи, поднял и усадил его.

Мужчины, стоявшие у края ямы, вытащили наверх носилки, на которых он до сих пор лежал.

И этот мертвый человек, закутанный в белую простыню, сидел, и еще яснее обозначились его круглые плечи, голова, впалая грудь, руки и пальцы на руках.

Я все еще чувствовал на своих плечах ладони могильщика, но все равно не мог понять, как может сидеть мертвый, который сидел, я сам это видел, как он может сидеть, если вчера он умер, а сегодня его несли на носилках, закутанного в простыню, укрытого талесом, и он был неподвижен, и я стоял под каменным навесом вместе со всеми, под тем самым навесом, что словно ворота, порог в мир иной, где носилки с умершим ставят на низкий каменный постамент и читают последнюю молитву, и освобождают человека от всех обязательств и повинностей, и прощают его, и просят у него прощения. И эта последняя молитва – «Кадиш». Я никогда не знал этой молитвы, не понимал и не пытался понять, хотя она и была записана в моем гимназическом альбоме.

В этом альбомчике друзья и подруги по школе, учителя и учительницы писали мне на память разные слова: Будь честным! Будь справедливым! Люби меня, как я тебя! Не забудь меня! Жизнь – это сцена... Розочка... Незабудка... Ты... Тебя... Я тебя...

Один еврей, крещенный во время войны, да так и не снявший крестика с шеи ни после войны, ни позднее, – вписал в мой альбом «Кадиш» – на одной странице на святом языке, а на другой – латинскими буквами, но я все равно не понял смысла этих слов.

Теперь, у края могилы, рядом с низким каменным постаментом, на котором лежал этот человек, завернутый в простыню, я, услышав последнюю молитву, впервые осознал эти слова: «Да снизойдет с небес мир и жизнь для нас... Творящий мир на небесах да сотворит мир и среди нас...»

* * *

Он сидел, как живой, только окутанный простыней, и я, преодолевая страх перед смертью, ждал, когда он встанет, откинет простыню, поднимется из ямы и зашагает прочь от своей могилы, прочь от кладбища, потому что он был частью моего отца, частью меня самого.

А когда он встал и пошел – кругом, другой дорогой, чем был принесен, как и полагается живым, по древним обычаям, – я пошел следом за ним.

Авторизованный перевод с литовского Софии Шегель

Наум Басовский
НОВЫЕ СТИХИ

**СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
С ЭПИГРАФАМИ ИЗ АЛЕКСАНДРА РЕВИЧА**

1.

...чистый листок на столе...

Тень на оконном стекле,
чистый листок на столе,
том словаря, карандаш –
добрый домашний пейзаж.

Над белизною листка
мягко взмывает рука,
и возникает строка
в белом пространстве листка.

И возникает река,
сонный покой городка,
дом у реки на виду,
сад и качели в саду.

Я возникаю в окне
в белой сорочке, и мне
десять-одиннадцать лет
от появления на свет.

И в возрождённом былом
я у окна за столом,
тень на оконном стекле,
чистый листок на столе...

2.

...и тень дворовой липы...

Из дома выбежать стремглав
во двор, под тень дворовой липы,
родимых лиц дагерротипы
в архивах мозга перебрав,
и резко высветить одно –
через ветвей переплетенье –
лицо в окне,

а я из тени

как раз гляжу туда, в окно, —
и понимаю, что забыл,
увы, подробности и даты —
всё это где-то и когда-то, —
а только помнится, что был
старинный дом, зелёный лад
ветвей на белом переплёте,
и я ловлю в окне напротив
наполненный любовью взгляд...

3.

Кино начинается рано.

Кино начинается поздно
под небом в саду у реки.
Большие днепровские звёзды
над нами висят, высоки.
Прекрасны и полны значенья
в дрожащих огнях небосклон,
экрана цветное свечение
на фоне синеющих крон,
и девочка в платьице тонком,
её голубая щека
во мраке,

и словно бы током
меня ударяет слегка,
и лёгкое наше касанье
рождает, мне кажется, свет, —
а там, на неярком экране,
течёт ординарный сюжет,
в котором немного событий,
почти ничего для души,
а только забота о быте,
усталость и труд за гроши,
утрата надежды и дома,
болезни и плачи навзрыд —
и всё это нам незнакомо,
а только ещё предстоит,
и что-то в героях мы ищем,
пытаясь узнать наперёд...
Её и меня по жилищам
полночный троллейбус везёт.
Мы так и не поняли толком,
про что это было кино,
но девочка в платьице тонком
глядит отрешённо в окно.

4.

О невозвратный мир, куда дороги нет!

О невозвратный, голубой, зелёный
мир детских бед и гулкой суеты,
когда в глаза стекает пот солёный,
но гол забит, и это сделал ты!

О невозвратный, жёлтый, синий, красный
мир юношеских снов, прибоя дрожь,
и ты ныряешь под накат опасный
крутой волны – и снова воздух пьёшь!

О невозвратный, трепетный, истомный
мир первой страсти, ненасытных уст,
молчанье ночи непроглядно тёмной –
и белый день, и снега вкусный хруст!

...В пространстве нам заслон поставлен строгий,
пресечена и временная связь,
но все дороги, Боже, все дороги
туда ведут, стихами становясь.

5.

...и этот дом на снос, и новые стропила...

И дом на снос, и новые стропила
почти рутинны в наши времена.
Из сердца вон, что сердцу было мило:
где, по преданью, дедова могила,
растёт многоэтажная стена.

Но и на ней заметны знаки тлена –
чем краше зданье, тем они видней.
И только то, что изначально бренно,
оказывается прочней, чем стены,
и долговечней тёсаных камней.

Всего-то дел – бумага да чернила,
и незаметны сила и замах,
но – *дом на снос и новые стропила*, –
как видно, есть особенная сила
в особенно поставленных словах:

с площадки допотопного трамвая
ступаю на булыжник мостовой,
и сладко пахнет липа вековая,
дом не снесён, и бабушка живая,
и живы все, и даже дед живой!..

6.

*Как в столетнем фотоаппарате,
Панораму застилает мгла.*

Девяносто пять бездонных лет
с той поры, как деда нет на свете.
Говорили, был фотопортрет,
да пропал.

Но что на том портрете
наша жизнь увидеть бы могла?
Пейсы, кипа, доброта во взгляде...
Остальное застилает мгла,
как в столетнем фотоаппарате.

Был погром почти что век назад
смертью деда славно подытожен.
Уничтожен фотоаппарат,
и фотограф тоже уничтожен.
Страх глядит из каждого угла
под псалмов скупые песнопенья:
наши судьбы застилает мгла
общих бед и общего терпенья.

7.

В.

...две зыбких тени, слившихся навек.

Уходят люди. Тяжелы утраты.
Редееет круг – взгляни по сторонам.
И я уйду, и ты уйдёшь когда-то,
добро бы вместе, но решать не нам.

Там вечность правит; что ж сказать о миге,
чтобы не впасть в кощунство и навет, –
что сохранятся на страницах книги
две зыбких тени, слившихся навек?

Не надо бы мечту лелеять эту,
миг созиданья превращая в час.
Уходит всё, и книга канет в Лету,
и слава Богу, если *после* нас.

Пройдя вдвоём сквозь жизненные свили,
одно на свете знаем ты и я:
две зыбких тени слившимися были
весь краткий срок земного бытия.

сентябрь 2001

* * *

Вильяму Баткину

Утром гремела гроза: апрель предъявил права.
Иду по привычной тропе в кибуцном земельном наделе.
По левую руку – пшеница, по правую – просто трава,
и обе мне до плеча вымахали за неделю.

Ещё неделя пройдёт, самое большое – две;
будут пшеницу жать, ибо она созрела;
разноцветная желтизна хозяйничать станет в траве,
колючие семена разбрасывая, как стрелы.

Всё происходит быстро в этой жаркой стране,
где час-полтора езды от границы к другой границе,
где рукою подать от мира к террору и даже к войне,
где можно в одночасье стать богатым и разориться.

На фоне потока машин я почти что стою –
виртуальных коней судьбы не дёргаю, не стегаю,
вновь и вновь озираю всю дорогу свою,
предназначение своё медленно постигаю.

Не от хорошей жизни эта статичность моя,
не для каких-то целей и точно уж не для вида.
Но, может быть, оттого что не тороплю бытия,
мне чуть более различим голос царя Давида...

апрель 2001

* * *

Глаз видит всё не так, как фотоаппарат:
пристрастный объектив свой выбор производит,
а где бесцельно наш проскальзывает взгляд,
нет рамок, есть простор и что-то происходит.

Вот снимок хорошо запечатлел деталь –
проём окна, лицо, приглашенное шторой, –
а взгляду виден дом, чердак, и неба даль,
и улицы фрагмент, и роща, за которой...

Да что там говорить! Снимай издалека,
чтоб панораму взять, – а всё равно границы,
и так же в никуда стремятся облака,
и так же в никуда перелетают птицы.

И только иногда, не чаще раза в год,
ты видишь серый холм, убогую осину –
и взгляд легко с листа уходит в небосвод, –
но так построить кадр лишь мастеру под силу.

август 2002

* * *

Старый двор. Убогие сараи,
где брикеты торфа и дрова.
Целый век мы прожили, играя
на задворках старого двора.

Тёплая земля под лопухами,
ягоды шелковицы в пыли...
Звуки на рассвете возникали,
дотемна затихнуть не могли.

А потом ушли мы за ворота
в шумный мир, бетонный и стальной,
и, похоже, потеряли что-то
за кирпичной крашеной стеной.

Годы детства в памяти стихали,
и умолкли вроде бы совсем,
и возникли заново – стихами
с тихим эхом деревянных стен,

с тихим стуком дождика по крышам,
с тихим вздохом пасмурной порой.
Всё, что в детстве ежедневно слышал,
слух сформировало и настрой.

Пусть звучанье сумрачно и смутно –
музыка, ей-богу, неплоха.
Чувствую себя вполне уютно
на задворках русского стиха.
февраль 2003

* * *

Ефиму Пищанскому

Махнём, не глядя, судьбы в той стране,
где родились, и выросли, и стали
ловителями звука в тишине
среди заносов чугуна и стали.

Махнём, к примеру, наши города,
места учёбы и места работы –
а всё не переменится страда,
когда неволя пуще всей охоты.

А всё не переменится простор,
где места не нашёл смиренный инок,
хотя искал и о дороги стёр
несметное количество ботинок.

А всё не переменится итог:
в сухом осадке тщетные усилия,
и слишком поздно обретённый Бог,
и слишком рано сломанные крылья.

Нужна отвага на полёт без крыл
над нашей неустроенной планетой,
чтобы рвануться из последних сил
и вырваться из заданности этой.

март 2003

* * *

В.

Стоял февраль. Всё только начиналось.
По-новому дневалось, ночевалось,
мир отличался резкой новизной.
Мелькали дни на снежной карусели,
и что-то неизвестное доселе
с тобой происходило и со мной.

Занятия твои кончались поздно.
Стоял февраль, морозный и беззвёздный.
Я ждал тебя у станции метро.
Мы шли и спотыкались то и дело;
казалось нам – мело во все пределы,
казалось нам – по всей земле мело.

Всё было белым – дом, фонарь, аптека...
Я вспоминаю через четверть века:
стоял февраль, немыслимый теперь.
Ещё снеговерчение сплошное
нам открывалось доброй стороною
и не было болезней и потерь.

Ещё, хотя забот вполне хватало,
их в это время словно бы сдувало
снеговерченьем на края земли.
Стоял февраль, холодный и метельный;
и в свете дня, и в тесноте постельной
мы просто друг без друга не могли.

Земли круженье, головы круженье,
друг другу бессловесное служенье,
и каждый миг наполнен до краёв
тем, что сказалось, тем, что нашепталось...
Стоял февраль. Всё только начиналось,
и музыка была почти без слов.

...Гляжу в окно: зелёная мимоза;
не только ни метели, ни мороза,
но раскалённый свод над головой.
А память возвращается в начало,
когда весь мир, казалось, заметало –
стоял февраль. Он до сих пор живой.

8 апреля 2003

* * *

Удалась ли жизнь? Заболоцкий сказал бы – нет,
ибо рано умер, в лагере был и в ссылке.
Но тогда откуда утренний этот свет,
где на сером тле золотистой зари прожилки?

Но тогда откуда утренний этот звук,
где в прозрачной роще слышно листа паденье?
Но тогда откуда морозной свежести дух,
что приходит и в нас остаётся, как наважденье?

Это всё из слов: это в них земля и вода,
наших душ покой, наших судеб чёт или нечет.
Удалась ли жизнь? И стихи отвечают – да,
вопреки всему, что ломает нас и калечит.

апрель 2003

Цире Кертес

ОБЕЗДОЛЕННОСТЬ*

1

Сегодня я не ходил в школу. То есть ходил, но только затем, чтобы отпроситься у своего классного руководителя. Я вручил ему ходатайство отца об освобождении меня от занятий «по семейным обстоятельствам». Он спросил: «Семейные обстоятельства... Какого рода?» Я сказал ему: «Отца призвали в рабочие батальоны». После этого других вопросов не было.

Я заторопился не домой, а в лавку. Отец так и сказал, что будет ждать меня там. И еще прибавил, чтобы я не медлил, потому что могу понадобиться. По сути дела, он для того и отпрашивал меня из школы. Или же для того, чтобы «видеть рядом с собой в этот последний день перед разлукой с домом»: так он тоже говорил, правда, в другой раз. Говорил моей матери, так мне помнится, когда утром позвонил по телефону. Ибо сегодня четверг, а в четверг и в воскресенье после обеда я непременно должен быть у матери. Но отец оповестил ее: «Я никак не смогу отпустить к тебе Дюрко сегодня...» и тогда и сказал: «в этот последний день». А может, и нет. Ночью была воздушная тревога, и утром я еще не проснулся, как следует, и, может быть, помню не совсем точно. Но в одном уверен: он так сказал. Если не моей матери, то кому-то еще, по другому случаю.

Несколькими словами обменялся с матерью и я, хотя о чем говорили, не помню. Думаю, она все-таки немножко обиделась на меня, потому что в присутствии отца я держал себя с ней холоднее обычного; в конце концов, сегодня я должен угождать ему. Я уже выходил из дома, когда даже мачеха обратилась ко мне с несколькими доверительными словами – в прихожей, наедине. Надеюсь, сказала она, в этот столь печальный для нас день «можно рассчитывать на твое соответствующее поведение». Я не знал, что на это сказать, и не сказал ничего. Но, наверное, она неправильно поняла мое молчание, потому что сразу продолжила в том смысле, что не хотела задеть меня за живое этим замечанием, которое – она знает – в любом случае излишне. Ибо не сомневается, что взрослый мальчик, на пятнадцатом году, я способен и сам понять, какой тяжкий удар на нас обрушился, – так она выразилась. Я кивнул. Я видел, что она готова этим довольствоваться. Она даже двинула рукой в мою сторону, и я уже опасался, не хочет ли она меня обнять. Но не обняла, а только глубоко вздохнула – долгим, дрожащим

* Журнальный вариант первой части романа.

вздохом. Я заметил, что и глаза ее подернулись влагой. Это было неприятно. Теперь я мог уйти.

От школы до нашей лавки я шел пешком. Было ясное, теплое утро, хотя весна только начиналась. Я хотел было расстегнуться, но потом передумал: я шел против ветра, хотя и легкого, и пола моего пальто могла отпахнуться и прикрыть желтую звезду, а это было бы против правил. Есть вещи, к которым я теперь должен относиться поосмотрительнее. Наш лесной подвал здесь поблизости, в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в темноту. Отца и мачеху я нашел в конторе: тесная стеклянная клетка, освещенная наподобие аквариума, прямо у подножья лестницы. С ними был господин Шютё, я его знаю еще с тех пор, когда он состоял у нас в должности бухгалтера, а потом заведовал нашим складом под открытым небом, который он с тех пор уже у нас купил. Так, по крайней мере, мы говорим. Ведь что касается расовой принадлежности господина Шютё, его уголь в полном порядке – он желтой звезды не носит, и все это, на самом деле, насколько я знаю, только коммерческая уловка, чтобы он мог охранять наше добро и, в то же время, нам не приходилось полностью отказаться от своих доходов.

Все-таки я поздоровался с ним не совсем так, как прежде: он, в каком-то смысле взял над нами верх. И отец с мачехой тоже были с ним учтивее обычного. А он еще исправнее обращается к отцу не иначе как «хозяин», а к моей мачехе – «дорогая сударыня», словно ничего не случилось, и не упускает случая поцеловать ей руку. Со мною он тоже заговорил как всегда, шутливо. Мою желтую звезду даже не заметил. Потом я не двигался с места, стоял у двери, а они продолжали разговор, прерванный моим приходом. Мне показалось, что я очутился посередине каких-то переговоров. Сперва я даже не понимал, о чем они говорят. Я зажмурился на миг, потому что после солнечного сияния наверху у меня зарябило в глазах. Отец что-то сказал, и я открыл глаза. На коричневатом, круглом лице господина Шютё – с тоненькими усиками и тесной щелкой между двумя передними зубами, широкими и белыми – повсюду прыгали желтые и красные солнечные пятнышки, похожие на вскрывшиеся нарывы. Следующую фразу снова произнес мой отец, он сказал что-то про «товар», который «всего лучше было бы», если бы господин Шютё «унес сразу с собой». У господина Шютё возражений не было; тогда мой отец вынул из ящика письменного стола пакет, обернутый в тонкую бумагу и перевязанный ленточкой. Тут только я увидел, о каком товаре идет на самом деле речь, потому что по плоской форме тут же узнал содержимое пакета – это был ларец. А в ларце – наши главные драгоценности и тому подобное. Мало того: я думаю, они именно из-за меня и называли этот пакет «товаром», чтобы я не догадался. Господин Шютё тут же опустил пакет в свой портфель. После этого между ними вышел небольшой спор: господин Шютё достал свое вечное перо и непременно хотел дать отцу «расписку». Он долго упрямился, хотя

отец сказал ему: «не ребячьтесь», и еще: «между нами ничего такого не нужно». Я заметил, что господину Шютё эти слова были очень приятны. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, что вы мне доверяете, но в практической жизни у всего есть свой порядок и своя форма». Он даже призвал на помощь мою мачеху: «Не так ли, дорогая сударыня?» Но она, с усталой улыбкой на губах, высказалась в том смысле, что полностью доверяет мужчинам: пусть улаживают этот вопрос соответствующим образом.

Мне уже начинало это надоедать, когда он, наконец, убрал свое вечное перо. Тут они принялись раздумывать об этом складе, что делать со всеми досками, которые здесь лежат. Я слышал, как отец сказал, что, по его мнению, надо торопиться, пока власти еще не «наложили лапу на все дело», и просил господина Шютё оказать в этом мачехе помощь своим опытом и знаниями. Господин Шютё, повернувшись к моей мачехе, тут же заявил: «Само собой разумеется, дорогая сударыня. Все равно мы будем в постоянном контакте по отчетам». Я думаю, он говорил о складе под его присмотром. Прошло еще очень много времени, пока он начал, наконец, прощаться. Глядя хмуро, он долго тряс руку моего отца. За всем тем, он полагал, что «в такие минуты долгим речам не место», и потому хотел сказать отцу только одно напутственное слово: «до самого скорого свидания, хозяин». Отец, со слабой, кривой улыбкой, отвечал ему: «Будем надеяться, что так и будет, господин Шютё». В этот самый миг мачеха раскрыла свою сумочку, достала оттуда носовой платок и поднесла к глазам. Странные звуки вырвались из ее горла. Наступила тишина, и ситуация была крайне неловкая, так как у меня появилось чувство, будто надо что-то сделать и мне. Но все произошло внезапно, и ничего умного мне в голову не пришло. Я видел, что господин Шютё тоже смущен: «Но, дорогая сударыня, – сказал он, – нельзя так. Право, нельзя». Он казался слегка испуганным. Он наклонился и чуть ли не впился губами в руку моей мачехи, чтобы запечатлеть на ней обычный поцелуй. Потом тут же кинулся к двери: я едва успел отскочить в сторону перед ним. Со мною он даже забыл попрощаться. После того, как он вышел, мы еще долго слышали его тяжелую поступь на деревянных ступенях.

Помолчав, отец сказал: «Ну что ж, еще одним грузом меньше». Мачеха, все еще чуть хриплым голосом, спросила, не следовало ли отцу все-таки принять эту самую расписку от господина Шютё. Но отец ответил, что у такой расписки ни малейшей «практической ценности» нет, не говоря уже о том, что прятать ее было бы еще опаснее, чем хотя бы и сам ларец. И объяснил ей: теперь нам приходится всё «ставить на одну карту», а именно на то, что мы целиком и полностью доверяем господину Шютё, ибо другого выхода у нас сейчас нет. На это мачеха промолчала, но потом заметила, что, хотя отец, может быть, и прав, она все же чувствовала бы себя несколько более уверенно «с распиской в руках». Но объяснить толком, почему, не могла. То-

гда отец стал ее торопить, пора взяться, наконец, за работу, которая их ждет, потому что, как он сказал, время бежит. Он хотел передать ей бухгалтерские книги, чтобы она могла разбираться в них и без него; поскольку дело не должно останавливаться оттого, что он будет в трудовом лагере. Между тем, он и со мной перекинулся несколькими беглыми словами. Спросил, легко ли отпустили меня из школы, и тому подобное. Наконец сказал, чтобы я сел и вел себя тихо, пока они с мачехой не закончат, не разберутся с книгами.

Но это затянулось надолго. Сперва я пробовал ждать терпеливо, старался думать об отце, вернее – о том, что завтра он уйдет, и что, скорее всего, я его долго не увижу; но какое-то время спустя устал от этой мысли и, так как ничего другого сделать для отца не мог, начал скучать. Долгое сидение тоже очень меня утомило, и, только ради какой бы то ни было перемены, я встал и попил воды из крана. Они ничего не сказали. После я сходил между досками вглубь подвала за малой нуждой. Когда вернулся, вымыл руки в выщербленной, проржавевшей раковине, потом вынул из своей школьной сумки завтрак и съел, а под конец снова попил воды из крана. Они ничего не сказали. Я сел на прежнее место. И ужасно скучал еще очень долго.

Был уже полдень, когда мы поднялись на улицу. В глазах снова зарябило, теперь уже от яркого света. Отец долго возился со своими двумя висячими замками серого железа; мне уже стало казаться, что нарочно. Ключи потом отдал мачехе, потому что ему они больше не понадобятся. Так он сказал. Мачеха открыла сумку; не за платком ли снова, подумал я, но она только опустила туда ключи. Мы двинулись очень поспешно. Сперва я думал – домой; но нет, прежде пошли за покупками. У мачехи был целый длинный список всего того, что понадобится отцу в рабочем лагере. Часть она уже приобрела вчера. Об остальном нам предстояло позаботиться сейчас. Мне было чуть неловко идти с ними вот так, втроем, и у всех троих – по желтой звезде. Когда я один, это меня, скорее, забавляет. Но вместе с ними почти что стесняло. Я бы не смог объяснить, почему. Позже, впрочем, я уже не обращал на это внимания. В магазинах повсюду было много покупателей, кроме одного, где мы купили рюкзак: там мы были одни. Воздух весь был насыщен щиплющим нос запахом пропитанного холста. Хозяин магазина, маленький пожелтевший старичок со сверкающей искусственной челюстью и нарукавником на одной руке, и его толстая супруга были очень приветливы. Они нагромодили перед нами на прилавке множество разных товаров. Я обратил внимание, что старичок зовет старуху «деткой» и все время посылает её за товаром. Кстати, я знаю эту лавку, мы живем поблизости, но внутрь еще никогда не заходил. Собственно говоря, это магазин спорттоваров, хотя торгуют и другими товарами. В самое последнее время у них можно найти желтые звезды собственного производства, потому что желтой материи сейчас, конечно, большая

нехватка. (Что касается нас, моя мачеха позаботилась заблаговременно.) Если не ошибаюсь, их изобретение в том, что ткань натягивается на лист картона, и это, конечно, красивее, и лучи звезды выкроены не так смехотворно, как бывает иногда при домашнем изготовлении. Я заметил, что собственное изделие красуется и на них самих. И, казалось, они для того только носят свои звезды, чтобы приохотить к ним покупателей.

Но вот уже вернулась старуха с товаром. Еще раньше ее супруг спросил: «Можно поинтересоваться, не для рабочих ли батальонов делаются закупки?» Мачеха сказала «да». Старик печально кивнул. И еще поднял обе старые, все в пятнах руки и сострадающим движением тяжело уронил их снова на прилавок перед собою. Тогда мачеха сообщила ему, что нам бы нужен был рюкзак, и осведомилась, есть ли. Старик задумался, потом сказал: «Для вас будет». И обратился к жене: «Детка, поди принеси для господина из склада». Рюкзак сразу подошел. Но хозяин магазина послал жену еще за несколькими другими вещами, без которых, по его мнению, отцу «не обойтись там, куда он направляется». Вообще он говорил с нами очень тактично и участливо и, по мере возможностей, все время старался не употреблять выражения «рабочие батальоны». Вещи показал сплошь полезные, герметически закрывающийся солдатский котелок, карманный нож с разными встроенными инструментами, сумку на бок и так далее – все, за чем, как он упомянул, обыкновенно приходят к нему «в подобных обстоятельствах». Мачеха купила для отца карманный нож. Мне он тоже понравился. Когда мы всё выбрали, старик снова обратился к жене: «Касса!» Старуха, упрямая в черное платье, с трудом протиснула свое дряблое тело между кассовым аппаратом и мягким креслом. Старик проводил нас до самой двери. На пороге он сказал: «сделайте милость и в другой раз», а потом, доверительно наклонившись к отцу, тихо прибавил: «Как мы с вами думаем, ваша честь и я».

Наконец мы действительно направлялись домой. Мы живем в большом доходном доме, поблизости от площади с трамвайной остановкой. Поднялись уже на второй этаж, когда мачеха вдруг сообразила: она забыла отоварить хлебные карточки. Мне пришлось идти назад, в булочную. Постояв немного в очереди, я попал в лавку. Сперва надо было обратиться к белокурой грудастой жене булочника: она вырезала из хлебной карточки нужные талоны, – а потом к булочнику, который отвешивал хлеб. Он даже не ответил на мое приветствие: все в округе знают, что он не любит евреев. Потому и в хлебе, который он толкнул в мою сторону, было с десяток-другой граммов недовеса. И по его сердитому взгляду и ловким движениям я как-то вдруг сразу понял в этот миг правоту хода его мысли, почему он и не может любить евреев: тогда у него могло бы появиться неприятное чувство, что он их обманывает. А так он поступает в согласии со своими убеждениями, и правота некой идеи направляет его действия, а это, возможно, уже совсем другое дело, конечно.

Я уже крепко проголодался и спешил из булочной домой, и потому согласился остановиться только на одно словечко с Аннамарией: когда я взбегал по лестнице, она как раз скакала по ступеням вниз. Она живет на нашем этаже, у Штейнеров, с которыми мы последнее время обычно встречаемся каждый вечер у стариков Флейшманов. Прежде мы с соседями не очень-то знали, но теперь оказалось, что мы одной расы, а это вынуждает к краткому вечернему обмену мнениями насчет наших общих перспектив. Мы с ней до тех пор всегда говорили о других вещах, и так я узнал, что Штейнеры, на самом деле, ей только дядя и тетя: то есть ее родители разводятся, и так как пока не смогли придти к соглашению, то решили, пусть лучше она будет здесь, где она ни у того, ни у другой. Раньше она была в воспитательном доме, по той же самой причине; как, впрочем, и я тоже в прошлом. Ей тоже примерно лет четырнадцать. У нее длинная шея. Под желтой звездой уже начинает круглиться грудь. Ее тоже послали в булочную. Она хотела знать, нет ли у меня охоты поиграть после обеда в карты, вчетвером, с нею и с двумя сестрами. Сестры живут этажом выше нас. Аннамария водит с ними дружбу, но я знаю их только мельком, по коридору да по бомбоубежищу в подвале. Младшей на вид еще только лет одиннадцать-двенадцать. Старшая, по словам Аннамарии, — ее ровесница. Иногда, если я окажусь в комнате, что выходит во двор, я вижу ее, как она спешит по коридору напротив, выходя из дому или возвращаясь. Раз-другой я уже сталкивался с нею нос к носу в подворотне. Я подумал, теперь можно было бы познакомиться поближе: я бы не имел ничего против. Но в тот же миг я подумал об отце и сказал девочке: «Сегодня нет, потому что отца призвали». Тогда она тоже сразу вспомнила, что дома слышала от дяди про дела моего отца. И она отозвалась: «Конечно». Мы немного помолчали. Потом она спросила: «А завтра?» Но я сказал ей: «Лучше послезавтра». Но и к тому сразу прибавил: «Может быть».

Дома я застал отца и мачеху уже за столом. Хлопоча над моею тарелкой, мачеха спросила, голоден ли я. Я сказал: «Ужасно» — застигнутый врасплох, не думая ни о чем другом, к тому же так оно и было. Она и наложила мне полную тарелку, но в свою не взяла почти ничего. И не я, а мой отец обратил на это внимание и спросил у нее, почему. Она отвечала как-то так, что в настоящий момент ее желудок неспособен принять какую бы то ни было пищу, и тут я сразу увидел свою ошибку сам. Правда, отец не одобрил ее поведения. Он ссылался на то, что нельзя падать духом именно теперь, когда ее сила и выдержка всего необходимее. Мачеха ничего не ответила, но я услышал какой-то звук и, когда поднял глаза, увидел, что это: она плакала. Опять было очень неловко, я старался глядеть только в тарелку. Тем не менее, я заметил движение отца, мне казалось, он потянулся к ее руке. Спустя минуту не было слышно ничего, кроме полной тишины, и когда, соблюдая осторожность, я все же взглянул на

них, они сидели, рука в руке, и напряженно смотрели друг на друга – таким образом, как смотрят мужчина и женщина. Я никогда этого не любил, был смущен и теперь. Хотя, в основе своей, это дело вполне естественное, я думаю. И все равно не люблю. Не знаю, почему. Сразу стало легче, когда они снова заговорили. Опять зашла речь о господине Шютё, вкратце, и, конечно, о ларце и о втором складе: отца успокаивает, услышал я, то, что «хотя бы они в хороших руках, и он это знает». Мачеха разделяла его успокоенность, хотя мимоходом снова вставила словечко о «гарантиях», в том смысле, что они основаны только на доверительном слове и что еще большой вопрос, достаточно ли такого. Отец пожал плечами и возразил, что не только в деловой жизни, но и «в жизни вообще» нет больше никаких гарантий. Мачеха тут же согласилась с ним прерывистым вздохом: она уже сожалела, что упомянула об этом, и просила отца не говорить так, не думать ни о чем подобном. Но он уже думал о том, как сумеет моя мачеха справиться с огромными заботами, которые на нее лягут, – в такие тяжелые времена, без него, одна. Мачеха отвечала, что не будет одна, ведь рядом с нею я. Мы вдвоем, продолжала она, будем беречь друг друга, пока отец не вернется к нам. И она спросила меня, оборачиваясь ко мне и чуть наклонив голову на бок: «Так или нет?» Она улыбалась, но губы ее дрожали. Я сказал ей: «Так». Отец тоже смотрел на меня, в глазах была ласка. Каким-то образом меня это растрогало, мне захотелось снова сделать для него что-нибудь, и я отодвинул тарелку. Он заметил и спросил, почему. Я сказал: «Не хочется есть». Я видел, что ему это было приятно: он погладил меня по голове. И от этого прикосновения впервые за день сегодня что-то сдавило горло и мне; но не слезы, а что-то вроде тошноты. Хорошо бы, если бы отца уже не было здесь. Очень скверное было чувство, но я испытывал его с такою ясностью, что не мог думать об отце ничего другого и полностью сбился с толку в эту минуту. В следующую минуту я уже мог бы заплакать, но на это у меня не осталось времени, потому что пришли гости.

Мачеха уже говорила про них раньше. «Придут только самые близкие родственники», – так она сказала. И в ответ на какой-то жест отца прибавила: «Но ведь они хотят попрощаться с тобой. Это так естественно!» И уже прозвенел звонок: пришли старшая сестра мачехи и ее мама. Вскоре явились родители отца, дед с бабкой.

Бабушку мы спешно усадили на канapé, потому что с нею дело обстоит вот как: даже в своих очках со стеклами толщиной в лупу она почти ничего не видит, и, по крайней мере, настолько же и глуха. Тем не менее, ей хотелось бы принимать участие в событиях, которые происходят вокруг нее, и быть полезной. В результате с нею масса хлопот: с одной стороны, надо все время кричать ей в ухо, как обстоят дела, а с другой, искусно препятствовать, чтобы она в них не вмешивалась, потому что это не принесло бы ничего, кроме замешательства.

Мама моей мачехи прибыла в воинственной, конусообразной шляпе с полями; спереди, поперек, на ней было еще и перо. Впрочем, она быстро сняла шляпу, и тогда открылись ее красивые редеющие, белые, как снег, волосы с тонкой косицей, свернутой в жидкий узел. У нее узкое желтое лицо, два больших темных глаза, с шеи свисают две вялые складки: она напоминает какого-то очень умного, утонченного охотничьего пса. Голова ее все время немного трясется. Ей выпало задание сложить рюкзак отца, поскольку она прекрасно разбирается в таких вещах. И она сразу взялась за работу, сверяясь со списком, который ей вручила моя мачеха.

А вот мачехину сестру мы не смогли приспособить ни к чему полезному. Она намного старше моей мачехи, и выглядит по-другому, как будто и не сестра: маленькая, толстенькая, и лицо, как у изумленной куклы. Она болтала без умолку, и плакала тоже, и обнимала всех подряд. Я тоже с трудом освободился от ее мягкой под рукою, пахнувшей пудрой груди. Когда она уселась, все мяса ее тела свалились на короткие бедра. И чтобы не забыть сказать про дедушку: он оставался стоять на одном месте, рядом с бабушкиным канапе, и терпеливо, с совершенно неподвижным лицом слушал ее жалобы. Сначала она плакала из-за моего отца; но с течением времени эту ее заботу начали вытеснять собственные горести. У нее болела голова, и она жаловалась на гул и звон, которые вызывает в ушах повышенное кровяное давление. Мой дед уже привык: он ей даже не отвечал. Но и не отходил от нее до самого конца. Я не слышал его голоса ни разу, но всякий раз, как я поглядывал в ту сторону, я неизменно видел его там, в том же углу, который медленно темнел по мере движения послеполуденного часа: уже только на его оголенный лоб да на горбинку носа падал какой-то желтоватый, тусклый свет, между тем как глазные впадины и нижняя часть лица погрузились в тень. И только по мерцанию его глазок было видно, что он неприметно следит за каждым движением в комнате.

Вдобавок пришла еще кузина мачехи, с мужем. Я зову его «дядя Вили» – это его имя. Что-то не совсем ладно с его походкой, поэтому подошва ботинка на одной ноге у него толще, чем на другой, но этому он обязан и своим преимуществом – ему не надо идти в рабочий лагерь. Голова у него грушеобразная, сверху широкая, круто изогнутая и лысая, а к щекам и ниже – поуже. К его мнению в семье прислушиваются, потому что прежде, чем открыть агентство для игры на бегах, он занимался и журнализмом. Вот и теперь он сразу пожелал сообщить новости, которые получил из «надежных источников» и назвал «абсолютно достоверными». Он сел в кресло, жестко разогнул больную ногу и, с сухим шорохом потирая руки, оповестил, что вскоре «можно ожидать коренного поворота в нашей ситуации», поскольку начались «тайные переговоры» по нашему поводу «между немцами и союзными державами при нейтральном посредничестве». Немцы, объяснил дядя Вили, «теперь уже и сами признали без-

надежность своего положения на фронтах». Поэтому мы, евреи Будапешта, приходимся им «более чем кстати», чтобы «сорвать на нашей шкуре выгоду с союзников», которые, конечно же, делают для нас все возможное; тут он упомянул «важный фактор», который знаком ему еще по журналистскому опыту и который он назвал «мировым общественным мнением»; оно, сказал он, было «потрясено» тем, что с нами происходит. Торг, конечно, жесткий, продолжал он, и как раз это и объясняет тяжесть направленных против нас нынешних мер; но они – вполне естественное следствие «большой игры, в которой мы, по сути дела, орудия международного шантажа невероятных размеров»; однако, сказал он, хорошо зная, что «происходит за кулисами», он рассматривает все это, в первую очередь, как «бьющий на эффект блеф», чтобы набить цену, и просит у нас только капельку терпения, пока развертываются события. На это отец спросил его, можно ли ждать этого завтра и не считать ли ему свою повестку о призыве «от начала до конца блефом», больше того, может, ему и не являться завтра в рабочий лагерь? Дядя Вили слегка смутился. И ответил: «Ну, нет, конечно же, нет». Впрочем, сказал, что совершенно спокоен: отец скоро вернется домой. «Идет двенадцатый час», – так он выразился, не переставая потирать руки. И еще прибавил: «Был бы я так же уверен в любом из моих людей на ипподроме, не сидел бы я сейчас без гроша!» Он хотел было продолжать, но моя мачеха и ее мать как раз кончили собирать рюкзак, и отец поднялся со своего места, чтобы попробовать, не тяжело ли. Последним пришел самый старший брат мачехи, дядя Лайош. Он исполняет какую-то очень важную обязанность в нашей семье, но какую именно, я не мог бы точно определить. Немедленно он пожелал поговорить с моим отцом наедине. Я заметил, что отца это раздражило, и он дал понять, хотя и с большим тактом, что разговор надо закончить быстро. Тогда неожиданно дядя Лайош взял в работу меня. Он сказал, что хотел бы «потолковать немного» со мною. Затащил в пустой угол комнаты и поставил у шкафа, лицом к лицу с собою. Он начал с того, что, как мне известно, мой отец завтра «нас покидает». Я сказал, что известно. Тогда он пожелал услышать, буду ли я тосковать по нему. Я ответил – при том, что вопрос меня несколько обозлил, – «конечно». И, так как это показалось мне слишком коротким, немедленно удлинил: «очень». В ответ он только долго качал головой с жалобным выражением на лице.

Потом, правда, я услышал от него несколько любопытных и удивительных вещей. Например, что известный период моей жизни, который он назвал «беззаботными, счастливыми годами детства», сегодняшним печальным днем завершается. Наверно, сказал он, «в таких понятиях» я еще об этом не думал. Я признался: «Нет». Но наверно, продолжал он, особого изумления его слова во мне не вызвали. Я снова сказал: «Нет». Тогда он поставил меня в известность, что с уходом отца моя мачеха остается без опоры, и хотя семья «будет держать нас под при-

смотром», главной ее опорой впредь буду я. Конечно, сказал он, мне скоро придется осознать, «что такое забота и что такое самоотверженность». Ибо очевидно, что впредь мои дела не могут идти так же хорошо, как до сих пор, и он не хочет этого от меня скрывать, потому что разговаривает со мной «по-взрослому». Теперь уже, сказал он, ты тоже «причастен к общей еврейской доле», потом пустился в подробности, напомнил мне, что эта доля – тысячелетия непрерывных гонений, которые евреям, однако же, следует принимать смиренно, жертвенно и терпеливо, ибо Бог наслал это на них за давние грехи, и как раз потому только от Него можно ждать милости, а Он пока ждет от нас, чтобы мы все, в этом тяжком положении, твердо держались на том месте, которое он нам назначил «согласно нашим силам и способностям». Мне, например, сказал дядя Лайош, надо впредь твердо держаться роли главы семьи. И осведомился, ощущаю ли я в себе силу и готовность для этого. Хотя я и не совсем понял ведущий к этому заключению ход его мыслей, особенно то, что он сказал о евреях, об их грехах и об их Боге, все же каким-то образом его слова меня взяли за живое. Так что я сказал «да». У него был довольный вид. «Хорошо», – сказал он. Он всегда знал, что я толковый мальчик, «с глубокими чувствами и серьезным сознанием ответственности»; и, под градом ударов, это в известной мере «приносит ему утешение». Пальцами, которые извне покрывала шерсть, а изнутри легкая сырость, он взял меня за подбородок, поднял к себе мое лицо и тихим, слегка дрожащим голосом сказал: «Твой отец уходит в долгий путь. Ты помолился за него?» Была в его взгляде какая-то строгость, и, может быть, она пробудила во мне мучительное чувство чего-то упущенного по отношению к отцу, потому что сам по себе я бы, конечно, об этом не подумал. Но теперь я ощутил тяжесть неоплаченного долга и, чтобы избавиться от нее, признался: «Нет». Пойдем, – сказал он.

Я должен был провести его в комнату окнами во двор. Там мы молились, среди облезлой, никуда не годной мебели. Дядя Лайош прежде всего приладил круглую, блестящего шелка черную шапочку к своей голове, позади макушки, где поредевшие, седые волосы открыли маленькую полянку. Я должен был сходить в прихожую за своей шапкой. Тогда он вынул из внутреннего кармана своего пальто книжечку в черном переплете, с красным обрезом, а из верхнего кармана – очки. Потом он принялся читать вслух молитву, а мне надо было повторять за ним, всякий раз до того места, где он остановится. Поначалу шло хорошо, но скоро я начал уставать от этой работы; в какой-то мере мешало и то, что я не понимал ни слова из того, что мы говорили Богу, поскольку ему следует молиться по-еврейски, а я этого языка не знаю. И вот, чтобы все-таки не отставать, я был вынужден следить за движениями губ дяди Лайоша, так что от всего этого у меня остались в памяти, в конечном счете, только зрелище этих влажно дергающихся, мясистых губ да непонятный шум чужого

языка – наше бормотанье. Ну, и картина, которую я увидел через окно, над плечом дяди Лайоша: старшая из сестер как раз спешила в нашу сторону по подвесной галерее, этажом выше нашего, по другую сторону двора. Я думаю, я даже чуть-чуть запутался в тексте. Но по окончании молитвы дядя Лайош выглядел довольным, и в лице у него было такое выражение, что я и сам почувствовал: да, мы что-то сделали для отца. И правда, в конце концов стало лучше, чем раньше, с этим настойчивым ощущением тяжести.

Мы вернулись в комнату, что выходит на улицу. Смеркалось. Мы закрыли окна, заклеенные бумагой на случай авианалета, за окнами был синеющий, туманный весенний вечер. И полностью вдавили себя в комнату. Гомон уже утомлял меня. Сигаретный дым начал щипать глаза. Приходилось часто зевать. Мачехина мама накрыла на стол. Ужин она принесла нам сама, в большой сумке. Достала даже мясо на черном рынке. Это она рассказала еще раньше, когда пришла. Мой отец сразу ей заплатил из своего кожаного бумажника. Мы все уже сидели за ужином, когда вдруг пришли еще дядя Штейнер и дядя Флейшман. Они тоже хотели попрощаться с моим отцом. Дядя Штейнер сразу же начал с того, чтобы «никто не беспокоился». Он сказал: «Моя фамилия Штейнер, пожалуйста, не вставайте». На ногах у него, как всегда, старые шлепанцы, под раскрытым жилетом выпирает живот, а изо рта вечно торчит скверно пахнущий окуроч сигары. У него большая рыжая голова, на которой странное впечатление производит прическа с детским пробором. Дядя Флейшман совсем терялся рядом с ним: он миниатюрный, очень ухоженный, волосы белые, кожа сероватого оттенка, совиные очки, и на лице всегда отпечаток легкого беспокойства. Не говоря ни единого слова, он вился подле дяди Штейнера и хрустел пальцами, словно бы извиняясь – так казалось – за дядю Штейнера. Впрочем, я в этом не уверен. Эти два старика неразлучны, хотя и вечно спорят друг с другом, потому что нет такого вопроса, по которому они были бы согласны. Один за другим они пожали руку моему отцу. Дядя Штейнер даже похлопал его по спине. Он назвал отца «старинкой» и отпустил старую остроту: «Ниже голову, и никогда не терять отсутствия духа!» Еще он сказал, – и дядя Флейшман согласно закивал головою, – что они и дальше будут заботиться обо мне и о «молодой госпоже» (так он называл мою мачеху). Его маленькие глазки заморгали. Потом он притянул отца к своему животу и обнял его. Когда они ушли, все утонуло в стуке приборов, в шуме разговора, в парах кушаний и густом табачном дыме. Теперь до меня доходили только отдельные лица или несвязные фрагменты какой-то ситуации, как бы выступая из окружающего меня тумана; особенно – трясущаяся, желтая, костлявая голова мачехиной мамы, беспокоившейся обо всех тарелках; потом вытянутые вперед, в жесте отказа, ладони дяди Лайоша – он не хочет мяса, потому что это свинина, а религия запрещает свинину; пухлые щеки мачехиной сестры, ее

неспокойная челюсть и глаза в слезах; потом неожиданно возник голый череп дяди Вили, розовый в кругу света от лампы, и я снова услышал обрывки его оптимистических разъяснений; еще я помню слова дяди Лайоша, выслушанные в торжественной, мертвой тишине, он умолял Бога о помощи, чтобы «мы все скоро опять могли сидеть за семейным столом в мире, любви и здравии». Отца я едва видел, а что касается мачехи, до меня доносилось только то, что ею занимались очень много и внимательно, чуть ли не больше, чем отцом, в какой-то момент у нее заболела голова, и к ней стали приставать, не желает ли она таблетку или примочку; но она отказалась и от того, и от другого. Но мне еще приходилось присматривать за моей бабушкой, которая то и дело вставала, и всякий раз приходилось отводить ее на ее канapé, выслушивать бесконечные жалобы на глаза, которые ничего не видят и которые сквозь толстые, застланные слезами, запотевшие увеличительные стекла казались двумя особыми, источающими пот насекомыми. В определенный момент, все поднялись из-за стола. Началось окончательное прощание. Но мои дед с бабкой ушли отдельно, чуть раньше семьи моей мачехи. За весь вечер произвело на меня, может быть, самое большое впечатление единственное движение деда, которым он привлек к себе внимание: когда прижал свою острую, маленькую, птичью голову к груди отца, на одно лишь мгновение, но совершенно дико, почти безумно. Все его сведенное судорогой тело дрожало. Потом он быстро направился к выходу, держа бабушку под локоть. Все расступались перед ними. Потом некоторые обнимали и меня, и я чувствовал липкий след их губ на моем лице. Наконец, внезапно наступила тишина: все ушли.

И тогда я тоже попрощался с отцом. Или, скорее, он со мной. Не знаю. И обстоятельств точно не помню: отец, возможно, вышел с гостями, потому что какое-то время я пробыл один у стола, покрытого остатками ужина, и опомнился, только когда отец вернулся. Он был один. Он хотел попрощаться со мною. «Завтра на заре для этого уже не будет времени», – сказал он. В основном и он перечислял то же, о чем я уже слышал однажды сегодня днем от дяди Лайоша, – моя ответственность, я становлюсь взрослым, – только без Бога, не такими красивыми словами и намного короче. Он вспомнил также мою мать: он полагал, что она теперь может попытаться «приманить меня из дома к себе». Я видел, что эта мысль очень его тревожит. Ведь они долго сражались друг с другом за обладание мною, пока, в конце концов, суд не решил в пользу отца; теперь – и я находил это вполне понятным – он не хотел потерять права на меня только в силу неблагоприятных обстоятельств. Но он взывал не к закону, а к моему собственному усмотрению, к различию между моей мачехой, которая создала для меня «теплый, семейный дом», и матерью, которая, наоборот, «бросила» меня. Я насторожился, потому что об этой детали слышал от матери совсем другое: по ее словам, вина лежит на нем. Поэтому она и была вынуждена вы-

брать себе другого мужа, некого дядю Дини (на самом деле Денеша), который, кстати, как раз на прошлой неделе ушел, тоже в рабочий лагерь. Но разузнать точнее мне никогда не удавалось, вот и теперь отец сейчас же снова повернул назад, к мачехе, напомнив: это благодаря ей я вышел из интерната и мое место «дома, рядом с нею». Он еще долго говорил о ней, и теперь я уже догадывался, почему мачеха не слышит его слов: она была бы, наверно, смущена. А меня они начинали утомлять. И я даже не знаю, что я обещал отцу, когда он потребовал этого от меня. Но в следующее мгновение я вдруг оказался в его объятиях, и это было неожиданным, как бы застало меня врасплох после его слов. Не знаю, от этого ли полились у меня слезы, или просто от переутомления, или, может быть, оттого, что с самого первого, утреннего мачехиногo увещания я как-то готовился к ним, к этому определенному моменту, когда они непременно должны политься; но от чего бы то ни было, все равно хорошо, что так случилось, и я чувствовал: отцу тоже было приятно, что он мог это увидеть. Потом он отправил меня спать. И правда, я уже очень устал. Все-таки, думал я, по крайней мере, мы отпустили его, беднягу, в рабочий лагерь с воспоминанием о хорошем дне.

2

Уже два месяца, как мы простились с отцом. Стоит лето. Но в гимназии нас распустили на каникулы уже давно, еще с весны. Сослались на то, что идет война. И самолеты часто прилетают бомбить город, и новые еврейские законы введены с тех пор. Уже две недели я тоже обязан работать. Меня известили официальным письмом: «получил назначение на постоянную работу». В адресе значилось: «Дёрдю Кёвешу, молодому подсобнику-допризывнику», и я сразу увидел в этом руку «Витязей». Но я и сам слышал, что на заводах и тому подобных местах пристраивают к делу тех, кто по возрасту еще не годится полной мерою в рабочие батальоны, как в моем случае. Со мною вместе здесь еще человек восемнадцать, по сходной причине, ребята лет пятнадцати. Место работы – Чепель, некое акционерное общество под названием «Нефтеочистительные заводы Шелл». Оказалось, я еще выиграл что-то вроде привилегии, по сути дела, потому что с желтой звездой за пределы города выходить запрещено, а я получил на руки официальное удостоверение с печатью начальника военного предприятия, что я «имею право пересекать таможенную границу Чепеля».

Сама работа – не могу сказать, чтобы была очень утомительной, а в обществе ребят время проходит довольно весело: мы помогаем каменщикам. Нефтяной завод пал жертвой бомбежки, и мы должны постараться возместить урон, нанесенный самолетами. Десятник, под началом которого мы состоим, обходится с нами очень справедливо: в конце недели он рассчитывается и

расплачивается с нами в точности, как со своими настоящими рабочими. Но моя мачеха всего больше радовалась этому удостоверению. До тех пор всякий раз, как я куда-нибудь уходил, она ужасно беспокоилась, каким образом я удостоверю свою личность, если случайно понадобится. Но теперь уже нет причины тревожиться, раз мое удостоверение свидетельствует, что я живу не для собственного удовольствия, но приношу пользу в фабрично-заводской промышленности, трудясь на военные нужды, а это, естественно, подлежит уже совсем другой оценке. И семья того же мнения. Только сестра моей мачехи сетовала немного, что мне приходилось заниматься физической работой, и, заливаясь слезами, спросила: «Для этого ты ходил в гимназию?» Я сказал ей: «По-моему, это только полезно для здоровья». Дядя Вили немедленно со мной согласился, и дядя Лайош тоже кивнул головой: предназначения Божии, которые нас касаются, надо принимать; и она замолчала. Потом дядя Лайош отозвал меня в сторону на несколько серьезных слов: он призывал меня не забывать, что на рабочем месте я представляю не только себя, но и «всю общину евреев», и что ради них тоже я должен следить за своим поведением, ибо по моему поведению будут теперь судить обо всех евреях. В самом деле, об этом я и не подумал бы. Но теперь я понял; конечно, может, он и прав.

От отца точно в срок приходят письма из рабочего лагеря: он, слава богу, здоров, работу переносит хорошо, и обращение, пишет он, человеческое. Семья тоже довольна его письмами. Дядя же Лайош такого мнения: до сих пор Бог был с моим отцом, и он напоминал мне о ежедневной молитве, чтобы Он и дальше заботился о нем, поскольку над нами Он правит своею властью. А дядя Вили уверял: теперь надо как-нибудь протянуть «короткий переходный промежуток», потому что, как он выразился, высадкой союзных держав «доля немцев припечатана окончательно».

С мачехой мне тоже удавалось до сих пор во всем ладить. Она, как раз наоборот, вынуждена бездельничать: было распоряжение закрыть лавку, поскольку в дальнейшем заниматься торговлей смогут лишь лица с чистой кровью. Но, по-видимому, отцу выпала счастливая карта, когда он поставил на господина Шютё, который каждую неделю верно приносит мачехе то, что ей причитается из доходов от нашего склада под его управлением: так, как он обещал моему отцу. В прошлый раз он тоже был точен и отсчитал нам на стол кругленькую сумму – так мне показалось. Он поцеловал руку мачехе и ко мне обратился с несколькими приветливыми словами. Подробно расспрашивал о здоровье «хозяина», по обыкновению. Он уже был готов проститься, когда еще что-то пришло ему на ум. Он вынул из портфеля сверток. В его лице было некоторое смущение. «Надеюсь, дорогая госпожа, – так он сказал, – пригодится в хозяйстве». В свертке были жир, сахар и кое-что ещё из продуктов. Подозреваю, не раздобыл ли он это на черном рынке – может быть, потому, что, наверно, тоже мог прочитать распоряжение, чтобы

евреям впредь довольствоваться меньшими продуктовыми пайками. Мачеха сначала пыталась отказываться, но господин Шютё настаивал очень упорно, и, в конце концов, она и не могла протестовать против его внимания. Когда мы остались одни, она и у меня спросила, как, по-моему, правильно ли она поступила, что взяла. Я нашел, что правильно, ведь не надо было обижать господина Шютё отказом: в конечном-то счете он только хотел как лучше. Она тоже так считала и сказала, что отец тоже одобрил бы ее поступок, так она думает. В самом деле, и я думаю не иначе. Впрочем, это она знает лучше моего.

К матери я хожу в назначенное ей время, дважды в неделю после обеда, как обычно. С ней у меня больше забот. Как отец и предсказывал, она в самом деле никак не способна примириться с тем, что мое место – рядом с мачехой. Она говорит, что я «принадлежу» ей, родной матери. Но я знаю, что суд отдал меня отцу, и, таким образом, силу имеет, конечно же, его решение. Однако и в минувшее воскресенье мать допрашивала меня, как бы я хотел жить – потому что, по ее мнению, важно единственно лишь мое желание да еще то, люблю ли я ее. Я сказал ей: «конечно, люблю!» Но мать мне объяснила, что любить – это когда мы привязаны к кому-нибудь, а она видит, что я привязан к своей мачехе. Я пытался ей втолковать, что она видит неправильно, потому что не я привязан к ней, но – и она сама это знает – так решил на мой счет отец. На это она возразила, что тут речь идет обо мне, о моей жизни и решать должен я, и еще что любовь «доказывают не словами, а делами». Я возвращался от нее крепко озабоченный: естественно, я не могу допустить, чтобы она доподлинно считала, будто я ее не люблю, но, с другой стороны, я не могу принимать вполне всерьез того, что она говорила о важности моего желания, ни того, что в моих делах решения принадлежат мне. В конечном итоге, это их тяжба. И выносить решение мне было бы неловко. Да еще, в особенности, я не могу обокрасть моего отца, и как раз теперь, когда он в рабочем лагере, бедняга. И все же я сел в трамвай с чувством неудобства, потому что, конечно, привязан к матери и, естественно, меня мучило, что я и сегодня не смог ничего для нее сделать.

Возможно, это скверное чувство было причиной того, что я не очень торопился распрощаться с матерью. Это уже она настаивала: «будет поздно», – имея в виду, что с желтой звездой можно показываться на улице только до восьми. Но я объяснил ей, что теперь, с удостоверением в кармане, не нужно выполнять все правила с такой неумолимою строгостью.

В трамвае, тем не менее, я взобрался на заднюю площадку последнего прицепного вагона, как полагается согласно соответствующим предписаниям. Время шло к восьми, когда я добрался до дому, и хотя летний вечер был еще светел, кое-где уже начинали надвигать на окна черные и синие щиты. Мачеха уже проявляла нетерпение, но скорее по привычке, ведь удостоверение у меня с собой. Вечер, как обычно, мы провели у Флейшманов.

Два старика благополучны, по-прежнему много спорят, но и они одобряют единодушно, что я хожу работать, конечно, и они тоже – из-за удостоверения. Впрочем, немного и рассорились в своем усердии. Мы с мачехой мало знаем направление на Чепель и в первый раз спросили у них совета. Старый Флейшман рекомендовал нам электричку, а дядя Штейнер был за автобус, потому что у него, – сказал он, – остановка прямо у нефтяного завода, а от электрички еще надо идти пешком – и, как с тех пор выяснилось, так оно и есть. Но тогда мы еще не могли этого знать, а дядя Флейшман очень рассердился: «Вы всегда должны быть правы», – ворчал он. В конце концов, пришлось вмешаться двум их толстым женам. Мы с Аннамарией долго смеялись над ними.

С нею я, некоторым образом, попал в особую ситуацию. Это случилось позавчера, в пятницу ночью, во время воздушного налета, в бомбоубежище, точнее, в заброшенном, полутемном подземном коридоре, который отходит от убежища. Первоначально я только хотел показать ей, что оттуда интереснее следить за происходящим снаружи. Но когда, примерно через минуту, мы услышали бомбу ближе прежнего, тут она начала дрожать всем телом. Я прекрасно это почувствовал, потому что она уцепилась за меня в ужасе: ее руки обвилились вокруг моей шеи, лицо уткнулось мне в плечо. После этого я уже помню только, как искал ее губы. Я ощутил мягкое, влажное, чуть липкое прикосновение. Ну и какое-то радостное изумление, ведь все-таки то был мой первый поцелуй с девушкой; и вдобавок как раз тогда, когда я на него и не рассчитывал.

Вчера на лестнице выяснилось, что и она была очень удивлена. «Всему причиной бомба», – так она решила. В сущности, она была права. Потом мы снова целовались, и тогда я научился от нее, как можно сделать это переживание еще более памятным, если в это время отвести определенную роль и языку.

Сегодня вечером я опять был с нею вдвоем, во второй комнате, мы пришли смотреть флейшмановских золотых рыбок; то есть мы и раньше часто приходили полюбоваться на рыбок. Но теперь, конечно, пришли не только за этим. Мы пустили в ход и язык. Но быстро вернулись, потому что Аннамария боялась: дядя с тетей могли что-то почуять. Потом мы разговаривали, и я узнал несколько интересных вещей из того, что она думает обо мне: она сказала, что не могла бы себе представить, чтобы я однажды стал для нее кем-то еще, кроме простого «приятеля». Когда мы познакомились, вначале она видела во мне подростка, и только. Позже, призналась она, присмотрелась ко мне внимательнее, и в ней проснулось какое-то сочувствие ко мне, может быть, – так она думает, – по сходству нашей судьбы из-за родителей, а из кое-каких моих замечаний она заключила, что по некоторым вопросам мы судим одинаково; но ничего сверх этого она тогда еще не предугадывала. Она поразмышляла над тем, насколько это странно, и еще сказала: «По-видимому, так должно было случиться». Странное, чуть ли не суровое выражение

было в ее лице, и я не стал спорить с нею, хотя скорее был согласен с тем, что она сказала вчера – что причиной была бомба. Но, конечно, я не могу знать ничего, и я видел, что ей так нравится больше. Потом мы быстро распрощались, потому что завтра мне надо идти на работу, и, когда я взял ее руку, она уколола ногтем мою ладонь. Я понял, что она намекает на нашу тайну, и ее лицо словно бы говорило: «все в порядке».

Но на другой день она вела себя довольно странно. После полудня, когда я вернулся с работы и сперва умылся, переменял рубашку и обувь и причесался влажным гребнем, мы пошли к сестрам – Аннамария между тем уже представила меня им еще по старому своему плану. Их мать тоже приняла меня радушно. (Отец в рабочих батальонах.) У них внушительная квартира, с балконом, с коврами, с несколькими большими комнатами и одной отдельной, поменьше, для двух девочек. В девичьем вкусе она и обустроена: рояль, множество кукол и прочее. Обыкновенно мы играем в карты, но старшая сегодня не расположена. Она хотела сначала поговорить с нами об одной заботе, об одном вопросе, который сейчас очень ее занимает: ее желтая звезда не дает ей покоя. В самом деле, «взгляды людей» внушили ей, что произошла перемена, – она находит, что люди изменились к ней, и во взглядах их обнаруживает, что они «ненавидят» ее. Сегодня утром она тоже это заметила, когда ходила за покупками по маминому поручению. А я думаю, она немного преувеличивает. По крайней мере, мой собственный опыт не совсем такой. Например, и на работе есть каменщики, про которых всем известно, что они не выносят евреев; но с нами, с ребятами, они, однако, вполне подружились. При всем том, конечно, это в их взглядах не изменило ровно ничего. Потом мне пришел в голову еще пример – пекаря, и я попробовал объяснить девочке, что ненавидят не ее, или не ее самоё, не ее лично – ведь, в конечном итоге, ее и не могут знать, – а скорее только идею «еврей». Тогда она заявила, что и сама думала об этом раньше, ибо, по сути дела, не знает точно, что это такое. Аннамария сказала ей, что ведь это каждый знает: это религия. Но ее интересовало не это, а «смысл». «Ведь надо же человеку знать, за что его ненавидят», – решила она. Она призналась, что вначале ничего не понимала, и было страшно больно видеть, как ее презирают «просто потому, что еврейка»: тогда она впервые почувствовала, что – как она сказала – нечто отделяет ее от людей и что она принадлежит не к тем, что все остальные. После того она начала размышлять, пыталась найти ответ в книгах и разговорах и так осознала: именно это в ней и ненавидят. Ее взгляд был: «мы, евреи, не такие, как остальные», суть дела в этом различьи, и из-за него-то и ненавидят евреев люди. Еще она отметила, какое это странное дело – жить «в сознании различья», и что иногда она чувствует из-за этого своего рода гордость, а иногда, скорее, какое-то подобье стыда. Она хотела бы узнать: как мы относимся к своему различью, и спросила: мы гордимся им или, скорее,

стыдимся его? Младшая сестра и Аннамария не знали толком. Сам я до сих пор еще не видел повода к таким чувствам. Кстати, человек не вполне способен сам решить насчет этого различья: для этого как раз служит желтая звезда, так я понимаю. Это я ей и заметил. Но она упорствовала: «мы носим в себе» эту разницу. А по-моему, все-таки важнее то, что у нас снаружи. Мы долго спорили об этом, не знаю, почему, ведь, по правде сказать, я не очень вижу, в чем значение этого вопроса. Но было в ходе ее мыслей что-то, раздражавшее меня: по-моему, все это гораздо проще. Ну и кроме того, естественно, я хотел бы выйти из спора победителем. Раз или два Аннамария, вроде бы, тоже хотела вставить слово, но случай не представился ни разу, потому что мы двое уже не очень обращали на нее внимание.

Под конец я привел ей пример. Иногда я уже раздумывал над ним, просто ради препровождения времени. Но вдобавок я читал недавно книгу, такой роман: нищий и принц, которые, помимо этого различья, лицом и телом были схожи поразительно, неразличимо, из пустого любопытства обменялись судьбами, так что из нищего стал настоящий принц, а из принца настоящий нищий. Я сказал девочке, пусть попробует представить что-то такое про себя. Конечно, оно не очень правдоподобно, но ведь чего только не бывает. Скажем, случилось это с нею в самом раннем детстве, когда человек еще ни говорить, ни помнить не может, и все равно как, но только – допустим – каким-то образом ее обменяли или подменили ребенком из другой семьи, такой семьи, у которой бумаги, в расовом смысле, безупречные: ну так вот, в этом воображаемом случае та, другая девочка ощущала бы разницу и, конечно, носила бы и желтую звезду тоже, а она бы, напротив, – в силу сведений о самой себе, – видела бы себя в том же свете, что остальные люди, и, конечно, другие смотрели бы на нее так же; об этом она и не задумывалась бы и из всей разницы не знала бы ничего. Впечатление, как я увидел, оказалось достаточно сильным. Сперва она только молчала, и медленно, но с мягкостью чуть ли не осязаемой ее губы раскрылись, как будто она хотела что-то сказать. Но ничего не сказала, а случилось другое, намного более странное: она разрыдалась. Она зарылась лицом во внутренний сгиб локтя, лежавшего на столе, плечи мелко содрогались. Я был поражен, потому что не этого добивался, а к тому же и само зрелище меня как-то смутило. Я попробовал склониться над нею и, касаясь ее волос, плеч и – поменьше – рук упрасивал не плакать. Но она выкрикивала ожесточенно и постоянно прерывающимся голосом что-то вроде того, что, если в этом нет ничего от наших собственных свойств, тогда все это только чистая случайность, и если она могла бы быть другой, чем ее вынуждают быть, тогда «во всем этом нет никакого смысла», и что это такая мысль, которую, по ее мнению, «невозможно вынести». Я был смущен, потому что вина была моя, но откуда мне было знать, что эта мысль может иметь для нее такое значение? У меня уже вертелось на языке: не об-

ращай на это внимания, ведь, на мой взгляд, все это не значит ничего, я ею не гнушаюсь из-за ее расы; но тут же почувствовал, это было бы все-таки несколько смешно с моей стороны, и так ничего и не сказал. При всем том меня огорчило, что я не смог сказать, потому что в тот миг я, действительно, так чувствовал, совершенно независимо от своих обстоятельств, чтобы не сказать: свободно. Хотя, конечно, не исключено, что при других обстоятельствах и мнение у меня было бы другое. Не знаю. Я сознавал и то, что проверить не в моих возможностях. И все же я чувствовал себя почему-то неловко. Не знаю точно, по какой причине, но в этот миг впервые я испытал чувство, которое, по моему, и в самом деле, было немного похоже на стыдливость.

Но только уже на лестнице до меня дошло, что этим своим чувством я обидел Аннамарию, по-видимому: тогда-то она и повела себя странно. Я заговорил с нею, она не ответила. Я попытался взять ее под руку, но она вырвалась и оставила меня на лестнице одного.

Напрасно я ждал ее и на другой день после обеда. Так что я не смог пойти к сестрам, потому что до сих пор мы всегда ходили вместе, и они, наверно, стали бы меня расспрашивать. И еще, я теперь лучше понял, что говорила девушка в воскресенье.

Вечером она пришла к Флейшманам. Но сперва говорила со мной очень сдержанно, и ее лицо немного смягчилось только тогда, когда на ее замечание, что мы с сестрами, можно надеяться, хорошо провели время после обеда, я сказал ей: я не ходил наверх. Она осведомилась, почему, я ответил, как и было на самом деле, что без нее не хотел. Мне показалось, что этот мой ответ был ей по душе. Спустя некоторое время она даже выразила согласие посмотреть со мною рыбок, и оттуда мы возвратились, уже совсем помирившись. Позже, тем же вечером, девушка еще только раз намекнула на случившееся: – «Это была наша первая ссора», – сказала она.

3

На другой день со мной случилось что-то не совсем понятное. Утром я встал вовремя и, как обычно, отправился на работу. День обещал быть жарким, автобус и сегодня был набит битком. Мы уже оставили позади дома пригорода и проехали короткий, ничем не украшенный мост, который ведет на остров Чепель; дальше какое-то время дорога идет по открытому месту, по полям, с левой стороны какое-то приземистое строение, похожее на ангар, справа рассыпаны теплицы огородников; там это и произошло – автобус затормозил, совершенно неожиданно, после чего я услышал обрывки распоряжения, доносившиеся снаружи, а потом кондуктор и другие пассажиры передали в мою сторону: если есть в машине евреи, пусть сойдут. Что ж, поду-

мал я, наверняка, они хотят проверить это дело с выходом за городскую черту на основании документов.

И в самом деле, на шоссе я оказался лицом к лицу с полицейским. Не говоря ни слова, я тут же протянул ему свое удостоверение. Но он сначала отправил дальше автобус коротким взмахом руки. Я уже подумал, что он, возможно, не понял, о чем удостоверение, и как раз готовился ему объяснить, что – как он может видеть – я работаю на военном заводе и тратить время попусту мне решительно недосуг; но тут внезапно дорога вокруг меня наполнилась голосами и ребятами – моими товарищами из «Шелла». Они прятались за насыпью. Оказалось: полицейский высадил их здесь еще из предыдущих автобусов, и они хохотали, что я тоже прибыл. Даже полицейский слегка улыбнулся, как посторонний, это верно, но все же как-то участвующий в забаве; я сразу увидел, что он ничего против нас не имеет, – да и не мог иметь, естественно. Я спросил у ребят, тем не менее, что это все значит, но пока не знали ничего и они.

Полицейский останавливал и все остальные автобусы, которые приближались со стороны города, – на определенном расстоянии заступал им дорогу, поднимая высоко вверх ладонь; нас же отсылал на это время за насыпь. После этого всякий раз повторялась та же сцена: удивление новеньких, сменявшееся, в конце концов, смехом. Полицейский выглядел довольным. Так прошло примерно четверть часа. Было ясное летнее утро, на краю насыпи солнце уже начинало прогревать траву – мы ощущали это, когда валялись. Вдали, среди голубоватых испарений, были хорошо видны резервуары нефтяного завода. За ними – фабричные трубы, еще дальше – островерхий рисунок какой-то колокольни, уже чуть размытый. Из автобусов группами или поодиночке беспрерывно появлялись ребята. Приехал один очень резвый, веснушчатый, с черными волосами ежиком парень: его все любят и зовут Галантерей, потому что, в отличие от остальных, которые, главным образом, собрались из разных школ, он уже выбрал себе профессию. Потом – Курец: почти никогда его не увидишь без сигареты. Правда, что вообще-то курят и остальные, и, чтобы не отстать от них, я и сам недавно попробовал; но я заметил, что он отдается этой привычке совсем по-другому, с жадностью, уже прямо-таки лихорадочной почти что. И глаза у него такие странные, с лихорадочным выражением. По характеру он скорее молчаливый, к нему так легко не подступишься; ребята его не очень любят. Но все равно, однажды я спросил его, что хорошего он находит в куренье без конца и краю. На это он ответил коротко: «Дешевле харчей». Я был несколько озадачен, потому что об этой причине не мог подумать. Но еще больше я удивился тому, как он на меня посмотрел, – одновременно насмешливо и словно бы уже вынося приговор, – когда заметил мое смущение; это было неприятно, и я больше вопросов не задавал. Но теперь я лучше понимал, почему все остальные относятся к нему с осторожностью. Они приветство-

вали уже другого, веселясь более раскованно; все близкие приятели звали его не иначе как Шелковый. Прозвище казалось мне удачным из-за ровно блестящих темных волос, больших серых глаз и вообще достойной любви шелковистости всего его существа; только позже я услышал, что это прозвище имеет, в действительности, еще другой смысл – «альфонс», – и что, на самом деле, ему потому и пожаловали эту кличку: он якобы очень ловко юлит вокруг девчонок. Какой-то автобус привез «Рози»: по-настоящему, его фамилия Розенфельд, но так сокращают все. Почему-то он пользуется уважением у ребят, и в делах общего интереса мы обычно следуем его взгляду; и у десятника тоже он всегда за нас представляет. Я слышал, он заканчивает коммерческое училище. Со своим умным, хотя и несколько чересчур вытянутым лицом и белокурыми волнистыми волосами, а также чуть застывшим взглядом водянистых голубых глаз, он немного такой, каких увидишь в музеях на старинных картинах, в компании с этикетками «Инфант с борзой» или иными подобными. Прибыл и Мошкович, маленького роста, лицо далеко не такое правильное, я бы даже сказал, довольно уродливое, и вдобавок на широком, приплюснутом носу очки с такими толстыми, словно из микроскопа, стеклами, как у моей бабушки, – и так далее, все остальные. Все думали примерно так же, как я сам, что, в общем и целом, дело немного странное, но тут, наверно, ошибка или что-нибудь в этом роде. «Рози», которого уже подбивали несколько ребят, осведомился у полицейского: не будет ли неприятностей, если мы опоздаем на работу, и когда, собственно говоря, он собирается нас отпустить. Полицейский несколько не рассердился, но ответил, что это зависит не от его решения. Как оказалось, он знал, действительно, не намного больше нашего: он упомянул какое-то «дальнейшее распоряжение», которое заступит вместо прежнего, а то велит пока ждать – и ему, и нам; вот, в общих чертах, его объяснение. Все это, если и было не совсем ясно, однако в сущности – решили мы с ребятами – звучало приемлемо. Но и без того, в конечном итоге, мы были обязаны подчиняться полицейскому. Мы находили это тем более простым, что помнили о своих удостоверениях с печатью начальства военного завода и не видели никакой причины принимать полицейского чересчур всерьез, само собой разумеется. А он видел – это выяснилось из его слов, – что имеет дело с «разумными ребятами», и, прибавил он, надеется, что можно и в дальнейшем рассчитывать на нашу «дисциплинированность»; мне казалось, мы ему нравимся. Он тоже казался симпатичным: низенький был полицейский, ни молодой, ни старый, на загорелом лице ясные, очень светлые глаза. Из некоторых его слов я вывел, что он, должно быть, из провинции.

Было семь часов: в это время на нефтеперегонном заводе начинается работа. Автобусы теперь уже не подвозили новых ребят, и тогда полицейский спросил: не хватает ли еще кого из нас? «Рози» нас пересчитал и доложил ему: все налицо. Тогда

полицейский сказал, что все-таки не годится нам ждать здесь, на обочине шоссе. Он казался озабоченным, и у меня было такое чувство, будто на самом деле он был так же мало подготовлен к встрече с нами, как мы с ним. Он даже спросил: «А теперь что мне с вами делать?» Но уж тут, понятно, мы не могли прийти ему на помощь. Мы обступили его, смеясь, самым непринужденным образом, в точности как учителя на какой-нибудь загородной прогулке, а он стоял посреди нашей группы, с задумчивым лицом, все время поглаживая подбородок. В конце концов, он предложил: пойдёмте в таможеню.

Мы пошли за ним к облезлому, особняком стоящему одноэтажному строению на шоссе: это была «Таможня», как извещала полустертая надпись на ней. Полицейский достал кольцо со множеством ключей, которые громко звенели, и выбрал среди них один, подхитивший к скважине. Внутри мы нашли приятно прохладное, обширное, хотя и несколько голое помещение, обставленное лишь парой скамеек да длинным ветхим столом. Полицейский открыл еще одну дверь, за ней было намного меньшее помещение, похожее на контору. Как я разглядел сквозь дверную щель, там, внутри, был ковер, письменный стол, а на нем телефонный аппарат. Мы слышали, что полицейский звонил, коротко, но слов уже не могли разобрать. Но я думаю, он пытался поторопить с приказом, потому что, когда вышел (тщательно закрыв за собою дверь), то сказал: «Ничего. Хочешь не хочешь, надо ждать». Он нам посоветовал устраиваться поудобнее. Еще он спросил, знаем ли мы какие-нибудь общие игры. Один парень, если память мне не изменяет, Галантерей, внес предложение: «кто первый хлопнет». Полицейскому, однако, это пришлось не очень по вкусу, он сказал, что от нас, «таких разумных ребят», он ожидал бы большего. Какое-то время он шутил с нами, и при этом я чувствовал, что он старается, как умеет, нас развлечь, может быть, чтобы не оставить времени на нарушения дисциплины, как он упоминал еще на шоссе; но он показал себя достаточно неискушенным в этой части. Вскоре после того он оставил нас одних, заявив предварительно, что ему надо заняться своей работой. Когда он уходил, мы слышали, как он снаружи запер нас на ключ.

Что было дальше, я уже не мог бы отчитаться во всех подробностях. Было такое впечатление, что приказа придется ждать долго. Но ведь что до нас, дело было несколько не спешное; в конце-то концов, не свое собственное время мы растрачивали. В одном все согласились: приятнее здесь в холодке, чем потеть на работе. На нефтяном заводе тени не много. Розы исхлопотал нам у десятника разрешение снимать рубашки. Правда, это не совсем сходится с буквою правил, потому что таким образом на нас не увидят желтой звезды, но десятник, тем не менее, согласился, по-человечески. Только белесая, похожая на бумагу кожа Мошковича несколько пострадала от этого, потому что ми-

гом покраснела на спине, как рак, и мы долго смеялись над длинными лоскутьями, которые он после оттуда сдирал.

Итак, мы удобно расположились на скамейках или прямо на полу таможни; но как проводили время, это я бы уже сказать затруднился. Во всяком случае, много шутили; появились сигареты, а со временем и пакеты с провизией. Поминали и десятичника: наверняка, он очень удивился нынче утром, что мы не явились на работу. Появились и подковные гвозди для игры в быка, так ее называют. Ей я научился уже здесь от ребят: один гвоздь мечут вверх, и кто больше схватит других гвоздей из разложенных перед ним, пока не поймал того, первого, — он и выиграл. Шелковый со своими тонкими и длинными пальцами выиграл все партии. Роза научил нас песенке, которую мы и спели много раз. Интерес ее в том, что слова можно переделать на три языка, хотя они все время одни и те же: если прибавляем окончание эс, звучит по-немецки, если *ио*, — по-итальянски, а если *таки*, тогда по-японски. Конечно, все это одни глупости, но меня развлекало.

Потом я поглядывал на взрослых. Их тоже отлавливали в автобусах, в точности, как нас. Я сделал вывод, что, когда полицейский не с нами, он на шоссе, и занятие у него то же, что утром. Мало-помалу набралось человек семь-восемь, всё мужчины. Я видел, что они задали полицейскому уже побольше дела: недоумевали, мотали головой, пускались в объяснения, показывали свои бумаги, приставали с вопросами. Расспрашивали и нас: кто мы такие да что мы такое? Но после этого оставались больше в своем кругу; мы им уступили несколько скамеек, они сидели, съезжившись, или топтались вокруг. Они говорили о многих вещах, но я не слишком прислушивался. Главным образом, старались догадаться, какая может быть причина у действий полицейского, и какие последствия это происшествие может иметь для них; но на этот счет, сколько их было, ровно столько же было и мнений, как я слышал. В целом, мне казалось, это зависело, в первую очередь, от того, какими кто был снабжен документами, потому что, как я заключил, они все тоже были с какими-то бумагами, на основании которых направлялись в Чепель, кто по собственному делу, а кто по общественно полезному, как и мы.

Все же несколько любопытных лиц я среди них отметил. Так, например, я обратил внимание, что один не принял участия в их разговорах; вместо этого он всё время читал одну и ту же книгу, которая, видимо, оказалась при нем. Это был очень высокий, худой человек, в желтой брезентовой куртке, на небритом лице между двумя глубокими, выдающими дурное настроение складками — резко очерченный рот. Он выбрал себе место на самом краю одной из скамеек, у окна, скрестил ноги и полуобернулся спиной к остальным; может быть, поэтому он каким-то образом напомнил мне пассажира, завсегдатая железнодорожных купе, который считает никчемными любое слово, вопрос или обычное случайное знакомство между попутчиками и со скупающим без-

различием дожидается конца нашего путешествия: во мне, по крайней мере, он пробудил такую идею.

Человека представительной наружности, уже в годах, с серебряными висками и лысым теменем я взял на заметку, как только он прибыл – ближе к полудню: он негодовал, между тем как полицейский заставлял его войти. Он спрашивал также, есть ли здесь телефон и можно ли им воспользоваться. Полицейский довел до его сведения, что он очень сожалеет, но аппарат «предназначен исключительно для служебного пользования»; тогда он замолчал, с раздраженной гримасой. Потом, из его довольно скупых ответов на вопросы остальных, я узнал, что и он, примерно, как и мы, принадлежит к какому-то чепельскому промышленному предприятию: «эксперт», сказал он про себя, не входя, однако, в подробности. В остальном он обнаруживал большую самоуверенность, и мне казалось, что в общем и целом его точка зрения скорее похожа на нашу, с тем отличием, что его, по-видимому, больше оскорбляло это задержание. Я заметил, что о полицейском он всякий раз говорил только уничижительно и с некоторым пренебрежением. Он сказал, что, по его мнению, у полицейского «могла быть, видимо, какая-то общая инструкция», которую он применял, пожалуй, с усердием чрезмерным. Но он полагал, что за дело, в конечном счете, несомненно возьмутся «компетентные лица», и он надеется, что это произойдет как можно скорее, прибавил он. После этого я не слышал его голоса и даже забыл про него. Только после полудня он снова бегло привлек к себе мое внимание, но тогда я уже и сам был утомлен и только отметил, до какой степени ему невтерпех: он то садился, то вставал, складывал руки то на груди, то за спиной, то глядел на часы.

Был еще там чудной маленький человечек, с характерным носом, с большим рюкзаком, в так называемых «брюках гольф», в туристских ботинках огромного размера; каким-то образом даже желтая звезда на нем казалась больше привычной. Он тревожился больше. В особенности он жаловался всем и каждому на «свое невезение». Я приблизительно запомнил его случай, потому что история была простая и он повторял ее много раз. Он поехал было навестить «тяжелобольную» мать в поселок Чепель, – так он рассказывал. Добился особого разрешения от властей, вот оно, при нем, показывает. Разрешение было действительно на сегодняшний день, до двух часов. Но что-то помешало, какое-то дело, которое он назвал «безотлагательным», как он прибавил: «из-за производства». А в управлении было много людей, так что его очередь подошла очень нескоро. Он уже видел все свое путешествие «под вопросом» – так он сказал. Тем не менее он поспешил и сел в трамвай, чтобы, согласно первоначальному плану, доехать до конечной остановки автобуса. Дорогой он сличил продолжительность пути туда и обратно с крайним сроком в разрешении и высчитал: было бы действительно рискованно пуститься в путь. Но на конечной оста-

новке он увидел, что полуденный автобус еще стоит. Тогда – узнали мы от него – он подумал: «Как много у меня было хлопот из-за этого клочка бумаги!.. И, – прибавил, – бедная мамочка ждет». Он упомянул, что старуха, конечно же, причиняла ему с женой массу забот. Они уже давно ее упрашивают переселиться к ним, в город. Но мама все отказывалась, до тех пор, пока уже не стало поздно. Он качал и качал головой, потому что, по его мнению, так ему казалось, старуха только цеплялась за дом, «любой ценой». «А ведь в нем никаких удобств», – отмечал он. Но что поделаешь – так он продолжал, – надо его понять, ведь это его родная мать. И, бедная, – прибавлял он, – она и больная, и старая уже. И сказал, что «чувствовал: может быть, никогда не простил бы себе», если бы пропустил этот единственный случай. Вот так все-таки и вскарабкался в автобус. Тут он на минуту умолкал. Поднимал, потом медленно снова опускал руки беспомощным движением, между тем как лоб складывался в тысячу мелких вопрошающих морщинок: он слегка напоминал печального, попавшего в западню грызуна. Что они думают – спрашивал он затем у остальных, – могут ли выйти из этого какие-нибудь неприятности? И примут ли во внимание, что нарушение позволенного срока случилось не по его вине? И что может подумать его мама, которую он известил о своем приезде, а дома – жена и двое малых детей, когда он не вернется к двум часам? Главным образом – как я заметил по направлению его взгляда – он словно бы ждал суждения или заявления касательно своих вопросов от упомянутого выше человека представительной наружности, от Эксперта. Но тот – я видел – не обращал на него внимания: он как раз держал в руке сигарету, которую недавно вынул, и теперь постукивал одним ее концом по крышке портсигара, отливающей серебром, с начеканенными буквами и штрихами насечки. На его лице я увидел выражение задумчивое и уводящее к каким-то отдаленным мыслям, и казалось, что из всей истории он не слышал ровно ничего. Тогда тот снова вернулся к своему невезению: если бы он добрался до конечной остановки всего на пять минут позже, то уже не застал бы там полуденного автобуса; если бы не нашел его там, то следующего уже не стал бы ждать; и в таком случае – если всему причиной «только разница в пять минут» – тогда он сейчас «сидел бы не здесь, а дома», объяснял он снова и снова.

И еще я помню человека с лицом, как у тюленя: он был грузный, носил густые черные усы и очки в золотой оправе и то и дело желал «поговорить» с полицейским. От моего внимания не ускользнуло и то, что он всякий раз старался это сделать чуть в стороне от остальных, на отшибе, в каком-нибудь углу или, по возможности, у двери. «Господин пристав, – слышал я тогда его сдавленный, сиплый голос, – можно с вами поговорить?» Или: «Господин пристав, прошу вас... Только на одно слово, если бы можно...» Наконец полицейский спросил, что ему угодно. Но тут он, казалось, заколебался. И хотя на этот раз они были в углу

зала довольно близко ко мне, я не уловил из глухого бормотания ничего; казалось, он уверяет в чем-то. Потом на его лице появилась улыбка более доверительная, вкрадчивая. В это же время он наклонялся к полицейскому, сперва только немного, а потом, мало-помалу, почти вплотную. И опять-таки тогда же я заметил, что он делает какое-то странное движение. Оно не оставило во мне ясного до конца впечатления: сначала мне показалось, будто он хочет зачем-то засунуть руку во внутренний карман. Я еще заключил из очевидной значительности этого движения, что он, возможно, желал бы предъявить полицейскому какую-то важную бумагу, исключительно важный или особенный документ. Только напрасно я ждал: что же появится? — потому что своего движения он так и не довел до конца. Но и не бросил полностью; скорее только прервал, забыл про него вдруг, я бы сказал, уже у самой вершины, как-то приостановил. Так что, в конце концов, его рука какое-то время рылась, рыскала и шарила снаружи, возле груди, напоминая большого паука, обросшего редкими волосами, или, еще скорее, малое морское чудище, которое искало щель, чтобы юркнуть под его пиджак. А сам он всё говорил, и та особая улыбка была все время на его лице. Впрочем, все это продолжалось всего несколько секунд приблизительно. Потом я видел только, как полицейский очень быстро и с какой-то бросающеюся в глаза решительностью прекратил разговор; скажу больше, мне показалось, он даже рассердился на того; да и то сказать, хотя, в сущности, я мало что понял из всего этого дела, но его поведение каким-то трудно определимым образом и мне представлялось в подозрительном свете.

Остальные лица и события я помню слабо. По мере того, как проходило время, мои наблюдения становились все менее меткими. Могу еще сказать только, что к нам, ребятам, полицейский оставался по-прежнему очень внимателен. Но со взрослыми — как я заметил — он уже, вроде бы, держал себя не так благожелательно. Но после полудня он тоже утомился, по-видимому. Часто присоединялся к нам, чтобы освежиться, или уединялся в своей комнате, а проезжавшие тем временем автобусы его не интересовали. Я слышал, он пытался также звонить по телефону и раз-другой сообщал о результатах: «Все еще ничего», но уже с явным неудовольствием на лице. Помню еще один момент. Это произошло раньше, вскоре после полудня: приехал его кореш, другой полицейский, на велосипеде. Сперва оставил велосипед снаружи, прислонил к стене. Потом они старательно закрылись в комнате нашего полицейского. И вышли спустя немалый срок. На прощание в дверях еще долго били по рукам. Они ничего не говорили, но так кивали головами, так при этом смотрели друг на друга, как торговцы, которых я видел давным-давно, еще в конторе у отца, после того, как они предварительно посоветуются между собою о тяжелых временах и о застое в торговле. Конечно, я сознавал, у полицейских этого, скорее всего, быть не может; и все-таки их лица привели мне на ум это

воспоминание: та же знакомая озабоченная пришибленность, то же вынужденное смирение перед неизменностью хода вещей. Но я начал уставать; из остального времени я помню только, что мне было жарко, что я скучал и что меня клонило ко сну.

В общем, я мог бы сказать, день миновал. Пришел, наконец, и приказ, примерно в четыре часа, точно, как обещал полицейский. Он гласил, что мы должны явиться к «вышестоящим властям» для предъявления своих бумаг — так известил нас полицейский. А ему могли дать знать по телефону, потому что предварительно мы услышали из его комнаты хлопотливые намеки на какие-то перемены: неоднократные звонки аппарата, потом он сам кого-то искал по телефону и улаживал вкратце несколько вопросов. Полицейский сказал еще вот что: хотя совсем точно ему не сообщали, речь, по его мнению, может идти только о пустой формальности, по крайней мере, уж в таких ясных и бесспорных с точки зрения закона случаях, как, например, наш.

Выстроившись по три в ряд, шествие тронулось — обратно, по направлению к городу; от всех контрольных пунктов в округе разом, как я смог убедиться по пути. Перейдя мост, на каких-то поворотах или перекрестках мы встречались с другими группами, состоявшими тоже из большего или меньшего числа людей с желтыми звездами и одного-двух, а в одном случае и трех полицейских. В конвое одной из таких групп я опознал полицейского с велосипедом. Еще я обратил внимание, что полицейские в это время всякий раз приветствовали друг друга с определенной, одной и той же, как бы служебной краткостью, словно бы рассчитывали заранее на эти встречи; и тогда я понял, что наш полицейский предварительно улаживал по телефону: таким образом, значит, они сверяли друг с другом время. В конце концов, я поймал себя на том, что шагаю посреди внушительного строя, а по обеим сторонам, отстоя далеко один от другого, полицейские конвоируют наше шествие.

Так мы шли, все время по мостовой, довольно долго. Был погожий и ясный послеобеденный летний час, улицы полны пестрой толпой, как всегда в эту пору; но я все это видел слегка расплывчато. Скоро я потерял и нить ориентации, потому что большей частью мы проходили по таким улицам и дорогам, которые я мало знаю. И потом все умножающееся число улиц, уличное движение, а главное, тот вид отяжеления, который в таких обстоятельствах неотделим от шагания в сомкнутых рядах, достаточно захватили и скоро утомили мое внимание. Из всего долгого пути я, по сути дела, помню только людей на тротуарах, какое-то их торопливое, нерешительное, чуть ли не украдкой любопытство при виде нашего шествия (поначалу оно меня забавляло, но скоро я уже почти перестал его замечать), ну и еще один момент попозже, несколько смутный. Мы как раз шли какой-то широкой, страшно оживленной дорогой на окраине, вокруг нас повсюду движение, напирает, наплывает с невыносимым шумом; не знаю, каким образом в каком-то месте в наше шествие

сумел вклиниться трамвай, как раз немного передо мной. Пришлось остановиться на мгновение, чтобы его пропустить, – и тут внезапно я заметил промельк желтой одежды впереди в облаках пыли, шума и автомобильных испарений: это был «Пассажир». Один длинный прыжок, и он уже затерялся где-то в стороне, в круговерти машин и людей. Я был поражен: все это как-то не очень сходилось с его поведением в таможне, так я находил. Но вместе с тем я испытывал и другое чувство: веселое изумление, я бы сказал, перед простотою этого шага; и правда, я видел, что один или двое предприимчивых немедленно пустились наутек вслед за ним, там, впереди. Я и сам огляделся вокруг, но только, так сказать, игры ради – другой причины удирать я не видел, – и думаю, у меня было бы еще время: но потом все-таки чувство чести во мне оказалось сильнее. После этого полицейские немедленно распорядились, и строй вокруг меня снова сомкнулся.

Мы прошли еще немного, потом все произошло быстро, неожиданно и несколько ошеломляюще. Где-то мы повернули, и я увидел, что мы прибыли, потому что дорога продолжалась между широко раскрытыми створками ворот. Тут только я заметил, что, начиная от ворот, место полицейских заняли другие конвоиры, одетые, как солдаты, но с пестрыми перьями на фуражках: это были жандармы. Они повели нас дальше, через лабиринт серых строений, все глубже и глубже, на вдруг открывшееся громадное свободное пространство, усыпанное белыми камешками – род казарменного двора, как мне показалось. В тот же миг я увидел высокую, властной внешности фигуру, которая из здания напротив направлялась прямо к нам. На нем были высокие сапоги и облегающая тело военная форма с золотыми звездами и кожаным ремешком, пересекавшим грудь по диагонали. В одной его руке я увидел тонкую трость, какой пользуются для верховой езды, и он то и дело похлопывал себя по сияющему лаком голенищу. Через минуту, когда мы уже ждали в неподвижных рядах, я заключил, что он, в своем роде, красавец – крепко натренированный, в целом слегка напоминающий обаятельных киногероев, с мужественными чертами, с узенькими каштановыми усиками, подправленными на модный лад, которые очень шли к его загорелому лицу. Когда он подошел ближе, слова команды жандармов приковали нас к месту. Из всего дальнейшего остались только два впечатления, быстро следовавшие одно за другим: голос человека со стеклом, надтреснутый, отчасти как у базарного зазывалы, который так удивил после изысканной внешности, что, может быть, поэтому я не слишком многое запомнил из его слов. Все же я понял, что «расследование» по нашему делу (именно это выражение он употребил) он намерен провести только завтра, потом сразу обратился уже к жандармам, приказывая им голосом, который наполнил всю площадь, до тех пор отвести «всю еврейскую банду» туда, где, собственно, по его мнению, ей и место, то есть в конюшню, и там запретить их на ночь. Моим вторым впечатлением была немедленно

последовавшая за этим неразбериха, непроглядная, гремящая словами команды: жандармы вдруг оживились и завывали свои распоряжения, разгоняя нас. Я не знал даже, куда мне направиться, и помню только, что посреди всего этого мне было немного смешно, с одной стороны, от удивления и замешательства, от чувства, будто я неожиданно попал в середину какого-то безумного спектакля, в котором я не совсем хорошо знаю свою роль, а с другой – от беглой мысли, которая только мелькнула в моем воображении: то было лицо моей мачехи, когда ей станет ясно, что нынче вечером она, уж наверняка, напрасно рассчитывает на меня к ужину.

4

Больше всего в поезде не хватало воды. Припасов, принимая в расчет всё, должно было хватить надолго; но оказалось, что нам нечего пить, и это, конечно, было неприятно. Сидевшие в поезде сразу сказали: первая жажда проходит быстро. В конечном итоге, мы могли бы уже и забыть про нее; но тут она появляется снова – и уж теперь не даст про себя забыть, объясняли они. Шесть-семь дней, утверждали сведущие, вот время, которое человек может прожить без воды, если необходимо, да еще при жаркой погоде, при условии, что он здоров, что не теряет слишком много пота и не ест, по возможности, ни мяса, ни острых приправ. Пока еще есть время, обнадеживали они; все будет зависеть от того, сколько займет дорога, прибавляли они.

Да, я и сам хотел бы это знать: на кирпичном заводе нас не уведомили. Известили только, что желающие могут вызваться на работу, а именно – в Германию. Эту идею мы сразу нашли привлекательной – и остальные ребята, и еще многие другие на кирпичном заводе, и я. Кстати, люди из так называемого «Еврейского совета», которых можно было распознать по нарукавным повязкам, говорили, что так или иначе, полюбовно или принудительно, но раньше или позже всех с кирпичного завода и так переселят в Германию, и тем, что поедут самыми первыми, добровольно, достанутся места получше; далее, им выпадет еще и то преимущество, что их будет по шестидесяти в вагоне, а позже придется уместаться по восьмидесяти и больше, из-за того что не хватает составов, – как они разъясняли всем и каждому. Большого простора для раздумий это, действительно, не оставляет, я и сам так находил.

Впрочем, я не мог оспаривать правоты и остальных их доводов, в которых речь шла о тесноте на кирпичном заводе, о ее очевидных последствиях в сфере здоровья, о растущих трудностях со снабжением: так оно и было, обо всем этом мог свидетельствовать и я. Уже когда мы прибыли из жандармерии (среди взрослых эту казарму называли «Жандармская имени Андраши»), мы обнаружили, что каждый закоулок кирпичного завода

уже набит людьми до отказа. Я видел среди них и мужчин, и женщин, детей всех возрастов и бесчисленных стариков и старух. Куда бы я ни ступал, под ноги попадались одеяла, рюкзаки, всевозможные чемоданы, узлы, тюки. Из-за всего этого и из-за множества мелких тягот, досад, недоразумений, которые, по-видимому, неизбежно сопряжены с такой коллективной жизнью, я тоже скоро устал, естественно. К этому прибавлялись безделье, глупое чувство простоя и, наконец, скука; из пяти дней, что я здесь провел, я поэтому и не помню в отдельности ни одного, впрочем, и из их совокупности остались только отрывки. Во всяком случае, мне было немного легче оттого, что ребята тоже были там: Роза, Шелковый, Галантерей, Курец, Мошкович и все остальные. Мне казалось, недостающих не было: они тоже были честные люди, все. С жандармами на кирпичном заводе я больше впрямую дела не имел: я видел их, скорее, по внешнюю сторону ограды, они несли караул, смешиваясь там и сям с полицейскими. Про полицейских на кирпичном заводе говорили, что они отзывчивее жандармов и охотно склоняются к человечности, точнее – по определенному, предварительно достигнутому соглашению либо в деньгах, либо в любых других ценностях. Главным образом – так я слышал – многие давали им поручения доставить письмо, весточку, но более того, как настаивали некоторые, даже возможность побега открывалась при их посредстве – хотя тут же прибавляли: только редкая и рискованная; узнать об этом что-либо вполне определенное мне было бы трудно. И тогда мне пришло на ум и я понял, я думаю, более или менее точно, о чем же так непременно желал поговорить с полицейским в таможене человек с лицом, как у тюленя. Я узнал также, что наш полицейский, напротив, был честный. Этот факт мог объяснить то обстоятельство, что, слоняясь по двору или дожидаясь своей очереди перед общим котлом, я в круговороте незнакомых лиц раз-другой узнал человека с лицом, как у тюленя.

Из тех, что были в таможене, я повстречался снова и с невезучим человеком: он часто приходил посидеть с нами, среди «молодежи», чтобы «немного поднять настроение», – как он говорил. Наверно, где-то неподалеку от нас нашел себе место для ночлега и он: в одном из многих одинаковых дворовых строений, с драночной крышей, но без стен, и первоначально служивших, как я слышал, для просушки кирпича. Он казался слегка помятым, лицо в пестрых пятнах от шишек и ушибов, и мы узнали от него, что все это результат жандармской проверки: в его рюкзаке они наткнулись на лекарства и продукты. Напрасно пробовал он объяснить: всё – из прежних запасов, и всё – для тяжелобольной мамы; его, ясное дело, обвинили в мошеннических операциях на черном рынке. Напрасно он показывал свое разрешение, и никакой пользы не сослужило ему то, что он всегда соблюдал закон и никогда не нарушил ни единой его буквы, – как он рассказывал. «Вы слышали что-нибудь? Что будет с нами?» – справлялся он регулярно. Опять говорил о своей семье и о своем невезенье.

Сколько он бегал за ним и как радовался этому разрешению – вспоминал он, горько качая головой; конечно же, он и подумать не мог бы, что «вот какой будет конец». На этих пяти минутах все перевернулось. Если бы не это невезенье... Если бы тогда автобус... – слышал я от него. Но что до расправы, он казался, в целом, скорее доволен. «Я остался под конец, и это, наверно, была удача, – рассказывал он, – они уже торопились». Вообще говоря, «могло бы выйти и хуже», – так он заключил и прибавил, что видел у жандармов «случаи и пострашнее», и это была правда, я тоже помнил. Пусть никто не думает, – предупредили в утро проверки жандармы, – будто может скрыть от них свою вину, деньги или золото и ценности. Я тоже, когда подошла моя очередь, должен был выложить перед ними на стол деньги, часы, перочинный нож, все, что у меня было. Мясистый жандарм быстрыми и какими-то умелыми движениями еще обшарил меня всего, от подмышек до коротких штанов. За столом я увидел там и старшего лейтенанта, кавалера со стеком, чье имя, как к тому времени уже выяснилось со слов жандармов, которыми они обменивались между собой, было, собственно говоря, старший лейтенант Сакал. По левую руку от него возвышался жандарм в одной рубашке, с вислыми усами, смахивавший на мясника, я сразу его заметил, он держал в руках какой-то цилиндрический предмет, немного смешной, по сути дела, потому что напоминал скалку поварихи. Старший лейтенант был вполне вежлив: он спросил, есть ли у меня документы, после чего, впрочем, я не заметил никакого знака, никакого проблеска хотя бы, при виде моего удостоверения. Я удивился, но – прежде всего, принимая к сведению жест жандарма с вислыми усами, торопивший отойти от стола, в противном же случае суливший достаточно хорошо понятные последствия, – нашел более разумным не возражать, само собою ясно.

После этого жандармы вывели нас всех из казармы и сперва затолкали в отдельный трамвайный состав, где-то на берегу Дуная перегрузили на пароход, потом, наконец, после пристани, повели пешком, и так, собственно говоря, я попал на кирпичный завод, точнее, – как был информирован уже на месте, – на «Будакаласский кирпичный завод».

Еще много всякого другого услышал я позже в этот же день регистрации насчет дороги. Люди с повязками на рукаве были там повсюду и охотно отвечали на любой вопрос. Раньше и прежде всего искали молодых, предприимчивых, одиноких. Но справлявшихся уверяли, – я слышал, – что для женщин, детей и стариков тоже будет место и что они смогут взять с собой весь багаж. Но самый главный вопрос был вот какой, говорили они: уладим ли мы сами, между собой и по возможности человечно это дело или станем дожидаться, пока жандармы исполнят над нами решение? Они объясняли: транспорты в любом случае следовало заполнить, и жандармы будут производить набор среди нас, если их списки окажутся неполны. Действительно,

большинство, и я в том числе, считало, что первый вариант для нас лучше.

О немцах тоже много различных суждений дошло до моего слуха. Так, многие, главным образом среди пожилых, умудренных опытом, считали, что, какого бы взгляда на евреев немцы ни держались, в основе своей – как, впрочем, известно каждому – это опрятные, честные люди, любящие порядок, точность и труд и ценящие эти же качества в других; в общем и целом, действительно, это примерно отвечает и моим знаниям о них, и, я думал, мне, наверно, может пригодиться у них то, что дома, еще в гимназии, я немного освоил их язык. Но главным образом я мог, наконец, благодаря работе, надеяться на устроенность, занятость, новые впечатления, какую-то забаву; в целом – на образ жизни более осмысленный и больше мне по душе, чем здешний, как они это и обещали и как мы с ребятами себе представляли, между собою, совершенно естественно; и кроме того, как-то приходило в голову, что таким образом я смог бы, пожалуй, и свет повидать. И, сказать по правде, когда я думал о некоторых событиях этих последних дней, например, о жандармерии, а в особенности о своем удостоверении или вообще о справедливости, любовь к родине, если я еще и всматривался в это чувство, не слишком меня удерживала.

Были и более недоверчивые, имевшие иные сведения и считавшие, что знают свойства немцев лучше; и такие, которые спрашивали у тех, как же им поступить, если так; и опять-таки другие, которые, чем пускаться в разногласия, выступали за голос разума, за добрый пример, за достойное поведение в глазах властей – и все эти доводы, возражения, а также и многочисленные слухи, сообщения и сведения неисчерпаемо обсуждали вокруг меня на дворе, сбиваясь в группы побольше и поменьше, то и дело распадающиеся, а потом снова возникающие. Среди прочего, я слышал, поминали и Бога, «Его неисповедимую волю», как сформулировал один из них. Как когда-то дядя Лайош, он тоже говорил о доле, о еврейской доле и таким же образом, как дядя Лайош, держался мнения, что «мы покинули Бога» и в этом объяснение бедствий, которые на нас обрушились. Он потому все-таки привлек немного мое внимание, что был человек крепкой осанки и такого же телосложения, с несколько необычным лицом, которое отличали тонкий, но выгнутый длинной дугою нос, ярко сияющие, с затуманенным взором глаза, красивые седеющие усы и сросшаяся с ними короткая, круглой формы борода. Я видел, что его обступали многие и прислушивались к его словам. Потом я понял, что он священник: услышал, как к нему обращаются «господин раввин». Я даже запомнил отдельные его слова и выражения, как, например, то место, где он разрешает, – «поскольку глаз, который видит, и сердце, которое чувствует», понуждают его к этому разрешению, – чтобы «мы здесь, на земле, могли, пожалуй, ставить под сомнение меру наказания», и тут его голос, обычно звонкий и звучащий далеко, изме-

нил ему и пресекся на минуту, а взор тем временем затуманился больше обычного; не знаю, почему у меня тут появилось странное чувство, будто на самом деле он готовился первоначально сказать что-то другое, а эти его слова каким-то образом удивили и его самого. Тем не менее, он продолжал и «не хотел себя обманывать», – как он признался. Он хорошо знает, и достаточно поглядеть вокруг, «на это место муки, на эти измученные лица», – так он сказал, и эта жалость опять удивила, ведь, в конце-то концов, и он был там же, – чтобы понять, как трудна его задача. Но не в том его цель, чтобы «стяжать души для Предвечного», в этом нет нужды, потому что все наши души – от Него. Однако же он всех нас предупредил: «Не вступайте в тяжбу с Господом», и не потому, главным образом, что это грех, но потому, что этот путь привел бы к «отрицанию возвышенного смысла жизни», а, по его суждению, «с этим отрицанием в сердце» жить невозможно. Такое сердце может быть легким, но только оттого, что пустое, все равно что пустота пустыни; и напротив, путь утешения, трудный, но единственный, – это видеть и в бедствиях бесконечную мудрость Предвечного, потому что, как он продолжал, слово в слово: «настанет миг Его победы, и будут едины в раскаянии, и воззовут к Нему из праха те, кто забыл о Его власти». И если теперь он говорит нам, что надо верить в пришествие Его последнего милосердия («и эта вера да будет нашей опорой и неисчерпаемым источником наших сил в этот час испытаний»), то, вместе с тем, указывает единственный способ, как вообще возможно ещё быть живым. И этот способ он назвал «отрицание отрицания», потому что без надежды «мы пропали» – надежду же можем почерпнуть единственно из веры и той непререкаемой убежденности, что Господь сжалится над нами, и мы сумеем снискать его милость. Рассуждения казались ясными, я это признавал, хотя и обратил внимание, что, в конце концов, он так и не сказал, что, собственно, мы могли бы для этого сделать, и был не в состоянии дать хороший совет тем, кто требовал его мнения: записываться ли им в дорогу или лучше оставаться? Видел я там и невезучего человека, и к тому же несколько раз: он всплывал то в одной группе, то в другой. Однако я заметил, что беспокойный взгляд его маленьких, все еще чуть подтекших кровью глазок тем временем неутомимо рыскал и по другим группам, по другим людям. Изредка я слышал и его голос, когда он останавливал кого-нибудь и, с напряженно выведывающим лицом, ломая пальцы и хрустя суставами, расспрашивал: «Извините, вы тоже едете?», и: «Почему?», и: «Вы думаете, так будет лучше, позвольте спросить?»

Тут как раз пришел записываться – я помню – еще один знакомый по таможне - Эксперт. За эти дни на кирпичном заводе я, впрочем, его несколько раз уже замечал. Хотя одежда на нем была измята, галстук исчез, а лицо покрыла седая щетина, в целом, еще были видны неоспоримые следы прежней представительности. Его приход немедленно привлек внимание, целое

кольцо из возбужденных людей образовалось вокруг, и он едва справлялся с многочисленными вопросами, которыми его осаждали. Я и сам скоро узнал, что он сумел поговорить непосредственно с одним немецким офицером. Это произошло вблизи комендатуры и управления жандармскими и прочими следственными органами, где, правда, я и сам иногда замечал на этих днях немецкую форму, торопливо исчезающую или появляющуюся. Поначалу – так я заключил – он попробовал пообщаться с жандармами. Попытался, – как он сказал, – «связаться со своим предприятием». Но мы узнали, что жандармы «постоянно отказывают» ему в этом праве, хотя «речь идет о военном заводе» и «руководить производством без него невысказано», что признали и власти, хотя свидетельство об этом, точно так же, как и все прочее, у него «изъяли» в жандармерии; за всем этим я ухитрялся следить лишь кое-как, потому что он рассказывал с перебивками, отвечая на множество перекрещивавшихся вопросов. Он казался очень возмущенным. Но отметил, что «не хочет входить в подробности». С другой стороны, поэтому он и обратился к немецкому офицеру. Офицер как раз собирался уходить. По случайности, узнали мы от него, он оказался рядом в это самое время. «Я встал перед ним», – сказал он. Между прочим, тут было несколько свидетелей происшествия, и все вспоминали его храбрость. Но он, пожав плечами, сказал, что без риска ничего не добьешься и что он хотел обязательно поговорить, «в конце концов, с компетентным лицом». «Я инженер, – так он продолжал. – И немецким владею в совершенстве», – прибавил он. Все это он сказал и немецкому офицеру. Известил его, как «его работу сделали здесь невозможной и нравственно, и фактически», и при этом – говоря его словами – «без какой-либо причины и законного основания даже в рамках действующих постановлений». «Но кому от этого польза?» – задал он вопрос немецкому офицеру. И сказал ему то же, что теперь довел до нашего сведения: «Я не хлопочу ни о выгодах, ни о привилегиях. Но я не пустое место, я кое в чем понимаю: я хотел бы работать по своей специальности, это всё, чего я добиваюсь». И тогда он получил от офицера совет записаться добровольцем. Никаких «грандиозных обещаний» он не давал, но заверил, что Германии в ее нынешних усилиях нужны все, а люди с такой подготовкой и такими знаниями – в особенности. Поэтому он так чувствует, – слышали мы от Эксперта, – по этой «беспристрастности» офицера, что тот говорил «корректно и реально» – этими словами он выразился. Даже о «манерах» офицера он сказал особо: в противовес «неотесанности» жандармов, он их изображал «здравыми, сдержанными и со всех точек зрения безупречными». Отвечая на другой вопрос, он признал также, что, «естественно, нет никаких других гарантий», кроме впечатления, которое оставил этот офицер; но сказал, что на сегодняшний день надо довольствоваться этим и он не думает, что ошибся. «Если только, – прибавил он еще, – мое знание людей меня не обманывает»,

но что касается меня, по крайней мере, я ощущал такую возможность, сказать по правде, как почти невероятную.

Когда он после этого отошел, я вдруг увидел невезучего человека, он выпрыгнул из группы других, как куколка на пружине, и пустился наискосок за уходящим, точнее – наперехват. Я еще видя волнение и решимость на его лице, подумал: ну, на этот раз он уже заговорит, не то, что в таможене. Но тут он влопыхался на толстого и рослого человека с повязкой на рукаве, спешившего в ту же сторону со списком и карандашом в руках. Тот резко остановился, попятился, окинул его взглядом с головы до пят, наклонился вперед, спросил что-то – и что было потом, не знаю, потому что Роза как раз позвал: «Наша очередь!»

После этого я помню только, что, когда мы с ребятами уже возвращались к своему месту ночлега, были летние сумерки, на редкость мирные, теплые, небо над холмами уже покраснелось, в этот последний день. С противоположной стороны, по направлению к реке, я видел зеленые крыши курсирующей по расписанию электрички, она катила над кромкой штакетника; я был утомлен, но и немного заинтригован после регистрации, вполне естественно. Ребята тоже в целом казались довольны. Невезучий человек тоже как-то прибил к нам и сообщил отчасти торжественно, но одновременно, с каким-то вопрошающим выражением, что он уже тоже в списке. Мы одобрили, и мне показалось, это было ему приятно, – но уж после я не слишком к нему прислушивался. В этой стороне, на задах кирпичного завода, было спокойнее. Хотя и здесь я видел, как люди совещаются в группах поменьше; кто уже готовился к ночи, кто ужинал, кто присматривал за своим багажом, а кто и просто так сидел, в молчании. Мы приблизились к одной паре. Я много раз их видел и по виду уже хорошо знал. Жена маленькая, с тонкими чертами лица и хрупкого сложения, и муж худой, в очках, кое-где не хватает зубов, без конца суетится, насторожен, лоб постоянно в поту. Теперь он тоже был занят по горло: сидя на корточках, он, при усерднейшей помощи жены, поспешно собирал их пожитки и связывал все «места» в одно, и только этой работой был, по-видимому, озабочен, ничем иным. Но невезучий человек замер у него за спиной, и, кажется, они тоже могли быть знакомы, потому что минуту спустя он спросил: выходит, они тоже решились в дорогу? Тот обернулся всего на одно мгновение и, глядя на него снизу вверх через очки, прищурившись, потев, с лицом, напряженно натянутым даже от вечернего света, отвечал только изумленным вопросом: «Да ведь ехать-то надо, нет?..» И я нашел это замечание в той же мере простым, в какой и справедливым.

На другой день нас отправили уже рано утром. Поезд, поставленный перед воротами, отошел по пути для электричек в ясную летнюю погоду – товарный состав, сплошь кирпично-красные вагоны, закрытые и с закрытыми дверями. В вагоне шестьдесят человек, багаж и еще припасы на дорогу, которые принесли люди с нарукавными повязками: навалом хлеба и боль-

шие банки мясных консервов; на взгляд кирпичного завода, вещи громадной ценности, я не отрицал. Но ведь уже со вчерашнего дня я мог заметить, каким вниманием, уважением, я бы даже сказал, в известной мере почетом вообще окружили нас, отъезжающих, и это изобилие тоже могло быть чем-то вроде вознаграждения, как я ощущал. Там были и жандармы, с винтовками, угрюмые, застегнутые до самого подбородка – вроде того, как если бы охраняли соблазнительные товары, к которым сами не очень-то могли притронуться, – должно быть, из-за властей, повыше их самих, подумал я: из-за немцев. Потом захлопнули за нами задвижную дверь, набили на нее что-то снаружи, потом сигналы, свистки, возня железнодорожников, толчок: поехали. Мы с ребятами хорошо разместились здесь, в передней трети вагона, которую заняли сразу когда садились, с высоко расположенными по обеим сторонам отверстиями вроде окон, аккуратно забранными колючей проволокой. Вскоре в нашем вагоне возник вопрос о воде, а вместе с ним, немедленно, и о продолжительности дороги.

Помимо этого, о дороге в целом я могу сказать немного. Так же, как раньше в таможне, а потом на кирпичном заводе, надо было чем-то заполнить время и в поезде. Здесь, пожалуй, это было все-таки труднее, в той мере, в какой добавляли трудностей обстоятельства. Но, с другой стороны, сознание цели, мысль, что всё, даже если и так медленно, если поезд ползет так утомительно, несмотря на все маневры и простои, – всё, в конце концов, приближает нас к ней, помогали переносить тяготы и трудности. Мы с ребятами не теряли терпения. «Рози» непрерывно подбадривал: дорога длится только до тех пор, пока не приехали. Много дразнили Шелкового: тут была, как утверждали ребята, одна девочка с родителями, Шелковый познакомился с ней еще на кирпичном заводе и ради нее, особенно в начале пути, часто исчезал в глубине вагона, и между ребятами много об этом толковали. Но был тут и Курец: со дна его кармана и тут появлялась, бывало, щепоть чего-то подозрительного и рыхлого, какой-то клочок бумаги и одна спичка, к огоньку которой он приклонял свое лицо с жадностью хищной птицы, иногда даже ночью. От Мошковича (по его лбу непрерывно текли ручьи и скатывались на очки, на приплюснутый нос и толстые губы, ручьи пота и сажи – как, впрочем, и у всех нас, у меня тоже, само собой понятно) и всех остальных я и на третий день слышал веселые словечки, замечания, вялую шутку-другую от Галантерея, хотя язык у него ворочался уже с трудом. Не знаю, каким образом некоторым взрослым удалось выведать, что точная цель нашего путешествия – место под названием «Вальдзее»: когда хотелось пить, когда было жарко, уже само по себе обещание, которое в этом названии заключалось, приносило мне немедленное облегчение. Тем, кто жаловался на тесноту, многие напоминали, и были правы, что следующих за нами будет уже семьдесят. И по существу, если подумать, ведь я был уже и в

большей тесноте: к примеру, у жандармов в конюшне, где задачу, как разместиться, удалось решить только на том условии, что все мы сели на пол, скрестив ноги «по-турецки». В поезде я сидел удобнее. Если хотелось, мог даже подняться, даже сделать шаг-другой, например – к посудине: ее место было в заднем правом углу вагона. Сначала мы вынесли решение, что по возможности будем употреблять ее только для малой нужды. Но по мере того, как проходило время, многим пришлось убедиться, что требования природы все же сильнее наших зарок, и поступать соответственно, как нам, ребятам, так и мужчинам, и кое-кому из женщин, понятное дело, естественно.

В конечном счете, не причинил больших неудобств и жандарм. Сперва он меня немного перепугал: как раз над моей головой, в левом оконном проеме совершенно неожиданно появилось его лицо, и он еще и посветил к нам своим карманным фонариком, это было вечером первого дня, или, скорее, уже ночью, во время еще одной долгой стоянки. Но скоро выяснилось, что он пришел с добрыми намерениями: «Вот что, вы прибыли к венгерской границе!» – только с этой новостью он и явился. И по этому случаю хотел обратиться к нам с призывом, можно сказать, с просьбой. Желание его состояло в том, чтобы если у кого из нас по случайности есть еще деньги или другие ценности, передать всё ему. «Там, куда вы едете, – полагал он, – ценности вам уже не понадобятся». То, что еще, возможно, при нас, немцы так или иначе отберут всё до последнего, – заверял он. «Тогда уж, – так он продолжал в оконном отверстии наверху, – почему бы им лучше не попасть в венгерские руки?» И после краткой паузы, которую я воспринял как торжественную в некотором роде, голосом, вдруг потеплевшим, по-настоящему свойским, как-то, в самом деле, всё предающим забвению, всепрощающего оттенка, добавил еще: «Ведь и вы тоже венгры, в конечном итоге!» Голос откуда-то изнутри вагона, низкий мужской голос признал эти доводы после некоторого шума – наверно, совещались, – но при условии, что от жандарма получим в обмен воду, и тот выразил согласие, хотя, как он сказал, «вопреки запрету». Но потом все равно к соглашению придти не смогли, потому что голос хотел сперва получить в руки воду, а жандарм – вещи, и ни тот, ни другой не уступал. Наконец, жандарм очень рассердился: «Вонючие жида, даже самые святые вопросы вы превращаете в гешефт!» – так он высказался. И, задыхаясь от негодования и отвращения, обратился к нам с пожеланием: «Чтоб вы поиздыхали от жажды!» Позже, кстати, это и случилось – так, по крайней мере, говорили в нашем вагоне. Факт тот, что, начиная со второй половины второго дня, из следующего за нами вагона долетал какой-то звук, и я тоже вынужден был слышать его беспрерывно: это было не очень приятно. Старуха, так говорили в нашем вагоне, больна и, надо полагать, сошла с ума, несомненно, вследствие жажды. Объяснение казалось вероятным. Только теперь я признал правоту тех, кто уже в начале пути определил:

какое счастливое обстоятельство, что в наш вагон не попали ни совсем маленькие, ни очень старые, ни больные. На третий день после полудня старуха, наконец, умолкла. У нас тогда сказали: она умерла, потому что не могла получить воды. Но мы же знали: она была больная и старая, и, таким образом, все, и я тоже, нашли этот случай, в конечном счете, понятным.

Ожидание не способствует радости – таков, по крайней мере, был мой опыт, когда мы, наконец, действительно прибыли. Возможно, я устал, но возможно, само нетерпение, с каким я ждал цели, заставило меня под конец несколько забыть про эту мысль: скорее, я оставался безучастен в некотором роде. Все событие я проморгал немного. Помню, как вдруг проснулся от безумного визга сирен, вероятно, где-то поблизости; слабый свет, просачивавшийся снаружи, означал зарю уже четвертого дня. Немного болел низ позвоночника, там, где он соприкасался с полом вагона. Поезд стоял, как бывало часто и раньше, а при воздушных налетах – всегда. Окна были заняты, тоже как всегда в этом случае. Каждый думал, он что-то видит, и так оно и было всегда в эти дни. Спустя какое-то время сумел добраться до окна и я: не увидел ничего. Заря снаружи была свежая и душистая; над широкими полями серый туман, и вдруг, словно бы сигнал трубы, острый, тонкий, красный луч появился откуда-то за нами, и я понял: я видел восход. Это было красиво и в целом интересно: дома в это время я еще обыкновенно спал. Я заметил еще какое-то строение, захолустную станцию или, может быть, предвестника вокзала побольше, прямо перед собой, слева. Оно было малюсенькое, серое и еще совсем безлюдное, с закрытыми оконцами и смешной крутой крышей, какие я видел уже вчера в этих краях; у меня на глазах, в рассветном тумане, оно сперва отвердело в настоящий контур, потом из серого стало лиловым, и одновременно окна блеснули рыжим – как раз на них упали первые солнечные лучи. Другие тоже обратили внимание, и я сам рассказал любопытствующим у нас за спиной. Они спросили, не вижу ли я на строении названия местности. Я видел в свете начинающегося дня даже два слова, на узкой стороне строения, повернутой перпендикулярно к ходу нашего поезда, на поверхности под крышей: «Аушвиц-Биркенау» – это я прочитал, написанное остроконечными, замысловатыми буквами немцев, соединенное их двойным волнистым дефисом. Что до меня, напрасно я пробовал рыться в своих географических познаниях, и другие оказались осведомлены не больше моего. Потом я сел, за мною уже были желающие занять мое место; и так как было еще рано и я не выспался, то вскоре я уснул опять.

В следующий раз меня разбудили движение и беспокойство. Снаружи солнце сияло теперь уже вовсю. Поезд снова двигался. Я спросил у ребят, где мы, и они сказали, что все еще там же, только что двинулись дальше; выходит, на этот раз меня разбудил толчок. Но, несомненно, прибавили они, видны заводы, что-то похожее на поселки. Спустя минуту те, кто был у окна, объя-

вили, да я и сам мог заметить по беглой игре света, что мы проскользнули под аркою чего-то вроде ворот. Еще минутою спустя поезд остановился, и тогда, в ужасном волнении, они известили, что видят станцию, солдат, людей. Многие начали собираться, застегиваться, некоторые, особенно женщины, наспех приводить себя в порядок, прихорашиваться, причесываться. А снаружи доносились приближающийся стук, лязг дверей, смешанный гомон вываливавшихся из поезда путников, и теперь уже нельзя было не признать: сомнений нет, мы, действительно, у цели. Я обрадовался, вполне естественно, но – чувствовал – не так, как радовался бы, скажем, вчера или, еще лучше, позавчера. Потом инструмент грохнул и по двери нашего вагона, и какой-то человек, или, вернее, какие-то люди откатали тяжелую дверь.

Сперва я услышал их голоса. Они говорили по-немецки или на каком-то очень похожем языке, так он звучал, и все разом. Насколько я мог понять, они хотели, чтобы мы сошли. Вместо этого, однако, казалось, они сами втискиваются к нам наверх; пока я еще ничего не видел. Но уже пошел слух, что чемоданы и узлы остаются на месте. Позже – объясняли, переводили и передавали вокруг нас из уст в уста – каждый, само собой разумеется, получит обратно свое имущество; сначала, однако, вещи ждет дезинфекция, а нас баня: и правда, самое время, я и сам находил. Потом они закопошились поближе ко мне, и я тоже увидел, наконец, здешних людей. Я был очень удивлен, ведь это, в конце концов, первый раз в жизни я видел настоящих каторжников – по крайней мере, так близко – в полосатой одежде преступников, с бритыми головами, в круглых шапках. Я сразу же чуть попятился, естественно. Некоторые отвечали на вопросы людей, другие оглядывали вагоны; еще другие, с умением опытных носильщиков, уже начали выгружать багаж, и всё с каким-то странным, лисьим проворством. На груди у каждого, кроме обычного номера заключенного, я видел еще желтый треугольник; и хотя значение этого цвета было, естественно, не слишком трудно разгадать, он как-то вдруг резанул мне глаза; во время пути я подзабыл обо всем этом деле немного. Их лица тоже не внушали особого доверия: оттопыренные уши, торчащие вперед носы, запавшие, маленькие, блестящие хитростью глазки. В самом деле, евреи, с головы до пят. Я нашел их подозрительными и, в целом, чужими. Когда они приметили нас, ребят, то пришли в большое волнение, так мне показалось. Тут же принялись шептаться, быстро и вроде бы затравленно, и тогда я сделал то удивительное открытие, что у евреев, видимо, есть не только их древнееврейский язык, как я думал до тех пор: «Редст ди йиддиш, редс ди йиддиш, редс ди йиддиш?»¹ – медленно, но я разобрал, что они спрашивают. И ребята, и я отвечали: «Nein»². Я видел, что они были не очень

¹ Редс ди йиддиш? (идиш) – Говоришь ли ты на идише?

² Nein (немецкий) – Нет.

довольны. Тогда – на немецкой основе я их легко понял – они вдруг все желают узнать, сколько нам лет. Мы сказали: «vierzehn», «fünfzehn»¹, сколько кому было. Они тут же горячо запротестовали, руками, головой, всем телом. «Зешцайн»², – шептали они со всех сторон, – зешцайн». Я удивился и спросил одного из них: «Warum?» – «Willst di arbeiten?»³ – спросил он на это, целиком зарываясь как бы пустым взором своих глаз в мои. Я сказал ему: «Natürlich»⁴, ведь в конечном-то счете, если подумать, я приехал работать. В ответ он не только схватил мою руку своей, желтой, костлявой и жесткой, но и сильно потряс, чтобы сказать: ну, если так, «зешцайн... ферштайт ди?»⁵.. зешцайн!..» Я видел, он сердится; мало того, что дело было для него очень важным, как я понимал; вдобавок, мы с ребятами еще раньше наспех его обсудили, и я согласился, хотя и полушутливо: ладно, пусть мне будет шестнадцать. Далее, пусть не будет среди нас – что бы они ни говорили и совершенно независимо от истинного положения – братьев и сестер, и в особенности – к моему большому удивлению – близнецов; но прежде всего: «Йедер арбайтен, ништ ка миде, ништ ка кренк»⁶ – вот что я усвоил от них за те две, а может, и не полные две минуты, пока добрался в толчее со своего места до дверей вагона и там, наконец, одним широким прыжком выскочил на дневной свет и на свежий воздух.

Первым делом я увидел огромное пространство, похожее на равнину. Сразу я был даже несколько ослеплен этим неожиданным простором, одинаковым белым, режущим глаза блистанием неба и этой равнины. Но времени толком осмотреться у меня не было: вокруг была толча, гомон, обрывки слов и событий, распоряжения. С женщинами – я услышал – приходится теперь распрощаться ненадолго, ведь, в конце концов, мы не можем мыться вместе с ними под одной крышей; старых, недомогающих, матерей с малыми детьми, а также вконец изнуренных дорогой ждут чуть поодаль автомашины. Все это довели до нашего сведения опять-таки заключенные, но другие. Но я заметил, что здесь, снаружи, уже за всем следят немецкие солдаты в зеленых фуражках, с зелеными воротниками, красноречивыми жестами показывая направление: я даже почувствовал некоторое облегчение при виде их, потому что, аккуратные и ухоженные, они одни в этом полном хаосе производили впечатление устойчивости и излучали спокойствие. Многие взрослые среди нас говорили, и я был согласен с их предостережениями: постарайтесь играть им на руку, сократим вопросы и прощания, будем благоразумны, не отрекомендуем себя немцам случайным сбродом. Что было

¹ Vierzehn, fünfzehn (немецкий) – четырнадцать, пятнадцать.

² Зешцайн (идиш) – Шестнадцать.

³ Warum? – Willst di arbeiten? (идиш, немецкий) – Почему? – Хочешь работать?

⁴ Natürlich (немецкий) – конечно.

⁵ Зешцайн... ферштайт ди?.. (идиш) – Шестнадцать... ты понял?..

⁶ Йедер арбайтен; ништ ка миде, ништ ка кренк (немецкий, идиш) – Каждый работает; нет ни усталых, ни больных.

дальше, мне было бы трудно дать отчет: какой-то кашеобразный, бурлящий, вихревой поток меня подхватил, захлестнул, уволок. За мною женский голос непрерывно кричал про какую-то «сумочку», оповещая кого-то, что сумочка остается при ней. Передо мной путалась в ногах растрепанная старуха, и я слышал малорослого молодого человека, который объяснял: «Слушайте, мама, ведь мы все равно скоро встретимся». «Nicht war, Herr Offizier, – обратился он к немецкому солдату с доверительной улыбкой, вроде той, какими обмениваются взрослые сообщники, – *twir werden uns bald wieder...*¹» И уже мое внимание было отвлечено неистовым визгом мальчика, чумазого, но с выющимися локонами и одетого, как манекен в витрине, странными судорожными движениями он старался вырваться из рук белокурой женщины, очевидно, его матери. «Я хочу с папочкой! Я хочу с папочкой!» – выкрикивал, ревел, вопил он, смешно стуча и топоча обутыми в белые туфли ногами по белому гравию, по белой пыли. Между тем я старался и от ребят не отставать, не упускать призывов, сигналов «Рози», которые он подавал время от времени, – между тем как здоровенная баба в цветастом летнем платье без рукавов сокрушала всех на своем пути, и меня заодно, пробиваясь в том направлении, где якобы стояли автомобили. Потом маленький старичок в черной шляпе и с черным галстуком какое-то время вертелся, крутился, толкался передо мной, озираясь испытующе и выкрикивая часто: «Илонка! Илонка!» И еще: высокий, скуластый мужчина и женщина с длинными черными волосами слиплись лицами, губами, всем телом и вызывали у каждого беглую досаду, пока, наконец, непрерывная осада лавины не отклеила женщину – или, скорее, еще девушку, – не унесла ее и не проглотила, хотя, удаляясь, я еще видел ее раз-другой, она силилась приподняться и размашистыми движениями подавала оттуда знаки прощания.

Все эти картины, голоса, события смущали меня, голова начинала немного кружиться в этом вихре, смешавшем всё в единое, странное, пестрое, я бы сказал, дурашливое впечатление; может быть, поэтому я оказался способен уделить меньше внимания делам, более важным. Так, например, мне трудно было бы сказать: мы сами, солдаты, заключенные или все вместе достигли того, что вокруг меня образовалась одна длинная колонна, теперь уже строго мужская, выстроенная строго по порядку, по пяти в ряд, которая медленно, но, наконец-то, верно подвигалась, вместе со мною, шаг за шагом вперед. Там, впереди – подтвердили еще раз – баня, но до того – я узнал – всех нас ожидает медицинский осмотр. Упомянули, да и самому было нетрудно понять, естественно: речь идет о своего рода наборе, о проверке на годность, с точки зрения работы, ясное дело.

Пока что я мог перевести дух. Впереди, позади, по сторонам были свои ребята, мы перекликались, обменивались знаками:

¹ Nicht war, Herr Offizier, *twir werden uns bald wieder...* (немецкий) – Не правда ли, господин офицер, мы скоро снова будем вместе...

мы здесь. Было жарко. Я мог посмотреть вокруг, попробовать немного разобраться, где это мы, собственно. Станция была опрятная. Под ногами у нас, как обычно в таких местах, щебень, чуть дальше – полоса газона с желтыми цветами, теряющаяся в бесконечности безукоризненно белая асфальтовая дорога. Я заметил также, что эту дорогу от всего необозримого пространства, которое начинается за нею, отделяет ряд столбов с одинаковым загибом, а между ними сверкающая металлом колючая проволока. Я легко мог догадаться: стало быть, в той стороне, наверно, должны жить каторжники. Это в первый раз я ими всерьез заинтересовался – возможно, потому, что в первый раз нашлось для этого время, – и в первый раз задал себе вопрос, в чем их вина.

Размеры, вся протяженность этой равнины опять поразили меня, когда я озирался кругом. Однако – посреди множества людей и в этом слепящем свете – мне не удавалось составить понастоящему точного ее образа: насилу смог я только различить вдалеке какие-то прижавшиеся к земле подобия строений, там и сям несколько вышек вроде охотничьих засад, углы, башни, трубы. Вокруг меня ребята и взрослые показывали еще на какой-то предмет сверху – продолговатый, неподвижный, жестко сияющий, вонзившийся в белые испарения неба, хотя и безоблачного, но все же, скорее, палевого оттенка. И действительно, это был дирижабль. Объяснения поблизости от меня, в общем, сходились на противовоздушной обороне: в самом деле, тогда опять пришел мне на ум рев сирены на заре. Но на немецких солдатах, которые нас окружали, я не смог разглядеть и следа замешательства или страха. Я вспомнил панику, которая поднималась в таких случаях у нас, и это презрительное спокойствие, эта неуязвимость вдруг позволили мне понять точнее особого рода уважение, с каким у нас вообще говорили о немцах. Только теперь мне кинулись в глаза две черточки в виде молнии на их воротниках. Так я мог установить, что они, по всей очевидности, должны принадлежать к знаменитым частям СС, о которых я уже был наслышан и дома. Могу заявить, что не нашел их угрожающими ни капли: они неторопливо расхаживали взад и вперед, патрулировали нашу колонну по всей ее длине, отвечали на вопросы, кивали головой, некоторых дружески похлопывали по спине или по плечу.

В эти бездельные минуты ожидания я сделал еще одно наблюдение. Дома также я много раз уже видел немецких военных, вполне естественно. Но там они всегда спешили, лица замкнутые, занятые, одеты всегда безупречно. Здесь они двигались по-другому, как-то более небрежно, несколько более по-домашнему – это и было мое наблюдение. Я мог отметить даже мелкие различия: фуражки мягче или потверже, сапоги блестят или не очень, форма для работы или парадная. У каждого на боку оружие, и это естественно, ведь они солдаты, в конце концов. Но в руках у многих я увидел, кроме того, еще и трость, такую обыч-

новенную, с загнутым концом палку для прогулок, и это меня немного удивило, потому что походка у всех была без малейшего изъяна, всё мужчины в расцвете сил. Но потом я мог присмотреться получше, поближе. Я заметил, как один из них, впереди меня и повернутый ко мне спиной наполовину, вдруг прижал палку к бедрам позади, горизонтально, и, держа ее за оба конца, принялся скучающим движением сгибать. И тогда только я увидел, что она не деревянная, а кожаная, и что это не трость, а кнут. Но я не видел примера, чтобы к нему прибегали, хотя чувство было немного странное, а впрочем, в конце концов, вокруг было много каторжников, надо признать.

Между тем, я слышал, но почти не следил за этими призывами, как один раз, помню, вызывали слесарей-механиков, в другой – близнецов, лиц с телесными пороками и даже, при известном веселье, карликов, если таковые найдутся среди нас, потом искали детей, потому что – прошел слух – их ждет особое обращение, учеба вместо работы, всевозможные поблажки. Несколько взрослых в ряду убеждали нас не упускать случая. Но у меня на уме были еще наставления заключенных в вагоне и вообще я больше хотел, естественно, работать, чем жить на детский лад.

Но тем временем мы уже продвинулись далеко вперед. Я обратил внимание, что солдат и заключенных вокруг нас вдруг сделалось намного больше. В какой-то момент наши ряды по пяти перестроились в колонну по одному. Тогда же нам приказали снять куртки, пальто, рубашки, чтобы подойти к врачу голыми по пояс. Темп тоже, почувствовал я, ускоряется. Одновременно я увидел впереди две отдельные группы. Справа – побольше и очень смешанная по составу, слева – поменьше и как-то привлекательнее, где, наряду с другими, я заметил несколько наших ребят. Эти последние сразу казались – по крайней мере, на мой взгляд – годными. Тем временем, и все быстрее, я подвигался в том направлении, куда и откуда суматошно двигались человеческие фигуры, там ждала неподвижная точка, безукоризненная форма, высокая, дугообразная офицерская фуражка; потом я уже дивился только тому, как скоро подошла моя очередь.

Сам осмотр, впрочем, занял не больше двух-трех секунд (примерно). Прямо передо мной был Мошкович – ему врач немедленно, движеньем одного пальца указал в другую сторону. Я еще слышал, как он пытался объяснить: «Arbeiten... Sechzehn...» – но взявшаяся невесть откуда рука схватила его, и вот уже я заступил его место. Меня, я видел, врач оглядел основательнее, взвешивающим, серьезным и внимательным взглядом. Я, со своей стороны, вытянулся в струнку, чтобы показать ему свою грудную клетку, и даже – помню – улыбнулся слегка, так, после Мошкови́ча. К врачу я тут же почувствовал доверие, потому что у него была очень приятная внешность, симпатичное, продолговатое, гладко выбритое лицо, губы скорее тонкие, глаза голубые или серые, во всяком случае – светлые, с добродушным взглядом. Я мог хорошо его рассмотреть, когда он, прижав свои руки в пер-

чатках к моему лицу с обеих сторон, слегка оттянул вниз кожу под обоими глазами – таким врачебным, знакомым еще по дому движением. В тот же момент тихим, но очень ясным голосом, обнаруживающим культурного человека, он спросил: «Wie viel Jahre alt bist du? ¹» – но как бы совсем невзначай. Я ответил ему: «Sechzehn». Он слегка кивнул, но как будто бы только удачному ответу, а не потому, что это правда – тогда, во всяком случае, в тот миг, у меня было именно такое впечатление. Еще одно наблюдение, скорее только беглое замечание, возможно и ошибочное, но казалось, будто он доволен, будто испытывает какое-то облегчение; я так чувствовал, что, наверно, понравился ему. Одна рука еще оставалась на моем лице, а другая указывала направление, по другую сторону дороги и отсылала меня к годным. Ребята торжествующе, смеясь от радости, уже ждали. И при виде этих сияющих лиц я понял, что действительно отличает нашу группу от той, напротив: удача, если я чувствовал верно.

Тут я натянул на себя рубашку, обменялся несколькими словами с ребятами и снова стал ждать. Все, что происходило через дорогу, я видел отсюда уже под новым углом зрения. Людская лавина катилась непрерывно, уплотнялась в теснине, ускорялась, потом, перед врачом, разделялась надвое. Ребята тоже прибывали один за другим, и теперь уж и я принимал участие во встречах, естественно. Поодаль я заметил еще одну колонну: женщин. Вокруг них тоже были солдаты, заключенные, перед ними тоже был врач, там тоже все происходило в точности так же, кроме того, что им не надо было раздеваться до пояса, и это тоже можно было понять, если подумать, конечно. Все двигалось, все действовало, каждый на своем месте и выполняет свое задание, точно, благодушно, без заминки. На многих лицах я видел улыбку, то более робкую, то более самоуверенную, но далекую от сомнений или предчувствия исхода – в основном одинаковую, приблизительно такую же, какую только что ощущал и на собственном лице. С этой самой улыбкой спросила о чем-то солдата брюнетка с круглыми серьгами в ушах и в белом плаще, который она стягивала на груди, отсюда она казалась очень красивой, и, так же улыбаясь, приблизился к врачу мужчина с привлекательным лицом и черными волосами: он был голен. В работе врача я тоже быстро разобрался. Подходит старый – ясно: на другую сторону. Помоложе – сюда, к нам. Еще один, пузатый, но при этом упорно втягивает пузо: попусту – но нет, врач все же направляет его сюда, и я не очень доволен, потому что, со своей стороны, нахожу его скорее немного пожилым. Мне пришлось установить еще одно обстоятельство: подавляющее большинство мужчин небриты и не производят хорошего впечатления. Так что я был вынужден, глядя глазами врача, подсчитывать, сколько среди нас старых или непригодных по другим причинам. Один слишком худой, другой слишком толстый, третьего я определил в

¹ Wie viel Jahre alt bist du? (немецкий) - Сколько тебе лет?

нервнобольные на том основании, что у него дергаются глаза и беспрерывно кривятся рот и нос, как у кролика, который что-то вынюхивает, – впрочем, и он, зная свои обязанности, улыбался с полной готовностью, странным образом поспешая вперевалку по направлению к негодным. Еще один – куртка, рубаха уже на руке, подтяжки спущены на бедра, и хорошо видна дряблая кожа на руках и на груди, кое-где уже начинающая обвисать. Но когда он остановился перед врачом – тот быстро указал ему его место между негодными, естественно, – какое-то особое выражение на этом заросшем бороною лице, улыбка на этих ссохшихся, запекшихся губах, хотя и та же самая и все-таки более знакомая, расшевелили, некоторым образом, мою память: будто он что-то еще хотел сказать врачу, так мне казалось. А тот перенес уже свое внимание на следующего, и тогда некая рука сдернула его с дороги, вероятно, та же, что раньше Мошковица. Он сделал движение, обернулся назад с выражением озадаченности и негодования на лице: так оно и есть, это был Эксперт, я не ошибся.

Потом мы ждали еще минуту-другую. Перед врачом было еще много народу, а здесь, в нашей группе, набралось, по моим оценкам, примерно человек сорок ребят и взрослых, когда крикнули: идем мыться. К нам подошел солдат, второпях я даже не увидел, откуда он взялся, низенький, скорее уже пожилой, мирный с виду – рядовой солдат, как мне показалось. «Los, ge' ma' vorne¹», – обратился он к нам, или как-то вроде этого, не совсем по правилам школьных учебников, как я отметил. Моим ушам, однако, эти звуки были приятны, потому что, вместе с остальными ребятами, я начинал уже немного томиться, сказать по правде, не столько по мылу, сколько, в самую первую очередь, по воде, конечно. Дорога вела оплетенными проволокой воротами внутрь, куда-то по другую сторону ограды, где, по-видимому, могла находиться и баня: мы шли, растянувшись, не торопясь, болтая и поглядывая вокруг, а за нами безмолвно и безучастно трусил солдат. Под ногами у нас снова широкое, безупречно белое шоссе, перед нами – равнина во всей своей несколько утомительной перспективе, в воздухе, уже повсюду дрожащем и колышущемся от зноя. Я еще опасался: не будет ли слишком далеко, но, как выяснилось после, баня была от станции всего в десяти минутах ходу. То, что я увидел вокруг на этом коротком пути, в целом мне тоже понравилось. Особенно обрадовало футбольное поле сразу же справа от дороги, на большой лужайке. Зеленый газон, необходимые для игры белые ворота, наведенные белым линии – все было здесь манящее, свежее, в хороших руках, в величайшем порядке. Тут же условились с ребятами: после работы будем здесь играть в футбол. Еще большую радость доставило то, что мы увидели несколькими шагами дальше, на левой обочине: это был водопроводный кран, безо всякого сомнения, такая придорожная колонка. Табличка рядом пыталась красными бук-

¹ Los, ge' ma' vorne (немецкий, разговорный) – давай, проходи-ка вперед.

вами предостеречь: «Кайн Тринквассер» – но в эту минуту она не могла бы удержать ни одного из нас, конечно. Солдат был очень терпелив, и я могу сказать, что давно вода не доставляла мне такого наслаждения, хотя впоследствии я ощутил во рту какой-то особый химический привкус, колющий и тошнотворный. Идя дальше, мы увидели дома, те же самые, что я заметил еще со станции. Действительно, вблизи они тоже выглядели странно – длинные, приземистые постройки неопределенного цвета, и во всю длину крыши какое-то выступающее над нею устройство, то ли для вентиляции, то ли для освещения. Каждое из них окружала садовая дорожка красного гравия, от шоссе все отделялись ухоженным газоном, а между ними, на свою потеху и удивление, я увидел грядки, капустные грядки; на клумбах росли разноцветные цветы. Все было очень чисто, опрятно и красиво – в самом деле; приходилось согласиться, мы были правы на кирпичном заводе. Только одного чего-то не доставало, и я догадался, чего: даже следа движения, жизни во всей округе не видно. Но ведь, подумал я, это может быть естественно, ведь для местных обитателей это, в конце концов, рабочее время.

В бане тоже (повернув налево и после еще одной изгороди из колючей проволоки и еще одних оплетенных проволокой ворот, мы очутились в каком-то дворе) я мог увидеть, что нас принимают, хорошо подготовившись, всё объясняли загодя, охотно и хорошо. Сперва мы очутились в помещении вроде прихожей, с каменным полом. Там было уже много людей, в которых я смог узнать наших попутчиков из поезда. Уже из этого я заключил, что работа, надо полагать, идет неустанно и здесь, со станции, по видимому, непрерывно приводят в баню группы людей. Тут опять-таки был в помощь нам заключенный – этого каторжника я должен был найти исключительно элегантно. Правда, и он носил полосатый костюм заключенного, но с подложенными плечами и приталенный, я бы смело сказал: выкроенный и отутюженный по лучшей, почти уже вызывающей моде, и, сверх того, чистые и хорошо причесанные, блестящие черным волосы, как у любого из нас, свободных людей. Он принял нас стоя, в противоположном конце зала, по правую руку от военного, который, в свою очередь, сидел за маленьким столиком. Военный был маленького роста, благодушной наружности и очень толстый, живот начинался прямо у шеи, подбородок мелкими волнами кругом спускался прямо на воротник, на морщинистом, желтом, безбородом лице смешные глаза-щелочки: он немного напоминал тех карликов, которых искали среди нас на станции. Зато на голове у него была внушительная фуражка, на столе новенький, сияющий портфель, а рядом с ним сплетенная из белой кожи плетка – надо было признать, превосходной работы – явно его личное достояние. Я мог не спеша рассматривать все это в промежутки между плечами и головами, пока мы, вновь прибывшие, старались как-то тоже угнездиться, пристроиться в этом уже битком набитом месте. В это же самое время тот заключенный юркнул в

дверь напротив, потом поспешно вернулся, чтобы сообщить что-то военному, очень конфиденциально, склонившись почти к самому его уху. Военный, казалось, остался доволен, и сразу сделавшись слышен его тонкий, пронзительный голос с одышкой, похожий скорее на детский или, может быть, на женский, когда он произнес несколько фраз в ответ. Потом он выпрямился, поднял вверх руку, и тут заключенный вдруг потребовал от нас «тишины и внимания» – тогда впервые в жизни я испытал и на собственном опыте то, что так часто описывают, а именно: что значит эта нежданная радость – домашний вкус венгерского слова за границей; выходит, таким образом, что я видел перед собой соотечественника. Тут же я и пожалел его немного, ведь я не мог не видеть, он еще совсем молодой, толковый, и, вопреки его положению каторжника, мне приходилось признать: это мужчина с обаянием, и мне очень бы хотелось узнать у него, откуда он, как же и за какой проступок попал в заключение; но пока он только сообщил нам, что намерен объяснить нам наши задачи, познакомить с требованиями, которые предъявляет к нам «Герр Обершарфюрер». Если и мы приложим усилия, как от нас того и ожидают, – прибавил он, – тогда все будет проведено «быстро и гладко», что, главным образом, в наших интересах, но он заверил, что попутно того же желает и «Герр Обер» – как впредь и называл его, немного отступая от официальной формы, короче и, как я чувствую, более интимно, что ли.

Потом мы услышали от него несколько простых, в такой ситуации вполне очевидных вещей, а военный тем временем живо кивал головой, одобряя, и вроде подтверждая нам достоверность его слов, – в конце концов, это только заключенный, – лицо его было дружелюбно, глаза поворачивались то в нашу сторону, то в сторону говорившего. Мы узнали, например, что в следующем помещении, то есть в «раздевалке», мы должны будем раздеться и повесить всю свою одежду по порядку на вешалки, которые там есть. На вешалках мы увидим и номера. Пока мы моемся, нашу одежду продезинфицируют. Нет, наверно, надобности объяснять, – считал он и был, по-моему, прав, – почему так важно, чтобы каждый запомнил номер своей вешалки. Мне нетрудно было признать и пользу «рекомендации» связывать обувь попарно, «во избежание всякой случайной путаницы», как он прибавил. Потом нас обслужат парикмахеры, обещал он, и, наконец, придет очередь самого мытья.

Но сперва – так он продолжал – пусть выйдут вперед те, у кого еще есть при себе деньги, золото, драгоценные камни или любые другие ценности и сдадут их «на хранение Герр Оберу», потому что это последняя их возможность «еще безнаказанно избавиться» от этих вещей. Как он объяснил, торговля, любая купля-продажа и, следовательно, владение ценностями и попытка их пронести «строжайше запрещены в лагере» – он употребил это новое для меня, но, исходя из немецкого, сразу же хорошо понятное слово. После мытья каждый пройдет «рентгеновское

просвечивание» с помощью «специально для этой цели предназначенной установки» – узнали мы от него, – и военный выразительным кивком, с очевидным благодушием и недвусмысленным одобрением особо подчеркнул слово «рентген», которое, по всей очевидности, мог понять и он. Мне еще пришло в голову: стало быть, тот жандарм, кажется, имел все-таки точные сведения. От себя заключенный мог еще присовокупить, что, как он сказал, попытка контрабанды, виновный в которой рисковал «самым тяжким наказанием», а мы все – добрым именем в глазах немецких властей, была, в его глазах, «бесцельна и бессмысленна». Вне всяких сомнений, хотя этот вопрос меня никак не касался, я находил, что он, наверно, прав. Последовала коротенькая пауза, к концу, по-моему, уже несколько стеснительная. Потом – движение, из-за спины вперед: кто-то просил пропустить, и вот человек вышел, положил что-то на стол, потом поспешно отступил снова назад. Военный что-то ему сказал: это звучало как похвала. Вещицу – крохотную, я не очень мог разглядеть ее со своего места – он тут же опустил в ящик стола, предварительно окинув беглым взглядом, как бы оценивая. Мне показалось, он был доволен. Потом снова перерыв, но короче предыдущего, и снова движение, и снова еще один человек, – и потом уже без перерывов, всё смелее, всё дружнее выходили, приближались один за другим к столу и клали на него, каждый, на кусочек свободного места между плеткой и портфелем, блестящий, стучащий, звенящий или шуршащий предмет. Все это – не считая звука шагов и предметов, да еще, время от времени, писклявых, коротеньких, звучащих всякий раз благодушно и ободрительно замечаний военного – происходило в абсолютнейшем молчании. Я заметил еще, что с каждой вещью военный проделывал в точности одно и то же. Так, если кто клал перед ним два предмета сразу, он оглядывал их порознь – иногда сопровождая одобрительным кивком – и сперва укладывал на место один, вытягивая специально для этого ящик, потом задвигал его обратно, большей частью животом, чтобы перейти к следующему предмету и повторить с ним в точности то же самое. Я был очень изумлен, как много всего еще вышло наружу и после жандармов. Но удивила немного и эта поспешность, этот внезапный пыл после того, как люди уже приняли до сих пор столько хлопот и забот, сохраняя эти вещицы. Может быть, и поэтому я видел у отходивших от стола почти на всех лицах одно и то же выражение, слегка смущенное, слегка торжественное, но в целом явно облегченное каким-то образом. Но ведь, в конечном итоге, мы здесь стоим на пороге новой жизни, и я признавал, что это совсем другое положение, естественно, чем было в жандармерии. Все это, вся сцена могла занять приблизительно три или четыре минуты, если быть точным.

О том, что было дальше, много рассказать не могу: в основном все было так, как указывал заключенный. Открылась дверь напротив, и мы вошли в помещение, уставленное длинными скамейками, а над ними, действительно, были вешалки. Тут же на-

шел я и номер и много раз повторил его про себя, чтобы как-нибудь не забыть. И туфли связал так, как советовал заключенный. Дальше следовал большой, с низким потолком зал, очень ярко освещенный лампами: кругом, вдоль стен уже всюду ходили бритвы, трещали электрические машинки для стрижки, хлопотали парикмахеры – все сплошь каторжники. Я попал к одному справа. Он велел мне сесть – должно быть, потому, что его языка я не понял, – на табуретку, которая стояла перед ним. И вот он уже прижал машинку к моей шее, вот уже остриг мне волосы – все до последнего, совсем наголо. Потом взял бритву: встань, подними руки – показал он – и что-то выскреб бритвою у меня под мышками. Потом сам сел на табуретку передо мной. В мгновение ока он ухватился за самый чувствительный мой орган и бритвой соскоблил всю крону, все волоски, всю мою небогатую мужскую гордость, которая не так уж давно и проросла. Нелепость, возможно, но об этой потере я пожалел больше, чем о волосах. Я был и удивлен, и немного раздосадован – но признал, что было бы смешно придирается к такой, по сути дела, мелочи. А к тому же я убедился, что все остальные, и ребята тоже, в подобном виде, и мы сразу начали приставать к Шелковому: «Ну, как теперь будет с девочками?»

Но позвали дальше: мыться. В дверях заключенный всунул в руку «Рози», который был как раз передо мной, коричневый кусочек мыла и сказал, и даже показал: это на троих. В мыльне под ногами была скользкая деревянная решетка, а над головой сеть труб с массой душевых головок. Внутри было уже много голых людей, не очень приятно пахнувших, конечно. Еще мне показалось любопытным, что вода потекла сама по себе, совершенно неожиданно, после того как поначалу все, и я в том числе, напрасно искали кран. Вода текла не слишком обильно, но ее температуру, освежающе прохладную в эту жару, я нашел как раз по своему вкусу. Прежде всего, я напился вдосталь и опять почувствовал тот же привкус, что и прежде, у колонки; только после этого я насладился водою и на своей коже. Вокруг меня всевозможные веселые звуки – шлепают, фыркают, отдуваются: безмятежная, беззаботная минута. Мы с ребятами дразнили друг друга нашими лысыми головами. Насчет мыла выяснилось: увы, оно не очень-то мылится, зато в нем много острых крупинок, оставляющих царапины. Несмотря на это, один толстенький человек здесь, поблизости от меня, – заросший по спине и по груди черной курчавой шерстью, которую, по-видимому, ему оставили, – долго натирал себя им торжественными, я бы сказал, ритуальными движениями. Чего-то, на мой взгляд, еще в нем недоставало, – помимо волос, естественно. Только тут я заметил, что кожа на подбородке и вокруг рта, действительно, белее, чем в других местах, и усеяна свежими, красными порезами. Это был раввин с кирпичного завода, я его узнал: значит, и он приехал. Без бороды он уже не казался мне таким необычайным: я видел перед собою обыкновенного, слегка долгоносого, собственно говоря, вполне за-

урядной наружности человека. Он как раз еще намыливал себе ноги, когда вода – так же неожиданно, как полилась, – теперь вдруг иссякла: он удивленно поглядел вверх, потом сразу снова вниз, перед собой, но с какою-то покорностью, словно принимая к сведению, понимая и, в то же время, как бы склоняясь перед волею верховного распоряжения.

Впрочем, я и сам не мог поступить иначе: нас уже вели, толкали, теснили наружу. Мы очутились в плохо освещенном помещении, где заключенный сунул каждому в руку носовой платок – нет, оказалось, полотенце, – давая знак: используя, вернуть. Другой заключенный, движением совершенно неожиданным, необычайно быстрым и ловким, смазал мне голову, подмышки и то особо чувствительное место плоскою кистью, смоченной в какой-то жидкости подозрительного цвета, вызывающей зуд и, судя по зловонию, дезинфицирующей. Потом был коридор с двумя освещенными окнами с правой стороны и, наконец, третье помещение, без дверей; в каждом стоял заключенный, раздававший одежду. Я, как и все, получил рубаху, которая, наверно, когда-то была синей в белую полоску, из времен моего дедушки, без пуговиц и воротничка, кальсоны, которые подходили разве что старику, с разрезами на лодыжках и с двумя настоящими кальсонными тесемками, изношенный костюм, точную копию одежды каторжника, из полотна, в синюю и белую полосу – обычное платье заключенного, как ни посмотри; потом в помещении без дверей я уже сам мог выбрать себе в куче странной – на деревянной подошве, с матерчатой стелькой и не со шнурками, а с тремя пуговицами на боку – обуви то, что, примерно, на первый взгляд было по ноге. Да еще не забыть двух кусков серой ткани, как я предположил, – в качестве носовых платков, наверно, ну и еще неизбежную принадлежность: мягкую, круглую, истасканную полосатую шапку каторжника. Я замаялся немного, но под торопящие голоса со всех сторон, при том, что вокруг меня шло суетливое, лихорадочное одевание, я не мог тянуть, если только не хотел отстать от других, конечно. Штаны были просторные, и пришлось наспех завязать их узлом, потому что ни пояса, ни каких-нибудь помочей к ним не было, а в обуви открылось свойство, которого я не заметил раньше: подошва не гнулась. Тем временем, чтобы руки были свободны, я покрыл голову шапкой. Ребята тоже были все уже готовы: мы только глядели друг на друга, не зная, смеяться нам или, скорее, удивляться. Но ни для того, ни для другого не было времени: мы были уже снаружи, снова на вольном воздухе. Не знаю, ни кто распорядился, ни как это произошло – помню только, что какое-то давление навалилось на меня, какой-то порыв увлек, втянул, и, слегка спотыкаясь в своей новой обуви, среди клубов пыли и странных звуков за спиной, как если бы кого-то били по спине, всё вперед, к новым дворам, к новым воротам из колючей проволоки, к заборам, к оградкам, отворяющимся, затворяющимся, сливающимся, в конце, на моих глазах, сплетающимся, переплетающимся.

5

Нет такого нового заключенного, я полагаю, который в этом положении не был бы поначалу немного удивлен: так и мы с ребятами на том дворе, куда, наконец, прибыли после бани, разглядывали, вертели друг друга, дивились. Но я обратил внимание еще на одного человека поблизости, моложавой наружности: он долго, вдумчиво, внимательно и в то же время как-то нерешительно рассматривал, ощупывал всю свою одежду, как будто хотел убедиться в качестве материи, как бы в том, что она, действительно, существует. Потом он поднял глаза, как если бы вдруг захотел сделать какое-то замечание, но вдруг не увидел вокруг себя ничего, кроме таких же одежд, и потому, в конце концов, так ничего и не сказал, – это было мое впечатление, по крайней мере, в ту минуту, хотя, конечно, я мог и ошибаться. Несмотря на бритую голову и каторжное платье, коротковатое для его высокого роста, я узнал в нем, по скуластому лицу, влюбленного, который приблизительно час назад – столько времени протекло всего от нашего прибытия до этого превращения – так не хотел выпускать из своих рук девушку с черными волосами. Была, впрочем, одна вещь, о которой я очень пожалел тогда. Однажды, еще дома, я снял с полки наугад книжку, – глубоко задвинутую, помню, – кто знает, сколько времени не открывавшуюся, всю в пыли. Написал ее какой-то заключенный, я и сам не прочитал до конца, потому что не совсем мог следить за мыслью и еще потому, что у действующих лиц были ужасно длинные имена, чаще всего по три, упомянуть невозможно, и потому, наконец, что жизнь заключенных ни капли меня не интересовала, а сказать по правде, была даже противна; вот как, когда понадобилось, я остался невежественным. Из всего я отметил только то, что заключенный, написавший эту книгу, лучше помнил, по его утверждению, первые дни заключения, то есть от него уже более удаленные, чем поздние, иначе говоря, более близкие ко времени писания. Тогда мне это показалось довольно сомнительным, даже выдумками немножко. Но вот, я считаю, все-таки он мог написать и правду: первый день, и в самом деле, если подумать, я тоже помню точнее, чем следующие за ним.

...Двор, это опаляемое солнцем пространство, здесь казался несколько обнаженным, ни футбольного поля, ни грядки, ни газона или цветов я не обнаружил нигде и следа. Здесь стояло только деревянное строение без всяких украшений, похожее на большой сарай: по-видимому, – это наш дом. Входить можно – как я узнал – только на время ночного сна. Перед ним и за ним длинный, до бесконечности, ряд подобных сараев, слева еще такой же в точности ряд, спереди, сзади, по бокам равные расстояния, промежутки. За ними широкое, сверкающее шоссе; или, вернее, еще одно такое шоссе, потому что по пути сюда из бани дороги, площади и одинаковые строения на этом огромном, повсюду ровном пространстве уже невозможно было отли-

чить друг от друга, по крайней мере, на мой взгляд. Там, где этот проспект должен был бы встретиться с поперечной, между сараями, дорогой, проезд закрывал шлагбаум, красно-белый, очень изящный и хрупкий, похожий на игрушку. Справа была уже хорошо нам известная ограда из колючей проволоки, но, как я узнал с изумлением, – под током, и действительно, только тогда я разглядел на бетонных столбиках множество белых фаянсовых изоляторов, точно как у нас под электропроводкой и на телеграфных столбах. Удар тока – заверяли – смертелен; впрочем, достаточно только ступить на узкую тропинку, тянущуюся у основания ограды и усыпанную рыхлым песком, чтобы со сторожевой вышки (и мне показывали, и я узнавал то, что, глядя со станции, принимал за охотничьи засады) выстрелили без звука, без слова предупреждения – предостерегали со всех сторон, с большим апломбом и усердием, те, кто был уже в курсе дела. Вскоре, под громкое бряканье, прибыли добровольцы, сгибавшиеся под тяжестью кирпичного цвета кастрюль. Уже до того пошел слух, и его немедленно разнесли повсюду, по всему двору, загомонили из конца в конец: «Скоро дадут горячий суп!» Нечего и говорить, я тоже нашел это уместным, и однако все эти сияющие лица, эта благодарность, эта особая, уже чуть ли не детская, казалось, радость, с какою был встречен этот слух, удивили меня немного; и я чувствовал, что все это, может быть, обращено не столько к супу, сколько, скорее, как-то к самой заботе после стольких, как бы сказать, сюрпризов вначале – мое чувство было такое, во всяком случае. Я находил также вполне правдоподобным, что сведения исходили от того мужчины, от того заключенного, который здесь с самого начала казался нашим гидом, чтобы не сказать: хозяином дома. Как и на заключенном из бани, платье на нем хорошо сидело, волосы на голове (что, по-моему, казалось уже и вправду необыкновенным), шапка из толстого темно-синего сукна, известная у нас под названием «баскского берета», на ногах красивые желтые полуботинки, красная лента на рукаве, которая сразу выставляла на вид его положение, и я начал признавать: надо, по всей видимости, внести поправку в идею, которую мне внушали еще дома, – «не по платью суди о человеке». Кроме того, на груди у него был красный треугольник – это тоже немедленно давало понять, что он здесь не из-за своей крови, а всего-навсего из-за образа мыслей, как я вскоре мог узнать. С нами он держался, может быть, несколько сдержанно и немногословно, но дружелюбно, все необходимое охотно объяснял, и я не находил в этом тогда ничего особенного, ведь, в конце концов, он здесь дольше – так я размышлял. Это был высокий, худощавый человек, с лицом слегка морщинистым, слегка помятым, но в целом симпатичным. Я заметил еще, что он часто отходит в сторону, и тогда издали раз-другой поймал какой-то озадаченный, растерянный взгляд, а в углу рта какую-то, как бы это сказать, недоуменную улыбку, как если бы он дивился на нас, не знаю, поче-

му. Позже говорили, что он родом из Словакии. Некоторые из нас знали его язык и часто собирались вокруг него в тесную компанию.

Он сам и разливал нам суп – странным черпаком на длинной ручке, похожим больше на воронку, а двое других, вроде помощников, и тоже не из наших, раздавали красные эмалированные миски и старые столовые ложки – по одной на двоих, поскольку приборов мало, как довели до нашего сведения; и добавили: поэтому надо немедленно, как кончим, вернуть им пустую посуду. Суп, миску и ложку я получил вместе с Галантереем: я был не слишком рад, потому что не привык есть ни с кем из одной тарелки и одной ложкой, но ведь потребность минуты, я признал, и это способна принести с собою. Первым начал он и сразу передал мне. Его лицо было немного странным. Я спросил, ну как, он сказал, да ты попробуй. Но тут я уже увидел, что все ребята вокруг глядят друг на друга кто в крайнем изумлении, кто чуть не лопааясь от смеха. Тогда и я пригубил: пришлось согласиться, действительно несъедобно, к сожалению. Я спросил Галантерея, что делать, и он ответил: что до него, я могу спокойно выплеснуть. В тот же миг моих ушей коснулось спокойное объяснение, прозвучавшее у меня за спиной: «Это так называемые дёргемязе». Я увидел приземистого, уже пожилого человека, под носом белый угловатый след бывших усов, в лице сплошь знания с лучшими намерениями. Вокруг нас стояло несколько человек с кислыми минами, сжимая в руках миски, ложки, и это им он говорил, что в прошлой, перед нынешней, мировой войне он тоже участвовал, и к тому же был офицером. «Тогда у меня было достаточно случаев, – рассказывал он, – обстоятельно познакомиться с этой едой» на фронте, а именно среди германских «сратников, с которыми мы тогда бились вместе», – так он выразился. По его словам, это, в сущности, не что иное, как «сушеные овощи». Венгерскому желудку – прибавил он с понимающей и в некотором роде извиняющей улыбкой – оно, конечно, непривычно. Однако, утверждал он, к нему можно, более того, нужно, по его мнению, привыкнуть, поскольку оно «питательно и богато витаминами», что, разъяснил он, обеспечивается способом сушки и немецкой опытностью в этой области. «И кстати, – заметил он, опять с улыбкой, – у хорошего солдата первый закон – съесть все, что дают сегодня, потому что неизвестно, дадут ли и завтра», – вот его слова. После этого он, действительно, выхлебал свою порцию – спокойно, степенно, без всяких гримас, всю до последней капли. А я свою все-таки выплеснул к стене барака, так же, как, я видел, некоторые из взрослых и наших ребят. Но я смутился, поймав издали взгляд нашего начальника, и забеспокоился, не мог ли он обидеться; однако мне показалось, что я мельком различил только все то же особое выражение, ту же неопределенную улыбку на его лице. Потом я вернул посуду и в обмен получил толстый ломоть хлеба, а на нем брусочек чего-то белого, похожий на деталь конструктора и примерно того

же размера: масло? – нет, говорили, – маргарин. Это я уже съел, хотя такого хлеба еще не видел: четырехугольный, корка и мякиш словно выпечены одинаково из черной грязи, а внутри соломинки и хрустящие, скрипящие на зубах зернышки; но все-таки это был хлеб, а за долгую дорогу я как-никак проголодался, в конечном счете. Маргарин, за неимением лучшего орудия, я намазал пальцем, как Робинзон, с позволения сказать; впрочем, и остальные, я видел, поступили так же. Потом я стал оглядываться, ища воду, но выяснилось, что воды, увы! нет; я был раздосадован: значит, опять будем страдать от жажды, как в поезде.

Тут нам пришлось, и теперь уже куда серьезнее, обратить внимание на запах. Определить было бы трудно: приторный и какой-то липкий, и еще что-то в нем от уже знакомого химиката, а от всего вместе – страх, как бы упомянутый выше хлеб не попросился из желудка обратно в горло. Нетрудно было установить: всему виной труба, слева, со стороны шоссе, только намного дальше. Труба была заводская, сразу видно, и такие же сведения люди получили от нашего начальника, а именно – кожевенного завода труба, многие мигом раз узнали уже и это. И правда, я вспомнил, как, бывало, иногда по воскресеньям мы с отцом ездили в Уйпешт на футбольный матч, и трамвай там тоже провозил мимо кожевенного завода, я и там тоже всегда должен был зажимать нос на этом участке. Впрочем – шел уже слух – мы на этом заводе работать, к счастью, не будем: если все пойдет благополучно, если среди нас не вспыхнет тиф, дизентерия или еще какая-нибудь эпидемия, мы скоро – успокаивали нас – отправимся дальше, в другое, более приветливое место. Поэтому у нас до сих пор нет номеров на одежде, а главное – на собственной коже, как, например, у нашего начальника, «начальника блока», как его уже звали теперь. В существовании этого номера многие удостоверились воочию: он написан светло-зелеными чернилами – так распространился слух – на запястье, наколот специально для этого предназначенной иглой и не смывается; татуировка, как они говорили. Примерно тогда же до моих ушей дошел и рассказ добровольцев, которые принесли суп. Они тоже видели номера, на кухне, и тоже врезанные в кожу более давних заключенных. Чаще всего вокруг меня повторяли и пытались растолковать ответ, который один такой заключенный дал одному из наших людей на вопрос: «Что это?» – «Химмлише Телефонnummer», – то есть «телефонный номер небес», вот что он якобы ответил. Я видел, вообще это заставляло всерьез задумываться всех, и, хотя не очень мог разобраться, эти слова, вне всякого сомнения, должен был находить странными и я. Как бы там ни было, но тогда началась суeta вокруг начальника блока и его двух помощников: хождения взад-вперед, неотвязные расспросы, наведение справок и торопливый обмен ими, например, о том, есть ли эпидемия. «Есть», – гласила информация; а что происходит с больными? «Они умирают»; а что будет с мертвыми? «Их сжигают», – дознались

мы. Мало-помалу выяснилось, и я не смог точно определить, каким образом, что эта труба напротив, на самом деле, не кожаного завода, а «крематория», то есть печи, где трупы обращают в пепел, – как мне объяснили значение этого слова. Тогда я присмотрелся к ней получше: приземистая, угловатая, с широким жерлом труба, как будто ей вдруг отрубили верх. Могу сказать, что, не считая известного почтения – ну и, естественно, запаха, в котором мы уже, в самом деле, вязли, как в какой-нибудь густой каше, в какой-то трясине, – я ничего особенного не чувствовал. Но вдали, все с новым и новым изумлением, мы могли различить другую такую же трубу, потом еще одну, и уже на сияющем горизонте еще одну, и две из них как раз выпускали дым, похожий на наш, и, вероятно, правы были те, кто начинал подозревать, глядя на клубы дыма, поднимавшиеся вдалеке, за подобием рощицы с чахлой листвой; и, по моему мнению, им не могло не прийти на ум: каких же размеров эта эпидемия, что так много мертвых?

Могу заявить: еще не настал вечер этого первого дня, как я был уже более или менее примерно в курсе всего в точности. Правда, тем временем мы еще зашли в барак-уборную – помещение, во всю длину которого тянулись три возвышения вроде помостов, и в каждом два ряда дырок, то есть всего шесть рядов: на них надо было садиться или в них попадать, как кому, какая у кого нужда. Много времени нам, во всяком случае, не дали: скоро появился сердитый заключенный, на этот раз с черной повязкой на рукаве, в руке тяжелая с виду дубинка, и пришлось немедленно убираться, кто как успел. Там же слонялось несколько заключенных из давних, но пониже рангом: они оказались приветливее и охотно отвечали несколькими разъясняющими словами. Под присмотром начальника блока нам пришлось проделать изрядный путь в оба конца, и этот путь проходил мимо интересного поселения: за колючей проволокой обычные сараи, а между ними странные женщины (от одной я быстро, немедленно отвернулся, потому что из ее раскрытого платья свисало что-то, к чему судорожно прилепился лысый младенец с глянцевицей от солнца головой) и еще более странные мужчины в одежде, хотя и потрепанной в общем, но все же такой, в конце концов, какую носили люди снаружи, в жизни на свободе, с позволения сказать. На обратном пути я уже и сам разобрался: это цыганский табор. И удивился немного: там, дома, почти все, и я тоже, были о цыганах невысокого мнения, естественно, но до сих пор я еще никогда не слышал, что они тоже виновны. Как раз в этот момент прибыла тележка – там, за их оградой, – ее тянули малые дети, лямками, накинутыми на плечи, в точности, как пони, а рядом шагал человек с длинными усами, с кнутом в руке. Кладь была прикрыта, но через многочисленные прорехи, через ветошь безошибочно выглядывал хлеб, белые булки: из этого я вывел, что они стоят, по-видимому, на ступень выше нас.

...Во второй половине дня вокруг меня больше говорили о нашем будущем – перспективах, возможностях, надеждах, – чем об этой вот трубе. Порой – словно бы ее и не было там, мы переставали ее замечать: все зависит от ветра, как разобрались многие. В тот день я увидел в первый раз и женщин. Собравшись у проволоочной ограды, толпясь возбужденно, мужчины показывали: и правда, они были там, хотя мне трудно было разглядеть, особенно же – признать в них женщин на другом краю открывавшегося перед нами глинистого поля, так далеко. Я даже немного испугался их, и я заметил, что после первой радости, волнующего открытия мужчины поблизости от меня все притихли. Только одно замечание глухим, немного дрожащим голосом, откуда-то рядом, дошло до моих ушей: «Обстрижены наголо». И в этой глубокой тишине тогда впервые я тоже различил принесенную волною летнего, вечернего ветерка, хотя и слабую, тоненькую, едва слышную, но, вне всякого сомнения, умиротворяющую, веселую музыку, которая – так, вместе с этим зрелищем – каким-то образом очень сильно удивила нас всех, и меня тоже. Потом я впервые стоял в ожидании, тогда еще не зная чего, перед нашим бараком, в строю по десяти, в одной из последних шеренг – точно так же, впрочем, как ждали все остальные заключенные перед всеми другими бараками, по бокам, спереди, сзади, и куда только хватал глаз, – и в первый раз сорвал с головы шапку, как приказали, а в это время снаружи, на главной дороге, медленно, беззвучно скользя в мягком воздухе сумерек, появились три солдатские фигуры на велосипедах: то было в каком-то смысле красивое – я не мог чувствовать иначе – и суровое зрелище. Тогда я еще подумал: смотри-ка, как давно я уже не встречался с солдатами. В этих людях, которые так сурово, столь холодно, словно с какой-то неприступной высоты выслушивали по другую сторону шлагбаума то, что, стоя по эту сторону, им говорил наш начальник блока, тоже державший свою шапку в руке, – и один из них делал пометки в чем-то похожем на длинный блокнот; – в них, которые без единого слова, звука или кивка скользили дальше по пустой главной дороге, в этих каких-то почти зловещих величествах – как трудно было бы в них узнать приветливых, веселых членов бригады, которые еще нынче утром принимали нас у поезда. В этот же миг слабый звук, какой-то голос достиг моих ушей, и справа от себя я увидел вытянутый вперед профиль и грудь колесом: это был бывший офицер. Он прошептал, но так, что губы почти не шевельнулись: «Вечерняя поверка», – чуть кивнув головой, с такой улыбкой, с лицом такого знатока, которому все понятно, совершенно ясно и в каком-то смысле происходит именно так, как ему хотелось бы.

*Перевели с венгерского
Шимон Маркиш и Жужа Хетени*

Александр Файнберг

ЯХТА НА ВЕТРУ

ЗИМНЕЕ УТРО

На стекло набросал мне мороз
хризантему и крылья стрекоз.

Но какая-то чёртова сила,
как на горе, тебя пробудила.

От огня золотых твоих глаз
всё вокруг переплавилось враз.

Со стола, где закусок полно,
испарились коньяк и вино.

Где поэзия? Проза одна,
Упорхнули стрекозки с окна.

И стекла по стеклу хризантема.
Мент в снегу за окном. Хрен с антенной.

* * *

Что мне твой Нотр-Дам? Что мне твой Колизей,
если падает снег на могилы друзей?

Что, красotka, бассейн? Что мне твой лимузин,
если не с кем зайти в угловой магазин?

Что мне сотовый твой в ресторанном дыму,
если некому больше звонить по нему?

Меж крестов я пройду по январскому льду.
С плит холодных я веником снег обмету.

Ты, подруга, езжай. Ты меня не жалея.
Я пешком добреду до берлоги своей.

До двора, где у джипов толпится с утра
с деловитыми лицами рвань-детвора.

Где на голых деревьях собор воронья,
Где берлога – и та уж почти не моя.

* * *

С вами я навек повязан, братцы,
общим горем, общею виной.
Но верёвку мылить, иль стреляться, —
это вы решайте не со мной.

Горек хлеб, и в никуда дорога —
в этом я вам кровная родня.
Но являться выскочкой пред Богом?
Нет уж, братцы. Это без меня.

* * *

Опаздывают поезда.
И самолётов ждать не ново.
Но вот уж истинно беда,
когда опаздывает слово.

Как у погасшего костра,
как у забытых накрест окон
о тех, кто ждал его вчера,
оно рыдает одиноко.

Пред ним сиротские леса,
земли безрадостные дали,
и над могильными рядами
безадресные небеса.

* * *

Вдали качнулась яхта на ветру.
Волна чуть плещет на песок и гальку.
И женщина красивая, нагая
идёт вдоль побережья поутру.

Она в Москве растрачивала пыл
по временным общагам и баракам,
пока лихой араб из эмиратов
её на всякий случай не купил.

Швыряет снег российская метель
на окна банков, на щиты рекламы.
И на Тверской у баров дрогнут дамы,
в надежде выжить кинувшие Тверь.

Пока, вцепившись намертво в Москву,
они с ней делят пьянки и разбои,
дельфин играет в Средиземном море.
И женщина проходит по песку.

Она забыла горе всех обид.
Идёт себе, не думая о доле.
И раковину держит на ладони
и слушает, как море в ней шумит.

Ты не пристанешь к этим берегам.
Тебя не взять ни золотом, ни властью.
Но волны льнут к её босым ногам.
И кто ответит, что на свете счастье?

* * *

Со слезой на щеке, со снежинкой на яркой губе
позовёшь... Я приду. Но покоя не будет тебе.

От тоски по свободе, по жизни своей кочевой
я отпетых бродяг буду вновь приводить с ночевой.

Разоряя тебя, как всегда, не по делу упрям,
буду в разные страны звонить своим старым друзьям.

Буду жить, как всегда, о твоей не печалюсь беде,
пропадать без причин в дни рожденья неведомо где.

И не жди постоянства. Лишь в редкие ночи и дни
до беспамятства нас обжигать будут вспышки любви.

Стать счастливой со мной –
твой напрасный, несбыточный сон.

Ты забыла про то, что созвездье моё – Скорпион.
От бессонных недель, от безденежья, горя, вранья
задымится твой дом, задымится надежда твоя.

Измотавшись вконец, посылая проклятья судьбе,
крикнешь: – Вон!..

Я уйду.
Но покоя не будет тебе.

ГАУПТВАХТА – 2

С актерами я пропил увольнение.
На гауптвахте нынче, значит, спим.
Эй, комендант! А рядовой Шекспир
не ночевал в твоём подразделенье?

Полковничек, отставить наставленья.
Начальник мой не ты, а ход светил.
Вот я сегодня за Верону пил,
за гения эпохи Возрожденья.

А ты рождён всего лишь комендантом.
Гляди, не стань, вояка, арестантом,
уродуясь за лишнюю звезду.

Ты б лучше войны запретил на свете,
пока нас всех не вздыбили в аду,
пока ещё четырнадцать Джульетте.

* * *

С кем на ковре ты? С кем ты на диване?
От ревности я – в стойке на ушах.
Уэльский принц иль арабийский шах
тебе браслет на ножку надевает?

Я думаю, народом сжат в трамвае,
под мат в исконно русских падежах,
какой же безнадежный я ишак.
Таких и в Карабахе не бывает.

Ну что мне твои ведьмины глаза?
И вспышка губ? И рук твоих поза?
Зачем живу, собою не владея?

Любовь? Не только. Всё легло не в масть.
Ни доблестей, ни подвигов, ни денег.
Вот и трамвай сломался, твою мать.

* * *

В который раз на берегу морском
в отчаянье ты оземь хлопнул сети.
Не повезло тебе на этом свете
и ты решил, что повезёт на том.

Ну что ж? Вперёд! Семь футов под винтом
С пенькой и мылом ты явился к Смерти.
Однако там никто тебя не встретил,
и ты вернулся со своим жгутом.

Досадно, да? Так напряги умишко.
На всех, балда, один кафтан у Тришки.
А потому кончай свою тоску.

Нам злату рыбку не подкинут волны.
Но коль стыдишься покупать треску,
welcome, дружище, к нашей общей вобле.

АЛКОГОЛИК – 2

Мы вновь с тобой желанию подвластны.
Вновь древней жаждой мучится душа.
Но за душой, как прежде, ни гроша.
А красть, увы, и пошло, и опасно.

А вот в шинке шампанское прекрасно.
И водка тоже очень хороша.
Да и портвейн, скажу я, не греша,
он тоже в масть, хоть это и ужасно.

Что? Пиво? Не подкладывай свинью.
Ведь я его и в праздники не пью.
Оно, дружок, твоя прерогатива.

От виски у меня в башке раздрай.
Под огурец коньяк?.. Ну что ж... Красиво.
Спирт? Где? Ну наконец-то. Наливай.

* * *

Не возгордись, художник, пред толпою,
где воздух пахнет гарью и свинцом.
Ты послужи ей кистью и резцом.
Открой толпе её беду и боли.

А коль она засвищет над тобою
и в спину пнёт, и наречёт глупцом,
красавица с божественным лицом
тебя утешит преданной любовью.

Но если и красotka не верна,
ступай в кабак. Напейся допьяна.
Блажен, кто на судьбу обид не держит.

А как проспишься, приходи ко мне.
Уж лучше две обманутых надежды,
чем с похмела тоска наедине.

* * *

Зависеть от себя – счастливый случай.
Не дай, Господь, зависеть от господ.
То от ворот получишь поворот,
а то и в рожу ни за что получишь.

Зависеть от рабов – куда не лучше.
То поднесут с отравой бутерброд,
то вытопчут от злобы огород,
а то и дом спалят благополучно.

Дошло теперь, куда ты угодил?
Налево – раб, направо – господин.
А посреди – рябинушка у тына.

Куда же ты вколотишь свой шесток?
В тебе же – ни раба, ни господина.
Вот корень одиночества, браток.

* * *

Что справедливость? Недоступный плод.
Богуют на земле орёл и решка.
Коль не везёт – и ферзь твой станет пешкой.
Тузом шестёрка станет, коль везёт.

Счастливчик потерял красоткам счёт.
А ты и к жинке липнешь безуспешно.
Ты хоть и трезв, да грянул оземь плешью.
А он и пьян по ниточке пройдёт.

Вот у тебя кран без воды прохаркал.
А он и в пекле Гоби иль Сахары
случайно выйдет на студёный ключ.

Так и живём – кто с горки, кто на горку.
Кому везёт – и ёжик не колюч,
а не везёт – так и в дыре иголки.

* * *

У попрошайки доля нелегка.
То от поклонов поясницу скрючит,
то в рожу угодит плевков летучий,
то вззоет зад от крепкого пинка.

К тебе ж бычок златой издалека
сам прискакал. Вот случай, так уж случай!
И ты, за грош полжизни отканючив,
схватил его, как надо, за рога.

Теперь ты сам несчастных попрошаек
пинками гонишь от своих лужаек.
Меня ж к застолью кличешь в особняк.

Ну нет уж. Сам хлебай своё винище.
По мне так лучше сотня злых бродяг,
чем хоть один разбогатевший нищий.

* * *

На клык поддел ты времечко лихое.
Подругу продал. Друга посадил.
Теперь, крутой, диктуешь ты один,
кого – на трапы, а кого – на сходни.

Судить не мне – ты свят или греховен.
Попа купи, коль вправду господин.
Попу не жалко для господ кадил.
А мне в тебя и плюнуть неохота.

Грозишь? Во смех! Не трать свинца, дружок.
Мне жизнь сама наполнит посошок.
Да и тебя вослед за мной отправит.

Вот там он и решит – последний суд –
кого из нас поднимут вверх по трапу,
кого по сходням вниз поволокут.

* * *

Ну чем твоя набита голова?
Блаженная, нам чудеса не светят.
Мне в бочке мёд не выкатят медведи.
Тебе не крикнет лебедем сова.

Мечтаешь – вознесёт тебя Москва.
И принц заморский за тобой приедет.
Ага. Наследный. Он уже в карете.
Он срочно учит русские слова.

Уймись, подруга. Не летают лоси.
И чуда в решете никто не носит
не потому, что нету решета.

Одно лишь исключение – поэты.
Два чуда размыкают им уста,
два дива дивных – водка и сонеты.

Дмитрий Сухарев

ВСЕ СВОИ

Венок сонетов

УБИЙСТВО НА МЫСЕ ПОЙНТ ПЛЕЗАНТ

«Какой или каким наукам вы особенно себя посвятили?» – спросил он. «Изящным», – отвечал я и покраснелся, – знаю, отчего – может быть, и вы, друзья мои, знаете.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

С декабря 1993-го по май 94-го года нам с Аллой Викторовной довелось прожить в Галифаксе. Знатокам доподлинно известно, что это тот самый город, в котором родилась песня Александра Городницкого «Над Канадой». Помните? –

Над Канадой небо сине,
Меж берёз дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только всё же не Россия...

Могу подтвердить: похоже. А вот где сочинил Александр Моисеевич эту всенародно любимую песню – в самом ли Галифаксе или на рейде в одной из знаменитых бухт Галифакса – того не знаю и врать не буду, скажу только, что с песней «Над Канадой» связаны весьма занятные истории. Какие? Об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас в мои планы входит рассказать кое-что, имеющее отношение к самому Галифаксу и даже, можно сказать, к истинным началам всемирной истории, но не к песне, подарившей Галифаксу всемирную славу.

Приехали мы в Галифакс по приглашению Роджера Кролла, чье внимание привлекли странноватые результаты моей лаборатории, проливающие, как говорится, свет на механизм терапевтического действия нейролептиков. Зарплату Роджер платил только мне, но нам хватало.

Что вам сказать про Галифакс? Канадцы называют его столицей атлантического побережья, хотя формально он всего лишь столица небольшой провинции Новая Шотландия. Городок не без специфики – в нём обнаружилось аж пять университетов, а также целое созвездие мощных клиник. Ещё запомнились ветры и снежные заносы.

У нас в Dalhousie University среди аспирантов отдела физиологии обнаружилась соотечественница, некая Леся Шуба, очаровательная киевлянка. Мы с Аллой Викторовной быстро с ней сошлись. Это было несложно, я давно знал по работе Ле-

синого отца Михаила Фёдоровича Шубу, крупного специалиста по физиологии мышц. Не сразу, но вспомнил, что Миша рано овдовел, остался с двумя малышами на руках и выращивал их сам. Спросил Лесю про брата – выяснилось, он тоже стал физиологом, работает в Нью-Йорке, а отец продолжает держаться за Киев, где Институт физиологии, некогда лучший в Союзе, совсем погибает.

Приближалась встреча Нового года, и Леся предложила представить нас русской колонии, которая как раз сговаривается лепить пельмени.

Колония оказалась небольшая. Собралось десятка полтора, не больше, персон, включая детей. Лепили дружно, переговариваясь по пустякам. Одна из дам похвастала пачкой свежих стихов Бахыта Кенжеева, привезенных только что из Монреаля. Дама попробовала было усадить лепщиков чтением Бахыта, но дело не заладилось, разговаривать по пустякам оказалось способней.

Зашла речь о Монреале. Леся сказала, что собирается туда в связи с предстоящими на Украине выборами, – надо-де пойти в консульство и отдать свой голос за демократов. «За Черновилу, что ли?» «За Черновилу».

Помолчали, потом кто-то спросил: «А что, Лэсинька, такого уж демократического вы находите в этом вашем Черновиле?»

«Но ведь демократы это же всегда хорошо, – объяснила Леся. – Кроме того, мы с Черновилом земляки, у меня вся родня с той стороны».

Тема казалась исчерпанной, и тут вдруг заговорил один из молчавших до поры лепщиков.

– В политике мало что лежит на поверхности, – сказал он. – Называть Черновилу демократом велел мистер Бжезинский, а приказы мистера Бжезинского подлежат безусловному исполнению. Вообще-то, Черновил тут сбоку припёка, мистер Бжезинский решает вопросы планетарно. Неприятие русского языка и русской культуры – это для мистера Бжезинского необходимый и достаточный признак демократа. Не замечали? Стоит где-нибудь появиться персонажу с такими пристрастиями, как все газеты и каналы, включая российские, начинают дружным хором лепить из него демократа. Такова установка Бжезинского. Он на русском языке, можно сказать, свихнулся.

Внешность говорившего выдавала человека с тяжким прошлым – «и шрам глубокий на лице помятом». Шрама, кажется, не было, так что лучше, пожалуй, напомнить весь фрагмент.

И шрам глубокий на лице помятом.
Ну да, конечно, он ведь был солдатом
И мог меня голодного убить
Под Ленинградом –
И опять мы рядом –
За что, скажите, мне его любить?

Я всё же не удержался и заметил, что у Бжезинского, должно быть, имеются серьёзные причины для негативного отношения к русскому языку. «Очень серьёзные», – усмехнулся Полуянов (такой оказалась фамилия лепщика). И рассказал нам историю, которую я рисковую здесь изложить.

Оказывается, во молодые свои лета Бжезинский учился на двухгодичных курсах «Мир выбирает свободу», курсы же были при той самой кафедре славистики, на которой Полуянов вёл практические занятия по минному делу, и был Бжезинский в ту пору не Бжезинским, а Бздежинским, а точнее сказать, даже не Бздежинским, а Бздёжинским, с ударением на «ё». Всякий раз, когда при рутинной проверке личного состава и оружия доходило до произнесения этой фамилии, Полуянов хихикал. В конце концов объект в истерической форме потребовал объяснений.

Узнав от Полуянова, что «бздёж» звучит по-русски не вполне конвенционально, Бжезинский, бывший в то время, как уже сказано, Бздёжинским, поначалу было взвился, но Полуянов нашел слова утешения. Он привёл в качестве примера советского министра культуры Фурцеву, чьей карьере фамилия нисколько не помешала. Фурцева, по словам Полуянова, из всех зарубежных стран предпочитала именно Германскую Демократическую Республику, где занятный для немецкого уха звук ее фамилии неизменно приглашал людей улыбаться. Будучи женщиной практического склада, Фурцева направила народную улыбку в нужное русло, что позволило ей наладить особо доверительные отношения с партийно-государственным руководством республики, вплоть до взаимоприязненного обмена нутряными звуками, которые, действительно, ценятся у немцев. Полуянов продемонстрировал Бздёжинскому различные аспекты *furzen*, пояснив, что ассоциированный со звуком фактор, атакующий обоняние, и есть этот самый бздёж.

Бздёжинский утешение выслушал, но не утешился. Однако ничего решительного предпринять, понятное дело, не мог – силёнки были ещё никакие. А вот возненавидеть возненавидел. И возненавидев, затаился до поры, утешаясь мыслями о грядущих свершениях. Попросил, однако, славистов, чтобы впредь его фамилию произносили с ударением на «и».

Дойдя до этого места своего рассказа, Полуянов резко замолк.

– Вам пришлось бежать из Штатов? – спросила догадливая Леся.

– Вы так думаете, – буркнул Полуянов и больше не проронил ни слова. Было видно, что он недоволен собой.

Вскоре Полуянов погиб при загадочных обстоятельствах. Труп нашли на мысе Point Pleasant, куда жители Галифакса ходят дышать океаном. Наутро местные и монреальские газеты сообщили, что из глотки убитого извлекли скомканный бумажный лист, формат А4. На одной стороне листа поперёк и несколько вкривь были написаны непонятные слова: «много знать

пся крев». Уже через сутки все газеты разом перестали судачить по поводу таинственного убийства, что выглядело достаточно странно. Позже, за давностью события, прекратились и разговоры.

Над Канадой небо сине,
Меж берёз дожди косые.
Хоть похоже на Россию,
Только всё же не Россия...

ГЕРЦЕН И ДРУГИЕ

Англичанки по большей части белокуры, но самые лучшие из них темноволосые. Так мне показалось, а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмые, добродушные и зверские. Клянусь вам, что нигде не случалось мне видеть столько последних, как здесь.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Однажды Александр Городницкий позвал Александра Солженицына в музей Александра Герцена на вечер поэта Анны Наль. Несмотря на интенсивные туда-сюда миграции, в актовом зальчике музея набралось порядочно интеллигентов, не обязательно евреев. Каждого из них Александр Моисеевич своевременно обзвонил, и некоторые даже пришли. Александр Исаевич озибался с тёплым чувством: как много всё-таки в России культурных людей, питающих тёплое чувство к отечественной поэзии. Но он не знал, что именно в этом музее имеется бюст Александра Ивановича Герцена.

Наверняка кто-нибудь сейчас подумал, что про бюст Герцена сказано для того, чтобы, оттолкнувшись от бюста Герцена, начать пошлые рассуждения о бюстах дам, солидарных с творчеством поэта Анны Наль. Вынужден разочаровать. Бюст Александра Ивановича привлёк Александра Исаевича другим. Ведь Александр Исаевич был охвачен тёплым чувством. И это чувство пролилось в сторону бюста, несмотря на давние идейные претензии Александра Исаевича к Александру Ивановичу.

Александр Исаевич не стал прилюдно поносить Александра Ивановича, хотя и мог бы. Он приблизился к бюсту и учтиво поздоровался, после чего отошел в сторонку. Стоя в сторонке, он с прежней теплотой смотрел на бюсты дам.

Глядя на охваченного тёплым чувством Александра Исаевича, Александр Моисеевич подумал, что недурно бы сфотографироваться с Александром Ивановичем. Ведь пора уже издавать полное собрание, а в нём, по нынешнему времени, недурно иметь побольше собственных фотографий вместе с мировыми величинами. Такие фотографии, рассудил Александр

Моисеевич, как нельзя лучше выразят идею всемирной отзывчивости русской души, а всемирная отзывчивость – это всё-таки наше всё, её у нас не отнять. А Герцен как раз мыслитель, мировая величина, жил как-никак в Лондоне. И фамилия подходящая: «Ах, Александр Герцевич, чего там, всё равно!..»

Что у нас есть на сегодняшний день по всемирной отзывчивости? – спросил себя Александр Моисеевич. Я и Дзизик. Я и Гарик. Я и Тоник. Я и Марик. Я и Савик Шустер. Я и Зяма, это уж конечно. Я и другой Зяма, лысый. Но такие фотографии есть у каждого, даже у Сухарева. А вот будь у нас я и Герцен, мы бы всех перешибли. Такую фотографию на супере тиснуть не стыдно.

По счастью, на вечере поэта Анны Наль был критик Аннинский в бороде и с цифровой камерой. И теперь в анналах истории имеется фотография, на которой прекрасно получились оба. Городницкий вроде как отдыхает от неизвестно чего, а Герцен мыслит.

БОРОДА

Женева, декабря 1, 1789. Ныне минуло мне двадцать три года. В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера и, устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Когда Льву Александровичу Аннинскому минуло двадцать три года, он был юным, начинающим критиком и звали его Лёсиком. Лёсик обладал катушечным магнитофоном и больше всего на свете любил катушку с песнями бардов, тоже юных и тоже начинающих. Особой любовью пользовались у Лёсика четверо – Ада Якушева, Юра Визбор, Алик Городницкий да Шура Дулов. Этой четвёрке он посвящал всё своё свободное время, то есть время, свободное от хождения по литературным редакциям. Но ходить по литературным редакциям Лёсик тоже очень любил, что вообще свойственно критикам, включая начинающих. Он имел хорошую привычку открывать редакционную дверь громким возгласом: я Аннинский! Литераторы радовались, принимая Лёсика за поэта Иннокентия Фёдоровича Анненского, чьё творчество привлекало большое внимание. Их радовало, что Иннокентий Фёдорович так бодро выглядит и голос у него такой зычный.

Особенно сердечно привечали тогда Лёсика в литературных кругах Питера, который ещё числился Ленинградом. Этот город славен сердечной любовью к поэтам-землякам – ленинградцы так устроены, что по ним хоть бы и вовсе не было никаких стихотворцев, кроме местнотимых, а Иннокентий Фёдорович как раз такой. Вот заходит Лёсик в одну ленинградскую редакцию и громко объявляет: я Аннинский! Все обрадовались, не обрадо-

вался только Кушнер, который там у них сидел, потому что принёс показать стихи. Кушнер крепко задумался, а потом сказал Лёсику: «Нет, вы не Анненский, у Анненского борода».

Лёсик ничуть не расстроился. Он отпустил бороду и вот уже много лет продолжает радовать литературные редакции своим бодрым кличем. Открывает дверь и кричит: я Аннинский! Литераторы, особенно питерские, по-прежнему сердечно приветствуют любимого поэта, только огорчаются втихомолку, что он неважно выглядит – обрюзг, борода сивая.

Жизнь нынче плотная, времени, свободного от хождения по редакциям, Лёв Александрович почти не имеет. Но когда выпадает минутка-другая, он вытаскивает из-под койки свой доисторический маг, а там уже наготове та самая катушка. Лёв заваривает чай, это фирменный сбор, домашняя разработка – брусничный лист, малость зверобоя, цвет кипрея, ягода черники, толчёная чага, корешок петрушки. И звучат они, любимые, – Ада и Юра, Алик и Шура. А куда денешься?

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В большом зверинце, в красивых павильонах, за железными решётками видел я множество зверей: львов, тигров, барсов и (что всего любопытнее) славного риноцера, или носорога. Страшно смотреть на него и в клетке; каково же встретиться с ним в пустыне африканской?

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

В бытность свою учеником мужской средней школы № 636 Свердловского района Москвы Шура Дулов часто заходил на Малую Дмитровку, 3. Там в квартире 26, что на четвёртом этаже, проживал его школьный товарищ Митя Сахаров. Как знаменосец боевой и политической подготовки Шура носил значок с кудрявым портретиком Володи Ульянова и был прикреплён к Мите, который, как уже сказано, проживал именно в этой коммунальной квартире. В обязанность прикреплённого входило следить за тем, чтобы Митя, готовясь к полноте коммунизма, не произносил дурных слов и своевременно выполнял домашнее задание.

Придя в квартиру 26, Шура обычно забывал о своей почётной миссии и погружался в жизнь коммуны. Ему общинное бурление было куда милее общественной работы. Знаменосцы ведь тоже люди.

В квартире 26 жило около тридцати человек, из которых восемь являлись ответственными съёмщиками, то есть каждый из восьми нёс ответственность перед государством за некоторую комнату, в которой мог размещать прописанных чад и домоладцев. Таковые имелись у всех ответственных съёмщиков, кроме Кузьмы Богачёва. Люмпен-пролетарий Кузя жил один, занимая тёмный чуланчик при коммунальной кухне.

Подозреваем, что у прежних хозяев в этом чуланчике хранились припасы, так что окошко было им ни к чему. Кузе Богачёву оно бы явно не повредило, мимо его чуланчика соседи пробегали, задержав дыхание, очень уж духовитый шёл от Кузи дух. Шура, напротив, в этом месте всегда останавливался, ибо Кузя влёк его чрезвычайно.

Дело не только в том, что Кузьма Богачёв обладал некоторым врождённым обаянием. Он обладал ещё и гитарой! Собственно говоря, облезлая гитара была единственным предметом его обихода, и со своим предметом Кузя не расставался, что, по его словам, помогало бороться с голодухой. С раннего утра до позднего вечера Кузя подёргивал гитарные струны, припевая в режиме нон-стоп: «Оёй, дъя нещасная девчоночка, оёй, дъямуж вышла без любви».

Песня, как вы понимаете, никудышная, псевдонародная. Кроме «оёй», робкого отзвука старинных еврейских плачей, ничего народного в ней не найти. Народ у нас опрятно zufоничен, у него есть внутренний запрет на комсомольские рифмы типа «без любви – не гневись». Такими рифмами только тараканов морить в МГПИ имени Ленина. Струны вещие Бояна полопались бы, услышав такое, а компьютер Бродского завис бы навсегда. Надо же! «Без любви – не гневись». Тут точно не обошлось без комсомольцев 30-х годов.

Но других песен Кузя не знал.

На музыкально одарённого Шуру кузино пение оказывало чрезвычайное действие. В конечном счете он раздобыл гитару и стал, подобно Кузе, бардом. С годами Александр Андреевич приобрёл столь сильное портретное сходство с Кузьмой Богачёвым, что всякий раз при виде обаятельного Дулова Митя Сахаров, отчасти ставший Дмитрием Сухаревым, пугается и впадает в детство.

Не менее сильно впечатлял Шуру другой митин сосед, который выламывался из общего ряда живым интересом к современным проблемам естествознания. Не можем вспомнить, какая у него была фамилия, но точно, что не Бычевский. Бычевский спал в общем коридоре на сундуке, который митина бабушка привезла из Ташкента. В сундуке хранилось много интересного, особенно запомнилась купленная на Алайском базаре мороженица – домашний снаряд для верчения мороженого. Видеть мороженицу в действии нам, увы, не довелось.

Так вот, Бычевский вроде бы не был евреем, хотя кто знает, а сосед, который не был Бычевским, был, напротив же, евреем. В те давние дни, когда имел место описываемый здесь эксперимент, внучка этого соседа Альвиночка, шустрый младенец годовалого, если не ошибаемся, роста и возраста, любила стремительно перемещаться по коммуналке, применяя диагональный аллюр, характерный для всех четвероногих, начиная с хвостатых амфибий. Уточним, что мы не имеем здесь в виду всего разнообразия асимметричных аллюров, в частности тех,

которые основаны на парасагиттальном положении конечностей.

Передвигаясь названным способом по большой коммунальной квартире, Альвиночка тащила в рот что ни попадя и могла, естественно, проглотить совершенно неподходящий предмет, например, камень. Проблема формулировалась так: а сможет ли Альвиночка выкакать камень обратно? Ответа никто не знал. Эта проблема безмерно интересовала соседа, который не был Бычевским, но был и так далее. «Если не выкакает, что тогда? – выкрикивал он бывало, впадая в расстройство воображения. – Проблема исключительной важности!»

Сообщество стояло на ушах. Анисья Васильевна предложила обмазать камень лампадным маслом, Хабибуллин – привязать к нему нитку и в случае чего тянуть всем миром. Естествоиспытатель отстаивал чистоту эксперимента. Он неоднократно пытался подсунуть Альвиночке достаточно солидный камушек – естественно, потихоньку от альвиночкиной мамы, еврейки только по отцу, так что сами понимаете. Но Альвиночка ни в какую камня не заглатывала. В рот брала, а глотать не глотала. Вопрос остался без ответа.

Однако!! Ищешь Индию – найдёшь Америку: ребенок заговорил! Покуда камня в ротовой полости не было, Альвиночка молчала, что твой Цицерон, а тут вдруг выдала целую серию почти членораздельных монологов. Не прошло и трёх недель, как она превратилась в самого разговорчивого жильца квартиры 26.

Под впечатлением увиденного Дулов стал химиком.

АЛЕКСАНДРА, АЛЕКСАНДРА

Бедламу обязан я некоторыми мыслями и предлагаю их на ваше рассмотрение. Не правда ли, друзья мои, что в наше время гораздо более сумасшедших, нежели когда-нибудь? Отчего же? от сильнейшего действия страстей, как мне кажется.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

У злодеев есть такой обычай – в круг сойдясь, нахваливать друг друга. Было дело на ранчо у Рейгана, сошлись в круг Киссинджер, Бжезинский и сам Рональд Рейган. Все трое были уже не у дел, но оставались при деле, а Рейган даже продолжал называться президентом, потому что демократия. У них экс-президентов не бывает.

Сошлись, значит, в круг. Им, всем троим, приятно было сойтись – похвалить друг друга за немалые, кто спорит, заслуги, припомнить бывшее, выпить-закусить. Стол ломится от яств – бутылка колы на троих да лохань с колотым льдом. У них нажираются дома, чтобы в гостях не бурчало.

Сидят час, сидят другой, поливают друг друга то виртуальным кленовым сиропом, то виртуальной же кукурузной патокой.

Себя похвалить тоже всяк не забывает, в душе-то бахвалы. Дескать, какие мы молодцы, как ловко расчихвостили империю зла (это они нас так в шутку называют). Бахвал на бахвале. Хохочут, руки потирают, пройдохи, вспоминая подлости свои и злодейства.

Вдруг Рейган говорит: «А всё-таки мне их почему-то жалко». У Бжезинского рожка сразу наискось поехала, вот-вот полезет за голенище – там всегда калашников наготове. Киссинджер тоже даёт кислотную реакцию, но держится в рамках, только стукнул Рейгана по башке бутылкой из-под колы для острастки. А Рейган ноль внимания и печально гнёт своё: жалко мне их, понимаешь.

Нудил, нудил, да как рявкнет во всю глотку: «Эттта благородная нация!» И кулаком по столу.

Ну ладно, говорит Бжезинский, мне тут с вами, дураками, нечего делать. И свалил. (А морда злая-злая – злобища в нем лютая.) Киссинджеру, старой лисе, хотя бы приличия ради посидеть ещё пару минут со стариком, но и он свалил следом. «Братки, вы куда?» – спросил было Рейган слабым голосом. Звон полковничьих подков был ему ответом.

Простая душа, актёришка хренов, ковбойская шляпа – он совсем уже расположился рассказать (нашёл кому!), как перед решающей встречей с Горбачёвым посмотрел, понимаешь, блокбастер «Москва слезам не верит». Посмотрел раз, посмотрел другой, проникся сутью русской души. Третьего раза выдержать не мог, чуть на экране Муравьёва – в слёзы.

Остаётся, значит, Рейган один на один со своими мыслями. Не получилось рассказать паханам, чем кончилась та история, – слиняла братва. А было, было. Рейган ведь вот что тогда надумал – третью серию.

Он ведь почему начинал рыдать при прекрасном появлении Ирины Вадимовны? Потому что знал доподлинно, что не будет Иринушке счастья ни в первой серии, ни во второй. И сообразил: сам устрою женскую судьбу.

В Москву из Атланты прилетает седоватый вдовец – менеджер незначительной, но растущей фирмы (зубные щётки, паста, полоскание для рта – холодит и устраняет дурной запах). Статен, собою пригож (сам и сыграю). На улице, чистая случайность, знакомится с Муравьёвой, любовь с первого взгляда, тут же в такси интимная сцена. Дальше они это делают в отеле, в салоне авиалайнера (герой везёт Иринушку в Штаты знакомить со взрослыми детьми), потом дважды под секвойями Калифорнии. В заключительной сцене, переходящей на титры, достигают апогея на высоком берегу Волги. Звучит «Александра, Александра», сияют маковки лесных монастырей.

Дело развернулось быстро. Из Госдепа в Белый дом доставили спеца по русской обрядности, из Голливуда тройку сценаристов. Передали Сухареву в Москву, чтобы делал английскую версию «Александры» (на общественных началах). Городниц-

кий начал аранжировать (оплата по факту). Не заладилось с Меньшовым, этот гой упорно тянул одеяло на собственную жену. (Никакой логики характера – ведь Алентова любит Гошу!) Помогла сама Ирина Вадимовна – не могу, сказала, доверить съемку интимных сцен никому кроме мужа. Меньшова похерили, Лёню Эйдлина доставили в Белый дом, сговорились о цене. («Ты ж, Лёня, понимаешь, я не могу платить тебе больше, чем получаю сам». – «Ты ж, Роня, понимаешь, у тебя есть всё, а у меня только Ирка».) И тут вся затея с треском лопнула – о ней пронюхала супруга президента Нэнси, устроившая скандал с битьём посуды.

И только один малоизвестный эпизод истории международных отношений напомним посвящённому о том, что был некогда грандиозный кинопроект с участием советской актрисы Ирины Муравьевой и президента Соединённых Штатов Америки Рональда Рейгана.

Когда Горбачёвы приехали к Рейгану на ранчо, он, как положено, провёл гостей по своим знаменитым свиноводникам, повозил на комбайне (дал Сергеичу порулить), всё такое. Без спешки, без галстуков. Раису Максимовну больше тянули розы, розы у Рейганов отменные, из ботсада МГУ. В урочный сумеречный час гостей ждала небольшая спецпрограмма. Хозяин усадил президента Советского Союза и его милую супругу в кресла, налил винца, затеплил свечи. И тут откуда-то с небес пролилась небесная, иначе не скажешь, минусовка. Президент США откашлял волнение, смахнул слезу. Наверно, мы могли бы в погоне за драматическим эффектом написать «смахнул непослушную слезу», а то и «смахнул набежавшую слезу», но зачем? – эта слезинка была ещё никакая, не вполне законная, превентивная, настоящие слёзы у нас впереди.

Музыка Сергея Никитина меж тем лилась и лилась. Рейган не уклонялся – глупо уклоняться от любви. Он легонько приобнял Раису Максимовну за плечи, с профессиональной точностью угадал момент своего вступления и запел неожиданно глубоким и уж отнюдь не старческим голосом:

Александра, Александра,
Этот город так же вечен,
Как извечен Russian question,
Russian question – What to do?
But in spite of circumstances
Moscow wind so nicely dances.
Look around, Alexandra,
Ash-tree seeds are waltzing too...

Михаил Сергеевич был растроган и наутро поставил свою подпись на семнадцати чистых листах, подсунутых ему Киссинджером и Бжезинским, которые троекратно побожились (почему-то на конституции Калмыкии), что впечатано будет всё по-честному.

СУНДУЧОК

Всем новым языкам предпочитает он немецкий, говоря, что ни в котором из них нет столько значительных слов, как в сём последнем. Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей литературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась ему довольно приятною. «Может быть, придёт такое время, – сказал он, – в которое мы будем учиться и русскому языку; но для этого надобно вам написать что-нибудь превосходное». Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Пригласили в Кремль. Так, мол, и так, через неделю вручение премий, ждем вас в Георгиевском зале. «А как туда?..» Вход через Спасские ворота, не забудьте взять паспорт. «Извините, Сухарев – это мой литературный псевдоним...» Никаких проблем. Только не опаздывайте.

Накануне звонит из гостиницы Кушнер. «Митя, ты как? Готовишься?» Готовлюсь, говорю, шею помыл. «Нет, Митя, ты всё шутишь, так нельзя». Вижу, волнуется. Ну, ты чего? «Я о деньгах. Нам же, наверно, деньги дадут, много денег. В чём понесём?»

Конкретно эта мысль меня не посещала. Моя премия – имени Окуджавы, она вообще последняя в списке. Откуда взяться деньгам? Пушкинская, может, и побольше, но вряд ли настолько, чтобы терзаться проблемой транспортировки. В крайности, говорю, положим за пазуху.

Наутро вылезая из метро, дождь, иду по Никольской, а на Красную площадь не пускают. Народ здесь, площадь там, она совершенно пустая. Вот тебе, бабушка, и вход через Спасские ворота.

Говорю милиционеру: мне бы в Кремль. Зачем? Позвали. Паспорт есть? Паспорт есть, только позвали меня, извините, как Сухарева, а по паспорту я...

Никаких проблем, проходите, пожалуйста.

Шажок, и я на территории безлюдного пространства. Брусчатка, брусчатка, брусчатка. Сюда бы да цокот копыт, но цокота нет, пусто, только вдали стынут часовые на посту номер один. Как теперь добраться до Спасских ворот? Как одному вступить в громаду государства?

И тут вдруг меня обволакивает нечто жилое – мерный, мирный, домашний бряк раздаётся. Гляжу, а это Кушнер собственной очкастой персоной выкатывает на площадь, улыбается белому свету. Он толкает перед собой опрятную алюминиевую тележку, на каких пенсионеры везут из универсама кефир и сдобу. А на тележке у него прикручен сундучок – весёленький такой, подстать самому Кушнеру. Колером канареечный (скорее даже в иволгу), скобы малиновые да кой-где накладочки

едкой зеленью. Господи, как хорошо. Давайте оба два ко мне под зонтик, втроём не боязно!

У нас на Алайском базаре такими сундучками торговали бухарские евреи. Почему-то принято было считать, что они запасаются этой утварью у макарьевских сундучников. Может, так и было когда-то, но потом, думаю, научились делать сами. (Бухарские евреи всегда питали склонность к рукоделию.)

Идем бодренько через всю Красную площадь. Кушнер беседует со мной, сундучок с брусчаткой, Спасская башня даёт направление беседам, все при деле.

Ближе к Спасской нас принимает основной поток приглашённых, он движется со стороны Ильинской. Тут узнаваем каждый второй. Обнимаемся с Войновичем, киваем закадычно Марине Неёловой и ещё одной артистке (лицо знакомое, фамилию никак не вспомнить) и под их прикрытием, как бы на равных, вступаем в кремлёвскую сень. Мой паспорт вопросов не вызывает, сундучок, можно сказать, тоже. «В нем что-нибудь есть?» Нет, говорит Кушнер, он совершенно пустой. А что, проблемы? «Никаких проблем, проходите, пожалуйста». Ни тебе рентгена, даже не постукали.

Проходим.

Президент России Владимир Владимирович Путин мне тоже очень понравился. Было и шампанское.

В обратном потоке идём уже со всеми вместе. Теперь в лицо узнаваем почти каждый, даже архитекторы. Сундучок погромыживает, Войнович похохатывает, Кушнер элегичен, Марина Неёлова и та, другая артистка, улыбаются нам как старым друзьям. Нормально.

Впереди милицейский кордон, а там и многолюдье родной Москвы. Сворачивай, быстро шепчет Кушнер, чеши к Лобному месту! Я и сам соображаю, что пора. Прощай, Марина Неёлова, прощай, другая муза любви, не остужай поэту спину улыбкой недопониманья.

А чего тут недопонимать? Это ж не государственная тайна, где и когда лауреатам деньги дают. Стой за чертой и бери голыми руками, как икрюную чавычу, прущую на нерест. А тут ещё сундучок, кинарейка-иволга, весь грохочет и блестит.

Лобное место круглое, кружить вокруг него ненакладно.

Кружим.

Похоже, что камень сюда везли из мячковских карьеров. Где ещё такой у нас возьмешь? Из него же возводили стены Белого города (архитектор Фёдор Конь). По названию камень белый, а на вид совершенно серый. В июле 41-го мы с двоюродной сестренкой Жанкой вместе со всей детворой расчищали под бомбоубежище заброшенную каменоломню неподалеку от Мячкова на Пахре.

От Спасских ворот подкатывает черный лимузин. «Есть проблемы?» – Никаких проблем! Интересуемся памятниками русской славы. А у вас? – «И у нас никаких».

Уезжают.

Митя, говорит Кушнер, мы должны его закопать.

Отличная мысль, говорит Войнович. Раз-два и закопали. Всего-то делов. Он пробует каблуком на крепость брусчатку, которая вокруг Лобного места: щас, щас закопаем, отличная мысль. (Это у Войновича такой юмор.)

Театр абсурда.

Я только подумал, даже не сказал, но Кушнер слышит. «Ты, Митя, считаешь, театр абсурда?»

Я чуть не плачу, кричу в голос: «А деньги?!»

«Ша. Деньги вынем».

Подключается Войнович: «А лопаты – где возьмём лопаты?»

Кушнер непроницаемо улыбается. Он весь, как сжатая пружина – сталь и шлак. Спокоен, собран, всеохватен, расчетлив, эргономичен. Суворовским глазомером прикидывает расстояние до Василия Блаженного. Там действительно газон! Покружим, говорит, ещё двадцать семь минут. (Зачем-то ему так надо, чтобы именно двадцать семь.) Гвозди бы делать!

Кружим ещё и ещё. Сундучок погромыхивает, Войнович приумолк, Кушнер стратегичен, я злюсь, отчасти даже дистанцируюсь, но больше восхищаюсь.

Дальше рассказывать неинтересно, всё так и было, как он смозговал. Бросок к Василию Блаженному, сундучок стремительно зарыт, деньги Кушнер успевает переложить в нагрудный холщовый мешочек. Их, к моему удовлетворению, не так уж много. И – короткими перебежками под липы, а там скоренько, скоренько, вдоль ГУМа к дальнему кордону, который на Никольской.

Уже на бегу краешком глаза замечаю, как к месту захоронения сундучка подлетает черный лимузин.

АМСТЕРДАМСКИЕ СТРАСТИ

Нигде не видал я таких мерзостных надписей, как в сих трактирах. «Для чего вы их не стираете?» – спросил я однажды у хозяйки. «Мне не случилось взглянуть на них, – отвечала она, – кто станет читать такой вздор?»

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Есть старый анекдот. Будто садятся гости за накрытый стол, а один говорит: «Выйду на минутку на луну посмотреть». Вернулся, а хозяйка ему назидательно (тут важно произнести громко и с еврейским распевом): «Теперь теми же руками, которыми смотрели на луну, будете братья за куриную ножку?» (Юмор в том, что руками – смотрели.)

Многие смеются. Александр Моисеевич Городницкий к этому анекдоту всегда имел амбивалентное отношение. Ну, допустим, говаривал он мне не раз, – допустим, поддержал чело-

век двумя, максимум тремя пальцами свой маленький обрезик, так что же, это менее гигиенично, чем всей горстью в затылке чесать? (Спору нет, резонно.)

Короче, прилетает Городницкий в Амстердам. У него там пересадка на пути из Бостона в Москву. В Америке неплохо аранжировалось, кое-что заработал, успел и сговориться наперёд. Перед вылетом из Бостона ещё раз, спокойствия ради, обговорил с контрагентами условия следующего визита. Теперь предстояло два часа с лишним ждать московского рейса. Городницкий сел в кресло и откинул голову. Почему-то вспомнился анекдот про «теми же руками». К чему бы это? – заинтересовался Городницкий и, будучи человеком естественнонаучного склада, быстро понял: хочется до ветру. Улыбнулся своей догадливости и пошел в туалет.

В туалете всё прошло спокойно до самого, можно сказать, конца. Городницкий почти уже вышел из кабинки, как вдруг его внимание привлёк текст, размашисто намалёванный на внутренней стороне дверцы: «Пока мы срём сионисты сговариваются». Городницкий вздрогнул. Надо знать Городницкого – это человек подвига, у него в автобиографии глубины океана, Таймыр, пороги Индигирки. А тут дрогнул, буквально затрясся: кто, как и, главное, зачем прознал о его бостонских договорённостях?

Он присел на краешке, не спуская джинсовых брюк, и рассмотрел ситуацию с разных сторон в условиях предельного спокойствия. Антисемитская провокация? Бесспорно. Но дальше-то, дальше что?

Всё ясно, сказал себе Городницкий, ко мне в Бостоне подвесили хвоста. Но как хвосту стало известно, что я зайду именно в эту кабинку? Или преступники успели расписать наперёд все кабинки Амстердама?

Городницкий застегнул пуговицу и заглянул в соседнюю кабинку. Там такой надписи не было, была другая: «Если ты послал зараза дёрни ручку унитаза». Почерк, однако, тот же!

Неопределенность усугублялась.

Разделив на всякий случай деньги на несколько порций и разложив их по разным карманам, Городницкий вышел из туалета. Первую же девицу в униформе попросил немедленно вызвать полицию.

Полицейские и впрямь явились немедленно. Пассажиров по одному вывели в буферную зону, обыскали. В туалете и прилегающем секторе заработали служебные собаки. Мусорными урнами занялись сапёры, Городницким – сам начальник, личность не так чтобы очень. Разделяя взгляд Городницкого на потенциальную опасность, исходящую от провокационного призыва, он чётко ограничивал свою задачу первой половиной текста – «пока мы срём». «Кто – мы?» – вопрошал полицейский чин и вращал глазами.

Городницкому такая стратегия не казалась безупречной.

В конечном счете Городницкий устал, и его уволок в свой кабинет небольшой толстячок, диспетчер пассажиропотоков. Он налил Городницкому кофе и сказал:

– Остались бы на пару дней в Амстердаме, а? Знаете что, господин Городницкий, – я вам отмечу билет, он не пропадет.

– Но меня ждет в Москве моя жена, поэт Анна Наль. Я чувствую, она уже достала из морозилки пачкупельменей и начала их размораживать.

– Пельмени хорошо, – облизнулся толстячок, – но и Амстердам имеет свои достоинства. Ведь вы знакомы с господином Сухаревым? Господин Сухарев сам лично отыскал по карте города музей Анны Франк. Вы слышали про эту девочку, Анну Франк? Господин Сухарев сидел на лавке у входа в музей и плакал, как ребёнок. Симптоматично, правда? У нас ведь в Амстердаме не бывает очередей, а тут всегда длинная очередь. Кого только нет – негры, японцы. Вот его и проняло. Говорят, у господина Сухарева в амстердамском гетто погиб близкий человек. Вам знакомо такое имя, Герман Иордан – профессор Герман Иордан?

– Всё-таки, – сказал Городницкий, – надо сначала разобраться с этой мерзкой надписью.

– А что уж в ней такого мерзкого? – быстро спросил толстячок. – Вон стоят долговязые парни, наверняка баскетболисты. Знаете, почему они тут стоят? Потому что сговорились. Да, сговорились играть с кем-то матч, теперь надо лететь. Это так естественно. Сговариваются о любовном свидании, о совместном бизнесе, о защите языка, о стратегическом партнёрстве. Да хотя бы просто лепить пельмени. Почему вы хотите лишить сионистов права сговариваться?

– Я имел в виду другое.

– Понимаю, – с готовностью согласился толстячок. – Вы имели в виду слово «срём», оно вас покорило. Но ведь и это правда: все срут. Все всегда срут. Просто вы, русские, срёте под себя, а мы – на других, вот и вся разница. Срём и сговариваемся, срём и сговариваемся, на этом держится мир. Так остаётесь? Городницкий остался.

УРЮЧИНА

Натура была образцом его; однако ж, как великий художник, умел он исправлять ее недостатки.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Всякий раз, когда Роджер Кролл укореняется на высоченном тренажере моечного блока, душа моя изнемогает. Сбежал бы, да куда из Галифакса сбежишь, океан кругом. Не профессорское это дело, мыть посуду! Чтобы я у себя в лаборатории драил стекло за всю ораву – да никогда в жизни!! Роджер моет.

Почему? Так ему комфортней, это видно по выражению лица. Не лицо, серенада.

Роджер так любит чистое стекло, вернее, такое значение придаёт чистоте растворов, что просто не в силах передоверить мытьё кому-нибудь другому. Даже Майклу, тем более – моечной машине. Про русских промолчим, эти вымоют – жди открытий.

Есть тут и другое: бумага и компьютер лишают мысль опоры, посуда – никогда.

Наконец, можно мыть, наблюдая. Моечный блок расположен так, что вся жизнь русской мафии оказывается на виду. Мафия это не только я и моя жена Алла, которая химичит на волонтерских началах. Это ещё и русские из отдела психологии – они к нам временами заглядывают. По делам или так, погулять.

Заходит Лёня, ябедничает: «Машка опять на ночь не вырубил криостат!» Уходит. Заходит Маша, жалуется: «Не знаю прямо, что делать: опять забыла выключить на ночь криостат, Лёнька злится». Алла успокаивает: «Да ладно, Машенька, бывает. Поежинаем вместе?»

Маша уходит. Роджер осторожно спрашивает: «Я правильно понимаю, что Машу зовут Маша? Тогда почему Леонид сказал Mashka? Почему Алла говорит Mashen'ka?» Поясняю: Маша забыла выключить прибор, стало быть, она плохая, Машка. Алла ей посочувствовала, назвала Машенькой – в смысле, всё равно любим, ты у нас хорошая, пропади он пропадом этот криостат.

Роджер напряженно думает, пытается усвоить. Не получается. Если Майкл плохо вымыл посуду, он всё равно Майкл. Если принёс пиццу на всех – тоже. Какой-то вздор, не может криостат или даже пицца повлиять на имя человека. В одном отдельно взятом сообщении по определению не может содержаться ничего, кроме содержания. Принёс пиццу – содержание. Хороший? – пожалуйста, тоже содержание, но содержание другого сообщения! Пицца отдельно, мухи отдельно, правильно? Таковы законы речи.

– Слушай, Роджер, наверно ты прав, но к нам это не относится, у нас муху запекают в пиццу.

– А ты, Димитри? В тебя тоже можно запечь, что ты хороший?

Я смущаюсь, выручает Алла:

– Митюша, Митенька, Митюшенька... Много возможностей. Обычно я зову его Митяйка («Да, мне кажется, я слышал»). Это не так хороший, как свой, что ли. А Митяйка со знаком плюс – Митяечка.

– А ты, Алуня, молчи, когда джигиты о науке беседуют.

Мне представляется, что можно объяснить гораздо проще.

– Мыслим-то мы все словами, – говорю я Роджеру, – только у вас, извини за банальность, слова, слова, слова, а у нас что ни словечко, то словцо. С изюминой ли, мухой, тараканом. С

подковыркой да прищуром. Другое отношение внутреннего мира к внешнему.

Вижу, Роджер совсем обмякает, выражение лица – как у потерявшегося эрдельтерьера.

Подхожу к проблеме с другого фланга.

– Вообще-то Машу зовут Мария, Маша это первое производное. Есть варианты: Маня, Мура, Муся. Все они, как и Мария, семантически нейтральны. Это всё равно что Роберт и Боб. До этого места в русском языке всё точно так же, как у вас в английском. Нейтральность у нас исчезает при дальнейших накрутках, ваш язык этого не умеет. В моём случае имя – Дмитрий, производные первого порядка – Митя, Дима, Митяй, они ещё почти не семантизированы. А вот высшие производные, которые назвала Алла, те уже релятивны, выражают отношение. Похоже на молекулу белка, где функциональную нагрузку несут конечные ветви.

– Fantastic! Это касается только собственных имён?

– Да нет же. Для вас каждая старая женщина это просто old woman, максимум little old lady. А мне априорно не известно, как называется та или иная старая женщина. Вот определяю, прищурясь, своё к ней отношение, и буду знать, старуха она или старушка. А может оказаться старушенцией. Другая цивилизация. Могу сказать: американцев попросили из Вьетнама. А могу и так: америкашек попросили из Вьетнама. То же, да не то же.

Роджер сражён. Дрянных американцев попросили из Вьетнама. Ха-ха! А можешь сказать: дрянных русских попросили из Прибалтики?

Могу.

Оказывается, не могу, не получается. Почему, сам не знаю, – язык сопротивляется. Не могу, и всё тут.

Вот!! Я попался. Он же чувствовал, что мы его разыгрываем, теперь убедился.

Через минуту удовлетворение испаряется. Смотрит на меня с нарастающим напряжением. Ведь сам слышал – Машка, Машенька...

Уходит домой переваривать.

Ночью звонок.

– Имена исторических фигур у вас тоже семантически окрашены?

– Why not? Хрущёв в устах народа был Никитушка. То есть, добр, но дурковат. Распутин – Гришка, его только так и звали. Вроде бы, всесилен, ан нет, Гришка, большего не заслужил. Стенька, Емелька. Та же история с Васькой Сталиным – пьяница, непутёвый человек, так что по отчеству ни-ни, хоть и генерал. Даже матушка-императрица у нас Катька – слаба на передок. А вот Петра Алексеевича без отчества назвать невозможно. Не потому что государь, а потому что работяга – всех в гроб загонит, но и себя тоже. Михаил Илларионович, Фёдор Михайлович, Пётр Ильич, Антон Павлович. Только так. Назвать Достоевского Фёдором или Чехова Антоном язык не повернётся.

– А что такого? Мы говорим: Антон Чекофф, нормально.

– Так вы же... Поэзию свою кто просрал? Вы, милый, вы, да немцы, да французы. А ведь была, да ещё какая. Ладно, чего там, иди спи и мне не мешай. Лучше подумай, почему гориллу легко обучить английскому и невозможно русскому.

Утром является раньше всех. Лицо отёчное.

– Слушай, Димитри! (Переходит на шёпот) Ты же знаешь: оттого, что японцы пишут иероглифами, их мозг развивается существенно иначе, чем наш.

– И что?

– А то. Два сообщения в одной упаковке – это помощнее иероглифа. Соображай, Димитри. Потянет на Нобелевскую.

Роджер созванивается с клиником нервных болезней и мы без хлопот получаем сеансы на компьютерном томографе. Дороговато, но грант выдержит. Носителей русской речи находим среди своих – Алла, Маша, Леся, стажёры-ихтиологи. Много нам не надо. Контроль – носители английского, с ними ещё проще, никто не отказывается.

Схема эксперимента напрашивается сама собой. Испытуемый читает вслух Александра Сергеевича.

Как весенней тёплою порою
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего
Выходила медведиха
Со милыми детушками медвежатами
Погулять, посмотреть, себя показать...

Братцы мои, как читала Леся Шуба! Я просто заслушался. Поначалу ровненько, ровненько, будто майская травка на той самой опушке под той самой белой берёзою, а потом, когда отколь ни возьмись мужик с рогатиной, Лесин голос ушел в тёмную глубину, и воочию стало видно, какой чудесной будет Леся матерью.

Ах вы детушки, медвежатушки,
Перестаньте играть, валяться,
Боротися, кувыркаться.
Уж как знать на нас мужик идёт.
Становитесь, хоронитесь за меня.

Дальше больше, сами знаете – «А мужик-от он догадлив был...» С этой строки Лесю как морозом сковало.

Он сажал в неё рогатину
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю,
А мужик-то ей брюхо порол,
Брюхо порол да шкуру сымал,
Малых медвежатушек в мешок покпал,
А покпавши-то домой пошел.

Самого меня почему-то особенно достают те строки, в которых перечислены «звери большие и зверишки мѣньшие», что приходят навестить медведя, вдовца горемычного. Я повернулся к Роджеру за сочувствием, но встречных слѣз не нашѣл – Роджер широко раскрытыми глазами впился в экран. Повидимому, там вырисовывалось нечто грандиозное. Увы, понимать Лесино чтение профессору Кроллу не было дано.

Своѣ небольшое удовольствие он всё же поимел, слушая контрольных испытуемых, которые с выражением декламировали статью Бжезинского «В ногу с планетой». В первом разделе статьи (а читать мы просили именно его) автор, если мне не изменяет память, сравнивает советскую однопартийную демократию с американской двухпартийной и утверждает, что, несмотря на кажущиеся различия, американская демократичней.

Ещё до начала эксперимента нам было ясно, что если что-нибудь обнаружится, то, скорее всего, в задней части височной доли левого полушария, то есть в речевой области. Там и искали.

Различия обнаружились сразу.

У контрольных испытуемых вся вербальная поверхность мозга была покрыта лентовидными членистыми образованиями сине-зеленого оттенка. Выглядело это примерно так, как описывает Городницкий увиденное сквозь стекло иллюминатора на дне океана. У чтецов «Медведихи», напротив, активация простиралась вглубь коры и даже в подкорковую зону, что явилось в некотором роде сенсацией. Позже мы проконсультировали свои картинки у клиницистов, и консенсус определил локализацию активного участка следующим образом: *the temporal operculum adjacent to the transverse temporal (Heschl) gyrus posterior to the transverse temporal sulcus, namely, the anterior aspect of the left planum temporale*. В этом месте отчетливо просматривалась овальная структура размером с порядочную урючину. У нас на Алайском базаре таким урюком торговал пожилой таджик, получавший товар непосредственно из Исфары. Его урюк светился изнутри, переливаясь всеми оттенками золота. «Урючин знойный сок прозрачен и упруг...» О вкусе нечего и говорить.

Я обязан пояснить, что на самом деле не было никаких цветов – ни урючного, ни сине-зеленого. Мы имели дело с так называемым псевдоокрашиванием. Современные инструментальные методы поручают компьютеру выражать цветом некоторую количественную характеристику объекта. В нашем случае машина всего-навсего оценивала степень активации энергетического метаболизма. Но смотрелась наша псевдоурючина безумно красиво. Этого золотистого свечения не забыть вовек. Особенно роскошным оно было у Леси Шубы (вклад украинской мовы?).

Позади последний сеанс, в нашей коллекции шестнадцать картинок. Подходящего стола нет, мы раскладываем их на полу – восемь по левую руку (урючина), восемь по правую (синезеленый контроль).

«Mityayechka», – шепчет Роджер потрясѣнно.

Публиковать не стали. Как вам объяснить? Об открытии такого уровня надо сообщать в журнале с высоким рейтингом. Но если сунуться в Nature, они наверняка потребуют, чтобы мы сравнили однояйцовых близнецов, а легко ли найти подходящие пары? Ведь надо, чтобы в каждой паре только один из близнецов вырос в лоне русской речи. Искать таких не оставалось ни времени, ни сил. Ни роджеровских денег, откровенно говоря.

РУССКИЙ БУНТ

В ту самую минуту, когда священник читал последнюю молитву о вечном успокоении души его, умерший поднял голову и закричал страшным голосом.

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Мало кто теперь помнит, что приказ об отмене буквы «ё» отдал в своё время господин Бжезинский. За этим стояла личная драма, детали которой знал некто Полуянов, мелькавший какое-то время в Галифаксе. Последствия драмы были, по-видимому, настолько глубокими, что господин Бжезинский навсегда остался девственником, что позволило ему направить весь ликвор своего организма на борьбу с русской речью.

Низвержение «ё» было первой акцией ратоборца, попутно низверг Югославию. Спросят: при чём тут Югославия? Общепринятый ответ: тренировочный полигон. Конечно, и это тоже, но надо принять во внимание особое языковое чутьё нашего воителя.

Косово – тут несколько иное, тут наш герой впал в спортивный азарт: смогу ли так навесить на уши лапшу, что в глазах всего мира террористы и жертвы поменяются местами? Смог. Выполнив цирковой номер, Бжезинский понял, что дальше можно буквально всё – даже бомбы, даже гаагское судилище во главе с «этой проституткой». (Последние слова закавычены, чтобы было понятно, что это не мы квалифицируем проституткой почтенную, быть может, даму.)

Между прочим, справиться с «ё» было не так просто, как может показаться. Сам Хрущёв выражал обеспокоенность – ему запрет на эту букву грозил искажением родовой фамилии. Бжезинский держал себя хладнокровно, советскому послу нравоучительно заметил: «У нас нет никакого ё, стало быть, и вам ни к чему. Пора в ногу с планетой. Не сдохнет ваш Хрущёв». Пришлось умыться. В планетарном аспекте Хрущёв стал Кручёвым, Горбачёв – Горбачевым (Михалсергеич уже и не рыпался).

Вскоре Бжезинскому доложили, что русские начинают забывать, как какое слово произносится. То ли береста – то ли берёста, то ли крестная – то ли крёстная, то ли безнадежно – то ли безнадёжно. Бжезинский доклад выслушал, рыгнул и неожиданно для прихлебателей добавил: то ли луковичка – то ли

репка. Прохрипел, итожа: «Шаг влево, шаг вправо – стрелять в затылок».

На очередь поставил отчество: «У нас нет, стало быть, им тоже ни к чему». Кто-то из жополизов подсунулся с идеей объявить русский одним из еврейских языков – тогда, дескать, отчество отвалится само собой. Выслушав, погоготал коротенечко и тут же развил дельную мысль: «На католическую масленицу падежи запрещу, начиная с дательного. Вы отменю. С кириллицей пора кончать – узбеки, потом хохлы и пошло-поехало. Почаще надо мордой об стол».

Запрет на отчество объявили в одночасье. Стон прошел по святой Руси. Ветераны Великой Отечественной из города Беэр-Шева скинулись на делегацию, ходоки дождались выезда Бжезинского из офиса и с криками: «Помилосердствуй, батюшка!» ринулись за машиной. Злодей рассеял стариков слезоточивым газом, заодно велел отменить Великую Отечественную: вторая мировая, и точка.

Изю всякого угла вселенским мором повеяло. Говорят – не угадаешь, что по-русски. «Димитри, мы ждем последних сообщений. Димитри?» «Да, Димитри, я вас слышу. Димитри?» «Видимо, совет НАТО уже заседает. Димитри?» «Да, Димитри, вы правы, он уже. Димитри?» Один другого втрое моложе, а – «Димитри». Сверстники – тоже «Димитри». Нет чтобы почеловечески Митяем или хоть Димою на худой конец. И напев у каждого какой-то бесстыжий, будто эмигранты в пятом поколении, евроньюс, немецкая волна из Кёльна. Неужели нормальной речи сроду не слышали?

А ему того и надо.

Всё у злодея получалось, жить бы да радоваться, и вдруг бунт.

Заболевает госпожа Горбачёва, рак крови. Поначалу отражаем в должной форме, как велено: Раиса лежит там-то, Михаил находится при ней. Но не поддаётся лечению проклятая болезнь, и один за другим начинаем срываться – называем больную по имени-отчеству. Поначалу шёпотом. Назовёшь Максимовой и человеком себя чувствуешь – малость полегче. (Нам, не ей.) Тут же окрик: кто разрешал?! На сутки-другие дисциплина восстановлена, опять Раиса. И опять наш брат за своё.

Слепому видно: сам вот-вот свалится. Нелюди мы, что ли, чтобы солдафонскими кликухами? Доченька отцу опору даёт, идти помогает, тот, ясное дело, старается выглядеть молодцом, да где уж там. Держись, Михалсергеич, мы с тобой!

И вот вам финал – на первой полосе крупным шрифтом: «РАИСА МАКСИМОВНА, ПРОСТИТЕ НАС!».

Бессмысленность бунта и его, прямо скажем, беспощадность подкосили злодея. Хотел стреляться, еле отпоили сулемой. Очухавшись, вызвал всю шоблу к ноге. «Кто зачинщик?! Зачинщик кто!? Ты, пся крев?» Независимая российская журналистика вздыхала, сопела, топталась, влажно прищёпывала губами.

Тут произошло неприличное – один знатный телевизионщик (имени, ладно уж, не назову) заклацал вдруг зубами. (Такое иногда наблюдается у кобелей охотничьих пород.) Все головы разом оборотились к нему, а сам он, сияясь победить зубовный лязг, правой рукой сжимал подбородок, левою давил на усы. В итоге получалось прищёлкивание на манер испанских кастаньет, однако погромче. Бжезинский наблюдал не без интереса, произнёс уважительно: «Орёл!».

«Братцы, – шепнул кто-то из незначащих, – сдадим отчество, сожрёт отечество».

Слава Богу, не расслышал. Пригрозил: «Я вам покажу субсидии!» Распорядился: Третьякова снять, независимое телевидение укрепить Савелием, перебросив означенного с «Радио Свобода».

Помаленьку устаканилось.

КЕСАРЬ

Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как науки соединяют людей, живущих на севере и юге, как они без личного знакомства любят, уважают друг друга. Что ни говорят мизософы, а науки – святое дело!

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

В ещё не очень давние времена жил у нас небольшой такой серый котик по имени Кесарь. Природа наделила Кесаря добрым нравом и завидной вменяемостью. Все домашние, включая детей и собаку Кабирию, известную также как «собачка Тяба», уважали Кесаря за дружелюбие и спокойный, неистеричный характер.

Мы с Алуней неумело обживали квартиру, которую до нас занимал Юрий Давыдович Левитанский. В память о выдающемся жильце стены дышали поэзией. А мебель, которая, по видимому, тоже дышала поэзией, Левитанский увёз с собой на новую квартиру.

В один прекрасный день Визбор кликнул клич, и к нам, безмебельным, явились его друзья по «Спартак», покорители горных вершин. Сошлись на зов и барды. Двое суток певцы и альпинисты собирали гарнитур из разрозненных эстонских досок, купленных по случаю опять же Визбором. На третьи сутки отмечали завершение трудового подвига. Мясо, тушёное с картофелем, имело успех, который, однако, оспаривали напитки. Котик был приветлив со всеми, но льнул только к Дулову.

А через некоторое время Кесарь вдруг пропал. Искали всей семьёй по ближним и дальним околоткам, но котика и след простыл. Куда провалился? Поговаривали, что он не раз делился мечтой учиться в Кембридже на пожарника. С кем делился? Разве что с Тябой. Всерьёз этих амбиций никто не принимал.

Прошло сколько-то лет. Дулов едет в Германию, где при еврейской общине города Марбург возник клуб поклонников главного дуловского шедевра «Оёёй, дъя нещасная девчоночка, оёёй, дъзамуж вышла без любви». Вот проходит он в Марбурге мимо пожарной каланчи, а под ней на приступочке лежит Кесарь, весь такой поджарый, ухоженный. Бурные объятия, мурр-мурр и всё такое.

Оказалось, добрался-таки котяшка до Кембриджа. Не перепутал, попал именно в тот Кембридж, где Кембриджский университет. (Есть другой Кембридж – в Америке под Бостоном, так там университет называется Гарвардским. В Гарварде на спецотделении для котов требуют заверенную райкомом анкету, так что Кесаря с его пятым пунктом всё равно бы не взяли. Да и учат там не на пожарника, а на в ногу с планетой.)

Программу английского Кембриджа наш котяшка осваивал неплохо, даже получил небольшую награду, что-то вроде медальки за прилежание. На исходе третьего семестра его, однако, отчислили. Причиной стал реферат по философии, в котором Кесарь допустил какие-то вольности, над чем-то насмеялся, над чем в Англии насмеяться не положено. (Я, кстати, согласен, что философия не такое место, где надо демонстрировать своё остроумие.) Короче, Англия Кесарю улыбнулась, и закончил он образование в Марбурге, куда направил свои стопы по следам Михайлы Васильевича и Бориса Леонидовича. Получив диплом, там же в Марбурге нашел работу по специальности, что оказалось немалым везением.

В знак давней приязни Кесарь провел с Дуловым несколько часов, приобщил к старине. «Здесь жил Мартин Лютер. Здесь братья Гримм». Мраморная дощечка умалчивала о том, что Мартин Лютер, если и «жил» в Марбурге, то всего каких-то два-три дня. Забрались на самую верхотуру, котяшка показал Дулову домик, в котором проживал студент Ломоносов. Дулов поразился, узнав, что хозяева всё те же и по-прежнему берут на постой студентов, а музея устраивать не стали.

Завершением маршрута было кафе, привлекательное для русских тем, что в нём своими знаменитыми марбургскими терзаниями терзался юный Пастернак. Каждый русский из более-менее соображающих считает нужным выпить в этом кафе чашечку фирменного кофе. Булат Шалвович отметил, за ним Юлий Черсаныч, а там и я.

– Дядя Дулов, ты гой?

Кот пристально смотрел Дулову в глаза. Дулов отвёл взгляд – он не понял вопроса и не знал ответа.

Грех или не грех прикинуться евреем ради постижения вершин любомудрия? Актуальный для котика вопрос уже пытался решить Боря Пастернак – и не смог. Боря приехал в Марбург учиться на философа, а стал поэтом, ибо у профессора философии, Бориного кумира, был бзик – он брал в ученики исключительно евреев. Даже процентной нормы не имел! А на карьере

композитора Боря успел поставить крест. Наш котька очень это переживал, читал и перечитывал Борины письма папе Пастернаку, художнику: ведь мы же не евреи, правда, папа? Что делать?

Кот терзался, но не знал, как объяснить это Дулову.

Дулов решил, что раз так, надо и ему посидеть в знаменитом кафе – выпить фирменного кофе, угостить Кесаря пломбиром. Но дама в кружавчиках вежливо сказала: «Котам нельзя. С котами нельзя».

Прощаясь, Дулов пригласил Кесаря на презентацию своего хита «Оёей, дъя нещасная девчоночка, оёей, дъзамуж вышла без любви». Котька приглашение отклонил, сославшись на вечернее дежурство.

Подумал: «Не сердись, брат Дулов, я воспитан в доме, где стены и доски дышат поэзией. Каждый выбирает по себе».

Озвучивать не стал.

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ОСТРОВОВ ПАНБАРДИИ

«Угодно ли вам видеть кишки святого Бонифация, которые хранятся в церкви святого Иоанна?» – спросил у меня с важным видом наёмный слуга. – «Нет, друг мой! – отвечал я. – Хотя святой Бонифаций был добрый человек и обратил в христианство баварцев, однако ж кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи меня лучше за город».

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Вот приходит к Никитину записка: «Сергей Яковлевич, вы еврей?» Никитин прочитал и говорит: «А вы почему спрашиваете? Потому что я плохо выгляжу или потому что такой талантливый?»

А было это именно что за городом – на фестивальной поляне под Филадельфией, где всегда в ноябре проходит мемориал Кузьмы Богачёва. Там на помосте рядом с Никитиным стояли Дулов и Городницкий. Дулов хохотнул, а Городницкий насупился и в душе осудил Никитина за вялость отпора. Ведь явная же антисемитская провокация. Приди такая записка ко мне, думал Городницкий, уж я отбрею.

Он был очень возбужден необходимостью дать отповедь и, чтобы не расслабляться, написал записку соответствующего содержания и положил в карман своих джинсовых брюк.

Надо сказать, что кроме этой пары брюк у Городницкого имеется ещё одна, пожиже. В ней он и выступал долгое время после того эпизода.

Настала пора, и на альтернативном (весеннем) мемориале Кузьмы Богачёва под Мюнхеном Городницкий снова вышел на сцену в тех самых джинсах. Там на поляне послушать бардов собралась несметная тьма соотечественников. Всем им, контингентным беженцам, судя по социальному статусу, повезло

найти в Германии убежище от еврейских погромов, что приятно само по себе. В конце своего выступления Городницкий засунул руку в карман, чтобы почесать тыльную сторону бедра, которая слегка припотела. В кармане оказался клочок бумаги. Городницкий принял его за записку, пришедшую с поляны. Он поднес бумажку к глазам и прочитал в микрофон: «Александр Моисеевич, вы еврей?»

Почерк показался знакомым, тем не менее, Городницкий не растерялся. «А вы почему спрашиваете? Потому что я так похож на Никитина?»

И довольный ответом, но всё-таки огорчённый упорством антисемитских провокаций, ушел за загородку, где долго и сокрушенно качал головой, запивая баварским квасом самого превосходного качества, – ведь честному немцу и в голову не придёт готовить медовый квас на балованном меду.

Ещё рассказывают, что Юлий Черсанович Ким, находясь в городе Беэр-Шева по приглашению союза русскоязычных еврейских писателей (в смысле бабушка по матери), сочинил еврейскую народную песню. Александр Моисеевич Городницкий, который находился в том же городе в качестве гостя русскоязычных русских писателей (бабушка по отцу), всю ночь не мог решить, как ему отнестись к нетривиальному поступку Кима, – расценить как антисемитскую провокацию то ли как выражение братской солидарности. Но ответить было нужно, и Городницкий нашел простой и мудрый выход – сочинил корейскую народную песню.

Назавтра у них был совместный вечер в городе, извините, Афуле, куда их пригласил союз еврейскоязычных русских писателей (бабушка по дедушке). В первом отделении выступал Ким. Он спел еврейскую народную песню. Публика приняла её радушно, потому что песня хорошо гармонировала с внешним обликом Юлия Черсанюча. В антракте Городницкий метался по артистической, не видя гармоничного выхода для своего внешнего облика. «А ты попей корейского соуса», – посоветовал другу Ким. Городницкий благодарно прислушался к доброму совету. Выпив пару бутылок, он почувствовал себя намного твёрже. После третьей решительно вышел на сцену. Премьера прошла нормально.

А про попугая слышали? Наверняка случай из жизни, хоть выдают за анекдот.

Будто Дмитрий Антонович Сухарев решил помыться. Ну, под Старый Новый год. В кои-то веки принял такое оригинальное решение, а воды нет. Ни горячей, ни холодной. У них на Бакунинской то и дело отключают. А он уже успел намылиться.

Теперь представьте картину: сидит в пустой ванне поэт и большой учёный. То ли учёный и большой поэт, не помню точно. Сидит весь намыленный и думает: what to do?

Вдруг звонок.

– Кто там?

– Александр Городницкий и его жена поэт Анна Наль. Пришёл аранжировать.

А это был Александр Городницкий и его жена поэт Анна Наль. Аранжировать пришёл.

Сухарев говорит:

– Кто там? Говорите громче, у меня в ухе банан.

А у него всегда в ухе банан. Даже два банана – в правом и в левом. Вот он и говорит:

– Кто там?

Что у них было дальше, неизвестно, но как-то так получилось, что Сухарев уже на лестничной площадке, а в сухой ванне сидит тот же Городницкий. Потому что он ведь у нас тоже поэт и большой учёный, в этом вся соль! То ли ученый и большой поэт, неважно. Сидит, весь в шубе, а воды всё равно нет, даже не капает, смех.

Городницкий кричит:

– Кто там?

Сухарев с лестницы громко отвечает:

– Дмитрий Сухарев и его жена поэт Анна Наль. Пришёл аранжировать.

А он весь голый, в мыле, смех.

Похожая история произошла в марте не скажу точно какого года в Иерусалиме. Там у Городницкого был творческий вечер по приглашению союза еврейскоязычных еврейских писателей (бабушка по бабушке). Не успел начать, как из зала раздался дерзкий женский голос:

– Александр Моисеевич, ну сознайтесь, ведь это же вы! вы! вы! сочинили песню «Одесса-мама»!

На сей раз Городницкий почему-то растерялся. Долго не мог собраться с мыслями, потирал правым ботинком левую джинсовую штанину. Наконец тихо сказал: «Сочиняет народ».

И покраснелся.

НА КУХНЕ

Что может быть прелестнее гармонии человеческих голосов? Это непосредственный орган божественной души! Декарт, который всех животных, кроме человека, хотел признать машинами, не мог слушать соловьёв без досады: ему казалось, что нежная филомела, трогая душу, опровергает его систему, а система, как известно, всегда дороже философу!

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Первого мая 2003 года каждому минуло семьдесят два с половиной года, в сумме сто сорок пять. Не так чтобы кругло, но до ста пятидесяти ещё надо дожить, не каждый умеет.

С утра послышалась музыка. Со скрипом выползли на кухню и, устремив глаза в просвет между домами, смотрели на Баку-

нинскую, думая о жизни человеческой. На улице наблюдалось оживление, в руках иных прохожих просматривались цветы. Незнатная дата, а всё ж аукнулась. Хороший у нас народ, отзывчивый.

И на кухоньке тоже хорошо. Тесно – пускай, а всё не та коммунальная на восемь керосинок. Хотя и там неплохо обиталось, есть что вспомнить, добром помянуть. Жили-были, подкармливали Кузьму, горемыку бесталанного, а Кузьма душевно пел. Да вот присесть на той кухне было не на что, всё стоя, а тут – два стула, табуретка. Славно.

На стульях сами, табуретка про запас для Левитанского. Левитанский иногда является, если засидеться за полночь и дожидаться, чтобы домашние утихомирились. Явится – и мигом на табуретку, на манер старого Гамлета. Сидит тихо, улыбается почти блаженно, вроде как слушает детские голоса. У Левитанского в этих стенах детки родились, трое, все девочки.

А то вдруг вздохнёт и скажет: «Селёdochка». И молчит дальше. Что селёdochка, зачем? Селёdochку поставь – не тронет. Может, ещё разговорится, но что-то сомнительно, селёdochка в Лету давно уплыла, как сказано в том несгоревшем манускрипте.

Сами вроде Левитанского – не больно разговорчивы. Сидят, помалкивают, а то мычат на два голоса что-нибудь из классики. Бывает что и беседуют о том о сём. Сахаров всё больше про зарплату, Сухарев про гонорары. Дети, псы, коты стаями ползают под столом, трутся об ноги, перетаскивают с места на место всяческие миски, издавая мелкий бряк и визг, а наши два Антоныча слушают вполуха да попивают кофеёк.

Если же кофия в доме нет, начинается ругань, иногда с лексикой, хоть Дулова зови. Сахаров ужас как ругает эту власть, что при ней ему, большому русскому ученому, платят меньше чем младшему сержанту паршивой милиции. Сухарев про власть ни-ни, а ругает всё больше бардов, что петь поют, а процента не отстёгивают. Я бы, кричит, уже миллионером был. Ладно, кричит, мне, я своих прокормлю, так ведь и Левитанскому не отстёгивают, а у Левитанского сиротки остались, три девочки. Не стыдно у сирот воровать? Пора, кричит, пора учинить небольшой еврейский погром. А то, кричит, ваще перееду в Иерусалим, как те, кто поумней. Всё, кричит, хватит, отмучился, бумажку подписал и прочь сомненья, родное еврейское государство хрен даст меня в обиду.

Входит в азарт.

– Там, – кричит, – настоящие люди живут, чтут своих погибших, беспрестанно твердят еврейский урок всему миру!

– И с того имеют небольшой еврейский доходец, – вяло констатирует Сахаров.

– Антисемит! Гой пархатый! Пускай не без гешефта, но ведь твердят же, твердят! А здесь? Пустыня!! Хотя бы кто когда помянул безвинно загубленные души! Миллионы загубленных душ, полстраны! Полстраны, с детишками, старухами, из тёп-

лых изб да в товарняк, да в полярную ночь. Прикладами – шнэль, шнэль, жидовьё, кулацкие морды, высыпай в снежную пустыню, пургу-мерзлоту!

– Шнэль, шнэль, жидовьё, это про другое, – вяло поправляет Сахаров. – Это когда в топку, в Освенцим. Встречный маршрут.

– А я что говорю? Я и говорю: шнэль, шнэль, кулачьё, жидовские морды! – бушует Сухарев. – И всем до фонаря! Свинская, свинская страна!

– Давай без истерики. Много в свиньях понимаешь, русофобская морда. Свинья, если хочешь знать, самое трагическое животное. Корова хоть по травке иногда побегает, на солнышко полюбуется. А что за жизнь у свиньи? Темень, вонища беспросветная и жратва подстать – свинья, дескать, всё сожрёт. Потом ножиком поперёк горла. Кто ещё у нас такой?

Спросил – не ответил. А чего отвечать, отгадка и так обоим известна: такой у нас землепашец, русская свинья, что отечеству опора. Да и нету больше той опоры, погублена, остатний корешок вот-вот произведут.

Помнишь, Паша рассказывал Якушкин: приду бывало в деревню, бабы в поле, дела нет, сяду послушать девчушку лет двенадцати да и запишу полтетради. Полсотни первостатейных песен, свадебных! Цивилизация!

– Уеду, – тянет Сухарев своё. – Кстати, не знаешь, кто там у нас считается евреем?

Опять двадцать пять. Сахаров пожимает плечами.

Обзваниваем Москву и ближнее Подмосковье – внятную справку никто из друзей дать не может. Обзваниваем Ближний Восток, включая часть Дальнего, – голоса привычно разделяются: четырнадцать за бабушку по бабушке, пятнадцать за бабушку по дедушке. Дулов упорно утверждает, что евреем считается каждый, у кого в советском паспорте было написано «русский». Ким – что его матушка столбовая дворянка. Губерман – что он гордится. Обзваниваем ихних жён, получается ещё самородней.

Но это же не академический вопрос, надо, всё-таки, наконец определиться, кто кому должен морду бить в случае, не приведи Господь, погрома. С кем вы, мастера культуры? Вот и мистер Бжезинский требует, чтобы разобрались и приступали к делу, а то он задекларировал, что в США на ПМЖ впускаются исключительно жертвы еврейских погромов, а про погромы уже чуть не сто лет ничего не слышно, какой-то нонсенс. В органах ропот, надоело клеить липу, впускать кого попало. Понаехал, говорят, на халяву сплошной партхозактив, путается в ногах у еврейского бизнеса, работать мешает. Ворчат органы, даёшь, говорят, настоящее мордобитие.

Да ладно уж, терпите. Это редко так бывает, чтобы вовсе не было никакого кофию. А за кофием, спасибо ему, высказываются всё больше гуманитарные проекты, без рукоприкладства. Сахаров мечтает, как научит осьминога разговаривать. Не го-

лосом, голосом не получится, анатомия не позволяет, но жестами – отчего же? Говорят же глухонемые. Жестами – отчего сердечному другу не побалакать со мною о том о сём? На худой конец, можно по-английски. Конечности гибкие, мозг порядочный, моторные центры дай бог каждому, глаза наиумнейшие, посмотрит – рублём подарит. Не исключено, что и русскому научится – хотя бы в пределах Садового кольца.

Сухарев мечтает про себя или даже вслух, как напишет веночек сонетов. Зачин обычно такой:

– Вот я тебя, Андрей Дмитрич, хочу спросить.

– Зови меня лучше Антонычем, – терпеливо поправляет Сахаров.

– Да как угодно, хоть Антон Палычем! Хочу спросить: сколько в этом самом венке должно быть сонетов?

Опять двадцать пять. Уже обсуждали и друзей обзванивали. Кто говорит четырнадцать, кто пятнадцать, Дулов уверен, что двенадцать. А Кушнер Александр Семёнович крепко задумался, потом сказал: «Иннокентий Фёдорович назвал бы точное число». Жёны дали и вовсе поразительный разброс – от семи до семнадцати. Среднее арифметическое получилось тринадцать, поэт Анна Наль попала точно в медиану.

Отсутствие консенсуса Сухарева не охлаждает. Напротив – дооснастил исходную идею: «Вот напишу веночек, и мне за него отвалят. Квартиру Анютке купим, разгрузимся».

– Это какой же дурак отвалит? – спрашивает бывало Сахаров.

– Пока не знаю. Надо, чтобы учинили специальную премию. Чтобы ее давали только за веночек сонетов.

– Это какой же дурак учинит такую премию?

Сухарев молчит, идея у него в процессе разработки. Конъюнктура недурна, прецедентов сколько угодно. Премия Балмонта, премия Белого, премия Балтрушайтиса. Почему бы не подсказать кому надо, что у нас до сих пор нет ежегодной премии имени Брюсова. Ведь это же стыд-позор для русской культуры!! А Брюсов, говорят, умел писать веночки сонетов. Вот тебе и логическая цепь.

– Ну, не знаю. – Сахаров немного проникается. – Хорошо, дадут тебе премию Брюсова, а кому давать на следующий год? Какой ещё дурак станет веночек плести?

– Наплетут! Была бы премия, охотники найдутся.

Надоело из пустого в порожнее. То ли дело про говорящего осьминога. Сахаров уже третий раз пишет заявку на грант. В ней основательность проекта доказывается более чем убедительно. Сочными, как принято, красками рисует перспективы, которые откроются перед когнитивными науками. О возможном военном аспекте осторожно умалчивает.

О чём ещё помалкивает Сахаров, так это о том, что осьминог для него всего лишь стартовая ступенечка, а в уме держит всеобщее взаимопонимание тварей земных, когда, к примеру, окунёк сможет рассказать рыбаку, что он, рыбка, чувствует, ко-

гда стальной крючок впивается в губу. Да что рыбка, пускай и дождевой червяк, люмбрикус террестрис, поделится впечатлением, каково ему работать наживкой. И муха тоже.

Да, и муха. С мухой особая загвоздка. Берём муху, отрываем, к примеру, крылышки, а она как ни в чём не бывало чистит лапками усы. Это же величайшая загадка природы! Не больно, что ли? Но так быть не может, боль фундаментальней, чем ДНК. Или это как у птиц – *displaced activity*? Проблема исключительной важности! Ответить на вопрос может только сама муха. Пора, безотлагательно пора прорываться к прямой коммуникации.

Помалкивает Антоныч, думу думает. А всё равно Антонычу все его тайные мысли известны, своего не проведёшь.

Всем бы тварям земным так чутя друг друга.

А что, дело времени.

ВИТ ЗРИМЫЙ, ВИТ НЕЗРИМЫЙ

*О милые узы отечества, родства и дружбы! Я
вас чувствую, несмотря на отдаление, – чув-
ствую и лобызаю с нежностью!*

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

«Повитаем?» – спросит Визбор. «Повитаем!» – враз откликнется Левитанский. С Визбором хоть на край того света, а витать одному – только квоту зря просаживать.

Квоты мизерные, не навитаешься. Чужую, даже если пропадает, использовать не моги, укладывайся в свою, а своя вон какая: вит незримый два раза в три лунных месяца, вит зримый и того реже. Притом строжайше запрещено являться зримо к родным и близким – за одну только прошлую весну насчитали двадцать три перепуга с летальным исходом. При большом везении и примерном поведении можно получить дополнительный вит, но и законный отнять могут, иные души круглый год кукуют на приколе, смотря какой проступок.

С Визбором почему интересней – у него всегда в запасе программа полёта, а то и несколько на выбор. Всех знает, во всём ориентирован, нашёл способ проникать в Интернет. Голь на выдумки! Обожает незримо витать в небольшой компании, чаще всего с Левитанским. Почему с ним? Так это каждому понятно – принцип дополнительности. Визбор у нас лидер, Левитанский хвост; Визбор хитроумен, Левитанский прост; Визбор душа беседы, Левитанский мастер выслушивать, получается гармония.

Иное дело зримый вит. Это для Визбора святое, умолкает за неделю, чему-то хмурится, стартует скрытно, где воплощается – неизвестно.

Познакомились на исходе 96-го в отстойнике, где душа Левитанского томилась в ожидании распределения. Это только говорят, что чужая душа потёмки, – не потёмки она, сразу видна. Визбор, которому как раз выпало дежурить по отстойнику,

заметил в дальнем отсеке левого крыла одинокое томление – и тут же одарил новоявленную душу надёжным дружелюбием, которое, как известно многим, составляло и при жизни одну из привлекательных черт его характера.

Не пристало нам, живым, подвергать критическому разбору дела и дни того (с нашей точки зрения) света, но трудно не попенять занебесью на то, что переняли абсолютнодохлый аэропортовский термин «отстойник». Назвать отстойником уместно нечто такое, что позволяет отстояться, осесть. Оседают, к примеру, кочевые народы, но это исключение, а чаще оседает гуща, хоть та же кофейная. О воспалительном процессе можно судить по оседанию эритроцитов. Предполагается наличие веса, отстаивать значит фракционировать по весу, а сколько может весить душа?

Впрочем, говорят, были попытки ответить на этот вопрос. Неважно.

– Повитаем? – вопрошает Визбор.

– Повитаем! – откликается Левитанский. – Куда на сей раз?

– СНГ.

Визбор становится предельно лаконичным, когда готовит эффект. В детали не вдаётся, посматривает хитро. Ну и ладно, пускай потешится.

Полетели.

И опять, как не раз уже бывало, поразился Левитанский умению Визбора выстраивать сюрпризы. Потому что, когда с головокружительной высоты – душа замирает! – спикировали на Обь и, резко тормознув, зависли над высоким мысом, там, внизу, запели – что бы вы думали? – Левитанского. Голоса срослись в один. Неспешно пели, мужественно, возвышенно, почти мощно, почти басами.

Я, побывавший там, где вы не бывали,

Я, повидавший то, чего вы не видали...

– Где мы? – спросил Левитанский. Голос дрогнул.

– Я же сказал: СНГ, полностью – Сургутнефтегаз, а посёлок так и зовётся – Высокий Мыс. Нас приветствует районный фестиваль авторской песни. На передней скамейке восседает жюри, вижу своих. Слева шатры, красиво. За лесочком деревня Тундрино, место знаменитое, сюда в тридцатом гнали по зимнику раскулаченных. Рыли пещерки, мало кто выжил.

Ниточка жизни. Шарик, непрочный свитый.

Зыбкий туман надежды. Дымок соблазна.

Штопанный, перештопанный, мятый, битый,

жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна.

– Под Мищуков работают ребятишки, – пояснил Визбор. Почти басы оказались почти пацанами.

– Они опустили актуальную строфу, – заметил Левитанский. – «Да, говорю, прекрасна и бесподобна, как там ни своевольна

и ни строптива, – ибо к тому же знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива».

– Да уж, – сказал Визбор.

Левитанский осмотрелся. Во все стороны света, до самого горизонта, блестела озерцами великая пустыня, невнятно перерезанная Обью. Мелкие сосенки цеплялись за песок, выступающий там-сям из болот. Как люди тут живут?

– Люди, – сказал Визбор, – живут убого. На нефти сидят, а живут в нищете. Знаете, почему?

– Знаю, – сказал Левитанский.

– Избушки, сами видите, какие. Картошка на приусадебном песочке. Местная шутка юмора: десять месяцев зима, остальное – выюга. Нефтяники живут чуть получше деревенских, ещё не осознали, кому их продали.

«Кому их продали», – подумал Левитанский. Вслух сказал:

– Если бы вы, Юраша, знали, как меня мучают эти дела – это безрассудство еврейского капитала. Что для нас родина, то для них страна проживания. Ведь опять горстка мародёров навлечёт беду на головы всего российского еврейства.

– Готов помочь, – отозвался Визбор. – Вит зримый – безотказное средство воздействия при умелой подаче. Проверено на практике.

– Обсудим, – улыбнулся Левитанский. – Давайте немного послушаем.

Почти басы у микрофона уже не стояли, пел почти Розенбаум. Его последовательно сменили два почти Цоя. Левитанский напрягся, затосковал. Потом стало легче – ансамбль «Старшеклассница», прибывший, по утверждению ведущего, из самого райцентра, запел «Виноградную косточку». Старшеклассницы были славнёхонькие, учительница патетично дирижировала свободными от гитары частями тела.

Левитанский расслабился.

В принципе, слушать от зари до зари, как поёт районный бардактив, он не собирался, но было понимание, что надо дожидаться, пока споют что-нибудь из Визбора. К счастью, ожидание не затянулось, девчушка лет двенадцати, красotka-татарочка, под две гитары, свою и отцову, спела «Серёгу Санина» и привела всех, включая Левитанского, в полный восторг. Народ бушевал, требовал ещё. «Эля, ребёнок, иди ко мне во внуки! – кричал мужик со скамейки жюри. – Маму удочерю!»

– Мирзаян, – компетентно пояснил Визбор. – Хулиганит.

– У вас всегда так весело? – спросил Левитанский. Ему уже всё нравилось. – Могли бы брать меня при жизни.

– Мы стеснительные, – оправдался Визбор. А правда, кто мешал подойти, пока оба были живы?

Народ бушевал с нарастающим упорством, жюри сломалось, объявило по радио, что в порядке исключения разрешает ещё одну песню.

– Что вам спеть? – спросила девчушка. – Я знаю пятьдесят две.

С мест закричали разное, выбрала сама. Народ успокоился, стал подпевать: «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?».

– Встречусь я с тобою? Встретимся с тобою? – спросил Левитанский, не расслышав или не веря ушам.

– Встретишься со мною, – ответил, играя желваками, Визбор, и Левитанский посмотрел на него с любопытством.

Послушали ещё. Припев прозвучал троекратно.

– Юрий Давыдович, я знаю, – сказал Визбор, – получилось как-то не по-мужски, самому противно. Неужели я похож на человека, который способен сказать такое женщине? Что ей повезёт, если встретится со мною. Поверьте, обыкновенная небрежность, не привык дотягивать черновик до кондиции, сам себя наказал. Если бы вы, Юрий Давыдович, знали, как меня мучают эти наши безумные бардовские стандарты. Мы поставили планку ниже нижнего и тешили себя разговорами, что нас не печатают за вольнодумство. За вольнодумство, ха! Теперь печатают без разбора, и сразу всё повылезало, какой-то кошмар. Ем себя поедом, но ничего уже не исправить.

– Да ладно, Юраша, не убивайтесь, – посочувствовал Левитанский. – С каждым может случиться. Вы правы, гений отличается от таких, как мы, прежде всего отношением к черновику. Чиркает и чиркает, никак не может себе угодить. Видели черновики Пушкина? Поучительное зрелище. Ну что, поплыли обратно?

– Вы, Юрий Давыдович, летите, я повитаю ещё.

Он немного проводил Левитанского, потом сделал крюк и стал медленно кружить над тундринским кладбищем.

Настроение было напрочь испорчено.

А какие грезилась планы. Какие радужные планы выстраивались в систему. Впервые за столько лет зачесались руки по работе. По лирическому репортажу! Тем самым чёсом зачесались, который был на том свете в те самые времена.

Вот она, лирика, под ногами тусуется и вливает свои голоса во всемирное действо. Вот что вызрело во глубине сибирских болот! Левитанский – добрая душа, но разве ему это понять? Не владеет он этим материалом, черновики Пушкина, видишь ли, его волнуют.

А какие монтажные возможности! Как лакомо верстается сюжет! Тяжёлые кони венгров, уносящие генофонд обских берегов к берегам Дуная, чтобы там горячить стынущую кровь Европы. Непонятные ханты и манси, сохранившие верность обским берегам, чтобы было чем встречать иные генофонды. Сокровища бездонных подземелий, призывавшие на обские берега разноплемённый люд. И язык – язык всеобщей песни, породившей на обских берегах зелёную поросль второго и третьего поколений. «Милая моя, солнышко лесное...»

Визбор ещё не успел решить, кого он сделает героиней репортажа, ещё не начал по-серьёзному думать о месте публикации (реален Интернет – пускай анонимно, пускай даже псевдо-

нимно), но как назвать материал уже придумал: «Панбардия прирастёт Западной Сибирью». А можно и так: «Расширяющаяся Вселенная». Круто! И первая строка будущей песни тоже родилась: «Магьярские навьюченные кони...»

Он покатал строку во рту, наклюнулась мелодия. Ну да, именно так: «Магьярские навьюченные кони...»

Вдруг подумалось: какие к чёрту кони – топь кругом. И скатиться по реке можно разве что в Ледовитый океан. Как эти магьяры отсюда выбирались? Выгребали против течения?

Ладно, разберёмся, подумал Визбор. Тряхнул крылами и отправился нести свою незримую вахту. Надо было послушать, как комментирует происходящее на поляне глава местной администрации Елена Хусейновна.

ПОЦЕЛУЙ

*Сей великий художник скончал свою жизнь
преждевременно, от чрезмерной склонности
к женскому полу.*

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Ничто, буквально ничто не предвещало беды в тот злополучный вечер, и литературный критик Лёв Александрович Аннинский вернулся домой в самом благоприятном расположении духа.

День прошел особенно легко. Впервые после промозглых дождей, смывших талые весенние нечистоты, москвичам было даровано настоящее тепло, и Лёв Александрович радовался зарождению лета вместе со всем народом, хотя и покрывался испариной при резвой ходьбе по городу, даже испытывал нечто вроде одышки. Что ни говорите, возраст. Плюс сезонный авитаминоз.

Дома он вооружился стаканом компота и, продолжая пребывать в безмятежности, увлечённо рассказывал жене Шуре что-то совершенно незначительное и уже совершенно никому не нужное, не замечая напряжения, возникшего в глазах жены, а та напрягалась сильнее и сильнее, но никак не могла набраться духа и задать вопрос, который не сулил ей, да и ему, ничего хорошего, – напротив, с полной очевидностью грозил разрушить всё то, что долго, трудно и любовно создавалось совместным подвигом супружества.

Ведь кто мы такие – супруги? Ах, братцы мои и сестрички, мы те, кто сопряжён законным браком трудиться на ниве семьи. Нужны ли разъяснения? Тяжеле этой нет на свете нивы и уязвимей тоже нет ея.

Время шло, а Лёв Александрович всё продолжал делиться событиями минувшего дня, и уже во второй, кажется, раз рассказывал доброй Шуре, какая смешная вышла оговорка, когда, распахнув дверь редакции журнала «Наш современник», он

громко крикнул: я Иннокентий Анненский! «Склероз!» – прокомментировал Лёв Александрович свою оплошность, смеясь и утираясь.

Наконец Шура решилась произнести первую из двух заготовленных фраз. Прозвучало это так: «И кто же, скажи мне, та, которая так мило оставила свой поцелуй на твоей, извини меня, лысине?»

Лёв Александрович пропустил бы вопрос мимо ушей, когда бы голос жены не дрогнул так заметно. Он попытался врубиться, и тут почти без перерыва прозвучала вторая фраза: «Ты ведь знаешь, Лёв, я могу простить всё – кроме предательства».

Через короткий промежуток времени с помощью небольшого зеркальца Льву Александровичу была продемонстрирована физическая составляющая вопроса. Там, в том самом участке его безволосого темени, который в народе зовут макушкой, или маковкой, алел отпечаток двух полуоткрытых губ.

Это был конец. Конец всему. И жалко пискнул цыплёнок жизни в когтях судьбины.

Объяснить происхождение поцелуя Лёв Александрович даже не силился, настолько его подавила внезапная эта беда. Объясняй не объясняй – какая разница? Наглость алой полуулыбки была настолько очевидной, что несчастной госпоже Аннинской оставалось только рисовать в своём воображении различные картины, одна другой отвратнее и гаже.

Не буду спекулировать на плодотворной интриге, внесу ясность. Точнее, её к исходу четвертого дня трагедии внёс сам Лёв Александрович, когда в отчаянии от бесслёзного горя жены собрался покинуть навсегда родное гнездо и уйти из дома, – в бомжи или ещё куда, не знаю, короче, куда глаза глядят. Самого меня в похожих ситуациях влечёт Курский вокзал, на котором, мыслится, можно жить до смертного часа, питаюсь пирожками с картошкой и читая унесённую на груди любимую книгу. (Словарь Даля? Но тогда какой том? Очевидно, что не третий. Тут, однако, загвоздка.)

Может, Лёв Александрович тоже направил бы свои стопы на Курский, прижимая к груди, ясное дело, антологию авторской песни (У-Фактория, Екатеринбург, 2002, 608 стр., в картонном переплёте. Составитель Дмитрий Сухарев). Но рассеянный взгляд критика пал на новую кепку, приобретённую к началу весенне-летнего сезона в подземном переходе. Кепка лежала на табурете сверху подкладкой. На шелковистой ткани хорошо смотрелась фирменная марка, оттиснутая кармином:

ФАБРИКА
ЗАРНИЦА

Верхнее из двух слов полуарочкой выгибалось над нижним, нижнее же было симметрично вогнуто, так что получалась фигура веретена то ли миндалины.

Короткая домашняя экспертиза показала, что достаточно слегка подышать на фабричное клеймо, как оно приобретает

способность переходить на постороннее тело (применили тыльную сторону ладони), при этом получается отпечаток, идентичный тому, который по-прежнему красовался на лысине Льва Александровича.

Госпожа Аннинская получила удовлетворение, и конец бы дурацкому инциденту. Но не тут-то было.

Поцелуй обладал столь мощной непреложностью, что Лёв Александрович уверился в своём предательстве сразу и бесповоротно. Сразу – то есть в тот самый миг, когда зеркальное отражение улики было явлено его потрясённому взору. Бесповоротно – то есть навсегда. Увы, за четверо суток самоистязания литературный критик (отчасти даже христианский публицист) Лёв Александрович Аннинский окончательно укрепился в сознании собственного падения и, более того, преуспел в поиске дополнительных улик, в качестве каковых выступили какие-то смутные эпизоды прошлой жизни, лившие воду на мельницу Зарницы. Разубедить его уже никто не мог.

«Как всё это ужасно и как я мог низвергнуться в такую бездну!» – не устал сокрушаться Лёв Александрович. Он твёрдо знал, что, предав добрую свою жену Шуру, совершил нечто большее, чем грех супружеской неверности. Жертвой предательства оказывался смысл существования.

Припомнилось, что года два назад была некоторая женщина в Литинституте, и что были с ней некоторые отношения, которые уже тогда пахивали предательством. Сусанна Владимировна занимала должность секретаря кафедры творчества и всегда посматривала на Льва Александровича с томящим обещанием, а в тот раз... Талия! Врезалась в память талия, несомерно тонкая относительно всего, что было под ней.

В тот раз он выступал рецензентом на защите диплома. Защищался рыжий парень из Барнаула, прозаик, нет, поэт, он ещё заикался, от чего стихи раздражали вдвое сильнее. После защиты немного сидели на кафедре, было и спиртное, почему-то дальнейшее происходило в тёмном углу, но всё-таки не дома у Сусанны, – скорее, там же на кафедре. Сусанна прижала Льва Александровича к стене твёрдыми, как репа, грудями, двумя сразу, и вся колыхалась, колыхалась, колыхалась. Он, помнится, пытался увернуться от гвоздичного запаха ее духов, который был невыносим и нахлестывал волнами, в ритме колыхания, и в том же ритме Сусанна жарко шептала: дивно! дивно!

Или это сон был такой, но всё одно – предательство.

Как я мог? Эту фразу Лёв Александрович твердил почти уже механически, лихорадочно тасуя какие-то сюжеты, имеющие отношение к предательству жены, в смысле к предательству им жены.

Прежде Лёв Александрович только слышал о том, сколь гибельны плоды супружеской измены, теперь он испытывал эту казнь на самом себе – и мучился, и страдал. То и дело в самых разных положениях и позах мелькал в сознании Эдичка – близ-

кий по накалу страдания персонаж родной литературы, который вот так же ежеминутно истязал себя мыслями о предательстве Елены. Лёв Александрович живо представлял себя на месте Эдички: с криком «Сука!» вышибает он дверь ногой и стреляет, стреляет, стреляет в постель, где лежат они оба – Елена и этот похотливый Жан-Пьер, и они заливаются кровью, которая проступает сквозь одеяло. Волосатые ноги Жан-Пьера особенно разъяряли Эдичку, хотя, думал Лёв Александрович, чего уж тут такого, обычное дело, полюбуйтесь хоть на пляже – каждая вторая нога волосатая. Профессиональная критичность подсказывала также Аннинскому, что сквозь хорошее ватное одеяло кровь враз не проступит, и получается, что спят они там, в Нью-Йорке, под незнамо чем, лишний аргумент против предательства родины.

Проецируя на себя болезненные мечтания несчастного Эдички, Лёв Александрович сознавал, что получается некоторая нестыковка. Предателем был всё-таки он, а не Шура, но представить себе, чтобы добрая Шура с криком, положим, «Кобель!» выламывала дверь ударом ноги, Лёв Александрович никак не мог, и хорошо, что не мог, было бы садизмом требовать от него обратное.

Эдичкой список жертв предательства не ограничивался, второе по воспалённости место среди литературных героев, пострадавших на этой почве, занял Алеко – не столько даже пушкинский Алеко, сколько рахманиновский. В уязвлённом мозге Льва Александровича этот бедолага назойливо исполнял одну и ту же музыкальную фразу: «Земфира, как она любила!», что вызывало у Льва Александровича жалость к себе. Третьим был лирический герой песни Александра Городницкого «Предательство». Все трое стали Аннинскому как братья, хотелось обнять каждого, выслушать, поплакаться.

До Алеко с Лимоновым далеко, до Городницкого близко. Лёв Александрович набрал номер, сказал: «Так я заскочу?»

Он поделился давним, с конца семидесятых, восхищением. В песне «Предательство», сказал он, есть совершенно гениальная строка: «И гривенник пылится на полу». Понимаешь, объяснил он Городницкому, этот гривенник не имеет ни малейшего отношения к бушующим в песне страстям. Вообще, ни к чему не имеет отношения, просто лежит на полу и пылится – и тем придаёт всему тексту высочайшую достоверность. Всё вдруг становится убедительным! Гениально, гениальный приём. Ты применил его сознательно?

Городницкий загадочно улыбался. Спросил: ты заметил, что эта строка тайно перекликается с другой, стоящей поодаль: «От выстрела дымится на спине»? – «Знаю, знаю! – замахал руками Аннинский. – Несутся по стерне – дымится на спине – пылится на полу. Сухарев мне показывал с таким гордым видом, будто сам придумал. Это ваши поэтические штучки, но я придаю значение не им, а смыслу».

И не слушая более Городницкого, пытавшегося сказать, что шуточки-то и делают смысл, поведал наконец о своей семейной трагедии. Городницкий выслушал рассказ с чрезвычайной серьёзностью. Озабоченность Городницкого заметно усилилась после того, как он обследовал макушку Аннинского.

– Нельзя исключать, – сказал Городницкий сурово, – что тебя просто пометили. Этот поцелуеобразный знак может быть метой, которую быстро и незаметно нанесли тебе на темя. Не заходил ли ты в редакцию «Нашего современника»? Ну вот! Ходи чаще. Не стану тебя пугать, но у меня имеется некоторое представление о том, кто и с какой целью может метить полукровок, которые для этих типов хуже евреев. Ведь по их ублюдочной классификации мы с тобой не русские литераторы. Знаешь, какие? Русскоязычные! И Пушкин тоже. Дедушка по бабушке – для них это серьёзно.

– Я слышал, – вздохнул Аннинский. – Как сходятся, однако, параллели...

– Береги себя, Лёва, – сказал Городницкий.

После разговора Льву Александровичу стало легче. Ну, пометили. Ну, убьют. Всё же это лучше чем быть предателем в собственной семье.

Но полностью покой уже не возвращался.

САД ЧУДЕСНЫЙ

Везде вокруг меня расстилались зелёные ковры, усеянные цветами. Вечернее солнце крошечными лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и – даже плакал, что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! – Вынул бумагу, карандаш; написал: «Любезная природа!» – и более ни слова!!

Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника.

Многие знают, что Александр Моисеевич Городницкий в качестве доктора океанических наук погружался в батискафе на пятикилометровую глубину Мирового Океана. Менее известно, что незадолго до знаменитого погружения Александр Моисеевич имел тайную встречу с эмиссаром господина Бжезинского. В обязанность эмиссара входило склонить Городницкого к исполнению им государственного гимна США в максимальной точке погружения.

В прямом, естественно, эфире.

Эта акция виделась государственнику Бжезинскому патристическим ответом на унижение в космосе. Как известно, в космосе первой запела наша гитара. Хотя, если разобраться, какое кому унижение от песенки «Лыжи у печки стоят»? Свихнулся мужик, не иначе. Ну, оттянулись чуточку ребята на орбите под Визбора – что такого трагического? Для себя попели, не для власти.

Но Бжезинский худел и терял вес. Полулёжа в кресле, он со строгой периодичностью швырял в пасть горсти колотого льда, так что приходилось то и дело менять лохань. Стереотипный характер моторно-ментальных отклонений вынуждал некоторых медиков грешить на онкологию в экстрапирамидной системе мозга с метастазами в лобные доли, другие склонялись к реактивному психозу, а дело было простое – не мог найти кандидата в эмиссары, хоть и рылся дни и ночи напролёт в директории собственного ведомства. Наконец, выбор пал на Савика Шустера.

Вызвав Шустера на инструктаж, Бжезинский сказал не без пафоса: «Ты, Савелий, мне всегда нравился как человек без отчества и в ногу с планетой».

Назвать Савика Савелием Бжезинского обязывал собственный приказ по русскому языку, запрещавший употреблять уменьшительные, ласкательные, уничижительные и иные возмутительные модификации имён собственных.

Миссия Шустера, однако, провалилась. Ничего основательного про причину провала я не знаю. Дошли несколько версий. Они небезынтересны, потому пересказываю, не ручаясь за подлинность.

Первая, встречно-патриотическая, утверждает, что Александр Моисеевич сказал миссионеру вали отсюда. Если верна вторая, то подтвердится репутация нашего океанолога как человека, обладающего тончайшим чувством юмора. Якобы, Городницкий предложил заморскому Савелию род обмена: «Я спою, только пускай господин Бжезинский споёт на российском телевидении государственный гимн Российской Федерации». «Но у мистера Бжезинского нет музыкального слуха», – живо возразил переговорщик. «Тем более, – поставил точку славный бард. – Именно в таком исполнении легендарное произведение наконец-то обретет художественную цельность, которой ему так нехватает».

Согласно третьей версии, которую муссируют в кругах, близких к администрации президента, Шустер после консультации с шефом принял условие Городницкого и даже попросил последнего переаранжировать гимн России в удобной для Бжезинского тональности. Правдоподобно выглядит и дальнейшее: Бжезинский прилетел в Москву и уже репетировал на НТВ «Союз нерушимый» под минусовку, но предъявил дополнительные условия, о которых не было речи в ходе предварительных переговоров. В частности, он якобы потребовал, чтобы ему в прямом эфире ассистировал коллектив «Песен нашего века», усиленный Михаилом Сергеевичем, Мстиславом Леопольдовичем, Дмитрием Антоновичем и Олегом Митяевым, и чтобы каждый из участников эфира в ходе исполнения российского гимна размахивал американским флагом. Наши, якобы, на это не пошли, несмотря на стратегическое партнёрство.

А по-моему, зря.

Думаю, по части размахивания флагом имело смысл поторговаться, а вообще-то жалко, могло получиться неплохо.

Иногда в порядке игры воображения я беру режиссуру на себя и живо представляю в прямом эфире всех нас, симпатичных от природы, а пуще по контрасту со злодеем. Ему, стоящему в эпицентре кадра, я бы дал от пуза посипеть соло, но только поначалу. А потом включатся наши, и пойдет великое преобразование.

Оёёй, дъя нещасная девчоночка,
Оёёй, дъзамуж вышла без любви.
Оёёй, дъзавела себе милёночка,
Оёёй, грозный муж мой, не гневись!

Уж как-нибудь переорём злодея хрипатого. А, кстати, тётя у вас есть, господин Бжезинский? Нету? Положение серьёзное.

Если у вас нету тёти,
То вам её не потерять,
А если вы не живёте,
То вам и не, то вам и не,
То вам и не умирать -
Не умирать.

Арркестр гремит басами,
Трубач выдувает медь...

Думайте, думайте, господин Бжезинский.

Переорём – и в лирику. Сердечное. Ну, родимые, русскоязычные, выдай душу, как положено на наших берегах!

Ваше благородие, госпожа разлука,
мне с тобою холодно, вот какая штука.
Письмецо в конверте
погоды – не рви...
Не везёт мне в смерти,
повезёт в любви.

Ростропович с его бандурой, пожалуй, лучше будет смотреться на краю, хотя он очень мил, когда улыбается. Славу, кстати, я не видел на близком расстоянии с тех пор, как перед самой войной вместе пилили по классу виолончели в детской музыкальной школе № 3 Свердловского района. Называлось «дом Фонвизина», потом его зачем-то снесли. Из Славы вышел толк.

Иваси, Мищуки, Дима, Костя, Олег, – это же море обаяния. А кто там вылез на сцену прямо из зала, не Кузьма ли Богачёв? Наверно он, а может, это Дулов с гитарой.

Качнётся купол неба, большой и звёздно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Тут и Лёв Александрович со своей бородой, и Иннокентий Фёдорович со своею. Тут и Кушнер – отчего бы Кушнеру собственной очкастой персоной не попеть возвышенное рядом с любимым поэтом?

Михалсергеича с Раисой Максимовной поставлю между Галей Хомчик и Лидой Чебоксаровой, они добрые девочки, если что –

рядом. Кто у нас ещё? Ветераны Великой Отечественной из Бээр-Шевы? Не тушуйтесь, дедули, все свои. Ребятишки из «Норд-Оста»? Давай на сцену! Которые погибли – тоже сюда, а как же?

Я, побывавший там, где вы не бывали,
Я, повидавший то, чего вы не видали...
Я, уже там стоявший одной ногою,
Я говорю вам – жизнь всё равно прекрасна.

Да, говорю я, жизнь всё равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна -
жизнь, говорю я, жизнь всё равно прекрасна.

Горечь во рту. Она всегда вылезает, как подумаешь о подлостях нашего века. «Всё расхищено, предано, продано...»

Господи, неужели всё? А язык?

Чёрное море! Чёрное море!
О этот блеск
Плюс плеск
Близкой волны!
Мы окунулись
Раз
В Чёрное море
И оказались,
Точно негры, черны.

Из оркестровой ямы пустим, как в шоу-бизнесе, белого дыма, ибо сказано: но дымится сад чудесный. А свет пускай не мелькает, нечего, от него только боль в затылке.

И знаете, что я вам скажу – в хорошем окружении недолго и очеловечиться. Где злодей, где рогатина? Нет, исчезли, растворились, на месте злодея человек стоит поёт, и вполне даже человечен его надтреснутый голос.

Сад чудесный!!

А что слуха нет – разве это настоящая беда? Настоящая беда, господин Бжезинский, не такая. Чутьочку подальше от микрофона, сэр.

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

Четвёртую версию, прозаическую, я слышал от жены Городницкого Анны Анатольевны. «Да что вы, братцы, какая гитара, – сказала Аня, – не втиснуть туда гитару. Батискаф – ведь он малюсенький. А если б и втиснули, что толку? Сам Алик на гитаре не играет, втискивать ещё и гитариста? Ну извините».

Ну извините, скажем напоследок и мы.

Валерий Слущкий

ОПЫТ ПРЯМОСКАЗАНИЯ

В конце семидесятых на простенке ленинградской квартиры Инна, попросив не клеить обои, написала триптих, на котором пейзаж (плавные горы, масличные островки, отары камней) оказался тем самым самарийским пейзажем, какой сейчас мы видим вокруг. Я далек от экзальтаций, к каковым уж тем более не располагает нас с Инной святая (для себя переводим как – достоверная) земля. Так вот, с этой именно оговоркой, я вижу в подобных «совпадениях» промельк, весточку «всеведения», присущего (каким-то образом) подлинности.

Упомянув «всеведение» (осторожно, чтобы не быть заподозренным в чем-либо несовместимом с буквальностью и здравомыслием), вспоминаю тотчас того человека, который подсказал нам эту рефлексию – на признаках и проявлениях (весьма ненавязчивых, а чаще неопознанных, как он говорил, «контрабандных») укорененности разума (опять же, «каким-то образом») во «всеведении» или безусловном знании. Не привожу примеры из его статьи (так и называлась – «Всеведение»), здесь и сейчас актуальных примеров ничуть не меньше. Скажем, некто (журналист) утверждает, – «Шарон замечательный тактик, но плохой стратег». Первая половина суждения вполне обоснованна, по крайней мере, выражает удовлетворение конкретными результатами. Но вторая (естественная для говорящего как «само собой») заявляется (неопознано, «контрабандой») из «всеведения», ибо имеет признаки безусловности – произнесена с позиций «знаю, как надо» (откуда?) другого «стратега» и, так сказать, «абсолютного» эксперта (каковым, понятно, тот журналист себя не считает). И к тому же, подобная категоричность предполагает посвященность во все (учитываемые стратегией) обстоятельства, перспективы последствий и т.д. Вот пример из более отвлеченной сферы. «Человеческий разум ограничен», – говорит человек, выражая (и не заметив того – «знает», и всё тут) надразумение, какое его «человеческий разум» не ограничил. Подобные (на каждом шагу) пробивы «всеведения» именно с отрицательным модулем никого не волнуют, как мелочь в кармане, на которую ничего не купишь. Предложи «стратегическому» журналисту или же сверхразумному критику разума отоварить таинственное «знаю», будет выдан если не «пшик», то расхожий звон, равно уязвимый для других «стратегов» и «критиков», «личный» шекель в копилку плюрализма. Говорю это без намерения «разоблачить», напротив, чтобы рассеять завышенную почтительность и успокоить здоровый скепсис в отношении столь обыденной для разумеющего субъекта верхотуры «все-

ведения». Думаю, даже «пшики» (я не бросаю камень в суждения, знающие свои основания и, соответственно, границы) ценны, не смыслом, конечно, но как легитимация опции безусловно «ведать». Отрицательное ниоткуда-знание (анонимно предельное или близкое к этому) реализует по факту импульс «всеведения», но не его содержание, каковое (не может быть отрицательным) вне зависимости от его «глобальности» (даже самое «пустяковое») значимо и пронзительно (неотменностью, что ли). Так вот, подлинность (иногда и не объяснишь, почему это подлинно, забирает тебя, а то, как две капли похожее на него – нет) выплескивает живую ясность «всеведения» – каплю или фонтан, с точки зрения достоинства данности, неважно, равнодостоинны, ибо – из одного источника (первоисточника), а именно, содержательной, то есть обладаемой безусловности. Собачка, наострившая уши в углу сюжета, «Колокольчики чая несет проводница» (Борис Рыжий), «Смерть – это то, что бывает с другими» (Иосиф Бродский), – будь то достоверность «видящей линии», вещного слова, сентенции, абстрагированного суждения – всё, что подлинно, т. е. (каким-то образом) весть из «всеведения», дает нам на сохранение тот самый «талант», каковой мы вольны (дело в приоритетах) закопать в недо-разумении или разумно (творчески) преумножить.

Отступление это я делаю сознательно, актуализируя в разговоре об Инне ту содержательную среду, какая была и есть (в параллель пластическим идеям и впечатлениям) для нее развивающей и, соответственно, развивающейся. Человек, которого упомянул – Анатолий Анатольевич Ванеев¹. Собственно, он подсказал разумные критерии и доминанты, вызволив нас с Инной из стереотипов «образа жизни» (художественной, интеллектуальной) в сферу «образа мысли». Методист, заведующий кабинетом физики в Ленинградском институте усовершенствования учителей, а для нас достоверный идеолог («полемист», как он сам называл себя) подарил разумную рефлексию («Стоп, стоп. Что вы имеете в виду?»), требуя смысловой ответственности не только от высказанного суждения, но и от заданного вопроса (чем отпугнул тянувшихся к нему поначалу многочисленных слушателей).

¹ Анатолий Ванеев (1922, Нижний Новгород – 1985, Ленинград). Философ. Методист. Перед войной в 1940 г. был призван в армию. В 1941 г. перенес тяжелое ранение. В марте 1945 г. репрессирован. В конце 1954 г. освобожден. Реабилитирован в 1955 г. С 1950-52 гг. находился в инвалидном лагере в Абези, где познакомился с философом Л. П. Карсавиным (1882, Петербург – 1952, Абезь), что определило путь А. В. как философа. Этот период воссоздан в его книге «Два года в Абези» (закончена в 1983, издавалась в России и за рубежом). С конца семидесятых им написан ряд философских работ: «Очерк жизни и идей Л. П. Карсавина», «Вторая новизна», «Антифауст», «Орган», статьи («Всеведение», «Быть вместе», «Под углом зрения умопремены» и др.), философские письма. Заведовал городским кабинетом физики в Ленинградском институте усовершенствования учителей.

– Нужда в достоверности не возрастима, ей только можно ответить. Стереотип побеждается его опознанием. Преодоление стереотипов, идеологических, культурных – задача адекватного осмысления, трудный процесс, предполагающий разумную честность. В какой-то момент наступает ясность, когда вдруг спадает мутная пленка, через которую, того не подозревая, смотрел на мир. Но цена этой ясности – одиночество.

Возвращая с головы на ноги представления, в частности, о природе «художественного», Анатолий Анатольевич, выявлял (учил выявлять) стереотипы.

В данном случае – стереотипы, наработанные индивидуализмом, культом самовыражения и «эстетической реальности».

– Нет двух реальностей, реальность одна, разумеемая. Подлинное искусство причастует разумению своими, ему присущими средствами, ценность которых не в них самих, но в их выразительной (эстетической) полноценности. Нет ничего вне идеологии, не обусловленного ею. Идеология и очевидность – это одно и то же (разнятся системы взглядов). Меняется разумение – меняется мир. Всякое выражение выражает идеологию либо опознано, то есть ответственно, либо скрыто (анонимно), а значит, зиждется на стереотипах, каковые, в конечном счете, обслуживает. Мир неопознанных стереотипов – разумный хаос. Идеологический стереотип – оболочка, кукла, знаковая пустышка, из которой выедено продуктивное, а именно, актуальное в свое время содержание. Мы живем в мире девальвированных понятий, знаковых ценностей, иллюзорной ясности, предполагающей «рефлекторный» отклик на сигнальные лампочки: «зло», «добро», «прекрасное», «вечное» и т. п., которые гаснут при вопросе «что это значит?» Современное разумение по сути застряло в девятнадцатом веке, мусоля все те же нравственные картинки, лубочную религиозность, духовные экзальтации, то, от чего давно ни холодно и ни жарко в настоящей реальности – нравственном и разумном перевертыше. Разве не стала сфера эстетического приложения (искусство, литература) цеховым адсорбентом, заигравшейся никчемностью, культивирующей устоявшийся стереотип – эмоцию, чувство, переживание как средство улучшающего воздействия и духовного возрастания? Кто, куда возрастает? На поверку – дурная бесконечность, самовоспроизведение. Давка в трамвае сводит на нет «художественные» усилия. Подлинную эмоцию, сильную и устойчивую, высекает смысл, новизна достоверности. В этом легко убедиться каждому, кто припомнит, что его впечатляло по-настоящему и изменяло мировидение. Ярко переживается определенно выраженная, то есть, обладаемая идея в отличие от явного или скрытого содержательного суррогата. На него, уж точно, чувство не откликается. Посмотрите, к чему, в конечном значении, сводится идеологическая подкладка художественного творчества, этого топчущегося на месте многообразия истонченной психологической, гуманистической, мистической болтовни – к пафосу: «Как прекрасен этот мир!» или, что

со знаком минус одно и тоже: «Как ужасен!..» Всё тот же девятнадцатый век – романтика смерти, альтруистическая риторика, потусторонние спекуляции, «доброе» против «злого», Бог и Дьявол, «слеза ребенка», дойный скепсис, бравое жизнелюбие и т.п. Когда-то работало, но теперь – идеологическая профанация, из которой ничего не растет, кроме персональных статусов, кастовых иерархий и унижения личности. Жвачка – и никакой рефлексии, ответственности, в конце концов, интереса к смыслу. Так откуда же возьмется эмоция? Вот и видим всякого рода потуги стимулировать, реанимировать, расшевелить эстетику натурализмом, кликушеством, косметическими новациями. Эффекты, если они формальные, новаторство как самоцель – стереотип новизны, фу-фу, пиротехника. Закамуфлированная рутина. Новым может быть только смысл, а эстетика – адекватной. Достоверность не тиражируется. Пафос «индивидуальности». «Индивидуальность» чего? Индивидуально выражается общее, иначе – это ложная различенность (добавление шума) или же – отщепленность.

Крупный, в парадном костюме с педагогическим орденом, Анатолий Анатольевич Ванеев переходил, стуча палкой, от работы к работе, рассматривал, опершись на самодельную трость. Иннину графику он знал. Когда собиралось количество наработанного (живо интересовался, спрашивал), мы приносили папку, раскладывали листы в дорогой для нас комнатке-кабинете (были в курсе каждой вещицы – ее истории или значения, уже несколько лет посещая Анатолия Анатольевича, по меньшей мере, еженедельно, жадно вникали в достоверный для нас, действительно, возбуждавший эмоцию, его образ мышления). Надев очки, он рассматривал графику (разговор «на тему» начинался позже), был внимателен к подробностям и «деталькам», умел оценить и вдруг удивлял неожиданным (то есть свободным), но очевидным, как только высказал, наблюдением. Приходом на выставку (путешествие из новостроев в центр при его самочувствии было трудным мероприятием) Анатолий Анатольевич выразил уважение к Инне именно как к художнику, объяснив интерес к знакомым работам качественно другим на выставке видением – «второй новизной» (так названа одна из его ключевых идеологических вещей) или «новизной обобщения».

Другой, особо почетный посетитель Инниной экспозиции, художник Соломон Моисеевич Гершов² расхаживал в окружении

² Соломон Гершов (1906, Двинск – 1989, Ленинград). Живописец, художник-график. Учился в Витебске у А. Пэна и М. Шагала, учеником которого себя считал, затем (1922) – в Художественно-промышленном техникуме в Ленинграде, «Школе при обществе поощрения художеств» в мастер-классах у Р. Эберлинга, К. Малевича, П. Филонова. Сотрудничал в Детском секторе Госиздата, в частности, иллюстрировал книги: «Живая пропажа» (М.–Л., 1931) Э. Паперной и «Особенный день» (М.–Л., 1931) Е. Шварца и Г. Дитрих. Арестован в конце 1931 г. Был выслан в Борисоглебск в ноябре 1932 г., где вместе с Б. М. Эрбштейном работал художником в Театре музыкальной комедии, а по возвращении в Ленинград – в Художественных мастерских. В 1934 г.

своих почитателей, гордясь (что особенно подчеркнул в выступлении на открытии выставки и повторяя подходившим к нему знакомым) успехом Инны Гершовой-Слущкой, независимым от ее родственной с Соломоном Гершовым связи:

– Руки не приложил, она сама.

Выставке, соглашусь, он никак не содействовал (да и не мог бы, его похвалы не имели практической силы, а рекомендации Соломона, опыт был, по мере его приближения к чиновным инстанциям теряли внятность), «руку» же знаменитый дядя «приложил» к тому, что выставлялось, изобразительному концепту в целом (еврейскому экспрессионизму), эстетическим ориентирам, вкусу к пластической достоверности. С самой юности, поддержав Иннино рисование, он какое-то время (в начале семидесятых) был в буквальном, можно сказать, школьном смысле, учителем уважаемой им за пристрастие к творчеству племянницы. С этюдником через весь Ленинград (в другой конец новостроек) Инна ездила к Соломону писать под его наблюдением импровизированные постановки. Далее процесс научения изменился. Инна привозила ему картины. Соломон не просто с готовностью обсуждал, поощрял, подсказывал, он ревностно следил, чтобы пауза до следующего «отчета» особенно не затягивалась, считая недостаток количества («художник обязан») недостатком качества «служения Искусству». Соломон был начеку, звонил, вышучивая любое «нетворческое» увлечение, например, математикой. Сам «служил» непрерывно (с пяти утра, по будильнику, до глубокой ночи), признавая лишь единственную действительность, а именно, изображенную, прочую же, казалось, воспринимал как некий нонсенс, перекачивая с наивным титанизмом разлитое море жизни в резервуар «эстетической реальности». Навевая внешней типичностью Шагала и Чаплина (без грима), в майке-сетке, маленький, круглый (не толщиной, а конституцией), на восьмом десятке, Соломон (если не продолжать метафору с «помпой») творил, как фехтовал – выпад кистью, ткнул-ткнул, шаг назад, вперед, мазнул, отскочил, атаковал – под мельканье сбоку немой (черно-белой) абракадабры не выключаемого телевизора (как он пояснял гостям – типажей, сюжетов и композиций).

Инна не разделила с почитаемым дядей культовую заикленность на «прекрасном и вечном», имела потребность выражать как художник, жила пластической актуальностью, но не ради нее. С этого времени (и по сейчас) Соломон Гершов – Иннин учитель, но уже в третьем значении – не в качестве, а качеством художника, побуждающего достоверностью к достоверности, подлинностью к подлинности.

принят в Союз художников. В архиве С. Г. в ЦГАЛИЛ сохранились письма к нему Т. Н. Глебовой, Д. Д. Шостаковича, М. З. Шагала. Работы С. Г. находятся в собраниях: Государственного Русского музея, Третьяковской галереи и многих других российских и зарубежных музеев, а также в частных коллекциях в России, Грузии, США, Японии, Франции, Англии, Израиля.

В течение многих лет, видя, как работает Инна, я убеждался – не «вспоминает» и не «придумывает». В подобных случаях «деталь» продиктована целым, то есть, условно говоря, обязательна «до», но принципиально оспариваема «после» (как версия детализации). Напротив, изобразительная «подробность», творимая «из ничего», я бы сказал, «видящим пером», не подсказана общим, но присутствует в нем по праву обстоятельства, какового могло не быть, но возникнув из провокативного «ниоткуда», неоспоримо как факт реальности. К примеру, мальчик с девочкой, наблюдающие (разинули рты) за тем, что адресовано, собственно, зрителю рисунка, «до» того, как оказались тут, вовсе не обязаны были присутствовать, так, по чистой случайности забрели как весточка достоверности. Я, конечно же, не имею в виду хаос «деталей» (вхоже на лист то, что творит, а не разрушает целое), но говорю об организующем (свободном от пластических стереотипов) прямом усмотрении.

Посетители выставки (в 1983 году в Ленинграде) – люди, понятно, разные. У каждого в воображении «свой» образ прочитанного, но вот интересно, глядя на Иннины иллюстрации, они отмечали, что «так и представляли». Объясняя себе (тоже «так представлял») примирение плюралистичности опыта и фантазий, я сформулировал эту особенность как захватывающую узнаванием первичность до различий, как достоверность пластического прямого сказания.

В середине восьмидесятых к наборам перьев, тонким кисточкам, губкам, пузырькам с тушью и т.д. прибавились стеки и коробки с цветным (в максимально продвинутом варианте) пластилином. Фигурки (десяти сантиметров хватало для нужных «деталек») поначалу были, что называется, лишь типажам, но очень скоро затребовали содержательную среду (ситуативную, жанровую, сюжетную). И уже возникали по две, по несколько на раздвинувшейся подставке, отрицая загадочной живостью свою пластилинность. Задравшая голову коза, лошадь с дугой и оглоблями, сапожные принадлежности, хупа над фатой и шляпой, платки, ермолки, эполеты и кринолины, равно как их носители и владельцы, являли ту самую грань достаточного «подробно», при которой существенность проработки наглядно доказывает несущественность натурализма. Особняком стояла праматерь пластилиновой галереи, простенькая фигурка – дама с горизонтальным бюстом (явно строгая) в платье без складок, длина которого решала проблему ног. Испещрив блокноты своим присутствием, незабвенная «мама Розалинда», буквально, выкормила Арсения (нашего сына), категорически не желавшего есть без историй о ней (почему – «Розалинда»?) и «мальчике Гансе» («...сказала – рот открывался – не суй палец в огонь...»). Мальчик (почему-то – «Ганс») не вняв, жегся, резался, падал с балкона и т.п., восставая, как Феникс, для следующего результата непослушания (года два тянулось дозированное продолжение, предвосхитив современные сериалы). Переполненность «ма-

мой Розалиндой» выразилась в Арсенином заказе, на какой откликнувшись, Инна сотворила в объеме властительницу застольных дум, оказавшуюся по факту выразительной подлинности (то есть «явочным путем») родоначальницей лепной эпопеи. Пластилиновые скульптурки (цветные самим материалом) я называл, с Инниного согласия, «объемной графикой», видя в них не отход от «линии», а, напротив, ее преизбыточность до объема. Получалось (без концептуальных утрирований и деформаций) ни на что не похожее нечто, светящееся узнаваемостью (весточка из «всеведения»). К слову, некий искусствовед, набравший подходящую графику для шолом-алейхемовской экспозиции в Дюссельдорфе, был направлен к Инне, но, увидев скульптурки, пришел в восторг, купил для выставки именно из фигурок, сказав, что графики самой разной достаточно, но такое будет в единственном числе.

В начале 89-го меня пригласили заведовать отделом поэзии журнала «ВЕК» (Вестник Еврейской Культуры), издававшегося в Риге. Была задумана рубрика «Антология еврейской поэзии XX века». Разумеется, встал вопрос об иллюстрациях к стихам. Я показал редакции Иннины рисунки к Давиду Гофштейну, открывавшему «Антологию». Другой реакции, чем была, я не предполагал. С этого времени Иннины иллюстрации, выполнявшиеся к конкретным поэтам, не всегда доходили до рубрики, «перехваченные» другими отделами, присутствовали во всем журнале.

Проблема иллюстрирования стихов очевидна, по крайней мере, для тех, кто смотрит со стороны поэзии, захвачен ее самодостаточностью. Проза (обобщая с оговорками и осторожно) может быть увиденной, даже (бывают случаи) пересиленной в ее визуальной вариативности, некой одной как бы «канонизированной» трактовкой, когда последующие выражают не собственно интерпретацию текста, а скрыто полемизируют с этой единственной «узурпировавшей» воображение версией. Прозу я бы назвал «веществом речи», словесно-изобразительным «сообщением», тогда как поэзия – «вещество сознания», в ней соучаствуют по факту слова-реальности. С иллюстрацией к прозе (отдельной) можно быть несогласным, но принципиально она желаемая, любопытная, утоляет потребность в обогащении, восполнении, конкретизации «сообщаемого». Органичность для прозы визуального спутника подтверждает хотя бы известная потребность в инсценировках и экранизациях. В поэзии как поэзии иллюстрировать нечего. Сознание не изобразимо, оно выражаемо видением моментов реальности в том или ином разумеемом (переживаемом) достоинстве. Этим, пожалуй, объяснима тематическая зависимость иллюстрации от данностей прозы и ее гипотетическая (допустимая) отвлеченность (независимость) от стиховых реалий. Просто пейзаж, цветок, что-то орнаментальное или абстрактное могут назвать себя (и мы согласимся) «иллюстрацией» к таким-то стихам. Невольная пре-дубежденность, настороженность в отношении визуального со-

провождения стихов вполне релевантна (но не всегда оправдывается) в случае «иллюстрации», зависимой от поэзии, то есть видящей «в ней», а не «как она».

Без этого отступления не объяснить особое, редкое впечатление двуединства – стихов, переведенных для «ВЕКА» и Инниных к ним иллюстраций (каждый из шести еврейских поэтов: Шварцман, Гофштейн, Маркиш, Галкин, Ленский и Гринберг сосуществуют в пластическом эквиваленте свободно-разные). А точнее, самый феномен изобразительной адекватности спровоцировал интерес к секрету достоверного иллюстрирования стихов и различению соответствий.

Здесь же, в Израиле, издавая переведенных поэтов общим сборником, я не мыслил стихи без тех иллюстраций, повреждалось уже неотъемлемое двуединство. То, что было пластически-формульным и не сохранилось, я восстанавливал из журнала, что-то уцелело. Добавились новые рисунки. Пространство книги (не физическое, выразительное) выгодно отличается от пространства журнальной публикации. На короткое время Инна отставила холсты и краски, вернувшись (возвратили стихи) к письменному столу, к ватману, тонким кисточкам, перьям, туши, как в «старые» (на тот момент – десятилетней давности) времена. Это был, в общем единственный, с 90-го года (нашей репатриации) рецидив графики. В Израиле началась живопись.

То немного, что умею о ней сказать, я хочу предварить констатацией трудности, не проблемы – проблематичности комментирования живописи (шире – искусства). Слово выявляемо словом, смысл, соответственно, – смыслом. Поэтическая многомерность, даже изобразительные обертоны стиховой фактуры могут быть высказаны (отмечены, проанализированы) единолично, поелику речь – о сказанном. Слово, насколько бы ни было туманным, имеет определенность слова. Визуальный образ, каким бы ни был определенным, приближителен несловесностью, лишь опосредуясь словом, то есть в инаковой по отношению к пластическим средствам среде. «Сцепки» нет, точнее, высказывая не сказанное, она условна, аналогового свойства – интерпретировано-вариативна. Факт искусства собственно – сюжето-линия, сюжето-цвет, сюжето-фактура и т.д. Но не сюжет и не «линия», ибо первое без второго – мифо-надстройка, тогда как второе без первого – «мастерская». Как «образ в себе», искусство адекватно представляет собой, буквально, «невыразимо» (с удовольствием употребляю это понятие не в экзальтированном значении) вопреки опасности быть профанированным литературностью или низведенным к декоративности. Это не значит, что, подойдя к холсту, я себе повелю фразой из «Гамлета», – «Дальнейшее – молчание...». Мы состоим из слова. Нет впечатления, переживания, понимания, узнавания и т.д. в обход их мыслимости, знаемости о них. Реальность обладаема словом. И музыка. И искусство. Есть деликатная грань, мера, не повреждающая несказанное осмыслением, а именно, выяв-

ление словом оснований достоверности несловесного. Примером такого (для Инны и для меня) пронзительного суждения были слова Бергельсона³. В живописную студию еврейского Дома сирот в Киеве, опекаемого известными еврейскими литераторами, зашел Бергельсон. Остановившись возле мольберта Иосифа Зисмана⁴, тогда питомца этого заведения (от него и знаем), Бергельсон сказал: «На вашей картине дорога обрывается там, где заканчивается, а меня убеждала бы такая дорога, у которой есть продолжение, даже когда его не видно».

Сверяя свое впечатление с реакцией тех, кто смотрит Иннины картины (она пишет акрилом), пожелание это я вижу воплощенным в Инниной живописи, ставшей здесь, в Израиле, актуальным (и адекватным) выражением несослагательной и неотменной первичности. К слову сказать, в портретах, пейзажах и композициях (Самария, где мы живем, не всё покорив тематически, присутствует бытийственным импульсом) дар пластического прямого сказания проявляется в эффекте «из ничего», а именно, в сотворении данностей, независимых от пространственного или ситуативного диктата природы, а с другой стороны, от различительного «клейма» (манерного кредо, трансформирующей константы), обычно (в современной живописи) настаивающего на «индивидуальности» художника. Таковой (пластической постоянной) как будто и нет, но в личной принадлежности не ошибешься. Напротив, озадачиваешься выразительной автономностью циклов работ, вдруг возникающих из определенности «ниоткуда» и столь же внезапно прерываемых новой (по гамме, фактуре, способу и типу мазка, композиционной

³ Давид Бергельсон (1884, Охримово, Киевск. губ. – 1952), еврейский писатель. Дебютировал в 1909 г. в Варшаве повестью «Арум вокзал» («Вокруг вокзала»), в дальнейшем писал только на идише. В 1917 г. стал одним из основателей «Идише культур-лиге». Под его редакцией вышли литературные сборники «Эйгнс» («Родное», 1918) и «Уфганг» («Восход», 1919). В 1921 г. уехал в Берлин, где жили в ту пору многие еврейские писатели. С 1925 г. издавал в Берлине журнал «Ин шпан» («В упряжке»). Вернулся в СССР в 1929 г. В 1934 г. поселился в Москве. После начала второй мировой войны участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета. В январе 1949 г. Д. Б. был арестован, а 12 августа 1952 г. – расстрелян по делу ЕАК.

⁴ Иосиф Зисман родился в 1914 году в местечке Бобровницы, под Киевом. В пятилетнем возрасте во время погрома потерял отца и мать. Вместе со старшей сестрой был отдан на воспитание в киевский еврейский детдом, где и заинтересовался искусством. В 1924-29 г.г. учился в Киевском художественном техникуме «Культурлига». Затем (1934-37) – в Московском институте повышения квалификации художников (мастерская Б. В. Иогансона). С 1937 по 1953 г.г. служил – с двумя перерывами – в армии; всего около десяти лет. Ветеран Великой Отечественной войны. Тяжело ранен, контужен. С 1947 г. член Союза художников. Участник многих выставок в Ленинграде. Работы И. З. находятся в собраниях: Государственного Русского музея, Государственного музея театрального и музыкального искусства (Санкт-Петербург) и других российских и зарубежных музеев, а также в частных коллекциях в России, США, Германии, Израйля.

характерности) серией, вопреки инерции наработанности и соблазну самовоспроизведения. Удивляешься (опять же, ссылаюсь на зрителей) тому «над» или «сверх», а точнее, личностному, что оприходует как присущее столь разное визуально и содержательно. Это личностное (я бы сблизил его с достоверностью прямоказания, прямовидения, прямознания), отсутствуя оно – и разнообразие единства превратилось бы в эклектику или гонку за актуальными (по разным причинам) разностями. Может быть, заземляя тему личностного опосредования, уместно сказать о стилистической цельности стилиевой свободы.

Любопытная параллель через полтора десятилетия. Преизбыточность «видящего пера» выразилась тогда в появлении пластилиновой галереи, эфемерной своей физической, недовещной основой. Промельки, весточки из «всеведения» опирались на то, что не могло по своей природе, стремящейся к утрате формы, то есть к бесформенности, соответствовать требованию вещной надежности. Мы пытались искусственно удержать бесформенное в формате образа, покрывали фигурки лаком (был слишком тонок), заливали их эпоксидной смолой до приемлемого остекления, но последняя замутняла изначальную ясность, смазывала выразительные «детальки», стягивалась, оставляя проталины в пластилине, давала трещины. Нужно было постоянно латать, починять, замазывать разрушаемость, убеждаясь на опыте – дурная бесконечность.

Здесь, в Самарии, преизбыточностью «всеведения» переполнена святая для нас (в значении – достоверная) земля. Однажды, взглянув на камень, валявшийся под ногами, Инна сказала: «Смотри – лев». Я не увидел. «Как? Он же смотрит из камня!» Дома (принесли с собой) «лев» проявился в безусловной, мощной, уже неотменной выраженности, проясненный несколькими мазками кисти, подчеркнувшими присущую камню определенность рельефа. Я недоумевал, как проглядел то, что самоочевидно. «Видишь, еврей ведет козу... Жених и невеста под хупой... Рыба... Корова с теленком... Иерусалим...» И опять я не видел самоочевидное, покуда оно под Инниной кистью не утверждало свою безусловность «явочным путем». «Интересно, – беспокоилась Инна, – насколько надежна эта основа? Не сотрется ли краска?» Ответ получился сам собой. Выявив очередной рельеф, Инна, недовольная какой-то неточностью, выбросила «неудачный» камень. Года, по-моему, через два, а то и больше, я перекладывал плиты крыльца и вдруг в горке камней, которую разгребал киркой, обнаружил забракованного «раввина». Не один сезон дождей, даже снега, пыль, грязь, хождение по нему выдержал «недоосмысленный» камень, сохранив «неточную» выявленность. «Понятно, – сказала Инна, такая надежность, что даже неточность неуничтожима».

Здесь, в Израиле, не в ущерб холстам, пришло время собирать камни. Дальнейшее – смотрение.

март 2003, Кдумим



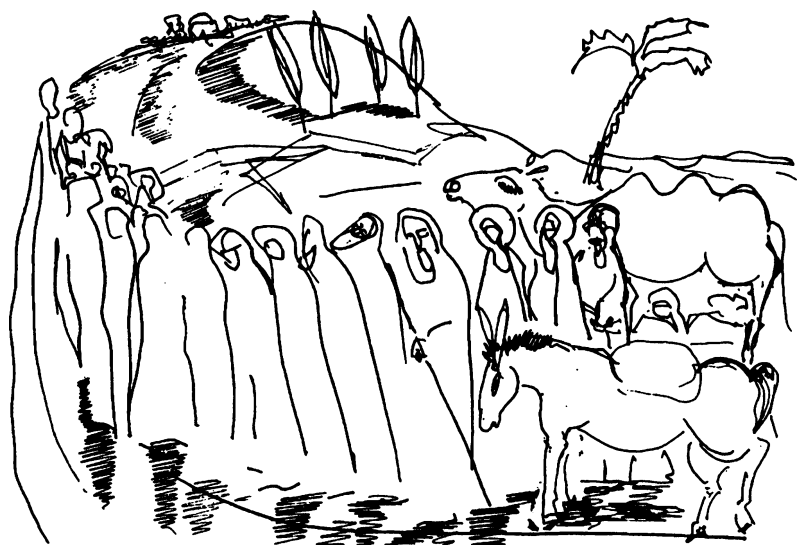
Флора



Иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя „Мертвые души“



Иллюстрации к стихам Ошера Шварцмана



Иллюстрации к стихам Переца Маркиша



Иллюстрации к стихам Хаима Ленского и Ури-Цви Гринберга







СКАЗКИ ЕВРЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 5302 году по еврейскому летоисчислению (1602 год н. э.) в Базеле вышло в свет первое известное нам печатное издание книги «Майсе-бух» («Книга сказок»), включившее в себя 257 фольклорных историй, легенд и сказок и ставшее *editio princeps*.

Издатель (а возможно, и составитель книги в том виде, в котором она была напечатана), Яков бен Авраам Полак, уроженец Литвы, фигурирующий также под прозвищем Янкев Мойхер-Сфорим (т. е. книготорговец), не был случайной фигурой в истории еврейского книгопечатания – в 1598-1603 гг. в том же в Базеле он выпустил еще целый ряд книг¹.

Макс Эрик, исследователь еврейской средневековой литературы на идише, трагически погибший, как и его старший коллега Исраэль (Сергей) Цинберг, в сталинских лагерях, в своей «Истории литературы на языке идиш» считал «Майсе-бух» крупнейшим событием в еврейской литературе XVII – XVIII вв. и называл эту книгу «целой литературной школой», которая питала еврейскую беллетристику до конца XVIII столетия».²

Аналогичных взглядов на значение «Книги сказок» в истории еврейской литературы придерживались и авторы энциклопедической статьи «Староеврейская литература»: «"Майсе-бух" важна [...] и как книга, сформировавшая нашу дальнейшую литературу повествовательного характера»³.

Сборники легенд и сказок печатались на идише и до базельского издания «Майсе-бух».⁴ Несомненно, что задолго до появления печатных сборников еврейских сказок такие сборники существовали в рукописном виде. Они передавались в семьях из поколения в поколения, постоянно пополняясь новыми записями. Правда, наиболее древняя рукопись такого рода, дошедшая до нас, так называемая «Кембриджская рукопись», описанная Максом Эриком и Максом Вайнрайхом, относится лишь к началу XVI века⁵.

¹ Исроэл Цинберг, *Ди гешихте фун дер литератур ба идн*, т. 6, Нью-Йорк, с. 210.

² Макс Эрик, *Ди гешихте фун дер идишер литератур*, Варшава, 1928, с. 353.

³ Нохем Миньков и Иуда Йоффе, *Алт-идише литератур: Алгемейне энциклопедие*. Идн, том Гимель, Нью-Йорк, 1942, с. 47.

⁴ Можно упомянуть вышедшую в 1552 году в Венеции книгу *Майсим ди зайнен гешен* («Истории, которые случились на самом деле»), а также написанную еще в XV веке Ицхаком бен Элизером из Вормса, но впервые напечатанную в Кракове в 1571 году книгу *Ройзн-гортн* («Сад роз»). См.: Хонэ Шмерук, *Решита шель а-проза а-сипурит бе-идиш у-мерказа ба-Италия // Сефер зикарон ле-Арье Лион Карп*, Иерусалим, 1967.

⁵ Нохем Миньков и Иуда Йоффе, там же, с. 45.

Она включает три сказки: «*Майсе ме-Данцек*» («Данцигская история»), «*Майсе ме-Менц*» («Майнцская история») и «*Майсе ме-Вирмс*» («Вормсская история»). Первая из них представляет собой рассказ о влюбленных, которым удастся воссоединиться после захватывающих приключений и хитрых уловок, заставляющих вспомнить о плутовских романах. В «Майнцской истории» рассказывается о двух сводных братьях, праведном и нечестивом, каждый из которых стремится завоевать сердце самой прекрасной девушки Майнца. (В этой сказке также торжествует добро, хотя счастливая развязка достигается не без помощи чудес). Главный герой «Вормсской истории», сын знаменитого раввина, оказывается обрученным с женщиной-демоном, губящей одну за другой двух его жен, и лишь ум и добродетельность его третьей жены, простой еврейки из бедной семьи, избавляет его от напасти.

Вернемся, однако, к «Майсе-бух», которая является наиболее масштабным памятником этого жанра в еврейской литературе и, по сути, квинтэссенцией сказочного фольклора позднесредневекового Ашкеназа⁶. «Майсе-бух» написана языком, базировавшимся на ныне вымерших западных диалектах идиша и весьма существенно отличающимся от современной литературной нормы, основанной на восточных диалектах. Поэтому, помимо того, что «Майсе-бух» еще в XIX веке была переведена на немецкий, ставший к этому времени разговорным языком евреев Центральной Европы, а часть включенных в эту книгу сказок уже давно переведена на иврит, в XX веке часть сказок была переведена и на современный идиш⁷. На русский язык «Майсе-бух» до сих пор не переведена.

Источники сюжетов сказок «Майсе-бух» по своему происхождению могут быть разделены на три группы:

1. Талмудическая литература на иврите и арамейском. К группе текстов, базирующихся на талмудических сюжетах, принадлежат такие сказки, как «Царь Соломон и Асмодей», «Рабби Акива и его верная жена», «Пир для Бога», «Сон длиною в семьдесят лет», «Чудо, произошедшее с женой рабби Ханины», «Прозелит Онкелос».

2. Средневековые еврейские сказания и легенды, возникшие в Ашкеназе и изначально существовавшие на идише. К этой группе текстов принадлежат, в частности, сказки, переводы которых публикуются ниже: «Римский Папа – еврей», «Гроб рабби Амрама», «Посох, который расцвел», «Навет на регенсбургских евреев» и «Регенсбургский привратник».

3. Европейский фольклор, сюжеты из которого заимствовались евреями, придававшими им свою национально-религиозную и языковую окраску. Среди характерных текстов этой группы – «Отцовское завещание», «Королевский советник и пастух», «Кувшин с медом».

⁶ Так именовались в еврейских источниках Германия и сопредельные страны немецкоязычного ареала – Голландия, Эльзас, Швейцария, Богемия, Австрия.

⁷ 84 сказки из «Майсе-бух», переведенные Яковом Мейтлсом, вошли в специальный том серии «*Мустер-верк*» («Классические произведения литературы на идиш»), издававшейся в послевоенные годы в Аргентине⁷.

До репатриации в Израиль я был реально знаком с произведениями идишской литературы, написанными начиная с середины XIX века. Только они (естественно, идеологически выборочно) издавались в СССР, и даже в еврейской группе Высших литературных курсов, студентом которой я был в 1981-1983 годах, нам не преподавали литературу более раннего периода. С «Майсе-бух» и с другими памятниками средневековой литературы на идише я столкнулся, лишь став аспирантом Университета Бар-Илан. Эта встреча оказалось непростой и совсем не похожей на детское знакомство с братьями Гримм и Винни-Пухом. Я читал «Майсе-бух», с трудом продираясь через непривычную грамматику и неустойчивую орфографию, консультируясь с малочисленными специалистами и заглядывая в старинные переводы этих сказок на иврит в тех случаях, когда такие переводы существовали. Теперь, годы спустя, мне хочется познакомиться с «Майсе-бух» русскоязычных читателей.

Я работал с текстом средневекового оригинала, сверяясь с переводами на современный идиш, выполненными Яковом Мейтлисом. В случае текстуальных расхождений (такие расхождения есть, хотя они и малосущественны и носят скорее стилистический характер) я придерживался варианта оригинала. В перспективе мне хотелось бы подготовить комментированный перевод всего сборника, а пока предлагаю на суд читателей «Иерусалимского журнала» перевод пяти сказок из «Майсе-бух». Среди них – и сказка «Римский Папа – еврей», пользующаяся, пожалуй, наибольшей популярностью среди исследователей. О ней написано уже немало научных статей, да и сейчас мой коллега по факультету литературы еврейского народа Университета Бар-Илан Йосеф Бамбергер работает над диссертацией, посвященной анализу сюжета этой сказки, имеющей определенную (хотя и сильно искаженную народной фантазией) реальную основу. Сказочная история о Римском Папе – еврее возникла среди ашкеназских евреев под влиянием развернувшейся в XII веке в христианском мире острейшей полемики между сторонниками двух противостоявших друг другу пап – Игнатия II и Анаклета II. При этом сторонники Игнатия обвиняли Анаклета в «еврействе», поскольку его прадедом был крещеный еврей⁸. Это одно из первых документально зафиксированных проявлений расового, а не религиозного антисемитизма в Европе.

Все публикуемые тексты объединяет в содержательном отношении элемент еврейско-христианского противостояния. И это не случайно. Сказки «Майсе-бух» были созданы евреями, жившими в качестве гонимого религиозного меньшинства среди христиан. Однако, опираясь на устоявшуюся традицию литературного перевода еврейских текстов на русский язык, я в большинстве случаев перевел встречающееся в оригинале слово *гоим* (буквально означающее «народы», а в переносном смысле – «представители других народов») как «иноверцы», используя лишь в редких случаях более подходящее в контексте слово «христиане».

⁸ См.: Арье Грабоис, *Ме-синат-Исраэль «теологит» ле-синат-Исраэль «гиз'ит»*. *Пулмус а-атифьор «а-ехуди» ба-меа а-Йод-Бет*, Цион, № 47, 1982, сс. 1-16.

РИМСКИЙ ПАПА – ЕВРЕЙ

История, которая произошла в дни рабби Шимона Великого

Рабби Шимон Великий, как известно, проживал в городе Майнце. И по сию пору известно, где стоял его дом с тремя большими зеркалами, в которых он мог видеть все, что произошло и что произойдет. И даже рассказывали, что в головах его могилы на кладбище в Майнце некоторое время бил *ключ свежей воды*. Короче, у рабби Шимона, великого мудреца еврейского народа, был сын по имени Эльхонон. Когда Эльхонон был еще маленьким ребенком, случилось так, что субботняя прислужница-иноверка пришла в дом к рабби Шимону в субботу утром, чтобы растопить печь, как у нее было заведено. Потом она посадила ребенка на плечи и вышла с ним из дома. Еврейская служанка, которая находилась в доме, не придавала этому никакого значения, потому что она думала, что иноверка скоро вернется вместе с ребенком. В общем, в то время, когда все были в синагоге за молитвой, иноверка забрала ребенка и ушла с ним, а потом отдала его, чтобы его окрестили. Она думала, что этим она приносит жертву своему Богу, ибо с давних времен иноверцы высоко ценили крещение еврейских детей.

Когда рабби Шимон Великий пришел из синагоги после молитвы, еврейской служанки не было дома, поскольку она тем временем выбежала, чтобы искать иноверку с ребенком, но не нашла. Придя домой, рабби Шимон не нашел поэтому ни служанки, ни ребенка. Вдруг прибежала служанка, громко крича. Рабби Шимон спросил ее, в чем дело, почему она так кричит. Она ответила: «Дорогой рабби, субботняя прислужница-иноверка по нашим великим прегрешениям унесла ребенка, и я не знаю, куда она с ним исчезла». Они бросились повсюду искать ребенка, но нет гласа и нет отклика, буквально как в воду канул. Как можно себе легко представить, горе родителей было весьма велико. Рабби Шимон постился целыми днями и глубоко скорбел по своему любимому ребенку. Но небеса скрыли от него, куда исчезло его дитя.

Тем временем мальчик после крещения попал в руки попов, которые принялись воспитывать его на свой манер, пока он со временем не вырос и не стал большим ученым. У него же была голова его отца, и он был во всем на него похож. Итак, юный Эльхонон все возвышался и возвышался, переходя из одной академии в другую, пока не попал в Рим, где он продолжил с большим прилежанием изучение множества языков. И именно благодаря своим большим познаниям и глубокого проникновения во всех дела веры, он стал кардиналом. Его имя звучало повсюду так, что это просто невозможно описать. Изю дня в день росло его влияние. К тому же был он весьма хорош собой, а лицо его было величественно. Кончилось это тем, что Римский Папа умер, а юный Эльхонон, благодаря своему острому уму, своей глубокой учености и познаниям в языках сразу же возвысился и стал Римским Папой. Но он очень хорошо знал, что он происходит из евреев и что он сын рабби Шимона из Майн-

ца. Однако, поскольку прошло уже много времени, он остался у иноверцев, потому что дела его среди них шли очень хорошо, как можно себе легко представить. Но в глубине души он часто думал о своем отце, как бы его привезти к себе в Рим.

И был день, и он написал письмо епископу Майнца, поскольку в качестве Римского Папы в его подчинении находились все епископы – а в письме повелел Папа, что отныне и далее майнцские евреи не должны более соблюдать субботу и обрезать своих детей. И даже богобоязненные еврейские женщины не должны погружаться в микву. Римский Папа думал при этом, что когда весть об этом запрете достигнет Майнца, тамошние евреи отправят в Рим его отца, чтобы тот добился отмены запрета. Так оно и случилось.

Когда письмо Папы пришло к епископу Майнца, он тут же извещил евреев об этом запрете. Евреи принялись убеждать епископа, чтобы он отменил запрет, но на самом деле он ничего не мог поделать. Он только показал им письмо от Папы и посоветовал им, чтобы они постарались добиться отмены запрета у самого Папы в Риме. Легко представить себе, какое горестное время это было для евреев. Они принялись каяться, поститься целыми днями, давать пожертвования беднякам, чтобы вымолить отмену жестокого запрета. Тем временем выбрали они рабби Шимона Великого и двух других раввинов, чтобы они отправились в Рим с поручением попытаться убедить Папу, вдруг Господь, да благословенно Имя Его, в Своем великом милосердии сжалится над Своим народом и пошлет ему избавление. Однако евреи продолжали обрезать своих детей, потому что добились от епископа обещания, что это останется в тайне.

Итак, рабби Шимон и двое раввинов поднялись и отправились в Рим к Папе. Когда они прибыли в Рим, то дали знать об этом местным евреям и попросили у них совета, что делать. По правде сказать, римские евреи весьма удивились, услышав о таком запрете. Они утверждали, что, насколько распространяется человеческая память, такого доброго Папы в Риме еще не было. Он буквально жить не может без евреев и даже частенько тайно принимает у себя евреев, которые иной раз играют с ним в шахматы. И в самом деле, они даже не слыхали о таком запрете, а поэтому возможно, что он исходит не от Папы, а как раз от епископа. Однако рабби Шимон показал им письмо Папы с его собственноручной подписью, так что у римских евреев не осталось уже иного выхода, как поверить посланцам из Майнца. И они сказали: «Наверно, майнцские евреи согрешили, и потому на них обрушилась эта беда». И римские евреи тоже начали каяться, поститься, возносить молитвы и раздавать пожертвования, а затем старейшины римской общины отправились к кардиналу, с которым они были знакомы, чтобы постараться убедить его отменить жестокий запрет. Говорит им кардинал: «Насколько я знаю, это письмо было написано собственноручно Папой епископу, так что мы не сможем тут многого добиться». Тем не менее, он пообещал сделать все, что будет в его силах. А тем временем пусть евреи подадут прошение Папе, а он, кардинал, сделает все, чтобы им помочь. Так евреи и поступили. Они подали прошение

Папе, и когда он его прочитал, то узнал из него, как обстоят дела, а потому приказал, чтобы евреи сами к нему пришли.

В общем, рабби Шимон отправился к верховному кардиналу, который сообщил об этом Папе, – пришли, мол, евреи из Майнца, которые хотят его видеть. Папа приказал, чтобы глава делегации пришел к нему. Как известно, именно рабби Шимон был главой евреев, и его ослепительно белое лицо было подобно лицу ангела Всевышнего, да благословенно будет Имя Его. Войдя к Папе, он упал перед ним на колени. А Папа как раз сидел и играл в шахматы с одним из своих кардиналов. Увидев рабби Шимона, он сильно испугался. Он велел ему встать и посидеть, пока он закончит шахматную партию. Он сразу же узнал своего отца, но отец не узнал его. Когда Папа закончил партию, спросил он рабби Шимона, чего тот добивается. Рабби Шимон ответил ему, горько рыдая, и снова хотел броситься на колени. Но Папа не допустил этого и сказал ему: «Я уже занимался тем, что вас интересует. Из Майнца пришли странные письма, так что у нас не было другого выхода, как издать этот запрет». Но тут же Папа принялся беседовать с ним о вероучении и показал такие познания и такую остроту ума, что едва не победил рабби Шимона, Господи спаси и сохрани, в учености. Рабби Шимон сидел растерянный и все удивлялся, откуда такое сердце взялось среди иноверцев. Так они оставались вместе почти половину дня, пока Папа не сказал ему: «Мой дорогой рабби, чувствую я, сколь велика твоя ученость и как остер твой ум. Не напрасно направили тебя евреи посланцем ко мне. При мне всегда находятся евреи, которые играют со мной шахматы. Иди-ка и ты сюда, и давай сыграем в шахматы. Твои посольские обязанности наверняка от этого не пострадают.

Как известно, рабби Шимон был большим мастером шахматной игры, подобного которому не было во всем мире. Тем не менее, Папа постоянно ставил ему мат. Это крайне удивило рабби Шимона. Тем временем они говорили о делах веры и Папа проявил большие познания и великий талант, просто поразивший рабби Шимона. В конце, когда он снова принялся плачущим голосом просить Папу смилостивиться над евреями и отменить жестокий запрет, Папа больше не мог сдерживаться и попросил всех кардиналов, стоящих вокруг него, чтобы они вышли.

Тогда он пал на грудь рабби Шимону и горько заплакал: «Дорогой старый отец! Не узнаешь ли ты меня?» – Отвечает ему удивленный рабби Шимон: «Откуда мне вас узнать, ваша царская милость?»

Говорит ему Папа: «Дорогой старый отец! Не терял ли ты когда-нибудь сына?»

Когда великий раввин услышал это, он очень испугался и сказал: «Да, это правда».

Говорит ему Папа: «Это я, твой сын Эльхонон, которого субботняя прислужница-иноверка украла из твоего дома. Из-за какого греха это случилось, или как это обрушилось, этого я не знаю. Видимо, такова была воля Господа Всевышнего. И вот я издал запрет, потому что я хотел, чтобы ты приехал сюда, как это на самом деле и произошло. Теперь же, однако, я хочу избавиться от всего этого и

искать исправления для своей души. Поэтому-то я и отменю этот запрет». И вот, он дал ему благожелательное письмо к майнцскому епископу и таким образом запрет был отменен.

Потом спросил его сын: «Дорогой отец, может быть ты сможешь мне сказать, как я могу исправить душу свою и искупить свои грехи?»

Отвечает ему отец: «Дорогой сын, не беспокойся. Ты был принужден к этому, ибо тогда ты был еще ребенком».

Снова говорит сын: «Но, дорогой отец, я же так долго оставался среди иноверцев, хотя я знал, что я еврей, и не вернулся с покаянием. Дела у меня шли слишком хорошо, как ты видишь, и добрые годы были тяжелым препятствием, из-за которого я ранее не вернулся к своему еврейству. Действительно ли ты веришь, что я еще могу удостоиться искупления?»

Говорит ему отец: «Дорогой сын, врата покаяния не заперты, ты еще можешь покаяться!» Следует сказать, что рабби Шимон уже во время шахматной игры заметил, что он от семени иудеев.

Короче, говорит Римский Папа рабби Шимону: «Отправляйся домой с миром, а Бог Израиля пребудет со мной. Отвези письмо своему епископу, но ничего не рассказывай ему обо мне. А я как можно быстрее приеду к тебе в Майнц. Но прежде чем я уйду отсюда, я хочу записать на вечную память завещание, которое будет во благо евреев».

В общем, рабби Шимон вернулся к майнцским евреям и показал им письмо Папы о том, что запрет, слава Богу, отменен. Все очень радовались доброй вести. Но своей жене он рассказал всю историю, все, что с ним произошло, и то, что Римский Папа – это их сын. Когда она это услышала, она весьма опечалилась, но рабби Шимон сказал ей: «Не печалься, наш сын вскоре будет с нами».

Вскоре после этого Папа сочинил книгу против их веры и спрятал ее в одной из кладовых своего дворца и оставил завещание, что тот, кто будет Папой после него, пусть заглянет в эту книгу. Стоило бы, на самом деле, изложить пространно содержание этой книги, но не здесь место для этого.

Некоторое время спустя Римский Папа поднялся и ушел с целым состоянием в Майнц и вернулся там к вере Израиля, но в самом Риме не знали, куда он подевался. В связи с этой страшной историей рабби Шимон Великий сочинил стих: «Эльхонон, наследие его милостью будет исправлено», который произносят на второй день новогоднего праздника Рош а-Шана во всех святых общинах.

И потому не думайте, что это выдуманная история. Напротив, именно так оно и случилось, как здесь написано.

Есть утверждающие, что рабби Шимон узнал своего сына по его манере игры в шахматы. В то время, когда его сын был еще маленьким мальчиком, он научил его приему шахматной игры, который тот потом повторил, играя в шахматы со своим отцом в Риме. Тогда рабби Шимон и почувствовал, что это его сын.

И да простит Господь, да благословенно Имя Его, нам прегрешения наши за заслуги рабби Шимона Великого. Аминь. Сэла.

ПОСОХ, КОТОРЫЙ РАСЦВЕЛ

История, которая произошла

Жил когда-то выкрест, большой нечестивец. Своими злодеяниями он привел к гибели многих братьев наших, сынов Израиля. Так он вел себя долгие годы. Вдруг овладело им стремление к покаянию, и он отправился к рабби Иегуде Хасиду, и попросил его, чтобы он дал ему устав покаяния за его тяжкие грехи, совершенные им за все эти годы. Он перечислил Хасиду великие преступления, совершенные им на протяжении всего времени с тех пор, как он крестился. Когда Хасид выслушал обо всех злодеяниях, совершенных выкрестом за его жизнь, он не захотел давать устава покаяния. «Твои грехи слишком велики», – сказал он ему. А Хасид в это время как раз вырезал посох, и вот он говорит выкресту: «Видишь? Также, как невероятно то, что эта палка, что в моей руке, может снова зазеленеть и то, что на ней раскроются зеленые листочки, так же мало и ты можешь рассчитывать на прощение и искупление. Какой уж устав покаяния я могу тебе дать?» Пошел выкрест от Хасида, говоря себе: «Если Хасид ни в коем случае не хочет дать мне устава покаяния, то я буду теперь совершать еще худшие деяния, чем до сих пор».

Вскоре после этого рабби Иегуда Хасид увидал, как посох вдруг зазеленел и покрылся свежими листочками. Хасид весьма удивился и вспомнил о словах, которые он сказал выкресту. Подумал он: «Наверное, выкрест еще может искупить свои грехи, доказательство этому в том, что посох действительно зазеленел. Посылает он поэтому позвать выкреста и говорит ему: «Намедни я не хотел дать тебе устава покаяния, потому что думал, что точно так же, как невероятно, что посох может снова стать зеленым и выпустить листочки, так же мало у тебя надежды получить прощение за свои злодеяния. Теперь, однако, посох снова зазеленел, и на нем начали пробиваться свежие листочки. А коли с тобой произошло такое чудо, видимо, ты когда-то в своей жизни совершил что-то хорошее, и ты, несмотря ни на что, еще можешь надеяться на прощение твоих гнусных деяний. Скажи же мне, ты же должен был совершить что-то такое в своей жизни, чтобы я мог дать тебе устав покаяния, какой, если ты останешься тверд в нем, наверняка искупит тебя за все». Отвечает ему выкрест: «Я должен тебе признаться, дорогой рабби, что с тех пор, как крестился, я ни одному еврею не сделал ничего хорошего. Напротив, насколько только мог, причинял я евреям одни горести, кроме одного единственного случая, а случилось вот что. Я пришел однажды в город, где жило много евреев. Но горожане были большими ненавистниками евреев и думали только о том, как бы избавиться от них. Но не знали, как этого добиться. Поэтому возвели они на евреев навет. Они подбросили одному еврею труп байстрюка, а потом распространили слух, что иудеи закололи его. Тут же сбежались иноверцы – стар и млад, и хотели вырезать всех евреев. Однако в магистрате заседал один советник, весьма

приближенный к правителю, каковой советник был добр к евреям. Он сказал сбежавшейся толпе: «Не торопитесь проливать невинную кровь. Давайте сначала расследуем это дело и выясним, действительно ли евреи используют нашу кровь. Вы можете спросить, как нам это сделать? Так я вам хочу сказать. Вот здесь среди нас находится выкрест. Его-то мы и спросим; он-то наверняка знает это. Если он скажет, что евреи используют нашу кровь, тогда это будет, вне всякого сомнения, то, что они так поступили с байстрюком. Однако же если он скажет, что нет, что они не используют христианскую кровь, значит, не совершали этого гнусного деяния и чисты от греха. Действительно, зачем нам проливать невинную кровь? Было бы преступлением и убийством совершать подобное. Но если вы правы в своих подозрениях, то никто вам не воспрепятствует отомстить и умертвить всех евреев». Когда горожане выслушали эту речь, они послали за мной и заставили меня поклясться всяческими клятвами и присягами, что я скажу им чистую правду, действительно ли евреи используют христианскую кровь, потому что тут случилась такая гнусная история с этим байстрюком. Я поклялся им честным словом и сказал, что на евреев наводят напраслину этим глупым наветом. Это я доказал им множеством доказательств, что подозрение – буквально ложь и обман. Я переговорил с ними и сказал: «Посмотрите. Как известно, евреи обязаны вымачивать каждый кусок мяса, а затем высаливать его, чтобы кровь вышла из мяса. Так сказано уже в их Торе, что им нельзя есть крови. Они также обязаны резать скотину таким образом, чтобы кровь полностью вытекла. Итак, как же это можно представить, чтобы они использовали человеческую кровь?» Когда горожане это услышали, то они все как один сказали: «Если это действительно так, то пусть ни с каким евреем не случиться ничего дурного». И действительно, беда была таким образом предотвращена и пришло спасение всем евреям. Если бы я возложил вину на евреев, то христиане бы, не дай Бог, их всех перерезали. Получается, что я спас целую еврейскую общину от смерти, и это действительно самое лучшее, что я совершил когда-либо за всю свою жизнь!» Сказал на это Хасид: «Да, это действительно было одно из самых добрых деяний!» Потом Хасид дал устав покаяния, каковой выкрест выполнял во всех деталях и стал богобоязненным, честным евреем.

НАВЕТ НА РЕГЕНСБУРГСКИХ ЕВРЕЕВ

История, которая произошла давным-давно в Регенсбурге

Когда-то два каменщика-иноверца работали у одного еврея в доме на еврейской улице и во время работы увидели в кладовой много серебряной и золотой посуды. Они захотели ее украсть.

Они посоветовались между собой, как забраться в кладовую и все оттуда забрать в то время, когда евреи будут находиться в сина-

гоге и молиться. Так они и сделали. Забрались в кладовую и забрали все, что там нашли серебряного и золотого. Тогда один из них подумал: «Ай, на что мне сдался компаньон в добыче? Я могу сам забрать все». Подумав так, он подошел к своему товарищу, как раз когда тот пытался выбраться из кладовой через дырку наверху, и ударил его молотком по голове так, что тот упал замертво. Он быстро забрал с трупа украденное золото и серебро и убежал с добычей. А произошло это как раз в то время, когда все евреи были в синагоге и молились.

Как только хозяин вернулся домой из синагоги, он увидел, что в кладовой лежит труп. Его испуг был неопишем, как можно себе легко представить. Поэтому он хотел убрать труп тайно, чтобы никто не знал, потому что он очень боялся нападения иноверцев, как это едва не произошло. Сразу же, буквально, как стрела из лука, по улице иноверцев распространился слух, что евреи зарезали христианина. Тут же разъяренная толпа примчалась со всех сторон на еврейскую улицу и хотела устроить резню, Господи спаси и сохрани.

Однако рабби Иегуда Хасид тут же пришел к бургомистру и обратился к нему со следующими словами: «Господин мой, что вы хотите сделать? Вы хотите допустить, чтобы из-за одного мертвеца перебили бы, не дай Бог, всю общину евреев? Вам же прекрасно известно, что мы не виновны. Как вам известно, двое каменщиков работали у этого еврея в доме. Я вам докажу, что один из них убил другого».

Говорит ему бургомистр: «Если ты мне это докажешь, ни с кем из вас ничего не случится». И он издал приказ, чтобы христиане остановились, и вели себя спокойно, и никого не задевали.

Тогда говорит ему Хасид: «Прикажите быстро закрыть городские ворота, чтобы убийца не смог убежать». Так и было сделано. Потом Хасид взял и написал амулет со Святыми Именами и вложил его в руку убитого. Произошло чудо, и убитый ожил и начал высматривать своего убийцу. Он сразу же его увидел прячущимся за чужими спинами.

Убитый подбежал к нему и сказал: «Ты убийца! Ты убил меня, потому что хотел взять один всю добычу от кражи. Ты подошел ко мне и ударил по голове молотком, так что я упал замертво в кладовой». Убийцу тут же посадили в тюрьму, а потом приговорили к смерти и привели приговор в исполнение.

Говорит Хасид бургомистру: «Видите? Если бы я вас не удержал, пролилось бы много невинной крови». Отвечает ему бургомистр: «Вы абсолютно правы. А поэтому, дорогой рабби, простите меня за это, подобное больше не повторится. Обещаю вам, что отныне и впредь я всегда буду стараться сначала провести тщательное расследование, чтобы выяснить подлинную правду».

У убитого было много богатых друзей. Они просили Хасида, чтобы тот оставил его в живых, а за это они его вознаградят. Но Хасид отказал им, потому что не должен был этого делать.

Он тут же вынул амулет из руки убитого, и тот упал замертво. Бургомистр же потом сделал много добра Хасиду.

РЕГЕНСБУРГСКИЙ ПРИВРАТНИК

История, которая произошла в дни рабби Иегуды Хасида

В Регенсбурге был привратник, большой злодей, иноверец. Каждый раз, когда в городе умирал еврей, и его выносили для погребения через городские ворота, привратник принимался назло громко звонить в колокола, что над воротами.

И был день, и рабби Иегуда заболел и близился к смерти. Он созвал к себе домой всю общину и сказал: «Дорогие господа, я в руке Божией и, видимо, скоро уйду из мира. Но я вам дам знак, чтобы вы знали, что мне есть доля в грядущем мире. И вот этот знак: когда меня будут выносить для погребения через городские ворота и этот бесовский иноверец начнет по своему обыкновению звонить в колокола, в то же мгновение ворота рухнут, так что меня не смогут вынести через эти ворота. Когда это произойдет, знайте, что я уже в раю».

Когда Хасид, за многие грехи наши, скончался, понесли его тело через городские ворота. Подлый привратник начал звонить в колокола. Но случилось чудо, ворота упали и насмерть зашибли привратника, а носилки с телом Хасида не смогли вынести через эти ворота.

То, что эта история не выдумана, вы можете сами убедиться. Поезжайте в Регенсбург, и вы все это сами увидите и услышите об этом, потому что ворота эти до сего дня так и не смогли больше отстроить. Да, не раз пытались это сделать, но как только ставили ворота заново, они тут же падали. Их так никогда и не восстановили.

ГРОБ РАББИ АМРАМА

История, которая произошла

Некоторые говорят, что это случилось в Майнце, а некоторые — в Регенсбурге. Когда-то жил там чудотворец, праведник, которого звали рабби Амрам. Он был родом из Майнца, что на Рейне, но в юные годы уехал в Кельн, где приобрел известность как глава большой иешивы. Хотя он был очень доволен и ему нравилось жить в Кельне, он все равно хотел после смерти быть погребенным в Майнце, там, где покоились его предки. Когда праведник стал старым и больным, он послал за своими учениками и сказал им: «Мои дорогие ученики, вы видите, я лежу здесь больной и скоро умру. Я ясно чувствую, что вот-вот умру. Поэтому прошу, чтобы вы похоронили меня рядом с моими родителями в Майнце». Отвечают ему ученики: «Святой рабби, как мы можем это сделать, ведь очень опасно везти вас так далеко». Говорит им рабби Амрам: «Если так, то я хочу вас попросить. После моей кончины омойте меня и положите в гроб, затем поставьте гроб в лодку, и пусть лодка плывет по Рейну, куда захочет».

Когда рабби Амрам скончался, ученики омыли его и положили в гроб, как он велел. Затем поставили гроб в лодку, стоявшую на Рейне.

А лодка тут же поплыла против течения и плыла, пока не достигла Майнца. Когда горожане увидели это великое чудо, как лодка плывет по воде сама по себе против течения, сбежалось множество людей. Увидев гроб с покойным, они сказали: «Это не просто так. Наверное, это святой и непорочный праведник, который хочет быть здесь погребенным». И вот, люди направились к лодке и хотели ее забрать, но лодка не давала себя ухватить и каждый раз отплывала назад. Люди ушли оттуда очень удивленные и рассказали об этой удивительной истории майнцскому епископу. После этого сбежался весь город – евреи и христиане, не рядом будь упомянуты. Когда евреи приблизились к берегу Рейна, чтобы увидеть великое диво, лодка подплыла к ним, но когда иноверцы хотели возложить свои руки на лодку, она каждый раз отплывала назад, пока каждому не стало абсолютно ясно, что лодка хочет приблизиться к евреям, а не к иноверцам. Тогда иноверцы подозревали евреев и сказали им: «Войдите в лодку и посмотрите, что есть в ней». Лодка сразу же начала приближаться к евреям. Итак, евреи вошли в лодку, открыли гроб и увидели, что в нем лежит усопший, а рядом с ним – письмо, в котором было сказано вот что: «Дорогие братья и друзья, евреи святой общины Майнца, знайте, что я, Амрам, пришел теперь к вам, потому что я умер в Кельне и желаю быть похороненным рядом с моими предками, покоящимися в Майнце. Всем вам мира и долгой жизни желает Амрам».

Когда евреи увидели письмо, то очень опечалились этой большой утрате, кончине праведника, а затем вынесли гроб на сушу. Увидев это, иноверцы стали оскорблять евреев. Они напали на евреев, одолели их и избили их до полусмерти, но иноверцам оказалось не под силу сдвинуть гроб с места. Тогда епископ приказал следить за тем, чтобы евреи не унесли оттуда гроб. Иноверцы сразу же построили на этом месте огромную церковь, а внутри нее остался стоять гроб рабби Амрама. Но евреи не отступились. Они старались умиловить иноверцев и уговорить их вернуть гроб. Но ничего не помогло. И до сего дня эта церковь называется Сант-Амрам. Но каждую ночь рабби Амрам являлся во сне своим ученикам и просил: «Придите сюда и похороните меня рядом с моими родителями». Когда ученики слышали это, ими овладевал великий страх, и они весьма скорбели. Тогда они отправились в Майнц и там сняли с виселицы вора, надели на него саван, вынесли рабби Амрама из церкви, а на его место положили труп вора. Только после этого они похоронили рабби Амрама рядом с его предками. После этого Господь, да будет Он благословен, уберегал евреев от всяческих бед, и эта история осталась в тайне до сегодняшнего дня.

Давид Маркиш

РУССКАЯ РУЛЕТКА ОЛЕШИ

О Юрии Олеше написано много, может быть, почти всё. Вот это-то размытое «почти» и позволяет мне, как говорили в старину, в прошлом веке, взяться за перо и, не впадая в заманчивый грех повтора и перепева, предложить читателю взглянуть на Олешу моими глазами.

В литературной среде Олеша был человеком-легендой. Слава, сошедшая на него в середине 20-х годов и сопутствовавшая ему десятилетие, вплоть до 1936 года, когда по указу властей был наложен запрет на его публикации, – эта слава не ушла в песок. Она как бы окостенела, окружив Олешу крабьим панцирем: «Это Олеша? Тот самый Олеша?» И уже не имела никакого значения заношенная, мешком висящая одежда, нестриженные волосы на крупной, слегка наклонённой, как для тарана, голове... Этот человек написал «Зависть» и «Лиомпу», «Наташу» и «Три толстяка», это он вознёсся на вершину литературной славы и остался там навсегда. «Он похож на Везувий в снегу» – сказала о нём поэтесса Вера Инбер, его современница и землячка.

Дневниковые записи, произвольно и разрозненно опубликованные годы спустя после его смерти, стоят особняком в творчестве писателя. По поводу коммунистической власти Олеша иллюзий не питал и едва ли предполагал, что его дневники увидят когда-нибудь свет. Этот текст не обращён к будущим читателям, с которыми, через забор собственной смерти, большинство писателей говорят неестественным голосом, прижавшись к носу. На протяжении тридцати лет – полжизни – Олеша обращался лишь к себе, и держать эти записи в собственном доме было актом фатального мужества: прочти их люди государственной безопасности, и автор, подобно многим его друзьям, отправился бы в тюрьму, а то и в расстрельный коридор... Олеша дневников своих никому – за исключением счастливых единиц – не читал и не показывал, а охранной грамотой ему служило его беспробудное пьянство и беспредельная забубённость. Не читал – потому что, видел в дневниковых откровениях предмет личный, почти интимный и, таким образом, никак не предназначенный для мясистого уха толпы. Пил беспробудно – потому что, по его словам, не желал заполнять перерывы между пьянством реалиями окружающего советского мира. Наполненный вслянь непокорным писательским любопытством, спрашивающий первого встречного-поперечного: «А вы, случайно, не были на Борнео?», он безнадежно стремился заглянуть в другой мир – мир свободы и сильного достоинства. «Меня приучают прятать своё мнение. От этого трудно, утомительно жить. Мне кажется, что попади я в какую-нибудь частицу Швейцарии, освещённую солнцем, с движущейся, – вспоминая Пастернака, – тенью придорожного дерева, то я пришёл бы в себя. (Дневники, 7 апреля 1952)». За год до смерти Сталина такое признание безусловно вело на Колыму.

Но, вначале – что представляют собою Дневники Юрия Карловича Олеши? Вот как он сам описывает их: «Целый ящик рукописей. Гряз-

ные, испачканные в чужих квартирах, в скитаниях листы. Пачки, перевязанные грубыми верёвками, чуть ли не подтяжками. Жаль себя. Я хороший художник. Иногда отдельные места ослепляют блеском. (*Дневники, 4 сентября 1955*)».

Привычно думать, что ослепительные «отдельные места» в прозе Олеши это его метафоры, от которых захватывает дух, как в петлях «американских горок». Мне кажется, что это не совсем так – хотя и этого хватило бы с лихвой, чтобы остаться в русской литературе, из которой большинство сверстников Олеши смыты без следа течением времени. Олеша создал особую, убедительную стилистику, характерную для «назывателя вещей», как он сам себя определил. Его стилистика безошибочно узнаваема – как стилистика гениального Платонова, хотя между ними, по существу, нет ничего общего. Возможно, Олеша и Платонов – два полюса литературной эпохи 20-30 годов.

Нет нужды повторять, что писатели склонны вести дневниковые записи. Впоследствии – разрозненные или упорядоченные и скрупулёзно датированные – они зачастую становятся основой мемуаров, которые, в свою очередь, являются позолоченным наверху всей писательской жизни. В условиях тоталитарного режима ведение дневников являлось занятием опасным, если не губительным: для карательных органов такой исповедальный материал был сущим подарком. Советские писатели воспринимали такое нелепое, на взгляд со стороны, положение вещей как прописную истину. И, тем не менее, наиболее отважные и безоглядные из них, пряча и перепрыгивая исписанные листки, упрямо «изливали душу». То была «русская рулетка», Олеша играл в неё и выиграл приз: умер в собственной постели. И спустя пять лет после его смерти *Дневники* увидели свет под припрятным за уши названием «Ни дня без строчки».

Уже тогда, в 1965 «оттепельном» году, это название вызывало усмешки и пародировалось литературными остряками; впрочем, было ясно, что «жизнеутверждающее» название послужило своего рода пропуском книги в свет. Состав книжки также порождал сомнения: едва ли кто-нибудь из пишущих и серьёзно читающих людей сомневался в том, что «Ни дня без строчки» не более чем искромсанный цензурой вариант записей Юрия Олеши. Действительно, в первом советском издании «Ни дня без строчки» всё, что касалось взглядов писателя на удушающую государственную систему, ампутировали и оставили в стороне.

Но вернёмся к названию, под которое довольно-таки неуклюже подтасованы составителем и цензором первого издания отдельные выдержки из дневниковых записей Олеши. В майский день смерти писателя ко мне домой пришёл наиболее близкий к Олеше человек, не расстававшийся с ним последние двадцать лет – бездомный литератор Вениамин Рискин. Пили, вспоминали... В разговоре Рискин коснулся *Дневников*, о существовании которых я прежде никогда не слышал.

– Он писал их всю жизнь, – сказал Рискин, – там есть настоящие перлы.

– Думаешь, теперь напечатают? – спросил я.

– Откуда я знаю! – сказал Рискин. – Может, надёргают цитаты, как перья из гуся.

– Ты читал? – спросил я.

– Нет, – сказал Рискин, – только те куски, что показывал Юрий Карлович. Он называл это «Слова, слова, слова...»

Тот далёкий разговор вспомнился мне, когда в одной из поздних публикаций *Дневников* я наткнулся на эти вот строчки: «Только что видел во сне Фадеева, окружённого прочими, который говорил мне, что той статьёй, которую он написал, он меня спас от страшного разгрома. Я выражаю удивление и говорю, что я статьи не читал. Все смеются. Покачиваясь на этом смехе, он продолжает говорить, что спас от разгрома. Тогда, задыхаясь от слёз, я кричу ему, что не напечатает же он моей книги «Слова, слова, слова...» Он прислушивается, сознание мелькает на его физиономии». («Знамя», 1998, № 7, Москва).

По *Дневникам* трудно судить о литературных приверженностях Олеси – скорее, о его антипатиях: «Завидую ли я Шолохову? Ничуть. Я помню большое унижение своё, связанное с Толстым (речь идёт о советском писателе Алексее Николаевиче Толстом. – Д. М.), Корнейчуком, Фадеевым. О, как они все бесславно возвышались! Как тянули один другого!» (К слову, унижение – это не то чувство, которое нищий, зачастую недоедавший Олеша показывал другим людям: он скрывал его за семью печатями, и в этом, возможно, одно из проявлений его независимого польского характера).

Исключение составляет Чехов – ему Олеша признаётся в высокой любви: «Чехов представляется мне великим писателем. Обычно, когда говорят о великих писателях, имя Чехова вспоминают не сразу. Почему – неизвестно. Может быть, потому что у Чехова нет романов?» Рассуждения Олеси о чеховской прозе светятся серебряным изумлением: как Чехов достиг своей высоты, в чём его профессиональный литературный секрет? Одна из записей даёт косвенный ответ на этот вопрос: «...высказывание его (Чехова. – Д. М.) о Левитане и импрессионистах свидетельствует, что он приглядывался, например, к последним». Действительно, в целом ряде коротких рассказов срединного периода своего творчества Чехов продуманно размывает сюжет, как бы отдаёт предпочтение задумчивой запятой перед категоричной, как удар топора по колоде, заключительной точкой. И Олеша проявляет пристальный интерес к импрессионистскому взгляду на вещи и события; на фоне современной ему прозы, тяготевшей, в общем-то, к конструктивизму, это особенно заметно. Чехов ввёл этот новаторский приём в русскую литературу, Олеша его продолжил и утвердил. Подчёркнутая, а иногда и нарочитая «незавершённость сюжета», воспринимавшаяся когда-то как причуда или неуклюжесть, спустя годы прочно привилась к витому литературному стволу XX века.

Писательские дневники, как правило, содержат намётки будущих произведений – как состоявшихся, так никогда и не написанных. Олеша раз за разом возвращается в своих записях к теме *нищего* – самого себя на советском пиру чучел. До конца жизни он не оставил желания написать роман о нищем, стоящем у аптеки, на углу, в свету уличного фонаря. Неотступно преследовавшее его, это соблазнительное желание

несло в себе опасность: советскому писателю следовало сочинять романы о партийных руководителях, сознательных сталеварах и совестливых колхозниках, а не о нищем в ватном пиджаке. «Мысль о том, – записывал Олеша, – чтобы стать нищим, пришла ко мне внезапно. (...) Теперь эта мысль об обязанности моей стать нищим кажется мне вполне реальной. И тут какие-то неясные положения, требующие философско-поэтического воплощения: Христианство – коммунизм – грань новой эры, и я стою на этой грани с торбой на спине, – стою (*неразборчиво*), опираясь на палку». И продолжает без перехода, встык: «Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор – это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещённый прожекторами, а бывает также, что этот нос называется днём поэзии. Иногда, правда, его называют Константин Федин, что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым».

Как это ни странно, внешнее проявление нищенства в обустроенном обществе террора тяготило Олешу: «Я неопрятен. Одежда моя быстро разрушается». В день похорон матери Маяковского, «когда прошло около двадцати пяти лет с тех пор, как я играл с Маяковским в карты, пил с ним вино, разговаривал о жизни и о литературе», Олеша не решается пойти на панихиду по ней «из боязни обратить на себя внимание именно по поводу оборванной на мне одежды». Ему так хочется посмотреть гастрольные спектакли «Комеди Франсез» в московском Малом театре – но он не идёт: «если бы меня пригласили даже сами гастролёры, то и тогда я не мог бы пойти: у меня нет приличной одежды – вернее, одежда у меня неприличная».

В конце 50-х в Москве появились пёстрые чешские пиджаки «под твид». Олеша почти мечтал о таком пиджаке, заговаривал о том, как он, будь у него деньги, выбрал бы в магазине расцветку, примерил, надел. Незадолго до смерти финансовые обстоятельства сложились таким образом, что пиджак был куплен. В нём, пёстром, Юрия Олешу и положили в гроб: чёрного, соответствующего общепринятым представлениям о похоронном ритуале, не нашлось. Гроб с телом покойного выставили в маленьком зальце Союза писателей. Мимо открытых дверей, не заглядывая, шли в свои кабинеты литературные начальники. У гроба собралось несколько десятков людей. Плакали, с цветами в руках, официантки из кафе «Националь», коего Юрий Карлович был завсегдатаем и, по его словам, признанным князем.

Голова Олеша покоилась на вытертом, многоцветном, очевидно, назначения бархатном валике бордового цвета. Устроители похорон поторапливали публику: в зале было намечено проводить какое-то литературное совещание. На лице покойного застыло выражение снисходительного терпения.

«У меня мясистый, сравнительно приличной формы нос, – задолго до этого дня характеризовал себя Юрий Олеша, – узкие губы, выдающийся подбородок, глаза сидят глубоко, очень глубоко, как-то смертно. Лицо моё рассчитано на великую биографию».

Татьяна Бек

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Штрихи к портрету Евгения Рейна

«На мой взгляд, Рейн наиболее значительный поэт нашего поколения, то есть поколения, к которому я принадлежу...»

Иосиф Бродский, 1988

Поэт милостью Божьей – бурлящий стихом и в жизни удивительно на свои стихи похожий – Евгений Рейн до середины 80-х, то бишь до своего почти пятидесятилетия, книги, напечатанной типографским способом в родном отечестве, не увидел. Печатные страницы почти полностью были отданы «лирозепикам», о которых с саркастической серьезностью и убийственной иронией сказал Фазиль Искандер: «Идеологизированный писатель старается писать так, чтобы понравиться главному носителю идеологии... Он, писатель идеологизированный, рисует человека на фоне конечной цели идеологии, этой вечности для бедных».

Евгений Рейн, один из самых славных и любимых читателей лириков современной России, сотворил свою собственную неидеологизированную вечность, и к нему применима ахматовская формула из стихотворения «Поэт»:

...Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была ему наследством,
А он ее со всеми разделил.

За последнее десятилетие у Рейна вышло много книг: избранное «Против часовой стрелки» (Нью-Йорк, 1991) с предисловием И. Бродского; сборник «Нежносмы...» (М., 1992) с иллюстрациями А. Харитоновой; книга поэм «Предсказание» (М., 1993), сборник «Балкон» (М., 1998), книга «Арка над водой» (М., 2000), соединившая стихи хрестоматийно отобранные и совсем свежие... В 1996-ом Рейн получил Государственную премию России.

Справедливость восторжествовала – поэт оценен и услышан широко, но сколь поздно, с какими потерями для читателя, прежде всего! Пока соцреалисты пекли многотиражный пирог, Рейн – поэт редчайшей одаренности – испытывал свой сокровенный талант журналистской, сценарной и прочей поденкой, упираясь взглядом и слухом в однообразный пейзаж:

От Октября до Мая провис один кумач.
Вставай, страна родная, под пионерский плач.

Точно фиксируя горестные и абсурдные приметы той современности, поэт не пылал бунтарской ненавистью к государственной маши-

не, к душным лабиринтам ее местно-кафкианского замка. Он с барственной кротостью и гордым смирением разделял общую участь. Его протест против тоталитарной доктрины выражался в лукаво-юродивой неподчиняемости тому самому «идеологизированному сознанию» (не секрет, что Рейн является прототипом искандеровской, одноименной процитированному стихотворению Ахматовой, повести «Поэт»). Сохранить себя Рейну – помимо дара и интеллекта – помогло спасительное *детство*, которое и на склоне лет отличает художника от дошлого приспособленца-имитатора. Причем детство это было неблагостным, сиротским, сразу угодившим во всенародную трагедию, о чем поэт, сочетая первозданную свежесть зрения и горестную зрелость ретроспекции, напишет в пронзительном наброске «Сорок первый» (название, как это часто бывает у Рейна, полемически отсылает нас к кинематографу):

...Был мой папа архитектор,
был мой дядя неудачник...
Папа был убит под Псковом,
без ноги вернулся дядя.
Мы стояли на платформе...
В сорок первом... в Ленинграде...

Вот откуда родом этот поэт: такова его пожизненная *платформа*.

Внутренне одинокий, ибо остро единственный, автогерой Рейна редко предстает в одиночестве: он всегда в кругу людей, в толпе, на торжище, на площади, в переулке. Он независим и в то же время не отторжим от замученной хозяевами человеческой общности:

Зачем же врать – я шел со всеми,
Безумен, счастлив, неуклюж!

Ни один современный российский поэт с такой дерзостью и рьяностью не вводил в лирику повседневный быт; и нищую красоту глухой периферии, ее грязь, сор, ветер; и абсурд городской коммуналки, где «было от пол-литра так близко до ножа»; и грубую доброту с дивной тарабарщиной. Причем, если поэты «лианозовской школы» – от Сапгира до Холина – показывали этот обиход с ерническим отстранением, то Рейн давал его в отображении оголенном, но при сем романтическом, во всей бедственной прелести. Старики и молчуны, инвалиды и безумцы кажут нам в стихах Рейна свою прежде мало кем замеченную статью и грацию... Кстати. Тринадцатилетним подростком Рейн играл за свой пионерлагерь в футбол на первенство района и был (мистика судьбы – в любом ее повороте) *центральный защитником*. Эту собственную участь поэт обдумывает в верлибре «Цветущий май». Цитирую, не разбивая на строки: «После матчей я шел пешком к себе на Фонтанку полтора часа. Нельзя было подступиться к трамваю, даже на «колбасе» не было места. Вот почему я остался защитником навсегда. В мое время защитники далеко от ворот не отходили, я и теперь не делаю ничего такого – вечно около своих ворот. Что такое защита? В словаре сказано: это значит (здесь и дальше курсив в цитатах мой. – Т. Б.) *оберегать, охранять, отстаивать, засту-*

паться, не давать в обиду, закрывать, загоразживать, охраняя... Защитники – особые люди, свой у них гороскоп, свои привычки, даже язык у них свой». Не о футболе – о поэтической доле сказано.

Поэзия Рейна *персонажна* – в этом ее специфика. Он сам о себе говорит так: «Отрезок между прозой и поэзией – это лучшая почва для моей лирики. Мне нельзя сеять на традиционном, то есть на археологическом уровне, не могу разметать чернозем жизни и, погрузившись на метр в чистое искусство, помещать зерна туда. Не прорастут».

Игра меж поэтическим и прозаическим, меж мировой культурой и «низкой» материей повседневности, меж традицией и выбросом в неизвестное – все это причудливо воплощается и в поэмах Рейна, балансирующих меж белым стихом и верлибром... Книгу поэм он задумал написать году в 74-м. Уже тогда придумал название – «Предсказание» – и сразу понял, что нужна абсолютно новая форма. В то же время Рейна бесконечно занимала прозаизация стиха с сохранением всего внутриэнергетического потенциала поэзии. То есть так, чтобы не переходить границу прозы. Он (знаю это по бесконечным, вот уже четверть века длящимся и драгоценным для меня разговорам с Рейном) погрузился в замечательные белые стихи, выделяющиеся в русской поэзии: «Обезьяна» Ходасевича, шедевры из книги Кузмина «Форель разбивает лед» и до некоторой степени (только до некоторой) поэмы Луговского из книги «Середина века». И Рейн начал пробовать на разные лады свой *белый стих*, который требует необыкновенной виртуозности (если монотонно чередовать белые строчки, это рискует стать невыразительным). Наш поэт придумал такую «раздвижную строку», чтобы звучал не только пятистопник, но и шестистопник, семистопник, чтобы вводились облегчения и утяжеления (то есть пиррихий и спондей)... Дальше – слово самому Рейну («Вопросы литературы» № 5, 2002): «Судьба мне благоприятствовала. Я уехал на месяц в Киев, была зима, мягкая, прелестная зима. Мне сняли номер в гостинице «Ленинград», и у меня практически не было знакомых – не с кем было убивать время. Я купил целый ящик сухого молдавского вина («Негру де пуркаре» – удивительно вкусное красное вино!) – ящик! – и за две недели написал пять или шесть этих самых белых поэм... Прошли годы. Я написал еще поэму «Алмазы навсегда», потом – «Мальтийского сокола», всего, кажется, десять белых поэм. И я понял, что я для себя это исчерпал и форма как бы сносила. Что необходим новый поворот. И я написал поэму «Вермеер» – может быть, менее удачную, но я через нее вернулся к принципу Маяковского, когда поэма состоит из разных кусков – каждый со своим ритмом и своей строфической. Главы-мозаика... Всего я написал пятнадцать поэм».

Стиховед Ефим Эткинд в свое время опубликовал статью о рейновских поэмах «Я вырастал в забавнейшее время...» («Литературная газета», 31 мая 1995 года), дав ей подзаголовок – «О двух «четверках». Исследования Ю. Лотмана как ключ к стихам Е. Рейна». В этой статье автор, в частности, сравнивает пушкинский кружок лицейстов с его идеалами и бытом (он отмечает: важнейшей чертой этого круга был «культ братства, основанного на единстве духовных идеалов»,

экзальтация дружбы и идущая отсюда *праздничность*, ибо «праздник всегда связан со свободой») – и, с другой стороны, коллективный портрет круга учеников Ахматовой и адептов неопетербургской поэзии, зафиксированный Рейном. Е. Эткинд напоминает нам: «Евгений Рейн родился в середине 30-х, Иосиф Бродский младше на пять лет; другие члены «ахматовской четверки» примерно того же возраста. В жизнь и литературу они вступили вместе, подобно четверке лицеистов... Ощущение братства связывает родившихся в 30-х годах нашего столетия с их далекими предшественниками...» Общая черта *ахматовцев с пушкинцами* – переполненность стиховыми воспоминаниями и реминисценциями. Герои рейновских поэм, молодые люди, пропитаны поэзией предшественников и старших современников: Пастернака, Мандельштама, Ходасевича, Ахматовой, а также стихами друг друга. Причем, у Рейна, надо это подчеркнуть, цитаты очень часто – по-разговорному иронические.

Весьма убедительно развернуто Е. Эткинд сопоставление поэмы Е. Рейна «Няня Таня» с пушкинским образом Арины Родионовны. Именно няня Таня, прошедшая раскулачивание и немецкий плен, посвятила будущего поэта в главные таинства духовного бытия: «...Я все тебе скажу. Что ты была права, что ты меня / всему для этой жизни обучила: / терпению и русскому беспутству, / что для еврея явно высший балл...»

Подчеркивая новаторство рейновских поэм, Е. Эткинд пишет, что автобиографический рассказ в стиховой форме получил распространение лишь в XX столетии, когда стали рождаться такие поэмы, как «Первое свидание» Андрея Белого, «Возмездие» Блока, стиховые повествования о своем детстве Вяч. Иванова, уже позже стихоповести С. Липкина («Вячеславу. Жизнь переделкинская»), белые стихи Иосифа Бродского – о судьбах соучеников («Школьная антология»)... «Поэмы Рейна, – пишет Е. Эткинд, – ближе всего к этому циклу Бродского: они и написаны чаще всего тем же белым ямбическим пятистопником, то и дело отступающим от регулярности. Стихи позволяют иначе сжать реальность, чем проза, требующая последовательной аналитичности и более или менее выдержанного стилистического единства. В стихах можно соединить самый простой рассказ с загадочно-метафорическим прорывом в душевные глубины – ни в какой прозе такие сопряжения невозможны».

В 90-е годы в поэзию Рейна властно вошла история, ее декоративный театр. Это опять же *быт*, но на сей раз быт исторический. В этих стихах живут и движутся в направлении гибельного катарсиса тени большевизма... Тотальная бесовщина XX века переплетается с ежедневными земными делами людей «внеисторических». Но и тех, и других неумолимо поглощает исторический рок:

...И все это отрада – встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
А ну, еще полгода, ну, крайний срок – два года –
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре

сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР»...
...А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
За все ответят тени, забвеньё шевеля.

Немезида – греческая богиня возмездия, которая изображалась с весами и уздечкой, с мечом и плетью, с крыльями и колесницей. Они символизировали контроль, возмездие, кару. Возникшая в этих стихах богиня (она у поэта сатирически осовременена и мыслит подстать советскому бюрократу), как никакая другая верховная сила, музе Рейна чужда. Он никого никогда не контролирует, не судит, не карает. Разве что себя самого – бесконечно (как, впрочем, и любой неподдельный интеллигент).

Ни у одного русского поэта мы не найдем такой естественной оксюморонности – то есть сведения воедино, казалось бы, прямо противоположных слов, состояний, оценок. Порою это выражено кратко: *правда неправды, женственность мужества, белая темнота*. Порою – развернуто, что мы проиллюстрируем лишь несколькими из множества возможных примеров: «Бушует европейская погода / – светлым-светло или темным-темно...»; «может, это будет слишком рано / или поздно»; «жили мы дивно и жили ужасно»; «что же теперь роптать на прилив и отлив?». И наконец – «Я хотел бы умереть с тобой? / Нет и да». Натура поэта настолько чужда максимализма и категоричности, что постоянно мечется меж полярностями и упорно двойится. Таким образом, это *единство противоположностей* предстает в стихе Рейна (опять прибегнем к формуле его великого учителя – Анны Ахматовой) *нарядно обнаженным*. Посему наш любимый поэт-современник оставляет за собою прерогативу показывать мир и дух в их ускользающей сложности, не судя и не вынося однозначных приговоров.

Оксюморонен сам характер, явленный в лирике Рейна. Это его парадоксальный нрав – сплав кротости и удали, терпения и губительной дрожи, оскорбленного сиротства и связи с миром. А если не вполне всерьез, то повторю определение, данное Рейну одним знакомым: «Он – смесь Ноздрева и князя Мышкина»...

Теперь рассмотрим отношения Евгения Рейна с временем и пространством. Ключ к его личному «хронотопу» – глубинная *ностальгичность* зрения. Он даже недавнее (а порою – сиюминутно протекающее) видит с огромной дистанции, любому пустяку придавая исторический и космический масштаб. Рейн смотрит на «здесь и сейчас», заранее тоскуя по следующему мгновенью, когда нынешнее станет прошедшим: «И это не только благо, но это и наказание, / ибо придется уехать, припоминая все это». Тоска заведомой утраты сменяется восторгом перед всесильем данной нам с детства памяти: «И встанут года из развала, / и прошлое сбудется впредь» (еще один па-

радокс: о прошлом поэт говорит в будущем времени – чудеса лирической грамматики). Только Рейн может сказать так:

Сто лет тому назад в гостинице районной,
с палаткою пивной в одно объединенной
мы жили вместе с ним...

...Автобус привозил экскурсию из Пскова,
в соседнем номере два дюжих рыболова
горланили «Варяг», а местный пионер
играл побудку нам на собственный манер.

Заметим, как естественно сосуществуют в урбанистическом пейзаже знаки далеких друг от друга эпох и социальных устройств: древняя ли Русь, советские ли приметы, – и все это гротескуется сказочным зачином «сто лет тому назад». Границ нет и не может быть – *Немезида*, напоминая, пишет графу «СССР»; «ушивают штанины *стиляги-подлюги* / и рифмует *гекзаметры* новый *Гомер*»; «новый *Иерусалим* – это *ВДНХ*»; «*Сетунь* разливается за *Летой*»...

Именно здесь ключ к той креативной загадке, которую намечает, но не решает, обращаясь к творчеству Рейна, критик Е. Невзглядова: «Повод для стихов у Рейна может быть на удивление незначительным: внезапное впечатление и явившаяся мысль, будучи даже совсем пустячными, имеют подспудную связь с самыми важными, ключевыми моментами и представлениями, составляющими систему ценностей поэта».

Особая тема – страсть Рейна к путешествиям, неважно – каким: на трамвае по Ленинграду (можно на речном – по Невке), или в Италию, или в Америку, или в Узбекистан, в Грузию, на Камчатку. В одном из стихотворений он обзывает жизнь «однократной кругосветкой», а в другом утверждает:

И дальний перестук,
что возле трех вокзалов, –
последний близкий друг
всех павших и усталых.

На мой вопрос, что именно поэту дают ближние прогулки и дальние странствия, Рейн ответил однажды так:

– Путешествие – это не только поезд или самолет, это новые пейзажи, другие люди, другие обычаи... Я, например, очень люблю музеи, но не краеведческие, а такие... Собрания живописи, галереи. Но главное, в путешествиях есть что-то легкое, что меня манит: случайные разговоры с попутчиками. Обожаю сидеть в чужом городе в кафе. Я такой «бульвардье» (от слова «бульвар»), мне всегда путешествия помогали писать. Бывали просто уникальные случаи. Когда я был в Италии в первый раз – через неделю я начал писать (а был я там месяц) и писал только об Италии, такой «дневник путешествия». Хорошо ли, худо ли, – написал книжку «Сапожок». А вообще, путешествия поворачивают мой мозг в особую сторону – чувствую себя легче. И с людьми лучше схожусь, и настроение у меня хорошее. Еще Гоголь говорил: «Дорога лечит» – и если ему становилось тошно до

психоза, то он сразу садился и уезжал. Для меня путешествие – это благо и лекарство...

Не отсюда ли – особенность рейновского словаря, который изобилует *поездами, автобусами, грузовиками, последними электричками, лодками, моторками, пароходами, парусниками, катерами*, а также тарахтящими вместе на взлетной полосе *«истребителями и серафимами»* (перечень можно продолжать почти бесконечно), – они несут в этом мире нагрузку как метафоры движения, так и символа пути. Зачастую далекие города и «края света» плавно переходят у Рейна в образы искусства: «И дрейфует Папанин у полярных торосов, / и рисует голубку формалист Пикассо» или «Венеция цвела сиреневым, как Врубель».

Живопись вообще занимает огромное место в поэзии Рейна: он любит, импровизируя, писать стихотворные вариации на темы Дюрера или Модильяни, Рембранта, Дега или Малевича. И он не просто любит в стихах полотнами художников – он признается в любви к чернорабочей ипостаси их ремесла:

Люблю я мастерские, скипидаром
пропахшие и лаком, где висят
грунтованные свежие холстины,
где масло, и гуашь, и акварель...

Но главное, что он, наш певец, черпает из мировой живописи собственно поэтические средства для выражения цветовой гаммы и пластики мира: «Против дома Кваренги / сел я выпить вина. / Словно на акварельке / уплывала Нева»; «а на западе в тумане/ солнце – клюквенный мазок»; «огонь летит над грязной белизной»; «желт амбир, и воздух матов»; «автопортрет в проточной воде»... И так далее. Словом, Рейн – не иллюстратор, а на наших глазах творящий импрессионист – он же – передвижник (опять почти оксюморон).

А сколько в стихах Рейна одомашненной и прирученной поэзией музыки! Кто-то свистит ему танго «Соловей», и звучит «труба Армстронга» (его Рейн именует *чернокожим архангелом*); и «душит Шубертом давний сплин»; и «Скрябин по клавишам бьет»; и – «на разбитом рояле запавшие клавиши, / по которым мальчишеский марш проходил»... А вот еще важнейшая для художественной философии Рейна строка: «Музыка жизни – море мазута»: снова перекрестье резко отдаленных стихий. Рейн-смысловик постоянно ныряет во влажные недра слова как музыкант, и оно начинает у него именно звучать, а не значить: «граница, гробница, грибница – / мерещатся ночью слова» или «о, иностранное слово среди пароходного шума!»... Слово у Рейна часто жертвует семантикой ради природного звука: «Я слышу крик полночного орла – / последнее напутственное слово...»

С годами крепнет тяга Рейна к мягкому (без «дыр-бул-щиров») словотворчеству. Его неологизмы (например, «нежнотно», сотворенное поэтом из половинки романсовой строки «...Нежно с морем прощалось...» – по лекалу слова «письмо»), или, по его определению, «самодельные слова» почти не бросаются в глаза: *легкоотяжелая штора; вокзальство; нежняночка; листописание*... Как тут не вспом-

нить дивное слово «тихотворение», созданное Бродским и окликнутое Рейном в обращении к памяти грандиозного младшего друга «24 мая»: «Как могло, так прощалось – от стихотворения к тихотворению – / майской ночью, помешанной только, но не вовсе безумной».

Писано уже о самобытности рейновских рифм: они разом и полные (редко – корневые или усеченные), и неповторимо асимметричные изнутри: *Нева – вина; обледело – налево; Кваренги – акварельки; повилика – половинка...* Таким образом, на всех музыкальных уровнях рейновской поэтики мы наблюдаем плодотворный синтез фольклора и авангарда, как в классическом джазе.

Вообще, восприимчивость поэзии Рейна к магии и попросту к лабораторным навыкам иных искусств – поразительна. Из архитектуры он черпает приемы композиции, из кинематографа – секреты сменяющихся планов, из фотографии – виртуозную возможность остановить мгновение и вырвать из житейского хаоса опорную деталь.

Если же говорить о доминирующем жанре в поэзии Рейна, то это, конечно, элегия, но не *сельская*, как это водилось во времена Жуковского, а исключительно *городская*. (И, добавим, всегда со «вспрыскиванием» из иных жанров – то из оды, то из баллады, то из песни). Недаром Иосиф Бродский, с проницательностью и любовью представляя Рейна читателю, называет его «элегическим урбанистом». При этом Бродский, размышляя об изуродованности любой поэтической судьбы в России XX века, – а она стала здесь нормой, – предостерегал своего друга от несдержанности и надрыва, от преувеличенной иронии и форсированной искренности. «Именно поэтому, – пишет он, – хочется положить ему на стол Вергилия или Проперция». Выходит, Бродский желал бы охладить и гармонизировать речь Рейна. «Человек, живущий в империи, – утверждал он, – тем более в разваливающейся, не много потеряет, отождествив себя с теми, кто в сходных обстоятельствах две тысячи лет назад не позволил себе впасть в зависимость от творящегося вокруг и чья речь была тверда. Последнего, впрочем, Рейну, чей голос звучал и не пресекся в эпоху имперского окостенения, не занимать».

Хорошо. Пускай Вергилий и Проперций полежат у Рейна на столе (хотя где? – стол его вечно завален газетами, журналами, альбомами, программками, рукописями юных учеников, черновиками, фотографиями, письмами – всем этим жалким и великим мусором жизни). А я думаю про другое.

Про поэзию как акт самоврачевания и, вслед за тем, врачевания других.

Однажды Рейн рассказал мне, почему он вообще начал писать стихи. Лет до четырнадцати он страдал сильными приступами бронхиальной астмы. И когда шел в школу по набережной Фонтанки, то быстро начинал задыхаться. Со временем он инстинктивно нащупал способ сопротивляться удушью: стал ритмически произносить первые попавшиеся слова.

Ему становилось легче...

– А потом, – спросила я Рейна, – когда ты писал уже настоящие стихи, тебе тоже дышать становилось легче?

– Да, конечно, – ответил он. – Потому-то я их, несмотря ни на что, и писал.

А напоследок позволю себе представить читателю собственное стихотворение 80-х уже окончившегося столетия. Это не только мощный портрет моего друга, но и, простите за дерзость, попытка очертить в стихах силуэт его уникальной музыки.

* * *

*Я все тот же, все тот же огромный подросток
перепутанной манией дела и гнева...*

Е. Рейн

Ты, надевший впотьмах щегольскую рубаху,
Проматавший до дыр ленинградские зимы,
Ты, у коего даже помарки с размаху
Необузданны были и непоправимы,

Ты, считая стремительные перекосы
Наилучшим мотором лирической речи,
Обожая цыганщину, сны, парадоксы
И глаза округляя, чтоб верили крепче,

Ты – от имени всех без креста погребенных,
Оскорбленных, униженных и недобитых –
Говоришь как большой и капризный ребенок,
У которого вдох набегаёт на выдох,

Ты – дитя аонид и певец коммуналок –
О, не то чтобы врешь, а правдиво лукавишь.
Ты единственный (здесь не возможен аналог)
Высекаешь музыку, не трогая клавиш.

И, надвинув на брови нерусское кепи,
По российской дороге уходишь холмами,
И летишь, и почти растворяешься в небе
Над Москвою с ее угловыми домами.

А вернешься – и все начинается снова:
Смертоносной игры перепады и сдвиги,
И немыслимый нрав, и щемящее слово,
И давидова грусть, и улыбка расстриги.

Алекс Тарн

СУМЕРКИ ИДЕОЛОГИЙ

Нынешние фестивали антиглобализма напоминают Ноев ковчег – каждой твари по паре.

Вот ветераны, седовласые пацифисты, радетели прав человека. С тоскливым умилением глядят они на восемнадцатилетних пофигистов и, вздыхая, вспоминают свою хипповую шестидесятую молодость, Вудсток, «старушку марианну» и свальный грех в травянистых кюветах. О-хо-хо, где ж вы годы молодые, когда пафос революции прямо соответствовал градусу эрекции, когда вегетарианство было идейным, а не предписанным семейным диетологом (запор, понимаете ли, замучил...), когда пили все, что горит, и курили все, что дымится? Где вы, где?..

Вот они, вот! Вот они, нынешние молодые, шкандыбают в незашнурованных армейских бахилах – хрюп-хрюп, трянс-трянс, мотают жестко стриженными бобриками в такт наушному двухаккордному разнообразию музыки-транс. В носу – два кольца, два конца, посередине шибздик... и серьги, серьги, серьги... много и всюду... сколько серег, Серега, ты только глянь! Последняя видная поблескивает в нижних зарослях гладкого юного живота, между поясом джинсов и недоумевающим (где я? зачем я здесь?) подолом короткой майки; «я не последняя, нет, – кричит она, эта последняя видная, – там есть еще много! по всей длине революционного органа!» Железный конь идет на осемену крестьянской лошадки! Дзынь-дзынь, бряк-бряк о корреспондирующие железяки в клиторе боевой подруги. Нет войне!

Да здравствует мировая революция! Это идут троцкисты. Эти не трахаются, этим не до того. Если и да, то – между делом, упорно борясь с либидо и кося зорким революционным оком на портрет Льва и Учителя. Для них тут все – временные попутчики, враги по сути... дайте только срок, падлы, гниль мелкобуржуазная! Пока что мы с вами, рядом, но вот ужо грянет она, возделенная всемирная заварушка; тогда-то уж погодите, отольются вам наши нынешние вынужденные компромиссы, прижмем вас, гадов, к заскорузлomu пролетарскому ногтю! Всех в лагерь, всех на принудработы, особенно этих, с серьгами... тьфу, пакость, смотреть противно...

Ба! Князь Кропоткин, Ваше превосходительство! И ваши тут! Анархо-синдикалисты, собственной персоной! Вот они, в общей толпе, под черным вороньим знаменем. Идут, как и положено, гуртом, кто в лес, кто по дрова. И правильно, что ж им, строим ходить, вольной вольнице? Стихия... Где ты, прежняя их, удалая слава? Где ты, живая кровушка, черну ворону на забаву? Давно не пивали... С тех самых пор, как зарубили махновскую ватагу в Гуляй-Поле конкурирующие людоеды, с тех пор, как сгинули в окопах под Мадридом испанские интербригады, с тех пор, как расстреляны были на площадях

Бадахоса железными фалангами генерала Франко... Дайте им ружья, князь! Что же вы, в самом деле – чешутся белы рученьки свежавылупившихся выродков.

И снова – дзынь-дзынь. Опять пацифисты? Нет... Тут и звон другой, погуще, и железяки пожирнее будут. Фашиствующие панки с унитарными цепями, намотанными на шею; панкующие фашисты с боевыми, намотанными на руку. Этим не попадайся – ботинок кованный, носок с шипом, каблук с подковой. Эти не идут, эти прут, поблескивая бритыми черепными коробками, поскрипывая кожаными, в заклепках, клифтами. Прут широко, враскоряку... раздайся, шваль, свинья идет!

Родина или смерть! Это идут барбудос! Национально-освободительные движения Азии, Африки и Латинской Америки движутся в общем антиглобалистском потоке. Большинство, впрочем, безбороды – хреново растет борода у представителей угнетаемых рас. Часть борцов за свободу выглядят напуганными – уж слишком много народу вокруг. И потом – кто тут друг? кто тут враг? – поди разберись. Врага, понятно, надо убить и тут же съесть его печень, пока теплая. Хорошо бы также вынуть селезенку; сушеная, она хорошо помогает от сглаза и уж совсем незаменима против страшного Духа, Живущего в Реке. Да только где тут высушишь... украдут, как есть украдут, оглянуться не успеешь. Вот и жмутся бедняги к вождям. А вожди, все как один – выпускники Сорбонны, и сами бы не прочь печеночки-то... вкусно ведь.

А это кто там, под красным знаменем? Командир полка, товарищ Щорс? Коммуняги, родные, вот вы где, несгибаемые... Маршируют строем, в ногу, печатают шаг по линии партии, руководствуясь пролетарским чутьем и революционным правосознанием. Красиво идут, передовой отряд человечества, солдаты мира и прогресса. Ах, солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава? Где же ваш, колючкой обнесенный, концлагерь на полпланеты? Где же ваши тройки, где же ваши стройки, где же ваши пыточные подвалы, и воронки по ночам, и по зубам сапогом с оттяжкой, и пули в затылок, и продотряды, и стукачи, и вохра, и Колыма, и пересылки, и лагерная пыль – тоннами? Где? Была слава, да нашлась управа. И слава тебе, Господи, что нашлась, потому что иногда казалось – нету...

Есть, есть управа, и на тех и на этих. Вот они, кстати, и «эти», не к ночи будь помянуты, праведные кузены «тех», такие же несгибаемые, только еще краснее. Вот они, дети Председателя, с цитатником в руке, с Мао – в сердце и с «чао» – в голове. «Эти» – по-хорошему экономны; для них все эти продотряды, особые совещания и пули в затылок – излишняя волокита. Они кончают своих идеологических врагов прямо на рисовом поле, уложив их в ряд, лицом вниз – мотыгой по голове. Коммунистическое рвение, помноженное на азиатское трудолюбие, – два миллиона трупов за четыре года... и все, заметьте, одними мотыгами! Дух захватывает, голова улетает – чао, голова!

Эй, голова! Приземлилась? Взлетай по-новой: идут представители сексуальных меньшинств. Ручка – на отлете, попка – отключена, мускулистые мужские ноги элегантно колышутся на зыбких шпильках. Эти идут парами, держась за соответствующие члены партнера. Это

неудобно и натирает... куда проще держаться за руку; но чего не сделаешь ради идеи... И всюду – признаки, признаки, первичные половые признаки, много, всех цветов и размеров, большей частью – розовые и огромные. Признак бродит по Европе!

Чу! Зашелестело. Это идут зеленые, усиленно отрывая жвачку и остерегаясь наступить на муравья. Коровы, завидев их, сходят с ума. Собаки с кошками, забыв многовековую вражду, бок о бок пускаются наутек. Неудивительно – ведь любовь зеленых к животному миру проявляется прежде всего в форме кастрации всего, что трахает, и в стерилизации всего, что трахают. Оставь меня в покое! – визжит попавший в мягкие зеленые лапы помоечный кот. – Дай мне драться, воровать, охотиться, жить... дай мне жить, убийца! – Нет уж, – со страдательно улыбается сердобольный зеленчук. – Лучше я тебя пристрелю, чтоб не мучился...

Такой вот антиглобалистский парад; прямо скажем, разношерстная компания. Что же их собралось здесь вместе, таких красивых и разных?

* * *

Утром 21-го января 1793 года палач дернул рычаг, и нож гильотины проскрежетал вниз над замершей площадью Революции, отделив голову от тела, а заодно и прежнюю эпоху – от новой. Упав с плахи вместе с окровавленной головой Людовика XVI, новая эпоха, Эпоха Идеологий, в отличие от королевской головы, не осталась в плетеной корзине, а весело выкатилась в мир – искать другие головы и с тех самых пор не уставала соответствовать зловещим обстоятельствам своего рождения.

Любые классификации условны, в особенности – членение непроницаемой мути прошлого на так называемые исторические периоды. К тому же многолетние усилия историков, литераторов, властителей дум и прочих «всех кому не лень» и так уже разграбили этот таинственный временной поток до полной невозможности. До того, что аж тошнит временами. Что, впрочем, не делает его, поток, более пронизываемым... Зачем же я, преодолевая тошноту, ставлю свою собственную отметку? Эпоха – шмепоха... новая – старая... Да еще и название такое претенциозное: «Эпоха Идеологий». Фу-ты, ну-ты... самому не противно? Сейчас ведь, небось, напишешь модное словцо «парадигма»? Вот, и впрямь написал. А нельзя ли было уместить все, что ты хочешь сказать, в одно короткое слово «тьфу»?

Можно-то можно, да как-то хочется прояснить, детализировать. Так что извините, братцы, без парадигмы тут не обойтись. Ведь что такое парадигма? Это всего-навсего иллюстрация, инструмент, позволяющий под определенным углом смотреть на прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее. Кто-то спросит – зачем? А зачем нам вообще нужны инструменты? – отвечу я по-еврейски, вопросом на вопрос. В самом деле, трудно без них. Как вы, к примеру, отрубите Людовику голову, не имея соответствующего режущего инструмента: ножа, топора, гильотины? Никак.

Кстати, и качество инструмента имеет тут немаловажное значение. Скажем, взяв нож в качестве парадигмы для решения проблемы Людовика, мы, хотя и достигнем в конце концов желаемого результата, но визгу не оберемся. Гильотина же, напротив, решает вопрос быстро, без шума и пыли. Так что давайте не будем недооценивать роль инструментов в нашей жизни (в случае Людовика – смерти).

Ладно. Вернемся к парадигме «эпоха идеологий». Зачем он мне, этот инструмент? Отвечаю: я хочу выбраться из чащи. Я запутался. Не знаю, как вы, а я чувствую себя смущенным в нынешней «борьбе идей», прости, Господи. Мало того, что прежде принципиально несмешиваемые течения страстно сливаются сегодня в одном антиглобалистском порыве; мало того, что редкий спор между «левым» и «правым» обходится без взаимных обвинений в фашизме, так еще и сами понятия «левости», «правости», либерализма, тоталитаризма, фашизма, гуманизма и пр. трактуются на удивление неоднозначно, в полной зависимости от автора трактовки. Немудрено запутаться. Кто-то скажет вышеозначенное «тьфу!» и отвернется. И будет, видимо, прав – зачем тратить время на глупости. Надо бы газон подстричь, машину помыть, корову подоить. Я же, по проклятой привычке приводить в порядок свою бедную голову, ищу парадигму. Хотя травка не стрижена, а машина не мыта. Что делать – каков рав, таков и устав.

Давайте для начала займемся определениями. К примеру, что я имею в виду под понятием «идеология»? А вот вам: идеология – это система верований и построенных на их основе умозаключений, призванная изменить существующую общественно-политическую действительность, приведя ее в итоге в соответствие с некоторым идеалом.

Ну? Наверняка, многие ринулись тут к книжным полкам и вернулись, размахивая энциклопедиями и словарями. Нет, – кричат, – нет, враки, вовсе не так! В словаре Ожегова написано совсем-совсем другое. Там идеология – это «система взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, класс, политическую партию, общество»! А у тебя что? «призванная изменить...», «некоторый идеал...» – откуда ты надыбал эту чушь, дорогой?

А я на это отвечаю вежливо, но твердо. Моя статья, моя парадигма, мое определение. Вы же сейчас мою статью читаете, а не словарь Ожегова. Притворитесь, пожалуйста, всего на несколько минуток, что идеология – это то, что я сказал, ладно? А потом возвращайтесь себе к Ожегову – нет проблем. Кстати, Ожегов – тоже не Тора с Синая. Скажем, Советский Энциклопедический Словарь имеет по поводу определения идеологии совсем другое мнение. Я уж не говорю о буржуазном Вебстере; каждый тут лепит что-нибудь свое, сокровенное. Отчего бы и мне не расстараться?

С другой стороны, почему это я так настаиваю на своей трактовке? Гордый, что ли? или больно умный? Да нет, ребята, не в этом дело. Что для меня здесь существенно – это именно слова «изменить» и «идеал». Были бы они у Ожегова, разве б я осмелился посягать на основы... и так далее? Да ни в жисть, век Даля не видать!

Мне важно, что Идеология имеет дело с Желаемым, с Идеалом, который пока что, в силу разных причин, не осуществлен, но к кото-

рому непременно, кровь из носу, надобно стремиться. А уж как достигнем, тут уже все будет хорошо... Замечу в скобках, что, покамест, факт успешного достижения идеала наукой не зарегистрирован. Но это я забегаю вперед, извините.

Сионизм, например, в свете данного определения идеологией не является. В самом деле, он не ставит перед собою задачу переустройства мира в соответствии с несуществующим идеалом. Целевая модель сионизма – вполне обычное, традиционное государство для отдельно взятого народа. Конечно, к сионизму могут прилепиться и звери другого рода – скажем, социализм; но общей картины это не меняет: в чистом своем виде сионизм – не идеология.

Теперь другой важный вопрос: есть ли идеология, в смысле данного мною определения, у консерватора?

В этом смысле – навряд ли.

Консервативные ценности просты, конкретны и стары как мир: семья, дети, народ, родина, традиция, в особенности – традиция, испокон веков, корнями вросшая в землю кладбищ. Может ли все это именоваться громким словом «идеология»? Дудки... Идеология – это «как надо».

Ценности консерватора – это «как есть» или даже – «как было». Чувствуете разницу? Консерватор не стремится к изменениям в направлении далекого и прекрасного идеала. Для него главное – сохранить имеющееся, а уж там – посмотрим.

Оттого он естественным образом оппозиционен любой идеологии, всегда направленной, по определению, на изменение, на подрыв статус-кво. Базой консерватора является не Идеология, но Традиция – система установлений, призванная препятствовать переменам, стремящаяся сохранить среду в действующем состоянии.

Согласно этой парадигме, нелепо противопоставлять консерваторов либералам, или коммунистам, или фашистам, или любой другой идеологии. Истинное сегодняшнее противостояние выглядит так: консерваторы против всех остальных; Традиция против Идеологий. Не то чтобы идеологиям было не о чем спорить друг с другом – гусь свинье не товарищ. Самые кровопролитные сражения происходили именно между ними. Коммунисты давили социалистов; объединившись, мутузили анархистов; всем кагалом наваливались на фашистов; а уж как вгрызались друг другу в горло представители неотличимых на здравомыслящий взгляд фракций и течений внутри каждой из идеологий!

Конечно, кто же спорит...

Несчастный двадцатый век, ставший ареной этих схваток, залит кровью как никакой другой до, и, надеюсь, никакой другой после него. Просто сейчас, на фоне общего упадка идеологий, после того как борцы основательно выдохлись, главное, глобальное противоречие «Традиция – Идеология» выходит на первый план. И антиглобалистские марши – лишнее тому свидетельство. Они хотели бы продолжать рвать друг другу чубы, да вот беда – силенки уже не те. Хочется крови, да не дают...

Остается протестовать вместе. Душераздирающее зрелище.

* * *

Я уже отмечал, что наиболее существенными признаками идеологии является наличие идеала и стремления изменить в его направлении не соответствующую данному идеалу действительность. Если это так, то приверженность любой идеологии предполагает определенную интеллектуальную наглость. В самом деле, представьте себе: кто-то, скажем, ваш сосед через дом вдруг берет на себя смелость объявить, что, во-первых, все в этом мире устроено не так, неправильно, через задницу, а, во-вторых, что именно он знает как надо, то есть знает, что и как надо делать, дабы исправить эту нестерпимую ситуацию. Да, да, именно он, ваш сосед, такой низкорослый и рыженький; или такой бородатый и пузатый; или такой задастый и уса-тый... короче, именно он, такой же, блин, дурак, как и все остальные... Нет, что ни говорите, но наглости на это надо накопить.

Судите сами, кто ж его видел живьем, вышеозначенный идеал? Кто может быть уверенным в его принципиальном существовании? Кто, наконец, может поручиться в том, что идеал осуществим, даже если очень, ну о-о-очень постараться?.. даже если всех врагов отбучать?.. даже если собственных детей съест с маслом? А вдруг – страшно сказать – химера, и нету никакого светлого будущего там, в сияющей дали, за нашими нынешними парашами? А?

Что и говорить, требуется вера недюжинная. Вера в себя, заметьте, в свое чутье, в свой Разум, по крайней мере равновеликий Разуму Того, Кто весь этот мир соорудил и пустил его плавать по неведомым путям. Почему равновеликий? Да потому, что рыженький знает, как все устроить намного лучше. Так что тут даже не о равновеликости надо говорить, а о полном и решительном превосходстве. Куда там Создателю... вот рыженький – это да, это голова! Просекает, что к чему, рюхает, как надо.

Да что это я все о рыженьком? А как же остальные, те, что рыженькому верят? Они-то ведь тоже согласны с этой высокой оценкой рыженького Разума... Конечно, согласны. Иначе как можно поверить в праведность рыженького анализа, в логическую безупречность его рассуждений, в истинность рыженькой гипотезы; ведь речь-то идет всего-навсего о гипотезе, вы помните, о гипотезе – никто ведь этого идеала еще живьем не видел... Итак, наглости или, если хотите, твердой уверенности в созидательных способностях человеческого Разума требовалось накопить не только рыженьким, но прочим широким массам.

Вглядываясь в глубь веков, следует отметить, что процесс накопления таки потребовал немало времени. В этом смысле, январское утро 1793 года представляется мне символической вехой, отметившей критическую точку этого накопления, когда вышеозначенная наглость перешла наконец от слов к делу. Отчего так? Разве Возрождение с его зачаточным гуманизмом не начало за несколько веков до того возводить пьедестал для Человеческого Разума? Разве мало было – во все времена – всевозможных утопий, описывающих модели справедливого общественного устройства? Разве смуты, бунты, рево-

люции и прочие пароксизмы социального протеста не сотрясали основы государств с самых древних времен?

Сотрясали. И утопий хватало. И качества Творца приписывались человеку в избытке. Только бунты-то, обратите внимание, занимались не переустройством, а перераспределением: у этого отнять, тому – дать; этого – в застенки, того – на престол. Вся суэта происходила всего-навсего вокруг смены актеров, при постоянном составе ролей и той же драматургии. Для бунтовщиков не подлежали сомнению авторитет Творца и незыблемость раз и навсегда заведенного Им порядка. Как правило, и сами бунты имели своей причиной недопустимое, с точки зрения бунтовщиков, искажение священного богопорядка злоумышленными правителями. Таким образом, целью смуты было не разрушение основ, но, напротив, их утверждение, разве что в более чистом, правильном виде.

Конечно, интеллектуальная смелость мыслителей Возрождения заводила их в места намного более отдаленные; но, во-первых, до поры до времени они не встречали никакого понимания в массах, а, во-вторых, идеи их характеризовались известной половинчатостью, так что говорить о низвержении основ здесь также не приходится. Достаточно бегло просмотреть славные утопии Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы, чтобы в этом убедиться. При декларируемом всеобщем равенстве, жители обеих утопий живут в жестко регламентированном обществе, с нерушимой иерархией, пожизненным правителем и даже узаконенным рабством. При этом регламентация доходит до принудительного подбора сексуальных партнеров, четкой селекции в соответствии с физическими параметрами, обязательной формы одежды и регулярного обмена жильем. В общем, трудно придумать утопию чернее «Утопии» Мора и «Города Солнца» Кампанеллы. Думаю, что современные гуманисты без колебаний отправили бы сэра Томаса Мора на плаху за преступление против человечности, выразившееся в написании злосчастной книги.

Что, впрочем, и сделал король Генрих VII, хотя и не обязательно из тех же соображений...

Как ни крути, но Великая Французская Революция стала первой попыткой переделки основ на базе идеологии, призванной привести человечество к новому счастливому обществу, в соответствии с замечательными принципами: Свобода, Равенство, Братство.

Заметьте, кстати, глобальный характер претензий: новые Создатели не собирались размениваться на какой-то остров, как Мор, или город, как Кампанелла; им и Франции-то было мало – гулять так гулять!.. подавай в мировом масштабе!

Глобальность любой идеологии – это был один из первых многозначительных уроков, преподанных миру французскими санкюлотами. Так что, ежели кто думает отсидеться в своем медвежьем углу – мол, пусть себе французы бесятся, нам-то что? – не выйдет, мил человек. Хочешь не хочешь, а придется становиться счастливым.

А если упрешься – заставим! Грозный этот окрик стал вторым уроком, еще более многозначительным – придя к власти, идеология неизбежно задействует террор. Отчего – неизбежно?

Во-первых, по определению, идеология направлена на изменение реальной среды. А среда, как известно, инертна и принимает любые нововведения весьма неохотно, другими словами, сопротивляется, скотина эдакая. Но это еще полбеды. Главная беда начинается, когда вдруг всем, и в первую очередь самим взявшим власть идеологам, становится ясно, что умозрительный идеал, та самая светлая гавань, ради которой весь сыр-бор, собственно говоря, и затевался, так и остаются умозрительными и к неблагодарной реальности не имеют ровно никакого конкретного отношения. Как-то не вытанцовывается. Идеал остается где-то там, в туманной дали; грубая же действительность неуклюже топчется здесь, под боком, просит жрать и решительно не желает с идеалом совокупляться.

Логичным ответом на такое поведение является наказание упрямой контры. Срочно создается Комитет Национального Спасения, ЧК, гестапо... Действительность начинают мять, жать, гнуть и насиловать всем строем. Довольно скоро выясняется, что она, бедняга, уже давно на все согласна, уже и рада бы согнуться, как просят господа чекисты, да вот несчастье – не может при всем желании. Ну не может она взлететь, зараза! Рожденный ползать, знаете... Вот этот момент, братцы – самый страшный. Для начала, пугается идеолог. Представьте себе – надо сознаваться в ошибке. Сначала самому себе, что еще куда ни шло, а потом – и всему миру. Мол, простите-извините, ошибочка вышла в расчетах; мол, идеал, хоть и классный, да вот беда – недостижимый, что называется, в принципе. Так что, граждане, примите во внимание, что – не со зла, а ради вашей же пользы...

Только ведь не сознается. Потому как тогда придется расплачиваться за кровь, что уже пролита реками... а во имя чего пролита? Во имя твоей ошибки, рыженький? Ты что, смеешься? Да и не дадут ему сознаться, свои же чекисты из гестапо не дадут. Они ведь, эти ребята, уже часть действительности, новой, а по сути – той самой, старой, с постоянным составом ролей; причем, ежели раньше они в этой пьесе играли хрюканье за кулисами, то теперь – сидят на сцене, ноги на стол, кушать изволят... Они-то и убирают рыженького, чтоб не мешался. И все бы хорошо, но главная загвоздка – все с той же идеологией завиральной... надо ее как-то поддерживать, кровь из носу надо, хотя и трудно, а точнее – невозможно.

Что делать? Тут-то и начинается настоящий террор, ибо отныне задачей идеологии становится не выправление упрямой действительности – ведь в возможность такого выправления уже никто не верит; отныне задачей становится сокрытие истинного положения вещей, ложь как способ существования. Обычными средствами этого не добиться; поэтому главным и единственным инструментом правящей идеологии становится массовый террор. Таким образом, террор имманентно свойственен находящейся у власти идеологии, причем свойственен идеологии любой, безотносительно к сути предлагаемого ею идеала.

«Декларация Прав Человека и Гражданина», принятая Учредительным Собранием в августе 1789 года, в первой своей статье тор-

жественно провозглашала: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». В этом предложении все – ложь, от начала до конца. Ложь красивая, спору нет, но ложь. Потому что на самом деле люди рождаются зависимыми (то есть несвободными) и остаются таковыми до самой старости, если, конечно, доживают. Потому что равенство в правах невозможно в принципе, ибо всегда и всюду вступало, вступает и будет вступать в противоречие с неравными возможностями, причем противоречие это – неустранимо, даже при помощи столь идиотского инструмента, как «исправляющая дискриминация», ибо Господь создал нас разными, что уж тут поделаешь – что выросло, то выросло... Разными, а значит – неравными.

Первая статья Декларации, перекочевавшая затем в национальные конституции и, уж конечно, во «Всеобщую Декларацию прав человека», принятую ООН в 1948 году, представляет собою яркий пример идеологической догмы, не имеющей ничего общего с реальностью, а потому обреченной коверкать ее при помощи единственно возможного средства – террора. Красивая сказка неизбежно заканчивается гильотиной, нарами, пулей в затылок, мотыгой по голове.

Французская Революция стала первой иллюстрацией тому. Уже в июле 1791 года, менее чем через два года после торжественного провозглашения свободы слова, собраний и манифестаций, республиканцы совершили первое громкое массовое убийство, расстреляв демонстрацию в Париже. С тех пор преступления во имя – как же иначе – человеческой свободы и равноправия только набирали обороты, достигнув естественного пика именно во время правления самых пламенных радетелей людского блага – якобинцев. Все мыслимые моральные барьеры были сметены «освежающим» ветром гуманистической идеологии: до того еще никто не осмеливался, к примеру, стрелять из пушек в городскую толпу. Бонапарт, тогда еще молодой и безвестный генерал термидорианцев, недогнувшей рукой записал на счет Революции и это блистательное достижение. По свидетельствам очевидцев, паперть церкви св. Роха в тот славный октябрьский денек 1795 года напоминала кровавое болото – дымящееся месиво человеческой плоти с торчащими из него обломками костей...

Начавшись в 1789 году с розовой утопии, Революция завершилась через 10 лет бонапартистской диктатурой – опять же, естественным образом: помните, каратели неизбежно сменяют идеологов у руля. Позади осталось десятилетие массовых убийств, ежедневных казней, разрухи, голода, гражданских смут, навязанных народу «революционных» войн. Воистину, торжество Декларации Прав Человека и Гражданина...

Самое неприятное, что мир, разинув рот от ужаса и удивления, наблюдал за этим кровавым «торжеством» и ждал объяснений от господ идеологов. Оправившись от первого шока, господа идеологи стали искать причины постигшей их неудачи. Собственно, в течение всего XIX века происходила мощная теоретическая работа, сопровождавшаяся накоплением новой наглости. Надо было что-то делать с Первой статьей Декларации, с искомыми свободой и равенством... Прежде всего, стратегия научного поиска требовала не распыляться, а

сосредоточиться на какой-либо одной из двух проблем, в надежде, что вторая разрешится автоматически. В итоге благодарное человечество оказалось в двойном выигрыше, получив две густо населенные группы идеологий.

Марксисты, к примеру, атаковали проблему Равенства. Отец-основатель новой идеологии, напившись материализмом у откревстившихся от раввинских своих семей родителей, сформулировал конкретный рецепт достижения вождельной цели: все поделить. По его ученому мнению, имущественное равенство неотвратимо приводит и к равенству глобальному – в правах, в образовании, в духовном развитии и даже в любви. Попутно, как ясно даже дураку, решается и проблема свободы. Элегантно, не правда ли? Просто обречено на победу, не так ли? Почему, собственно говоря, обречено на победу? Ну... что за вопрос... вы меня разочаровываете... Потому что оно верно! Вот почему!

Анархисты поставили во главу угла Свободу, рассудив, в отличие от Маркса, что равенство является побочным результатом тотального освобождения личности. Всевозможные любители народа, почвы и дикой природы английских парков предлагали свои уникальные рецепты. Весь этот бурный поток дикой лажи, затопивший умы к концу XIX века, характеризовался двумя параметрами: абсолютной бредовостью базовых постулатов «великих» учений и полнейшей уверенностью адептов в их абсолютной истинности.

Особо следует отметить два течения, также занимавшиеся проблемой Свободы. Отчаявшиеся найти приемлемое решение собрались под поникшим знаменем экзистенциализма. Для них были очевидны и кризис гуманистической идеологии, выразившийся в идейном провале Французской Революции, и, позднее, – жалкий бред пришедших ей на смену «практических» теорий. На почве этого отчаяния выросли роскошные цветы великой литературы конца XIX – первой половины XX веков – Кьеркегор и Достоевский, Камю и Кафка, Ануй и Сартр, с их горькими откровениями тотального абсурда, отчуждения, редких проблесков свободы на черном фоне повседневногo бессмысленного бытия.

Реакцией на эту тягучую безысходность, на это тотальное разочарование в возможностях человека стала философия Ницше. По сути, Ницше выступил в качестве последнего серьезного защитника гуманистической модели. Человек, возведенный в ранг верховного существа, поправший своей высокою свободой самого Бога – вот гордая модель Ницше. Над этим несчастным история посмеялась особенно жестоко: единственным реальным воплощением этой крайней формы гуманизма стал фашизм. Никогда еще расхождение грубой реальности с красивыми планами идеолога не было столь вопиющим...

* * *

В XX веке накопившие наглости «практические» идеологии перешли в решительное наступление. На долгие годы мир стал ареной безумных экспериментов. По большому счету, каждая правящая

идеология с удивительной точностью повторила печальную дорогу Великой Французской Революции – захват власти; кровопролитие; первоначальный энтузиазм, быстро сходящий на нет; кровопролитие; создание органов подавления и «малый» террор против политических соперников; кровопролитие; недоумение и разочарование по поводу «неразумной» действительности; кровопролитие; уничтожение первоначального, «идеологического» правящего слоя и захват власти органами подавления; кровопролитие; массовый террор против всего населения; большое кровопролитие; диктатура. Единственным отличием стали, пожалуй, новые технологические возможности, в сочетании с которыми этап массового террора был в особенности ужасен...

Но всему, слава Богу, приходит конец. Фиаско идеологий прошедшего столетия было настолько полным и однозначным, что трудно представить себе ситуацию, в которой они когда-либо смогут оправиться и снова начать копить наглость и силу. Скорее всего, время прекраснодушных людоедов подходит к концу. Конечно, они все еще рыпаются, ходят на свои марши, издают свои газетенки, произносят речи на своих партсобраниях. Но это уже, пользуясь техническим термином, «выбег», движение по инерции. Похоже, что они почти сдохли, с чем я всех нас искренне поздравляю.

Впрочем, пока им еще удастся поддерживать свое «правое дело» на тлеющих угольках – при помощи старых проверенных кадров, захвативших в свое время (в последней четверти прошлого века) командные посты в системе образования, в прессе и в культурном истеблишменте стран Запада. Но и этой, последней власти господ гуманистов приходит естественный конец – по старой, давно проверенной, ни разу не отказавшей схеме. Сейчас они находятся как раз на стадии массового культурного террора, с переходом к диктатуре политкорректности. К счастью, культурный террор не сопровождается пролитием крови – всего лишь инфаркт тут и там, запрет на профессии, поливание грязью, ошельмовывание того или иного несчастного, грубая промывка юных мозгов. Ничего. Потерпим, недолго осталось. Эпоха Идеологий подходит к концу. Они уже вот-вот отбросят коньки, верьте мне. Уже скоро.

Во избежание недоразумений мне кажется разумным повторить, в тезисной форме, основные положения парадигмы «Эпохи идеологий». Вот они.

1. Идеологии не были с нами всегда; до конца XVIII века структура общественно-политических отношений регулировалась Традицией.

2. Великая Французская Революция стала первым опытом переделки этой структуры на основе идеологии, выраженной в Первой статье Декларации Прав Человека и Гражданина; началась Эпоха идеологий.

3. Первый этот опыт ознаменовался полнейшим фиаско, приведя к результатам, диаметрально противоположным намерениям авторов Декларации.

4. XIX век занялся переосмыслением неудачного опыта; возникли новые идеологии, призванные улучшить исходную модель.

5. Несмотря на все внешние различия, эти «учения» имели в качестве общей базы все ту же Первую статью (равенство прав и индивидуальная свобода) и в этом смысле были близкими родственниками.

6. XX век стал ареной новых практических воплощений гуманистической утопии – идеологии вновь захватили власть.

7. На этом этапе исходная коллизия «Традиция против Идеологии» дополнилась острыми внутрисемейными конфликтами между соперничающими за власть идеологиями.

8. Впрочем, острота этих сражений не должна нас обманывать – речь шла о конфликте между родственниками; коммунизм, фашизм и прочие цветочки выросли из одного и того же гуманистического корня.

9. Повторные опыты XX века, такие как Советы, Третий Рейх, коммунистический лагерь, латиноамериканский геваризм, маоизм, полпотовщина и пр., имели ужасающие последствия, причем развивались в точности по давнему «французскому» сценарию.

10. Все без исключения идеологические режимы потерпели концептуальный крах, что вызвало общий кризис идеологий, который мы и наблюдаем в настоящее время.

11. Ввиду слабости разбитых идеологий на авансцену снова вышла прежняя коллизия «Традиция против всех идеологий».

12. Эпоха идеологий завершается; в то же время их уцелевшие остатки еще сохраняют сильные позиции в культурном истеблишменте Запада.

Давайте подведем итог. Предлагаемая парадигма характеризуется простым и ясным взглядом на кажущуюся идеологическую путаницу. Нет нужды различать между ними, друзья, – все они одним миром мазаны, один змеиный клубок. Этому клубку, этой шипящей угрожающей массе противостоит Традиция, консервативные силы. Вот и все. Осталось только окончательно раздавить змеючник.

Кровавая зараза гуманистических идеологий, вскормившая Робеспьера и Сталина, Троцкого и Гитлера, Пол Пота и Кастро, Мао Цзэдуна и Ульрику Майнхоф, – не свойственна этому миру имманентно. Человечество может и должно покончить с нею, как покончило до того с чумой и холерой. Она свалилась нам на голову два столетия тому назад; она сгинет в небытие, оставив по себе недобрую память и многие миллионы жертв. Изydi, сатана!

ЕТО НАЗНАЧЕНИЕ БЫЛО – ХУДОЖНИК

ИЗ ДНЕВНИКА

11-го июля 1993 года мы прощались с Мордехаем Липкиным. Он был зверски убит террористами, когда ехал домой в поселение Текоа.

Подобная лаве многотысячная процессия медленно спускалась с гор. Люди в гневном молчании двигались по извилистым тропам в ущелье, где ровными рядами лежат на земле могильные плиты. Пылал оранжево-красный закат и медленно угасал, уступая место сумеркам. Склоны Иудейских гор исчезли во тьме, и тогда ее разрезали тревожные проектора.

Подъехал микроавтобус, из которого вышли согбенные горем жена и прилетевшие из Москвы родители Моти. ...Люди, стоявшие рядом с нами, расступились, образовав проход. Пронесли носилки с останками убитого художника, и послышался торжественный и сильный голос кантора, который, заполонив все пространство, поднимался к небу.

Начался траурный митинг. Мне не видно было выступавших, но я слышала их страстные слова и сдержанные рыдания. Особенно пламенной была речь жителя этих мест Зеэва Гейзеля, друга Мордехая и его наставника: «Сегодня мы хороним героя. Да, героя, так как он пал за эту землю. Он хотел жить здесь, на этой земле. Он пролил свою кровь в эту землю». Слова, усиленные громкоговорителем, неслись по всей долине, достигая горных вершин, величественных, гордых, вечных...

С митинга скорби я возвращалась с Моше Гимейном. Он сказал: «Память – это то, что делает человека человеком. Лучший памятник художнику – сделать его искусство достоянием многих и многих людей. Мы издадим альбом его работ...»

Творческое наследие Мордехая Липкина огромно, несмотря на то, что прожил он неполные тридцать девять лет.

Он считал своей художественной задачей работать, опираясь на древние традиции еврейского искусства. По его пути пойдут многие художники нашей маленькой, но великой страны.

Любовь Латт

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Ему всегда было важно, что он еврей. Ему была важна программа. Программа действий. Конкретных и активных. Он знал, что эти действия преобразуют человека, улучшают мир и удивительным образом изменяет его цвет и звук, характер и смысл. Потому что он был художник.

Он испытывал гордость, что эта программа действий, известная всему цивилизованному миру, прошла испытание в три с половиной тысячи лет, оставаясь на каждом отрезке времени полезной, совершенно необходимой, современной, а значит, – авангардной. Именно гордость, что эти знания, передаваемые по цепочке нашей семьей, он законно наследует, ответственно используя по назначению и передавая дальше – четырем своим сыновьям...

Его назначение было – Художник. Его назначение было – Мастер.

И все время, что было ему отпущено, рисуя углем, акварелью, маслом, разрезая линолеум или процарапывая металл, обжигая керамику, создавая скульптуру – неважно, он делал одну и ту же работу – он создавал с о с у д ы и наполнял их лучами, отблесками, искорками внеземной мудрости, которую получила наша семья у горы Синай и бережно передавала по бесконечной цепочке от отца к сыну.

Были трудные времена, были страшные времена, были разные времена. Было время скрывать и время показывать.

Мордехай родился во времена скрывать, во времена запретов помнить.

Он был одним из первых, кто начал показывать, невзирая на запрет, он разрушал этот темный период нашей жизни, как бы являясь посланником из другого времени. Его картины – как первые капли дождя после долгой засухи, первые капли очищающего ливня.

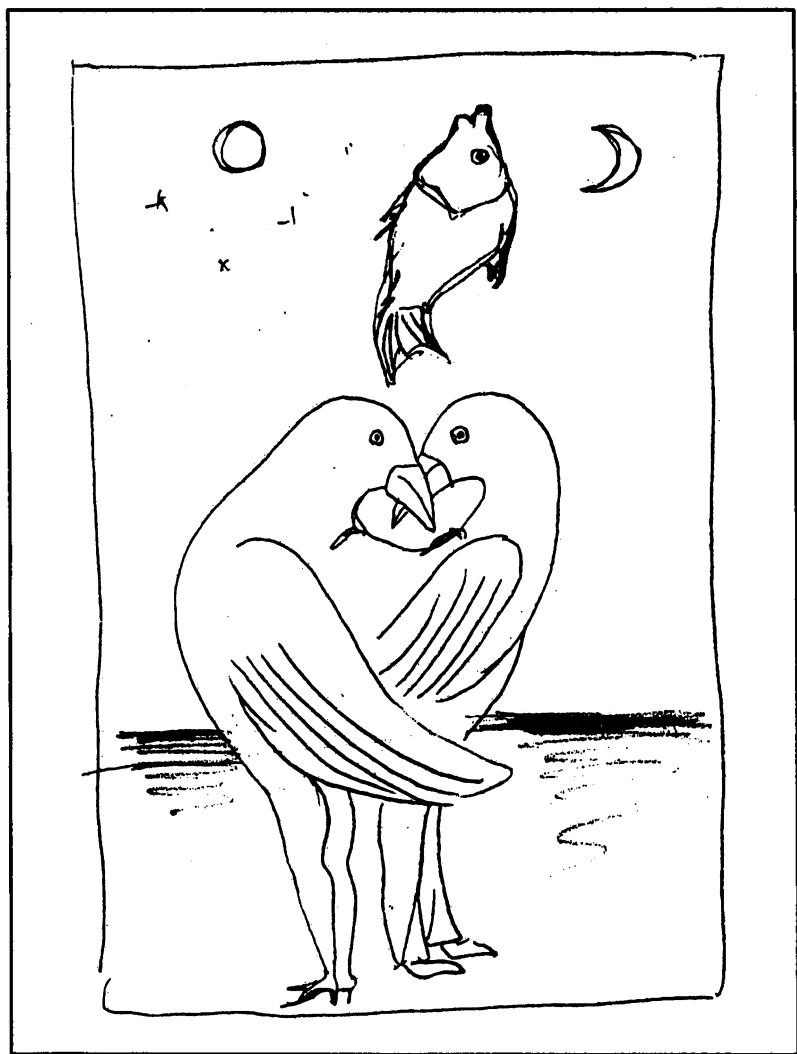
Один из удивительных парадоксов нашего мира – это то, что зло не может существовать без добра. Добро дает жизненную силу всему сущему, и зло, захватывая его искорки, отблески в свои скорлупы, получает возможность существования. И есть множество скорлуп – красивых лжетеорий, лжепоступков и лжедобра на «благо человечества».

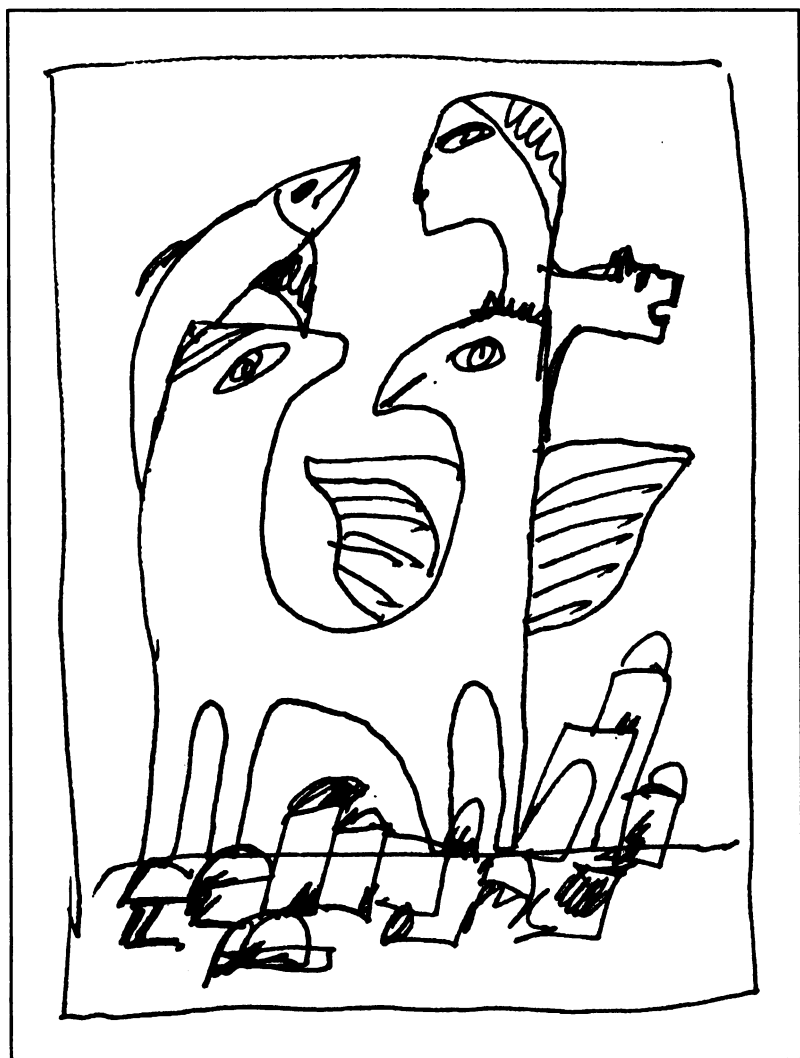
Но так же, как, включая свет в темной комнате, мы видим, что тьма мгновенно исчезает, мы понимаем, что такое истина и кто обладает истинной силой.

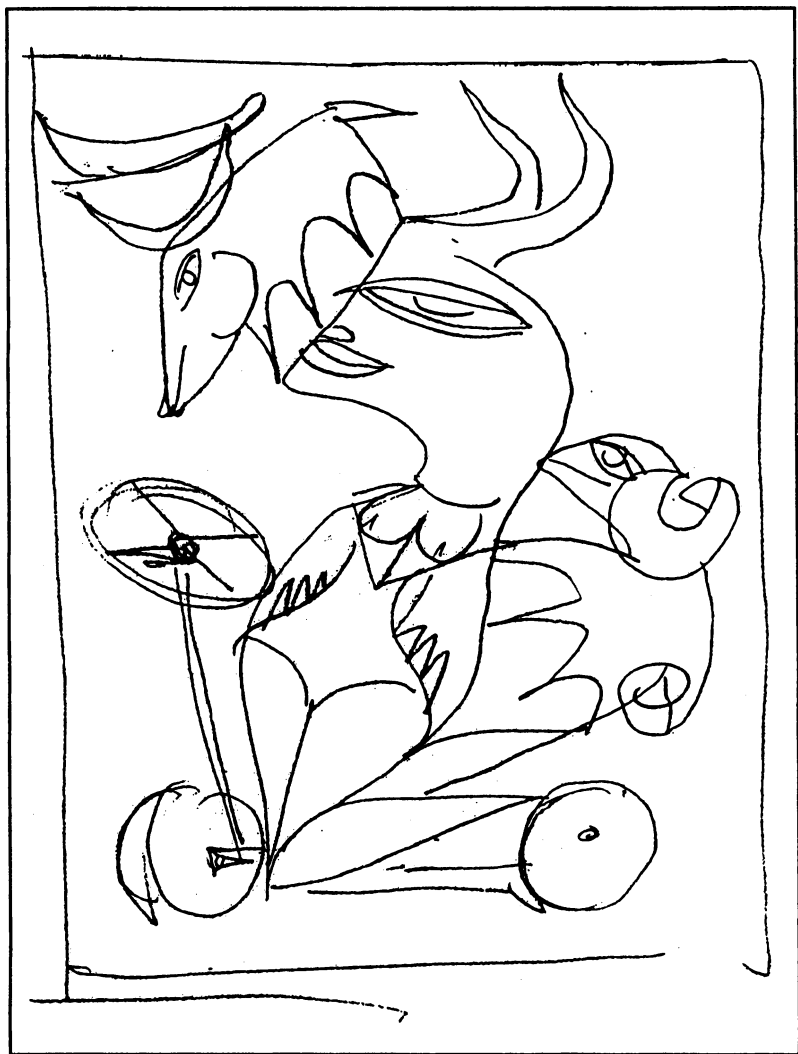
Искусство Мордехая – это сосуд, чтобы пролить Божественный свет святости из высших миров в наш низший трудный мир, где зла больше, чем добра.

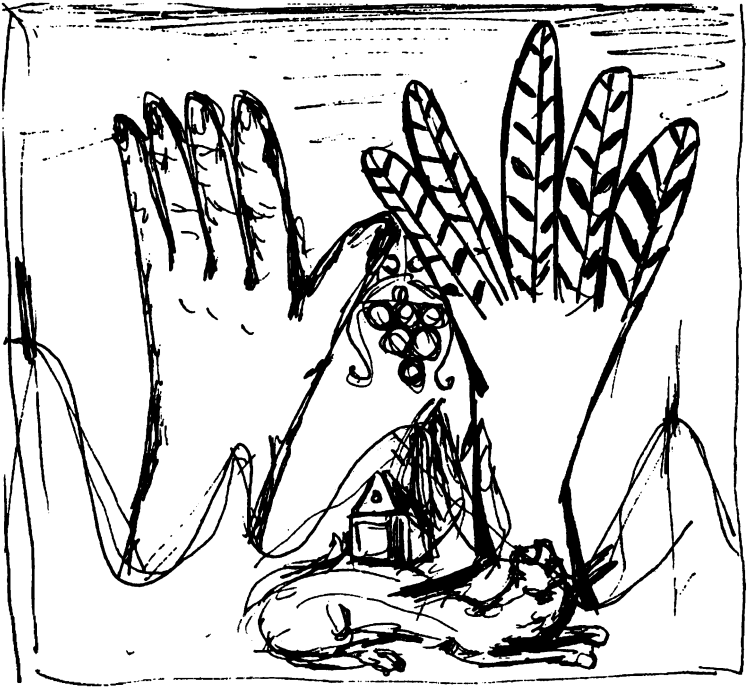
Не важны – техника, стиль размер... Важно, что картины Художника несут целительный свет, так необходимый всем нам.

Моше Гимейн









Леонид Агранович

В ТЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ГОДЫ...

...Познакомила нас с Сашей Гинзбургом в середине июня 1941-го (!) Леночка Самсонова (тогда еще Ковнер) на Петровке в прекрасный солнечный денек. Я только что вернулся аж с Камчатки, после нескольких лет блуждания по театральной провинции наслаждался начавшимся – полностью оплаченным – многомесячным отпуском, Москвою. Потом, случалось, Саша знакомил меня с очередной хорошенькой, которая пришла к нему за кулисы, а становилась ненадолго моей спутницей, то есть был он популярен, общителен, щедр. (Не судите нас строго, ему тогда еле перевалило за двадцать, я – года на три старше. Все было впереди, и мы понятия не имели, каким будет это «всё»). Тогда на Петровке он отказался разделить с нами компанию, хотя никуда не торопился, отвечая на какой-то вопрос Леночки, усмехнулся: «Я же неудачник», – но отнюдь не грустно, а как-то победоносно даже (несоответствие слова и интонации, видимо, и запомнилось).

Очень точно и нежно сказала о нем Е. Г. Боннер: «бонвиванство».

И в той же степени работяга, чернорабочий театра.

Значит, июнь 41-го. Через неделю началась война, все планы полетели. Забраккованный военкоматской медкомиссией, Саша, «чтобы не болтаться без дела в такое серьезное время», по его собственному свидетельству, вербует в геологическую экспедицию на Кавказ, но, застряв в Грозненском драмтеатре, несколько месяцев сочиняет там песни и интермедии для бригад политсатиры, с которыми и выступает в госпиталях и частях гарнизона. Я же, видимо, с подачи А. Гладкова, оказываюсь в студии Арбузова и Плучека, среди ее остатков, тех, что в армию по разным причинам не попали. Арбузов на ходу писал «Сказку о братьях Ивашкиных» – сценарий народного представления типа лубка. Плучек темпераментно и изобретательно ставил эти сценки-интермедии, еще не просохшие от чернил странички.

Может, будь у нас хоть чуть побольше эстрадного шика, это и получилось бы, но мы не умели ни танцевать, ни вообще двигаться, ни произносить эффектно бодрые тексты, ни петь. (Пела трогательно, искренне одна Танечка Рейнова, на ней и держалось все вокальное благополучие представления. Не помню, кто сочинял в то лето, в отсутствие Гинзбурга и ушедших на войну поэтов и других ведущих артистов студии, песни для нашей программы.) В общем, репетировали, репетировали... Но после первых же представлений в подмосковных госпиталях, когда в ответ на наши горячие призывы: «Бей врага! Огнем, штыком, гранатой!» – раненые глядели на нас несколько удивленно и обидно-снисходительно, мы с ужасом поняли: провал – не то делаем.

Материал подготовлен по инициативе Андрея Крылова, известного исследователя творчества В. Высоцкого, А. Галича и Б. Окуджавы.

Именно нежные романсы, женственность семнадцатилетней Рейновой спасали тогда всю нашу выдуманную программу. А уже назывались мы громко: «Фронтной театр Дирекции фронтовых театров при Всесоюзном комитете по делам искусств». Перестраиваясь на ходу, поняли, что аудитории нужны не лозунги, а лирика или смешное. На фронте и в тылу ходили тогда по рукам переписанные карандашом лирические стихи Симонова: «Жди меня», «Мне хочется назвать тебя женой» и другие. Вскоре они выйдут целой книжкой «С тобой и без тебя». Стихи о войне и о мужестве, о разведке и подлодке, но главное – о любви, разлуках и встречах, о тоске по женской ласке.

Говорили, что, полистав книжку, обратив внимание на посвящение «В. Серовой» и тираж, Верховный Главнокомандующий сказал: «Хорошо. Но зачем так много – два экземпляра – один ему, один ей». Пошутил товарищ Сталин и был неправ – тиражи расходились мгновенно, стихи продолжали переписывать от руки – они нужны были многим, всем, не меньше чем указы самого Главнокомандующего.

Ежедневно мотаясь со слабенькой своей самостоятельной программой по госпиталям и клубам, не заметили, как наступила осень. Готовились отбыть на Северный флот, уже получены были продаттестаты, но слишком долго, видимо, собирались – шестнадцатого октября (дата знаменитая – немцы были уже под Москвой) в Политуправлении Флота Вениамин Захарович Радомысленский, маленький, плотного сложения, в морской форме с кортиком, картинно стоя у огромного окна с видом на Арбатскую площадь, сказал: «Ребятки-ребятки, пробирайтесь самостоятельно».

Как он себе это представлял: самостоятельно пробирающийся в прифронтной Мурманск, пусть хиленький, но все же театр?

Впрочем, человек уважаемый, многолетний бессменный директор Школы-студии МХАТ, можно сказать, правая рука Станиславского, – был он не единственным тогда чиновником, пребывавшим в полной растерянности: великий драп потрясал Москву. Ветер носил над крышами черные хлопья – в учреждениях жгли документы. А чуть повыше, то есть неприлично низко, – мне кажется, я рассмотрел ухмыляющегося фашистского аса – тарактела над Остоженкой «рама» – нетопливый самолет-разведчик.

В Комитете искусств на Неглинной нам предписали немедленно эвакуироваться в Улан-Удэ. Но эшелон, в который мы погрузились, доставил нас за сорок суток в Ташкент. Представитель того же ВКИ Векслер (между прочим, дядя Саши Гинзбурга) прекрасно видел, что бумаги, которые мы ему предъявили, грубая липа (на любезно подаренных нам на всякий случай комитетской машинисткой роскошных казенных бланках мы изменили пункт назначения и приложили вместо гербовой печати размазанный оттиск медного пятака). Но милый дядя виду не подал, он сказал: «В Ташкенте, конечно, приткнуться некуда – сюда половина московских театров съехалась, а вот в Чирчике, ребята, это полчаса на электричке, у вас будет сцена и жилье, и горячие пирожки с сабзой, сверх карточкою». Поначалу нас вокруг Плучека было человек десять, но чуть не каждый день появлялись все новые лица – молодые бездомные артисты: москвичи, ленинградцы, знакомые и не-

знакомые. Даже знаменитости заезжали, например Леня Кмит – чапаевский Петька, – но, выяснив, что всего фонда студийной зарплаты не хватит на одну его актерскую ставку, смылся, не простившись.

Под Новый год – разгар лихорадочной работы над двумя спектаклями, ребята и репетировали по несколько ролей, и сами же стучали молотками, сколачивая декорации, пилили, красили, подбирали, подшивали костюмы. Вот тут-то, очень-очень кстати – транзитом через Баку, Красноводск, всю Среднюю Азию, – объявился на Чирчике Саша Гинзбург. И включился сходу – мы с ним сыграли Луконина и Бурмина в симоновской пьесе «Парень из нашего города»*. В «Ночи ошибок» Голдсмита Саша играл главную роль молодого джентльмена Марлоу, жуткого бабника и хама с горничными, но клинически робевшего в присутствии дамы своего круга.

Между репетициями, прихватывая ночи, Саша еще сочинял кучу песен-интермедий для обоих спектаклей (тексты и музыку) и разучивал их с исполнителями, озыбшими пальцами перебирая клавиатуру расстроенного рояля в нетопленном подвале под сценой клуба Чирчикстроя. Под визг пилы и стук молотков.

«В старой Англии, в доброй Англии ночь веселых чудес полна...» Грубоватую английскую комедию Плучек почему-то стилизовал в манере галантного века с менуэтами и реверансами, музыка, Сашины мелодии к этим контрдансам запомнились, как ни странно, лучше, чем слова. Все это было мило, наивно, чуть сентиментально. И безошибочно уместно. То есть, Саша уже в грозненской своей практике понял, что требуется от театра на войне. Даже в героических интермедиях-хорах к «Парню из нашего города» Саша оставался самим собой:

Город мой за дальними горами,
Город мой за синими морями,
Я к тебе когда-нибудь вернусь.
Там, наверно, мамы вечерами
Наши письма учат наизусть,
Поверяют с гордостью соседям
Наспех нацарапанный рассказ.
Не волнуйтесь, мамы, мы приедем,
Не волнуйтесь, ждите нас.
Что же ты, товарищ, невеселый такой!
Сядем да покурим, да споем в пол-голо-са,
Как прощались над Москвой-рекой,
Как махнула девушка рукой,
Как трепал рассветный ветер во-ло-сы...
Мы пройдем военной дорогой
Сквозь огонь, ненастья и тревоги,
Что с того, что путь домой далек,
Мы придем и скинем у порога
Запыленный вещевой мешок.

* Посмотрев спектакль летом 42 года в исполнении Арбузовской студии, К. М. Симонов сказал нам: «Я видел около сорока "Парней", мне казалось, что Володя Соловьев и Плятт тоже мое, тоже правда. Вы меня убедили».

Нам не пасть в сражении последнем,
Нам землею не засыпать глаз.
Не волнуйтесь, мамы, мы приедем,
Не волнуйтесь, ждите нас...

Расположившись, как на групповой фотографии, глядя в зал, мы – весь состав спектакля – задушевно пели, адресуясь к мамам и девушкам, и под этот лирический марш возникало единение сцены и зала – и актеры настраивались и зрители. Стихи писались за роялем, рождаясь одновременно с музыкой.

Ветер гонит на запад суровые льды,
Сквозь ненастья арктической ночи
Пролетел, выручая друзей из беды,
Молодой, замечательный летчик.
Веселый парень, простой и гордый,
Ты, если нужно, за отчизну жизнь отдашь,
Веселый парень из нашего города,
Товарищ самый закадычный наш...

Конечно, это еще не те песни, что появятся через пару десятков лет, Галич и не подумал бы их включать даже в самое полное собрание своих сочинений. Хуже того, он про них начисто забыл, но как-то, много лет спустя, после целого вечера Сашиных главных, гражданских баллад, припомнили мы ему эти, давние, наивные, стали напевать и разволновались все, и прослезились – автор-то один и все это страницы его биографии. Молодость, война...

В конце сороковых А. М. Эскин, легендарный директор Дома актера, организовал сборники воспоминаний артистов на войне – заставил человек пятьдесят написать, собрал, издал. Первый назывался «Талант и мужество». Когда Саша уезжал насовсем, я ему отдал свой авторский экземпляр, там было про Чирчик, нетопленный клуб, озябшие пальцы. Он сказал: «Кажется, это единственное положительное печатное упоминание обо мне».

Не единственное, разумеется, но в те разнообразные годы советская печать добрыми словами, комплиментами Галича не баловала. Хотя, конечно, были договоры, афиши, премьеры в кино и в театре, некоторые комедии Галича – «Вас вызывает Таймыр», «Верные друзья», другие – пользовались шумным успехом. Все было: цветы, поклонницы и деньги, – не бог весть какие, впрочем, – ни дач, ни машин, ни мощного текущего счета...

«Центральная тема творчества Г. – романтика борьбы и созидательного труда советской молодежи» (из «Театральной энциклопедии». М., 1961). Климентий Минц, один из классиков советской комедии, которому удавалось рассмешить публику, боюсь, реже, нежели Галичу, замечательно сказал: «Что такое драма? Это – неполучившаяся комедия».

Нет, я не стал бы отделять драматурга Галича от Галича – поэта-публициста, Галича с гитарой. Это один человек. Один Театр Галича, где царствовали смех и слезы. В больших залах или в крохотных, битком набитых квартирах друзей, знакомых.

А что касается времен, то их, сказано точно, не выбирают – в них живут и умирают. Они, эти чертовы времена, поставляют художнику богатый материал для творчества и толкают его на рискованные поступки, диктуют опасные сюжеты и темы.

В первые послевоенные годы газета «Советская культура» откликнулась на дебют нескольких молодых редакционных статей «Против ремесленничества в драматургии». Редакционная – значит, приговор обжалованию не подлежит. Разносу подверглись три пьесы пяти авторов: Галича и Мунблита, Мина и Минчковского и Аграновича. Ремесленничеством (до сих пор не пойму, что имелось в виду, – про меня было сказано: цинично использовал производственное окружение), нет, особой мастеровитостью у нас и не пахло, скорее недостаток ремесла ощущался, а вот фамилии, точно, неблагозвучные по тем временам. И пьесы, широко пошедшие было, снимались с репертуара.

Начиналась страшная кампания «против космополитов», расстрел еврейских поэтов, убийство Михоэлса, разгром его театра. Завершиться все это должно было публичной казнью на Красной площади «врачей-убийц» и депортацией всех евреев на Дальний Восток, чтобы спасти эту подлую национальность от справедливого гнева народа, – уже были заготовлены бараки в Биробиджане. Неожиданная смерть бессмертного Гения всех времен и народов помешала ему завершить их с Гитлером историческую миссию «окончательного решения еврейского вопроса». Выяснилось, что и врачи – не убийцы. (Может, будь они на своем месте в кремлевской больнице, вместо того, что бы гнить в тюрьме, продлили б на пару лет жизнь Великому, со всеми вытекающими из такого несчастья последствиями?) Да выяснилось, что и писатели, и артисты, и ученые, и музыканты – не убивали, не продавали родину, зря оклеветаны, уничтожены.

Но посеянные Отцом родным семена зла прорастали в нашем отечестве во все наши эпохи – и до него, и после, и в идиллические почти времена «оттепели», и потом. И по сию пору сохраняем нет-нет да и доносящийся то свыше, то сбоку дух погрома, вонючую нашу социалистическую специфику вранья: пишем «дружба» (народов), а сеем вражду, кровопролитие, унижение. Не случайно же рухнул Нерушимый Союз в одночасье, – только оттого, что трое высоко забравшихся руководителей вздумали избавиться от четвертого.

Все эти прелести новой советской истории помянуты тут для того, чтобы напомнить: все сюжеты песен Галича – из жизни. Из его жизни. Я противник мифа о процветающем пижоне, легкомысленно варганившем пустые финтифлюшки для сцены и экрана, пока не набрел на подлинное свое призвание.

Вместе с тем, не будем думать, что мы постоянно ощущали опасность, гнет, угрозу сверху. Нет, каждого в отдельности все происходящее – Процессы, Постановления ЦК, исчезновения людей – как бы и не касались. И все же касались...

Не кокетства ради Саша Гинзбург стал Александром Галичем, Саша Лифшиц – Александром Володиным, Миша Маршак – Шатровым, Кауфман – Самойловым, Мандель – Коржавиным и т. д. и т. д., не будем раскрывать все псевдонимы, по поводу чего тоже скандалы разра-

жались. Но, ради бога, повторяю который уж раз, не воображайте, пожалуйста, нас, живших тогда, эдакими заложниками с бледным челом. Ни черта подобного – ходили более-менее весело по тропинкам бедствий, не предвидя от сего никаких последствий. Позволяли себе беспартийные суждения, пренебрегая мнением ЦК, вставляли изредка в самые безобидные сюжеты репличку, сомнительную красочку, не замечая, как обдирали себе бока в объятиях редколлегий, худсоветов, Глав и прочих реперткомов, – пьески-то из этих объятий выходили сильно потрепанными.

Разумеется, огромный репертуар песен Галича вынес его за пределы нормы поведения современников, однокашников, тут уж не кукиш был в кармане – поэт бросил вызов веку-волкодаву.

И Боже нас упаси представить дело так, что вот обиделся, наконец, Галич и стал сводить личные счета с обществом своим, Государством. Вовсе нет, и все не так. Хотя от старинного сюжета «Арлекин и Власть», конечно же, никуда тут не денешься. Но можно же было прекрасно прожить, приспособясь, что и делали мы все – подавляющее большинство советских писателей, режиссеров, художников. Многие с наслаждением, вдохновенно. Но, оказалось, не все.

Галича прорвало одним из первых. И самым радикальным образом. В песнях... Хотя начиналось это несерьезно – серьезной оставалась работа для кино и театра. Но поэт увидел вдруг, что напевать можно без постоянного, назойливого участия цензора. Видимо, его болевой порог оказался не столь высок. Чаша переполнилась... Как еще называется то состояние поэта, когда требует его Аполлон к священной жертве?

Но это все случится потом, позднее, а сейчас весна 1942 года. Фронтной театр, дожидаясь вызова в Москву, гастролирует по Средней Азии. В Ленинабаде, куда эвакуированы были несколько московских институтов, мы попадаем в объятия тысячных студенческих толп, спектакли наши идут на дрожжах горячей симпатии земляков, сверстников. Это была наша аудитория, и мы почувствовали почву под ногами. Тот же незаслуженный успех ждал нас в Москве – столичные-то театры в эвакуации были. В нашем распоряжении оказались опустевшие сцены ТЮЗа в Мамоновском, и Театра Сатиры, и Цыганского. В их костюмерных мы прибрахлились – обогатили гардероб «Ночи ошибок». (Побывав у нас на спектакле, заслуженная балерина Вера Ильинична Мосолова ужаснулась: «Миленькие! Что же вы без штанов-то!») Оказалось, что к нашим кафтанам полагались либо штаны, либо ботфорты, и т. д.)

Арбузов и Гладков привезли из Чистополя новую пьесу «Бессмертный»: студенты, брошенные в Подмоскovie летом 41-го то ли на оборонные работы, то ли на картошку, осенью оказываются в тылу врага и поневоле становятся партизанским отрядом – душ двадцать пять белобилетников-чудаков и девчат, – количество ролей соответствовало штатному расписанию Студии. Репетиции, студийные этюды, ежедневные спектакли, – в общем, мы, кажется, позволили себе быть почти что счастливыми в это трагическое для страны, народа время.

Мы занимались любимым делом, были востребованы, нужны, не зря получали свои продаттестаты, рабочие карточки. Обедали, к при-

меру, согласно «литеру Б», в ресторане ЦДРИ в компании с непьющими актрисами. Те охотно уступали нам свой водочный паек – лишние две рюмочки повышали калорийность и без того вполне приличного обеда, да и интересно было со старушками: посреди смешнейших воспоминаний маленькая вышеупомянутая балерина Мосолова могла прерывисто огреть сухонькой ручкой по спине того же Сашу, чтоб не горбился...

Но как получилось, что на Северный флот осенью мы выехали без Саши? Какие-то инстанции вычеркнули его из списка? За что? Родня, что ли, какая-то не та обнаружилась? Сам он понятия не имел, в чем грешен. Отсутствие его прибавило много хлопот, особенно мне – пришлось вводиться на его роль в «Ночи ошибок», и что еще хуже – на главную же роль в «Бессмертном». Написанный для Саши юноша Гехт, пианист (репертком велел дать ему русскую фамилию, и он стал Славиным), такой Святослав Рихтер накануне своего первого сольного концерта, – Саша играл на сцене на настоящем рояле «Лунную сонату» и т. д. Я в этой роли чувствовал себя совсем не так комфортно, как он, мне больше по душе был сержант РККА Иванцов...

В общем, собирались мы в эту ответственнойшую командировку на фронт полтора года, а прибыли совершенно не готовые. А тут была война – каждый из наших зрителей вполне реально мог завтра, сегодня не вернуться с задания – морские летчики, подводники, охотники – противолодочные катера... Статистика потерь на Северном флоте была такой же ужасающей, как на всех других фронтах Отечественной.

Болтаться тут без дела – выглядело бы просто кошунством, подлостью, – это мы все понимали, жили в режиме аврала. Репетиции-вводы и поездки на базы подводников, походы на заставы, пикеты, батареи береговой обороны – с мобильными программами: скетчами, миниатюрами, песнями. Когда же добирались без ног, без голосов до коек – на верхнем этаже офицерского клуба в Полярном был выделен под наше мужское общежитие спортзал, – расслаблялись с чистой совестью, баловались коньячком, у кого был, перед отходом ко сну.

...Весна и лето сорок третьего были едва ли не последними нашими актерскими сезонами. Москва, Подмосковье и Западный фронт, Сухиничи, Киров Смоленский... запомнились больше не населенные, вернее, разоренные пункты, а номера армий: 16-я, 20-я, 10-я. Блистательно разгромив немцев под Москвою, они гнали их до этих рубежей сколько хватило сил, и готовились здесь к новым операциям. Какие это были войска, товарищи! Какие люди, лица, глаза.

...В то лето мы были влюблены в Армию. В столетней дубовой роще под Козельском стояла танковая бригада полковника Гаева Виталия Сергеевича. Бригада Прорыва, Особая, Гвардейская, укомплектованная новенькими тридцатьчетверками и КВ.

Для спектакля танкисты сложили из тяжелого бруса – настила понтонного моста – сцену, перед ней возвышался зеленый склон, который тесно заполнила тысячная аудитория.

Стало похоже на римский амфитеатр. Каким мощным хохотом он взрывался, как замечательно реагировали солдаты на драматические и комические коллизии нашего «Бессмертного»!..

Все четыре часа длинного спектакля Гаев просидел на подготовленном для него в первом ряду пеньке, кажется, не менее своих бойцов увлеченный зрелищем. Потом на сооруженных тут же, под открытым небом столах был устроен ужин, и полковник хлопотал, беспокоился, чтоб хватило актрисам вилок и т. д. Дружеское застолье затянулось далеко за полночь, уже давно светили прожектора. Шутки, анекдоты, взрывы хохота. Принесли гитару, Саша аккомпанировал певицам нашим, тут уж пошел в ход весь наш репертуарный запас – студийные, полублатные, романтические песни, стихи...

А до немцев было рукою подать. Кто-то спросил Виталия Сергеевича: ничего, что мы тут шумим? Он ответил спокойно:

– Ничего, пусть послушают. Мы про них все знаем. И они про нас. Знают, если кто-нибудь оттуда пальнет сдуру – от них через минуту мокрое место останется.

Выяснилось нечаянно, что Гаев накануне получал в Кремле один из первых орденов Суворова, предыдущую ночь подремал в машине, तोпился домой, весь день ходил по своему обширному «хозяйству» – люди, техника, резервы, снабжение, и про нас не забыл – как готовится сцена и площадка, все ли для нас делается. И после длиннющего спектакля, ужина – стихи и песни, и звон бокалов, сокровенные разговоры в узком, так сказать, кругу. И ни следа усталости. Мужики Возрождения. Бог мой, сколько ж мы тогда могли выпить, не пьянея, не теряя лица!

О, питье – веселие Руси! Много сказано по этому поводу прекрасных слов. Соломон Михайлович Михозлс – воплощение интеллекта, мудрец и мастер – говаривал, что чувствует себя свободным, когда перед ним бутылка и рюмка водки. Это волеизлияние! – утверждал великий артист. Застолье сближало артиста с солдатом, поэта с крестьянином, стирало разницу возрастов, взглядов, положения, ранга.

Много лет спустя мы вспоминали это лето, ночные, после спектаклей, ужины в прифронтовых частях, лица наших хозяев.

Танкисты, стрелки, разведчики, ушедшие в легенду более полувека тому, отсюда, из прорвы прожитого, кажутся сплошь прекрасными. Зная, что им предстоит, мы видим их сегодня одухотворенными, в предвкушении победоносных и гибельных боев.

Саша с гитарой имел там неизменный успех, хотя это были обыкновенные песенки – фольклор, народное, так сказать, тюремное всегда у нас в моде было, лагерное, а что-то и свое, семейное, студийная лирика и шуточная... Но не хмельное это было пение, не во хмелю, уже тогда наличествовал у него вкус, и нечто личное, сокровенное, трезвость, когда вдруг обнажается, скрываемое всеми привычно, и становится видать далеко. И тут же шутовской припев. Поэт, еще не зная, зачем это ему понадобится, словно пробовал безошибочную интонацию, нащупывал путь к сердцу слушателей. Война еще вся была впереди. Многие ли из них вернутся домой? Нам чрезвычайно интересно было с нашими хозяевами, но и для фронтовиков приезд театра был, наверно, праздником.

Разговоры, беседы, застолье. Сверстники сверстниками, но не только молоденькие наши актрисы, еще не нуждающиеся в макияже (тогда и слов-то таких не знали), надевали лучшие платья, но и мы подтягивались, не расслаблялись, хотя фраков, как того требовал от

мхатовских фронтовых бригад Немирович-Данченко, ни у кого не было. Нет, фрак тут был ни к чему – простота была, близость, понимание. И вот что еще: вещать, ораторствовать Саше никогда, кажется, не было свойственно, но иногда вдруг оказывалось: что-то он видит, понимает глубже тебя – раннее созревание, впрочем, свойственно поэтам, словно предчувствуют – не такой уж долгий им отпущен век.

Через день-два танки Гаева ушли к Прохоровке – бригаде доверена была не последняя роль в титаническом сражении. (Мы-то узнавали о Курской дуге уже в Москве из газет, ловили в радиосообщениях знакомые фамилии, номера соединений...)

Прочитал написанное и задумался: не привираю ли тут, не приукрашиваю ли, друга ради, картинки нашей молодости, портреты и пейзажи? Ведь Гинзбург Саша еще не был Галичем, да и про зрелого его, знаменитого, много разнотолков: и эгоист, дескать, и позволял себе то да се, и прочее... Да, так. Наверно, и он не без греха. И окружающие, и вспоминающий... А вы? А вы не псих?

Эгоизм? Возможно-возможно, не без того. Хотя лично я от его эгоизма никогда не страдал, наоборот, тут наблюдались внимание, нежность, полезные подарки – трости, трубки, рукописные сборнички, самое внимательное отношение к моим дебютам и позднейшим перипетиям. Скорее, я бы сказал, в отношениях наших наличествовал сентиментализм. Ангелина, жена его, бывало посмеивалась: «они всегда плачут, когда читают друг другу новую пьесу». (Убежден, что я тут никакое не исключение – самые дружеские отношения связывали Галича со многими людьми – соседями, товарищами, коллегами, рядовыми и посредственными, и самыми выдающимися гражданами века. Когда пришла большая беда, иной близкий сосед мог и не на высоте оказаться, струсить, предать... Увы!)

Я позволяю себе и сейчас быть сентиментальным, будто мы вместе, за столом у нас, вспоминаем всякие милые подробности – хочу чтобы и Галич, и Ангелина, и моя жена предстали на этих страницах живыми, и все подтвердили.

Когда я познакомил его с Мирушей (у нас тогда впервые, и довольно поздно, образовался свой дом), Саша сказал: «такие браки заключаются на небесах». Но то же самое, с полным основанием, следует сказать и о них с Ангелиной...

Не думаю, чтобы только нашему поколению это было свойственно, но, боюсь, в молодости многие из нас пользовались сомнительной репутацией (см. у Галича: «и женились на разных паршивках»)... Нет, упаси бог, никакой тени на жертв наших ранних связей! Вина там целиком на нас: легкомыслие, эгоизм и все такое прочее – богема. Не буду расширять список товарищей, которые могли бы упрекнуть себя за годы странствий, но с появлением Жены с большой буквы многое в биографии и в характере становится на место – человек вдруг, неожиданно для самого себя и окружающих, оказывается и хорошим сыном, и образцовым отцом, мужем, дедом и т. д. Вот Гердта недавно похоронили, единственного большого артиста, вышедшего из студии Арбузова-Плучека. Таня Гердт собрала замечательную книжку воспоминаний «Зяма». О себе она там не упоминает, но за разногосьем этого

волнующего документа явственно проглядывает ее роль Жены – решающая, спасающая – устроительницы, хранительницы Дома.

С появлением Ангелины Николаевны в жизни Галича многое, если не все, стало на свое место. Аристократка, красавица, умница, была Нюшка (кроме Саши никто, кажется, так к ней обращаться не смел) Музой, хранительницей Очага, сиделкой, спасительницей, нянькой, заступницей, другом, опорой. Ее роль Жены Поэта – подвиг, сродни библейскому. Он же сердечником был – инфаркты, микро- и обширные. Сколько ночей провела она рядом в больничных палатах, переживала с мужем ужас сердечного удушья, помогала врачам возвращать его с того света. Эта постоянная близость сердечной опасности, наравне со столь же смертельной и реальной угрозой, исходящей от Власти – такой тяжкий крест несла, помогала ему нести.

Сейчас, когда его таинственная смерть у электронного музыкального ящика (не терпелось послушать Баха) и ее погребальный костер (она сожгла себя, как жена викинга или Цезаря, в опустевшем для нее Париже), – сейчас, когда жизнь их давно завершилась, отодвинулась в легенду, в пересуды, хочется говорить о них обоих влюбленно и без вранья. Погибшие за правду, они заслужили и правду о себе.

Рыцарское отношение к Женщине предполагалось само собой. Обязывал сам облик Ангелины Николаевны, словно сошедшей с портрета XIX века, такие классические женские лица без изъянов встречаются в России, наверно, чаще, чем в какой-либо другой стране. В иных случаях любуешься такой красотой с некоторой тревогой: вдруг заговорит и обнаружится кривляние, самолюбование, глупость. Сашина жена всегда была естественна, безукоризненна, уместна, и чуть отстраненна, и абсолютно «свой парень».

Он-то мог время от времени позволить себе в минуту слабости интрижку на стороне... Даже за рубежом она чуть не оказалась брошенной в какой-то несчастный момент... Не знаю подробностей, не могу и не хочу в это вдаваться – только запомним: случилось, бывал он виноват перед нею.

Она простила. Прощала. Знала: она – единственная, необходимая, во всех скитаниях, бедах, при всех поворотах судьбы. И сколько б горьких, страшных часов, дней ни досталось на ее долю, кажется, никто никогда не видел ее не в форме, жалующейся, несчастной. Несла свой крест легко и весело, ни на миг не теряя природного очарования. Пьяная женщина хороша только в оперетте, в действительности – зрелище убийственное. При их образе жизни, излишествах застолий, Ангелина Николаевна – безупречна, точно обязавшись раз и навсегда отвечать за двоих.

Может быть, только потеряв его, в последний год в Париже, она сдалась, устала, демобилизовалась, запила нехорошо (научили годы «волеизлияний»). И погибла.

Но запомнилась мне она счастливой: выходили после триумфальной премьеры «Верных друзей», Дом Кино был тогда в «Яре» на Ленинградском проспекте, кто-то, глядя на сияющую, разрумянившуюся Ангелину, сказал: как красит женщину успех.

Да, лихая им досталась доля. Известные, чрезвычайные обстоятельства должны были способствовать развитию у Галича какого-то эгоиз-

ма – чувства самосохранения, но мы наблюдали, скорее, легкомыслие, несерьезное отношение к собственному здоровью. После очередной больницы восстанавливался привычный режим – поездки, выступления, встречи, работа без выходных и непереносимые, частые дружеские застолья. Хотя пить-то ему, наверно, совсем бы и не следовало.

...Ангелина звонит: давно, ребята, не виделись, они к нам собираются, Мируша обещает пирог с капустой, больше по телефону ничего лишнего, если какую-то книжку припасли, скажут «журнальчик». Наш маленький Марк ответственно отправляется через два двора к Галичам за гитарой. (Дяде Саше ни к чему привлекать к себе особое внимание – куда это он, дескать, в гости с гитарой направился?)

Вечером именно Маркуша будет возиться с магнитофоном, записывать. На пленках сохранились голоса двух десятков гостей, взрывы смеха, реплики, заказы...

Сейчас, когда нет ни Галичей, ни хозяйки, я вслушиваюсь: как весело, беспечно смеются женщины, разыгрывается интермедия: Нюша, одинаково свободная и уместная всюду, забралась под стол, чтоб там подкармливать тайно нашего добрейшего тигрового боксера Чанга (что строжайше запрещалось – нельзя же приучать пса побираться у стола), таская ему то ломтик колбаски, то пирожок. Оттуда, из под свисающей скатерти, Ангелина просит мужа спеть «Кадиш», он притворно раздражается – у него в данный момент другой репертуарный настрой, она настаивает, он как бы сердится на нее, но все это понарошку – пауза, чтобы ему отдохнуть. При этом она умело следит, чтобы он пил поменьше, больше пел. Песня, новая. Взрыв смеха, голоса, звонкий, солирующий смех хозяйки, шутейная перебранка супругов... Когда-то показалось – надо бы очистить пленки от посторонних шумов, слава богу, что поленились, не сделали глупости, сейчас все эти реплики, шутки и споры, обвалы хохота, аплодисменты, остроты, женский смех – все сливается в гармонию, воскрешает драгоценную картину времени, в которой мы с волнением различаем, узнаем живые голоса ушедших, дорогих нам людей.

...Что еще? Его неожиданное обращение? Христианство? Дело такое интимное, я не сразу и решился расспросить, что, дескать, значит сей сон? И, боюсь, не сумею здесь пересказать его спокойнейшие, простые объяснения – ни малейшей позы, ни прилагательных, ни восклицательных знаков. Ночи Ангелины у больничной койки, грозящей стать смертным одром, и стихи из романа Пастернака. В собственном его «Когда вернусь» многое сказано... В Переделкине за столом с нами Зоя Крахмальникова, особая, пронзительной чистоты религиозность нашей общей знакомой – след пережитого, выстраданного, это как заявление о выходе из КПСС, в которой и не состояли, бунт против неправды и звероподобия нашего бытового коммунизма-социализма, включая и церковных иерархов, толпы тучных бородачей в золотых ризах с их лживыми песнопениями... Нет, не так. То есть все это упоминалось, но без пафоса, ненужных грубостей, просто выходило, что лучше-то бога человечество за многие века так ничего и не придумало. И... помолчим, тишина. Невозможность рассуждать о таких вещах вслух, публично. Рядом с отцом Александром Менем у Саши были

Сахаров, Нансен, Корчак... к ним его тянуло от тоски пленумов, комиссий, идолов и прохиндеев, вранья и полезных связей, тягот и предательств нашей действительности. Его христианство было органично связано с Ангелиной, судьбой, сюжетами и героями его баллад.

Бывало, годами не виделись, хотя жили по соседству.

Звонок Ангелины: «Ну, что ж, так и не увидимся?..».

Последние их московские дни. Такой отъезд тогда означал – навсегда, смахивал на похороны. Пустые полки, букинист книги вывозил. Растерянность. Чувство вины перед ними, стыда.

Несмотря на то, что ему прямо было заявлено: «вам остается только израильский вариант», – не верилось, думалось: может, блефуют компетентные, пугают? Может, еще обойдется? Нет, ясности не было, одни дурные предчувствия. Определенно было известно только то, что тут уже ничего хорошего ждать не приходится.

Он словно извиняется:

– Подумалось, что же – это вот – и все? И ничего больше не будет? (В смысле: недолго ж музыка играла.) Но, предполагалось, как будто... (Он сожалел о том, что слишком много недоделано, не завершено.) Как-то трудно с этим примириться, нет?

Конечно же, оставалась еще надежда на будущие какие-то сюжеты, на возможность поездить, поглядеть мир, «повидаться с друзьями, которых там уже больше, чем здесь», что-то написать, подышать, так сказать, воздухом свободы. Вспомнил по поводу воздуха забавную новеллу, как приехали они в Париж с одним товарищем, а тот в первый раз, разволновался, просил его не бросать одного. Отель им достался какой-то третьеразрядный. И вот вышли они во двор, почему-то с черного хода, там по помойным контейнерам коты шныряют, вонь, но товарищ только глубоко вздыхает, с глубоким удовлетворением: Европа!..

Из пустеющей квартирки, так любовно ими обжитой, выносили книги, что-то из антиквариата, улетучивался жилой дух. И разговор неторопливый, негромкий – не монолог, не диалог, бытовые мелочи.

– У тебя есть наш Мандельштам? Этот трехтомник таможня не выпустит...

Еще что-то в том же духе, куда-то надо было спешить и не хотелось, никаких речей, формулировок – больше умолчаний, при полной открытости, даже обнаженности, в расчете на понимание. Нет, решение об отъезде принималось очень трудно – будущее пугало и здесь держали долги – наносился очевидный вред, удар близким, матери, брату...

Провожать Галичей в аэропорт собралось неожиданно много народу, хотя заметно было и чье-то понятное отсутствие, страшно же. Андрей Дмитриевич Сахаров. Лева Копелев, знакомые, известные, неизвестные, неофициальные лица. Ангелина, несмотря на жару, в норковой шубке, сережки, брошь... Кто-то пошутил: «Ты, как Остап Бендер на румынской границе». Предполагалось, ценности эти помогут перебиться там первое время, но таможня не пропустила караты. Пахло бедой, навсегда же прощались, но шутили, острили, бодрились, а кто-то и всплакнул...

Расставанье на век. Похороны. Совершенно живых людей.

Больше я ни его, ни ее не видел. Изредка удавалось послушать через помехи голос по «Свободе»...

Хаим Венгер

В ЖУРНАЛЕ «РОДИНА»

В судьбе нет случайностей; человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу.

А. Вильмен

...В сентябре 1981-го, через год после моего приезда в Израиль, когда приходилось заниматься делами, далекими и от профессии, и от всего, к чему я был склонен, судьба свела меня с Руди Портным. В издательстве, расположенном в трехкомнатной квартире с совмещенным санузелом, меня приветливо встретил очень приятный невысокий мужчина, с бородкой и усами а-ля Чехов. Сказав, что ему попадалась моя фамилия в израильской прессе, Руди поинтересовался моим «литературным прошлым». Ничего конкретного не предложив, он взял мой адрес и пообещал при случае обо мне вспомнить.

Прошло месяца три. Как-то вечером, когда мы уже закрыли двустворчатую дверь салона, служившую одновременно и его окном, раздался звонок в дверь нашей квартирки в центре абсорбции в Гило. Открыв, я увидел Руди. Переступив порог и поздоровавшись, он с места в карьер сказал:

– Хаим, я начал издавать журнал. Хотите быть его литературным редактором?

– Вы еще спрашиваете?! – воскликнул я.

– Тогда одевайтесь, нам предстоит горячая ночь: макет должен быть завтра рано утром в тель-авивской типографии. Пока вы одеваетесь, я сбегаю за Софой, корректором.

Через десять минут мы сидели в огромной повидавшей виды машине нашего будущего шефа. Впрочем, Руди стал шефом только моим: у Софы к тому времени уже была постоянная работа. Выехав из Гило, Руди по опустевшим улицам помчал нас к центру Иерусалима.

И вот мы в издательстве. Напившись крепкого чая, наша троица принялась за работу. Не поднимая головы, мы вкалывали до пяти утра. Я даже не заметил, как пролетела ночь – самая счастливая ночь в моей израильской жизни. Так я начал работать в журнале «Родина».

Поспав несколько часов, я снова приехал в редакцию и познакомился с секретарем шефа Аидой, миловидной женщиной средних лет, художником-графиком Фимой Мельником и композеристкой Беллой (в те годы в издательствах персональных компьютеров еще не было, текст набирали и монтировали на электронных композерах). Впоследствии состав редакции неоднократно менялся. Неизменным оставался только главный редактор еженедельника Руди Портной – талантливый журналист и издатель, человек, обуреваемый идеями, нередко вступающими в противоречие с действительностью.

До того, как Руди начал издавать журнал «Родина», в его послужном списке уже были несколько великолепных изданий. Среди них –

вышедший в 1978 году сборник избранных произведений Мартина Бубера «Веление духа», впервые переведенных на русский в Москве в начале 70-х и распространявшихся в Самиздате. Составил и отредактировал сборник художник Натан Файнгольд. Любимым же детищем Портного была увидевшая свет в 1976-1978 годах серия «Чудо», рассчитанная на репатриантов, изучающих иврит. Серия состояла из интересных брошюр на темы, связанные с Израилем: «Шестидневная война», «Война за независимость», «Так был пойман Эйхман»... Каждую брошюру издатель снабдил оригинальным словарем, в котором ивритские слова были расположены в той последовательности, в какой встречались в тексте, и приведены в тех же грамматических формах. В подарочном варианте все брошюры серии были упакованы в коробку из черного картона с золотым тиснением.

Несколько сотен экземпляров этого роскошного издания Руди передал одному бостонскому книготорговцу. Время шло, а американец вестей не подавал и на письма не отвечал. Через полгода после того, как я начал работать в журнале, нью-йоркские родственники пригласили меня в гости. Руди предложил совместить приятное с полезным: съездить из Нью-Йорка в Бостон (три часа на автобусе), разыскать необязательного компаньона и, предъявив ему копию его расписки в получении книг и доверенность, потребовать от него рассчитаться. Перед отъездом я подготовил материалы на месяц вперед; Руди же пообещал засчитать мне проведенные в Америке дни как рабочие.

Вместе со своим бостонским приятелем и его другом-адвокатом мы нашли книготорговца, успевшего сменить адрес, но денег, увы, не получили, так как все книги оказались непроданными, — и он предложил нам в любое время забрать их. Десять подарочных коробок я у него взял и распродал среди друзей и родственников. Вырученные деньги, вернувшись, вручил Руди, а по свежим впечатлениям от поездки в Штаты написал очерк «Прыжок через океан», опубликованный в трех номерах журнала. В нем, рассказывая о великой Америке, я писал о преимуществах жизни в Израиле. Впрочем, основной результат моей поездки проявился значительно позже.

Содержание журнала и его название соответствовали моему душевному настрою, и я работал, как одержимый. И если вначале Руди относился ко мне настороженно, то через короткое время между нами установились доверительные отношения. Обладая непростым характером, Руди отличался необыкновенной терпимостью к чужим недостаткам. Он умел внимательно слушать собеседника, и, если надо, помогал и словом, и делом. Не случайно в редакцию валом валили люди, многие из которых были его друзьями еще по Тбилиси.

С первых же дней постоянным автором журнала стал замечательный писатель и переводчик Авраам Белов. С середины тридцатых Авраам работал в «Ленинградской правде». Во время антисемитской кампании, начавшейся в 1948 году, он вместе с другими журналистами-евреями был уволен из газеты и остался без средств к существованию. Именно тогда Авраам активно занялся литературной деятельностью. В 1952 году в ДеттIZE вышел его первый, совместно со Львом Липкиным, труд «Глиняные книги» — об истории дешифровки

ассиро-вавилонской клинописи. Книга имела ошеломляющий успех и была переведена на шесть языков. В 1955 году увидела свет книга Авраама Белова «Страна Большого Хаппи» о Древнем Египте.

В Советском Союзе, где иврит был запрещен, Авраам был страстным его проповедником, он первым после 1923 года опубликовал переводы с этого языка на русский. Несколько ранних рассказов Шолом-Алейхема он разослал по редакциям. К счастью, редакторы не знали, что Шолом-Алейхем вначале писал на иврите и лишь потом перешел на идиш. Рассказы были опубликованы в журналах «Нева», «Звезда», «Огонек» как «переводы с еврейского». Впоследствии, когда издательская политика несколько смягчилась, Авраам совместно со Львом Вильскером составил два сборника израильских прозаиков в своих переводах на русский язык: «Рассказы израильских писателей» (М., «Прогресс», 1965) и «Искатель жемчуга» (М., «Наука», 1966). Его переводы с иврита публиковались в журналах и альманахах. В сборнике «Мастерство перевода», который в то время редактировал Корней Чуковский, было напечатано исследование Белова «А. Шленский – переводчик “Евгения Онегина”», после чего между ним и Шленским завязалась оживленная переписка. Сто пять писем, полученные им от большого мастера, Авраам бережно хранил.

Очень много сделал Белов для Бориса Гапонова, который перевел на иврит поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Гапонов жил с матерью в Кутаиси в подвальном помещении, работал за гроши в заводской многотиражке. Белов пригласил его в Ленинград, встретил на вокзале и привез к себе. Авраам организовал его выступление в Институте востоковедения. Послушать Гапонова пришли десятки гебраистов и не пожалели: тот выступил с блеском. Гапонов прожил у Авраама целый месяц и за это время перевел на иврит большую подборку стихов Евгения Евтушенко. Белов посоветовал Гапонову послать главы из его перевода Руставели Шленскому. Тот нашел перевод «Витязя» гениальным и взялся опубликовать его в Израиле. По просьбе Шленского Белов выслал ему иллюстрации к поэме работы известного грузинского художника Сергея Кобуладзе, которые придали ивритскому изданию подлинный блеск. Когда книга вышла, Гапонов снова приехал в Ленинград к Белову. На этот раз он прочел в Институте востоковедения доклад «Библейские образы в поэзии Руставели». И снова ему аплодировали как триумфатору.

Репатрировавшись в Израиль в 1974 году, Авраам издал написанную еще в Союзе книгу о Мертвом море «Дно мира» и перевод романа Аарона Мегеда «Хедва и я». В переводе Белова «Библиотека-Алия» выпустила книгу Шауля Авигура «С поколением Хаганы».

С выходом в свет журнала «Родина» у Авраама открылось второе дыхание. Этот далеко уже не молодой человек поражал нас удивительной работоспособностью. Практически в каждом номере журнала печатались очерки Белова, воспоминания, его переводы Шолом-Алейхема, Ицхака Башевиса-Зингера, Шмуэля-Йосефа Агнона... Это и «История одного замечательного перевода» – о переводе Борисом Гапоновым на иврит стихотворения Ивана Бунина «Гробница Рахили». И «Запретная тема» – о бесплодных попытках рассказать в Со-

ветском Союзе о Варшавском гетто. В серии очерков, опубликованных под общим названием «Как я был негром», Авраам рассказал, как, оставшись в Ленинграде без работы, писал брошюры и книги за известных и уважаемых людей (среди них был даже Шостакович). А они, поставив свою подпись, делились с ним гонораром или отдавали его целиком. Впоследствии Белов издал эти очерки отдельной книгой на русском языке и в переводе на иврит.

Зная о музыкальном образовании Авраама Белова, ленинградский композитор Гирш Пайкин именно ему прислал ноты балета «Масада» и оперы «Иегуда Галеви». Создание этих произведений было не только творческим, но и жизненным подвигом композитора, ведь он находился в глухом отказе, так как одно время, зарабатывая пенсию, жил и работал в закрытом городе. Обо всем этом Белов тоже рассказал на страницах журнала.

Когда ленинградских узников Сиона стали выпускать на свободу, Авраам Белов, не щадя больных ног, не считаясь с тем, что ему предстоит бессонная ночь, каждого из них встречал в аэропорту. Человек необычайно скромный, довольствовавшийся очень малым, он постоянно за кого-то хлопотал. Авраам исходил немало инстанций, пока добился, чтобы репатриировавшихся в Израиль в 1988 году Пайкина с женой, профессиональной певицей, переселили из гостиничного номера, куда они не могли привезти пианино, в амидаровскую квартиру. Кстати, Пайкиных он тоже встречал в аэропорту, а меня буквально заставил взять у композитора интервью, чтобы я отвлекся и вышел из депрессии, вызванной неизлечимой болезнью моей жены.

Авраам не прекращал литературную деятельность до глубокой старости. В восемьдесят пять лет он начал работать над книгой «Рыцари иврита в бывшем Советском Союзе» и через два года, в 1998-м, она вышла в издательстве «Лира». Работая без отдыха, Авраам успел рассказать о прозаиках, поэтах, публицистах, филологах, учителях иврита, которые, несмотря на жестокие преследования, продолжали творить на языке Библии, изучать и пропагандировать наш древний и вечно молодой язык. Одни из них были расстреляны, другие поплатились годами тюрем и каторжных работ. И все же искоренить иврит в Советском Союзе власти не смогли. Закончив работу над этой книгой, Авраам, такой же «рыцарь иврита», как и ее герои, начал писать новую: «Иврит и идиш – родные сестры», – но завершить книгу ему помешала смерть.

Еще одним постоянным автором «Родины» был Леонард Гендлин. Журналист, коротко знакомый, по его словам, со многими известнейшими людьми, он вывез из Союза огромный архив с досье на всех, кто рано или поздно попадал в поле его профессиональных интересов. Наверное, что-то в этих досье было правдой, что-то – плодом его фантазии. Авторская подпись «Л. Гендлин» дала нам повод называть его между собой «Легендлин». А между тем на страницах журнала в рубрике «Литературные памятники» появлялись эссе Гендлина о Пастернаке, Зощенко, Ахматовой, Гроссмане, Берггольц, Шолом-Алейхеме, Эренбурге... Писал Леонард и об артистах, например, о Михоэлсе, Вертинском, и об общественных деятелях. В каждом ма-

териале непременно содержались сенсационные факты. Но наиболее удалась Леонарду Гендлину книга «За кремлевской стеной», изданная в Америке. Полный сил и творческих планов, Леонард неожиданно скончался в возрасте пятидесяти пяти лет.

Постоянно сотрудничал с журналом и Авраам Клейнер. Главный инженер Харьковского машиностроительного завода, он был арестован и осужден как враг народа. Несгибаемый правдолюб, он был из тех, кто указывает всем вокруг себя на допущенные ошибки и предлагает эффективные пути их устранения. В Израиле он стал специалистом в области политики, экономики и военного дела. Почти в каждый номер он приносил статьи, в которых учил израильское правительство тому, как усилить мощь государства и его армии, остановить инфляцию, обуздать извечных врагов Израиля, поднять престиж нашей страны на международной арене.

Когда я сказал Руди, что мне слишком много времени приходится тратить на работу с материалами Клейнера, он меня успокоил:

– Хаим, многие пожилые советские евреи очень любят статьи подобного рода, потому что каждый из них – Клейнер. Читая его материалы, они сверяют с ними свои собственные взгляды и размышления. Так что вы не напрасно тратите время.

Как-то я посоветовал Клейнеру написать о своем лагерном прошлом. Он ухватился за это предложение. В результате появилась повесть под названием «Девять лет», главы из которой мы печатали в журнале. Одна из них рассказывает о противостоянии автора со следователями, пытавшимися его сломить. Но ни бесконечные ночные вызовы, ни многочасовые конвейерные допросы, ни угрозы, ни посулы не заставили Авраама Клейнера признать свою вину, подписать то, что от него требовали. Эта стойкость, по его мнению, спасла ему жизнь или, по меньшей мере, избавила от двадцати пяти лет лагерей.

За два года существования «Родины» в журнале, впервые на русском языке, были напечатаны роман Ганса Габе «Миссия» о международной конференции в Авиньоне, на которой европейские государства, как и страны Северной и Южной Америки, отказались от возможности выкупить евреев у нацистской Германии, чтобы «не поощрять торговлю людьми»; детектив Леонарда Моусли «Операция «Кондор»» – о том, как разведчица-еврейка из Эрец-Исраэль победила фельдмаршала Роммеля; повесть Жоржа Файфера «Пешком к свободе» – о юноше, попытавшемся в одиночку вырваться из социалистического рая; отрывок из написанного на библейский сюжет романа Лиона Фейхтвангера «Ифтах и его дочь»; большая подборка крупнейшего еврейского поэта эпохи Возрождения Иммануила Римского в переводах Геннадия Ярославцева; афоризмы и два неизвестных фельетона Шолом-Алейхема. Были опубликованы письма Шауля Черниховского и повесть Александра Печерского «Восстание в Со-биборе». (Предисловие к ним написал все тот же Авраам Белов). Первые свои лагерные новеллы и рассказы опубликовал в «Родине» Лев Консон, ставший впоследствии известным писателем не только в Израиле, но и за его пределами. В восьми номерах журнала печаталось малоизвестное сочинение Николая Лескова «Евреи России».

Зная о любви читателей к детективам, от 6 до 8 страниц каждого журнала (из шестидесяти четырех) Руди выделял на очередное захватывающее повествование, давая его, естественно, с продолжением и обрывая на самом интересном месте. Детективами Э. Квина, Д. Френсиса, А. Кристи нас бесперебойно снабжал работавший в Национальной библиотеке историк и книголюб Савелий Дудаков.

Каждое воскресенье Аида приносила в редакцию кипу газет на иврите и английском, и наш босс отмечал материалы, подлежащие переводу. С нами работало несколько переводчиков – А. Кофман, В. Радущкий, Э. Вайнштейн. Но лучшим был Пинхас Гиль. Его тексты шли в набор практически без правки.

Под рубрикой «Алия и абсорбция» обсуждались и такие проблемы, как отношение к «прямякам» (тем, кто, выехав из СССР по израильскому вызову, спешил напрямую в Америку или в Западную Европу). В очерке «Заговор против алии?», опубликованном в пяти номерах, с блеском проявился талант Руди Портного – публициста.

В постоянной рубрике «Наш календарь (история, факты, события)» командующий Центральным военным округом во время Шестидневной войны генерал Узи Наркис представлял читателям страницы героической, а нередко и трагической истории Израиля.

...Между тем материальное положение шефа становилось все хуже и хуже. Угнаться за галопирующей инфляцией, поднимая стоимость журнала, было невозможно. Когда же наступило время, что Портной не смог выплатить своим сотрудникам зарплату, произошло чудо.

В один из весенних дней 1983 года на столе у Руди зазвенел телефон. Он снял трубку. Человек на другом конце провода говорил по-русски с едва уловимым акцентом и так громко, что я слышал весь разговор, поэтому передаю его с протокольной точностью.

– Здравствуйте! Мне нужен Руди Портной.

– Я слушаю.

– Меня зовут Михаэль Горен. Я – врач-натуропат. Мне известно, что вы – хороший издатель. Знаю также, что у вас сейчас материальные трудности.

– Вы недалеко от истины.

– Я написал книгу «Путь к здоровью и долголетию»; она издана на иврите и испанском. Если вы согласны издать ее русский перевод – он у меня есть, – я заплачу вам в качестве аванса пять тысяч долларов. Да, да, вы не ослышались – пять тысяч долларов.

– Я согласен.

– Тогда приезжайте, я буду вас ждать, – и прежде чем повесить трубку, доктор Горен продиктовал свой адрес.

– Хаим, вы на машине? – спросил меня Руди. – Тогда поехали.

В дверях квартиры нас встретил почтенный старец с абсолютно белой окладистой бородой и удивительно молодыми глазами. Оговорив условия и напоив Руди и меня чаем, он вручил Портному рукопись и чек на обещанную сумму. В тот же день сотрудники редакции получили зарплату. Книга «Путь к здоровью и долголетию» вышла в 1984 году. Отредактировал ее, а по существу, перевел заново Авраам Белов.

Были в жизни журнала, точнее, его сотрудников, не только чудеса, но и весьма приятные сюрпризы и неожиданности.

Однажды Руди попросил меня написать о художнике Михаиле Джанашвили, с которым он был знаком еще в Тбилиси. Уже назавтра в редакцию пришел Миша со своей очаровательной женой Верико. А еще через пару дней я побывал в студии художника в районе Тальпиот-Мизрах, познакомился с его работами, подробно расспросил. И в Израиле, и в Тбилиси основной в творчестве Михаила Джанашвили была еврейская тема. И власти не только Грузии, но и Москвы, где у него были персональные выставки, смирились с этим – такова была сила его искусства. Вскоре в двух номерах «Родины» появился иллюстрированный очерк под названием «Свет правды и добра».

Какой банкет устроила по этому поводу семья Джанашвили, пригласив всех сотрудников редакции! Я в жизни своей не видел такого количества всевозможных блюд, не слышал таких умопомрачительных тостов. До тех пор я только слышал о грузинском хлебосольстве, а тут убедился в этом воочию.

...Руди делал все, чтобы спасти любимое детище, и все же в условиях катастрофической инфляции и почти абсолютного прекращения алии журнал пришлось закрыть. Читатели воспринимали это как личное несчастье, о чем говорили мне многие из тех, кого я знал. Для меня же журнал «Родина» был дорог еще и тем, что, работая в нем, я написал и опубликовал свою первую книжку «С Израилем в сердце». Обложку к ней оформил Михаил Розенталь, портрет мой нарисовал замечательный художник Андрей Резницкий.

После закрытия «Родины» Руди отправился в Америку – искать деньги для издания нового журнала «НЕС» (на иврите «нес» означает чудо; он использовал это слово и как аббревиатуру названия «Независимый еженедельник событий»). Тогда-то Руди и пригодились те самые подарочные коробки серии «Чудо». Забрав книги у своего несостоявшегося компаньона, он пристроил их в различных еврейских организациях, где заодно нашел спонсоров, готовых финансировать его новое издание.

Вернувшись в Израиль, Руди набрал новый штат, в котором были аж две женщины-корректора: одна – для журнальной работы, другая – для книгоиздательской. Портного подвела свойственная ему авантюрная жилка. Первые три номера журнала газетного формата он выпустил с цветной обложкой тиражом в десять тысяч экземпляров. Для столь громадного тиража никаких оснований не было. «Родина» в период своего расцвета выходила тиражом в три с половиной тысячи. Обложка резко увеличила стоимость журнала, а формат оказался неудобным для читателей. В результате из тиража первых трех номеров были раскуплены от силы по полторы тысячи экземпляров, а журнал превратился в обычную газету.

И тут Руди постигла новая беда. 7 июля 1984 года, вскоре после ареста нескольких человек, принадлежавших к так называемому еврейскому подполью, в еженедельнике «НЕС» была опубликована статья Пинхаса Гиля «Еврейское подполье? Молодцы!» В свое время Пинхас опубликовал там же разгромную рецензию на книгу небезыз-

вестного и ныне Исразля Шамира, в которой тот поливал грязью Израиль. Прочитав статью, Шамир отнес ее депутату Кнессета от партии МАПАМ Яиру Цабану с соответствующими комментариями. Тот отправил письмо юридическому советнику правительства Ицхаку Замиру с требованием расследовать «подстрекательско-расистскую деятельность» еженедельника. В результате Пинхасу и Руди было предъявлено обвинение в «публикации материалов, подстрекающих к мятежу» и в «публикации материалов, содержащих поддержку насильственных действий». По первому пункту максимальное наказание предусматривало пять лет заключения, по второму – на два года меньше. Процесс начался 24 января 1985 года и продолжался почти три года, в течение которых на выход еженедельника «НЕС» был наложен запрет. В конце концов, благодаря блестящему адвокату Аарону Папо, подсудимые были оправданы по первому пункту обвинения, по второму же – признаны виновными и приговорены к трем месяцам заключения условно и штрафу в размере пятисот шекелей каждый.

Руди ничего не оставалось, как начать издание нового еженедельника, который он назвал «Обзор». Издательство к тому времени уже сменило имя и называлось «Интегра». Гарантами банковских ссуд, которые ему пришлось для этой цели взять, выступили его приятели. И после краха очередного еженедельника им пришлось выплачивать долги Руди. Это был не первый раз, когда гаранты Портного оказывались должниками. Конечно, никакого злого умысла с его стороны не было, ведь он всегда рассчитывал на благоприятный исход... Кстати, в этом издательстве вышла книга моего брата Ицхака Вейнгера и его жены Любы Кристол – чемпионки мира по шахматам среди женщин в игре по переписке «Хобби, покоровшее вершину». Руди не только блестяще справился с необычной для него работой, но и сам великолепно оформил обложку. Книга имела большой успех в шахматном мире.

После того, как закрылся и «Обзор», Руди уехал на несколько лет в Москву. Вернувшись в Израиль, он с помощью врача, занимавшегося неконвенциональной медициной, открыл издательство «Эдри и Портной Энтерпрайз» и переиздал серию «НЕС», рассчитывая, что «Большая алия» заинтересуется этим интересным и необычным пособием. Но, увы, обновленная серия массового покупателя не нашла.

...Последние годы Руди существовал на зарплату ночного сторожа и социальную помощь, выплачивая до последнего дня кредиторам долги из своих скудных доходов.

Авторы некролога, опубликованного в газете «Вести» 18 июля 2002 года, писали: «...не каждый смог бы, лишившись любимого дела, бизнеса, общественного статуса, семьи, связей, влиятельных друзей (один из них, генерал Узи Наркис, умер за несколько лет до этого), остаться гостеприимным хозяином, интересным, темпераментным собеседником и другом, редко просящим о помощи, но способным ее оказать... Стоит вспомнить и его замечательную улыбку, с которой он произносил традиционную фразу: «Я прошу оказать нам честь – пожаловать на несколько рюмок вина».

Леонид Словин

*ПИСАТЕЛЬСКОЕ НАТОРЬЕ**

Название этим заметкам подсказал невольно С. В. Михалков.

В тот день председателя Правления СП РСФСР публично поздравляли с выходом в свет его очередного полного собрания сочинений, и атмосфера в Объединении детских и юношеских писателей была непринужденной. Среди прочего Герой Соцтруда именитый автор «Дяди Степы» рассказал и о своем видении советского литературного пространства, представлявшегося ему обширным участком земной поверхности, на котором есть и небольшие горы, что лишь слегка поднимаются над окружающей равниной, и плоскогорья, и хребты, а есть также и такие вершины, как Монблан, Эльбрус, Джомолунгма. В этом месте своих объяснений он едва заметно приосанился...

РОМАНТИК

...«Голицыно». Дом творчества писателей – менее престижный, чем знаменитое «Переделкино», более удаленный от Москвы. С маленькой столовой и скромной библиотекой, с кабиной телефона-автомата «межгород» в вестибюле, с балкончиками в небольших однокомнатных номерах по обе стороны коридоров.

В «старом» – до реконструкции – «Голицыно» подолгу жили Анна Ахматова, почти забытый ныне Анисим Кронгауз. В постоянных обитателях числились также Юрий Домбровский, Борис Золотарев, Михаил Синельников. Позднее там можно было встретить Анатолия Кима, Владимира Корнилова, Бориса Камова, Михаила Льва, Александра Межирова, Игоря Минутко, Вадима Ковду, Виктора Пронина... В последние годы жизни в «Голицыно» любила бывать Анастасия Цветаева, сестра Марины. С нею входили в Дом запахи церкви – ладана, свечей, елдя. Чистенькие, набожные старушки, навещавшие «матушку», сторонились занятых своим ремеслом постояльцев.

С утра в Доме – стрекот пишущих машинок, за многими запертыми дверями приглушенные, а то и хорошо различимые «вражьи голоса» – «Свобода», «Голос Америки», «Коль Израэль».

На пыльной улочке под окнами – куры, собаки. Водитель ассенизационной машины Литфонда – единственной в поселке – перебрасывается репликами с писателями, успевшими сходить на станцию за газетами. Разговаривая, следит за шлангом, заброшенным в автономную канализационную сеть, которой так гордится добрейший директор «Голицыно» Михаил Иванович. (Он умер в начале 90-х, когда рухнул рубль, писатели повыехали, и все громче стали поговаривать

* Главы из одноименных воспоминаний.

о сдаче Дома в аренду германской автомобильной фирме. Михаил Иванович скончался скоропостижно, а вслед за ним, возвращаясь с его поминок, умер и замерз на дороге и водитель той самой машины.)

Но перед тем Дом жил весьма патриархально, по-деревенски.

Вечерами обитатели собираются в крохотном зале у телевизора, смотрят «Время». Тут и поэт – будущий главный редактор «Пульса Тушино», и известный критик – будущий постоянный автор не менее одиозного «Дня», и будущий израильтянин, и борец за национальное возрождение, выпускающий первую татарскую газету на латинице...

«Патриоты» и «демократы» вместе смотрят программу новостей, до открытой взаимной неприязни времени остается немного...

То лето было непривычно жарким.

Моим соседом по коридору был ныне покойный Нотэ (Натан Михайлович) Лурье, известный прозаик, писавший на идише.

Вентиляторов в комнатах, естественно, не было. Большую часть дня Нотэ Лурье работал в своем номере раздетый по пояс. Полный, одышливый, он стучал на малюсенькой, почти игрушечной печатной машинке с еврейским шрифтом, такой крохотной, что казалось, место ее давно было в кунсткамере.

Нотэ охотно уделял время соседу.

В частности, он поведал мне историю своего общения с советскими правоохранительными органами.

Это было во время его ареста в Одессе после войны.

Областное Управление МГБ размещалось в доме, который еще недавно занимали обычные жильцы. Лурье допрашивали в той самой квартире, где он часто бывал – прежде в ней жили его друзья. Слушая непрекращающуюся брань и угрозы следователя, он видел перед собой карандашную отметку на косяке двери, которую когда-то нанес своей рукой; отметка соответствовала росту ребенка его друзей.

– Неприятнее всего, – вспоминал Нотэ, – были потоки изощренной ругани, которые постоянно изрыгал следователь. Его брань действовала на меня особенно. Можно себе представить мою радость, когда однажды он явился на допрос не один, а с миловидной машинисткой. Я вздохнул. По крайней мере, в этот день можно было не опасаться грубости... Я почти спокойно смотрел, как женщина поставила на стол пишущую машинку, села, поправила прическу, положила пальцы на клавиатуру и приготовилась печатать. Следователь пристроился сзади нее, стоя, чтобы видеть напечатанные строки.

– Итак, – он чиркнул спичкой, прикурил. – Приступаем... «Я, старший следователь УМГБ по Одесской области... – медленно, чтобы машинистка успевала печатать, он продиктовал свою должность, звание, затем мои анкетные данные. – «С соблюдением требований статей... УПК УССР...» Напечатала?

В кабинете-квартире было тихо. Слышался лишь стрекот пишущей машинки.

– Идем дальше... «Во-прос подслед-ствен-ному Лурье...»

– Готово.

– «По-че-му до сего дня... – почти по слогам начал следователь, – вы пытались ввести в заблуждение следственные органы...»

Нотэ замер.

– «...А сегодня решили рассказать всю правду о своей антисоветской деятельности...»

– Что вы там такое говорите?! Какую «правду»?! Какая «антисоветская деятельность»... Что такое?! – закричал он.

– Сиди, твою мать... – шуганул следователь и тут же затейливо продолжил про Бога, душу и все остальное. Присутствие машинистки нисколько его не стесняло. – Готово? Идем дальше. «От-вет под-след-ствен-ного Лурье...»

– «Лурье...» – подтвердила женщина. – Есть.

– «... До сегод-няш-него дня я на-деял-ся, что мне все же удастся обмануть наши славные чекистские органы, но теперь я убедился, что надежды мои были напрасны...»

– Что?! Что такое?! – Нотэ сорвался на крик. – Какие надежды?! Что вы там такое пишете?!

– Молчи, – на этот раз он сразу начал с души, а потом уже перешел к Создателю. – Продолжаем. Готово?

– «...были напрасны...»

– «А по-то-му решил рассказать следствию о своей антисоветской деятельности все откровенно от начала и до конца...»

Протестовать было бессмысленно.

«Вопрос» – «ответ», «вопрос» – «ответ»...

Ребром поставленный «вопрос» и «чистосердечный ответ» вместе тянули минимум на 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Иногда чекист как бы проверял обвиняемого, мол, не увлекся ли тот в порыве покаянных признаний. Не наговорил ли, упаси Бог, лишнего на себя:

«Обвиняемый, вы действительно показываете здесь все, как было? Не оказывалось ли на вас во время следствия какого бы то ни было давления со стороны проводящих следствие органов?»

«Нет, нет... – будто бы заверял обвиняемый. – Что вы?! Как можно?! Даваемые мною показания являются абсолютно добровольными...»

Покаяние во всех смертных грехах в изложении следователя то и дело перемежалось грубой лестью в адрес «славных чекистских органов, родной Партии и ее славного Центрального Комитета»...

В годы, когда признание обвиняемого считалось «царицей доказательств», одного этого протокола допроса было вполне достаточно.

Не знаю, написал ли Нотэ Лурье об этом.

Однажды я застал Нотэ читающим письмо редактора, приложенное к полученной им верстке. Отирая пот с озадаченного лица, он недоуменно рассказал о том, что произошло.

Речь шла об очередном переиздании его романа «История одной любви», который не требовал новой редактуры, и потому было более чем странным получение и самой верстки, и письма.

«История одной любви» была последним крупным произведением писателя и, может, поэтому, как казалось, более любимым. Я не раз видел: лицо его оживлялось, когда он говорил о нем. Сам я ставил эту вещь, казавшуюся мне немного надуманной и сентиментальной, ниже, чем его «Степь зовет». Но Нотэ Лурье, повторяю, считал иначе...

В центре романа, помнится, платоническая любовь пожилого интеллигентного человека, который напомнил мне самого Нотэ, и молодой, тоже интеллигентной, симпатичной замужней женщины, верной женой ее любимого еврейского мужа.

Главные персонажи романа жили в разных городах, встреча их произошла в третьем. Вернувшись домой, женщина много рассказывала мужу о своем новом друге. В сцене, вызвавшей замечания редактора, героиня и ее добряк-муж готовились достойно встретить прибывающего желанного гостя...

Не имея под рукой текста, я ручаюсь только за смысл.

– Боря! (Может, Сеня) – просит героиня мужа. – Сегодня у нас дорогой гость. Будем праздновать. Срочно сходи на угол, в магазин. Купи бутылку самого лучшего вина...

– Но зачем для этого идти в магазин, Лия?! (Может, Хана) – отозвался муж. – У нас в буфете несколько бутылок прекрасной мадеры и еще портвейн...

Роман был написан до объявленной Горбачевым известной кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Поэтому этот невинный диалог супругов и вызвал замечание издательства.

В присланной Нотэ верстке имелись исправления в духе текущего момента, внесенные твердой рукой редактора. Исправления не успели согласовать с автором на месте в виду его отъезда, поэтому прислали заказной почтой.

В новой редакции описанный эпизод выглядел примерно так.

– Сеня! (Может, Боря) – просит жена. – Сегодня у нас дорогой гость. Будем праздновать. Срочно сходи на угол, в магазин. Купи бутылку самого лучшего лимонада...

– Но зачем для этого идти в магазин, Хана?! (Может, Лия) – пожимает плечами муж. – У нас в буфете несколько бутылок прекрасного лимонада и еще «крем-сода»!

По еврейскому обычаю, на свадьбу, писал он в другом месте, гостям выкатили во двор бочку доброго красного вина...

Редакторская рука во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы...» выправила это таким образом: «На свадьбу, по еврейскому обычаю, гостям выкатили во двор бочку доброго хлебного кваса»...

Не знаю, появился ли роман с теми правками, какие предложило издательство, или же Нотэ Лурье, используя свой авторитет, смог добиться восстановления первоначального текста. Не знаю. Но авторитет и признание у Нотэ Лурье были. Он, несомненно, входил в первую обойму советских еврейских авторов.

«Евр. сов. писатель, – сообщает о нем «Советский энциклопедический словарь», – (р. 1906). Социально-психол. ром. «Степь зовет». (1932, 41) о коллективизации, ром. «Небо и земля» (1963-64) о Вел. Отеч. войне. Ром. «История одной любви» (1976)».

Последнее время я нечасто слышу его имя. Не так давно в газетной статье, посвященной участникам Первого съезда советских писателей, он тем не менее был упомянут. «Юношеский максимализм», «революционный романтизм»... И это все.

Почему я вспомнил его?

Может, из-за романа «Степь зовет» – безыскусного гимна сталинской коллективизации, обернувшейся голодом, репрессиями, кровью...

«Это мощная книга, – писал о романе Эм. Казакевич, – полная духовного здоровья и уверенности в правоте нашего дела, проникнута любовью к людям советской деревни. Природа Украины, южноукраинских степей изображена в ней с почти восторженной любовью».

В адрес поколения Нотэ Лурье и сегодня еще летит масса стрел. Между тем трагические заблуждения юношей и девушек, увидевших в победившей советской власти силу, способную помочь им реализовать себя в стране, где у их родителей, дедов и бабок было одно право – право на прозябание, имеют не только объяснение, но и оправдание.

И можно ли забыть, что советская власть сама очень скоро и очень жестоко разобралась почти с каждым из них, а заодно еще и с сотнями тысяч других, полных наивных юношеских иллюзий насчет быстрой и полной реконструкции общества....

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ

После пятнадцатилетнего пребывания в угрозыске на вокзале мое писательство неожиданно приносит дивиденды – меня переводят в штаб Московского Управления Транспортной Милиции. Наш генерал А.М. Евстигнеев ошибочно полагал, что его доклады могут выиграть, если их будет редактировать член Союза писателей СССР.

Итак, работа бумажная, с клеем и ножницами...

Но главное – я больше не отвечаю за показатель, именуемый *процентом раскрытия преступлений* или *раскрываемостью*. Не причастен к достижению высочайшего уровня раскрытия, о котором не может даже мечтать полиция главных европейских столиц, оснащенная новейшей техникой и первоклассными кадрами... Не чувствую висящий постоянно над головой дамоклов меч...

В Штабе все другое. Нормированный рабочий день с двумя выходными в неделю. Гарантированный обеденный перерыв. Двухчасовые занятия спортом раз в неделю на водном стадионе «Динамо»...

В один прекрасный день мне звонят из газеты «Вечерняя Москва».

– Я сотрудник редакции... – Журналистка называет себя. Голос приятно юн. – Ваш телефон мне дал писатель Аркадий Григорьевич Адамов. Мы готовим рецензию на фильм «Тайник у Красных камней», который недавно показало Центральное телевидение...

– К сожалению, я не видел...

– Жаль, но ничего...

Выясняется: рецензия готовится разгромная. У редакции одна проблема: автором ее должен быть офицер правоохранительных органов.

– Поспрашивайте среди коллег. Писать им ничего не придется. Мы сами напишем. Останется только подписать...

Тут самый момент процитировать Юрия Нагибина:

«...Фильмы о милиции (это касается КГБ тоже – Л.С.) настолько приелись своим бездарным однообразием, безмыслием, гладкими,

сытыми лицами старшего комсостава и юношески готовыми к любому подвигу (с непременным кряком какого-нибудь ветерана в спину удалыца-лейтенанта: «ах, и хорошее же мы вырастили поколение!»), что писать о милицмейском фильме почти стыдно...»

Интересуюсь у коллег. Фильм смотрели многие. Он никому не понравился, и поэтому от желающих подписать рецензию в «Вечерке» нет отбоя.

После недолгого раздумья я остановил выбор на майоре Тамаре, сидящей в соседнем кабинете, тяжелой крашенной блондинке. Она просит настойчивее, чем остальные. Кроме того, майор живет одна, с сынишкой – публикация дает ей дополнительный шанс.

Журналистка написала рецензию лихо и профессионально быстро. Буквально, на следующий день по параллельным телефонным аппаратам я и Тамара слушали текст возмущенного письма в редакцию, который зачитала нам корреспондентка «Вечерки».

– Как? – закончив чтение, поинтересовалась она.

– Абсолютно правильно... – Тамарка сделала какое-то несущественное замечание.

Тоже, мол, не лыком шиты!..

А вечером все Управление уже рвало друг у друга из рук газету с тамаркиным письмом в редакцию под рубрикой «Напрасно потраченное время». Оценка коллег была однозначной:

– Ну, ты даешь!..

На следующее утро, когда я пришел на работу, первым кого я увидел, была Тамарка. Майор сидела на скамье для посетителей в коридоре, что было совершенно неприемлемо для сотрудницы, лицо ее было заревано, под глазами растеклась тушь. Рядом стояли два незнакомца. У нас они не работали. Разговор шел резкий, то есть говорили, в основном, двое вокруг нее, а майор молчала, то и дело порываясь снова начать реветь.

– Чего там с Тамаркой? – полюбопытствовал я, зайдя к себе.

И получил ответ:

– Авторы сценария приехали...

Вообще-то полициям демократических стран, в том числе Израиля и, кстати, сегодняшней России тоже, ровным счетом наплевать, в каком виде их «солдаты правопорядка» изображаются в кино и в художественной литературе. Но в бывшем Советском Союзе этому придавалось первостепенное значение. Произведения о милиции получали специальное разрешение на публикацию. Девиз был: «Ни одного темного пятна на белоснежных одеяниях советского милиционера!»

Фильм «Тайник у Красных камней» был поставлен на студии имени Довженко в полном соответствии с требованиями ведомственной цензуры, однако, не милицмейской, а «комитетской». По линии другого – гораздо более могущественного ведомства, базирующегося на Лубянке. Я не подумал об этом вовремя.

– А кто авторы?

– Алексей Нагорный и Гелий Рябов...

Оба были людьми в кино достаточно известными. Особенно популярность обоих возросла, когда по их сценарию была поставлена

многосерийная киноэпопея «Рожденная революцией», получившая Госпремию СССР.

О том, что всемогущему министру внутренних дел Н.А. Щелокову удалось пробить в ЦК КПСС Государственную премию за фильм, который еще не был снят, узнали заранее. Для этого и понадобилось выпенное название. Уже были «Рожденные бурей», «Рожденная свободной», «Рожденная в марте», «Рожденная побеждать»...

Впервые тень октябрьского переворота осенила криминальный детектив...

Кандидатов на создание сценария победного фильма было немало – среди них все постоянные милицеские авторы – Ольга и Александр Лавровы, Братья Вайнеры, Николай Леонов, Эдуард Хруцкий. Конкурс прошел, как водится, под ковром. В нем победили А. Нагорный и Г. Рябов...

– И чего они сейчас?

– Л е ч а т Тамарку...

По одному мы потянулись в коридор, в курилку.

Тамара сидела в той же горестной позе и не обращала на коллег никакого внимания. Было ясно, что никто не в состоянии ей помочь. Кто-то Наверху позвонил генералу и распорядился пропустить двух посторонних людей в Управление и дать полную свободу действий...

Л е ч е н и е продолжалось не менее часа. Понемногу просочились кое-какие сведения... Кто-то, проходя по коридору, слышал долетевшую до него фразу. Кому-то успела что-то шепнуть сама Тамара, поднявшаяся за сигаретой...

– Дура, не знаешь, на кого пошла! Видела в титрах – «консультант фильма генерал-полковник госбезопасности Рябик»... Какая у тебя выслуга? Вылетишь без пенсии!..

К обеду майора отпустили, Тамарка сразу отпросилась с работы. Нагорный и Рябов зашли еще к генералу и тоже вскоре уехали.

Вскоре пополз слух, что Тамаре пришлось написать «собственно-ручное признание» в том, что фильм она видела не полностью, поэтому дать объективную оценку ему не может, и что заметку, написанную от ее имени корреспонденткой «Вечерней Москвы», она не читала...

Продолжение застало меня в Доме творчества в Дубултах. Позвонил московский писатель, имя которого я не раз встречал в журналах:

– Корреспондентку «Вечерней Москвы» увольняют с волчьим билетом. Если вы подтвердите, что вашего майора она ознакомила с текстом, ей разрешат уйти из газеты по собственному желанию. Только сделать это нужно как можно быстрее...

В тот же день я послал телеграмму главному редактору «Вечерней Москвы»: «журналистка зачитала текст рецензии по телефону в моем присутствии и получила согласие...»

И снова вроде все забылось.

Аукнулось только через несколько месяцев. Я вышел из кабинета и увидел своего генерала. Он шел навстречу по коридору, высокий, грузный, на голову выше всех и на эту большую умную голову толковее своих заместителей и большинства подчиненных. Он видел их насквозь и не давал спуска никому, знал дело и болел за него...

Как водится, коридор в это время был абсолютно пуст. Традиция эта пришла, видимо, из африканских зоопарков, где посетители – в клетках, а хищники расхаживают на свободе. Завидев в коридоре начальника Управления, подчиненные, наступая друг другу на пятки, мгновенно вламывались в первые попавшиеся на пути кабинеты или прятались в туалеты. Его боялись физически.

Помню, однажды уже поздно вечером жена милиционера, изгнанного за пьянство, приехала в уже пустое по-ночному Управление к генералу просить за мужа. Я дежурил по Управлению и проводил ее в приемную на второй этаж. Позади в нескольких шагах плелся незадачливый супруг. «Теперь он совсем сопьется... – повторяла она. – А у меня дети. У вас он все-таки еще держался...» В глазах у нее стояли слезы. Проводив их, я вернулся на первый этаж и видел, как через несколько минут вниз по широкой парадной лестнице особняка, в котором размещалось Управление, спустилась сначала жена, а потом почти кубарем, держась за скулу, скатился с лестницы ее муж. Лицо его было счастливо:

– Простил! Слава Богу!..

– Завтра работаешь? – спросил меня генерал, увидев в дверях. Это было в пятницу.

– Работаю...

Вообще-то у меня был выходной, но я догадался, что зачем-то нужен генералу именно в субботу. В понедельник после традиционного селекторного совещания он улетал в Берлин с делегацией МВД СССР. Возможно, ему потребовался текст приветствия немецким коллегам. Я даже быстро прикинул, кто мог бы помочь с переводом...

В субботу с утра я был на месте, но генерал вызвал меня вместе с начальником Штаба – только ближе к обеду. Разговор был недлинный. Он спросил вроде даже по-товарищески:

– Как смотришь, если тебе вернуться назад, на вокзал? Небось, надоело в кабинете штаны протирать...

Предложение застало меня врасплох. Раньше у него не было особых претензий к моей работе. Начальник Штаба, видимо, был предупрежден о том, что я ухожу, принял сообщение спокойно.

– Давай на вокзал прямо с понедельника, – сказал генерал. – Потом приедешь, сдашь дела...

Он заговорил с начальником штаба о каких-то бумагах.

Известие о возвращении на землю буквально убило меня.

Дело было вовсе не в объеме работы. Подумаешь, средней руки вокзал, отстроенный в девятисотом. Сто десять кассиров, тридцать носильщиков, семьдесят три кладовщика. Сто пятьдесят поездов в пригородном и двадцать одна пара в дальнем сообщении ежедневно. Восемьдесят семь тысяч пассажиров в день...

Главное – снова сотни укрытых заявлений о кражах вещей у пассажиров, несмотря на строжайшие – «вплоть до уголовной ответственности» – приказы министра и самого генерала обеспечить полную регистрацию и раскрываемость всех преступлений... Снова всевозможные способы обмана потерпевших, шантажа, уговоров взять заявления назад. Снова новый тип опера – не умеющего раскрывать

преступления, но освоившего технику *отшивания* заявителей... Снова игра, в которую придется играть и которую нельзя продолжать вечно. Рано или поздно непременно уличат и те же начальники и прокуроры, что требовали поднять *процент*, с видом оскорбленной добродетели обрушат на тебя свой праведный партийный гнев. Отдадут под суд, арестуют, выбросят без пенсии.

В понедельник на селекторном совещании начальников милиции Московской железной дороги генерал сообщил:

– На Павелецкий заместителем начальника розыска возвращается... – Он назвал мою фамилию. О переводе из Управления на вокзал оповещали обычно, когда человека наказывали. Я догадался, откуда дует ветер. Это был привет от генерал-полковника КГБ, консультировавшего фильм. Через несколько лет, будучи на пенсии, одной фразой подтвердил это и мой генерал.

Сегодня его уже нет в живых. Он был интересный человек, генерал Евстигнеев. Часто бывал груб – грубость насаждалась сверху и выдавалась за прямоту и принципиальность. Он, много читавший, собравший большую библиотеку, мог небрежно сказать о провинившемся офицере в его присутствии:

– Вот этот мудак виноват...

Каждый раз я ждал, что это может коснуться меня, и заранее переживал то, что должно произойти вслед за этим. Я должен был подняться и сказать:

– Вы сами мудак, товарищ генерал...

Ожидание этой неминуемой сцены мучило меня всякий раз, когда я шел к нему.

Позднее, когда мы оба были на пенсии, за столиком ресторана в Центральном Доме Литератора, он хитро посмотрел на меня, приблизил тяжелую голову:

– Я знаю, кому и что можно сказать...

Что касается других участников этой истории, незадачливая корреспондентка «Вечерней Москвы» стала известной журналисткой, Тамара вышла на пенсию. Алексей Нагорный умер в 84-м, успев еще поставить со своим соавтором фильм «Государственная граница».

Гелий Рябов жив. Получив известность как автор произведений о милиции, он неожиданно решил расплываться с ментами. В журнале «Юность» появилась его статья «Сколько лиц у милиции?» В ней автор, как дважды два, доказал, что хуже и позорнее, чем «рожденная революцией», невозможно ничего себе представить.

«Сплошь и рядом, – писал он, – граждан задерживают без законных на то оснований, врываются к ним в квартиры без санкции прокурора и производят обыск, допрашивают помногу часов без перерыва, избивают до полусмерти... а если это не помогает – пытаются надевать на голову противогаз и перекрывают воздух...»

С тех пор он о милиции не пишет и приобрел известность совсем в другой ипостаси – как участник поиска мест захоронения уничтоженных членов царской семьи...

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме» [повесть, рассказы]. – Иерусалим, Библиотека Иерусалимского журнала, 2002.

Хорошо сделанные книги хочется гладить, как доброе живое существо. Из детства это. Не умел еще читать, но старые тома за стеклом казались такими красивыми. Открывал створки и осторожно, осторожно, чтобы не оцарапать нежную кожу обложки, касался переплета пальцами.

Культ «покет-бука», карманного издания, убил саму идею книги как эстетической ценности, унизил достоинство книги как таковой, приравнял ее к гамбургеру, поглощаемому на ходу, или к пластинке жвачки, удовольствие от которой более растянуто во времени.

То, как издал свою новую работу Григорий Канович, – это не просто поступок, а поступок мужественный. Перед нами редкий экземпляр книги к р а с и в о й. Дело не только в блистательных иллюстрациях Вениамина Клецеля. Дело во всем облике книги: в макете, в шрифте, в качестве бумаги, в редакции и корректуре.

Прежде чем открываешь такую книгу, ты уже уважаешь ее. Ты ею любуешься; готов просто так перелистывать ее страницы; держать на ладонях, радуясь ее тяжести. Само качество издания, «анатомия» книги говорят тебе о том, что она не предназначена для читки на ходу, в транспорте, за обеденным столом. Книга Кановича напоминает нам о великом культе чтения: о специальном столе, настольной лампе, о необходимом досуге для того, чтобы войти в текст писателя, принять или хотя бы понять правила игры, придуманной им.

Григорий Канович – писатель редкого таланта. Он сам никуда не спешит и невольно заставляет читателя принять его «систему координат» – пешего, писательского хода.

Открыл книгу, признаюсь, с суетливым желанием сразу все понять, оценить, ограничившись беглым просмотром. Рвануть с низкого старта и пробежать в привычном стиле короткую, интеллектуальную дистанцию. Первые строчки повести наталкивали меня на это:

«Как странно, – думал я, сидя под лимонным деревом в благодатной и недолговечной тени, – минуло без малого шестьдесят лет, а до сих пор все еще кружат голову неотвязные сны о том далеком, бедственном времени, которое как бы смерзлось в лед на степных казахских просторах; только зажмурю глаза и вижу перед собой крошечный кишлак у подножия Ала-Тау; его белоснежные загадочные отроги...»

Ну, слету решил я, какое мне дело до снов праздного автора, до того кишлака из его эвакуированного, детского прошлого. Мне не до чужих снов, мне бы разобраться со своим бодрствованием.

Но проза затягивает меня всего – какой-то особой магией слова, исключительной способностью автора разглядывать мир своего прошлого в «микроскоп» изысканной образности. Читаю и ловлю себя на том, что сам простой сюжет повести потому и прост до чистоты и прозрачности, что не в нем дело, а в самой скрытой «архитектуре» текста.

Характеры героев, события – все это описано с высоким профессиональным мастерством. Но не в этих описаниях прелесть книги, а в

чем-то, будто невидимом, неосязатимом. Когда-то называл подобное «неслышимыми звуками». И в самом деле, воспоминания о прошлом полно таких звуков и «невидимых образов».

Забыв обо всем, читаю новую книгу Кановича. Неторопливо перелистываю страницы, сидя за столом, под настольной лампой. Писатель заставляет меня забыть о мертвом оке телевизора за спиной, о безумной суете машин за окном, о реве самолетов в небе....

Он уводит меня за собой в сладость своих снов. Я почему-то забываю о голоде невольных переселенцев, о жестокости человеческой, о кровавой бойне войны, навязанной людям фашизмом. Вся та боль во мне и без книги Кановича, но он зовет меня в счастливое, несмотря ни что, детство, к чистым людям и прозрачному воздуху степей.

В хороших книгах всегда можно найти слова, задающие сам ритм повествования. Есть они и в «Ликах во тьме».

«Время оплывало днями, как свеча воском». Вот в этом образе – алгоритм повести Кановича. Живая свеча, а не электричество, с мгновенной реакцией на волю человека. Свеча, чей огонек вспыхивает не от первой спички, и светит эта свеча непредсказуемо долго, и оплывает воском по только ей ведомым законам.

Никто еще не придумал, как гадать по электрической лампочке. Гадают люди по живому огню свечи. И только этим огнем освещают свои надежды.

Канович сумел простить и понять свое время, «оплывшее воском». Спешка незримо связана с раздражением, злостью, дурацкой идеей, что ты можешь отстать, остаться позади.

Григорий Канович сидит под лимонным деревом где-то в сквере города Бат-Ям, на западном берегу Средиземного моря. Его книга написана на отличном русском языке с удивительной любовью к языку своего детства – идишу, написана о Казахстане.

И в этом тоже – космизм замысла. Канович и читателя заставляет подняться на орбиту, откуда видимы и весь Земной шар целиком, и каждая зазубрина на комке серы, покрывающей головку спички.

Канович не только об эвакуации в Казахстан пишет, не малый эпизод своей жизни вспоминает. Он ни на минуту не забывает об «орбите», им выбранной.

Вот совсем уж раннее, совсем детское воспоминание о Литве: «Моя жалость дергала колокольчик – динь-динь-динь, – аптекарь Левин, словно ангел, только что спустившийся в Йонаву с облака, распахивал передо мной стеклянные двери, кланялся, впускал вовнутрь, ласково ерошил мои смоляные кудри и, бормоча «чемерица, пустырник, боярышник, омела», начинал рыться в выдвижных ящиках и на полках и доставать оттуда кулечки с диковинными травами».

Господи, подумал я, мы начинаем утрачивать радость от самого слова, способного передать хрупкость, сухость, остроту запаха. Нас, в беге, совсем перестает интересовать сущность мира нашего, который и начался со слова-приказа: «Да будет свет».

Слово формирует мир наш, мир существ Богодуховных.

Вспоминал об этом не раз, читая книгу Кановича. Вот герой его лежит, избитый до полусмерти в меже распаханной казахстанской степи.

Вот мир мальчишки, у которого нет сил подняться: «Почему, думал я, застыв, как мертвец, меня родили на свет человеком? Ведь мог же я родиться жучком или ласточкой.... Лучше бы я летал, ползал, пресмыкался, грыз прошлогодние стебли, выклевывал на обед из колосьев зернышки, и рядом со мной, через двор или на другом конце улицы, жил бы не объездчик Кайербек, а какой-нибудь степенный сурок или трепетная ящерица? Неужели злее твари, чем человек, в мире нет?»

В том кровавом предсмертном мире подросток задал себе вопрос, на который писатель Канович отвечал всю свою жизнь. И в новой книге есть этот ответ: «Нет злее твари, чем человек, но и нет на земле добрее существа, чем он».

Но не в сентенциях автора достоинство этой книги. А в удивительном умении увести за собой в счастье, покой и надежду детства. Любого, наверно, детства, когда перед нами всего лишь стопка чистой, удивительно чистой бумаги, и нам кажется, что повесть, написанная на ней временем, будет полна исполнения самых замечательных желаний.

Григорий Канович, судя по всему, так и считает с высоты прожитых им лет. Нет в его прозе раздражительности и злости, нет мстительного чувства немолодого человека, разочарованного в бытии нашем. Есть боль, воспоминание о боли, но, именно «светлой печалью» пронизаны «Лики во тьме». И еще – удивительной, еврейской силой преодоления обстоятельств, пусть даже самых чудовищных.

Канович – очень национальный писатель. Дело не в его пристрастии к идишу и любви к своим корням. Дело как раз в этой силе противостояния обстоятельствам, противостояния чужому и враждебному.

«Прислушиваясь к разноголосице в харинской хате и сжимая зубы, я клялся, что во что бы то ни стало доплыву и обязательно выберусь на берег!.. Ведь кто-то из нас должен доплыть и выиграть пари у голода, у жестокости, у смерти: если не отец на фронте, то я тут, в кишлаке, если не я, то отец – разве можно оставлять маму одну в этом чужом и несправедливом мире».

И снова никакой патетики. Просто нельзя оставлять матерей одних в этом «чужом и несправедливом мире».

Соппротивление злу по Кановичу еще и в удивительной способности памяти человека забывать о зле, не концентрироваться на нем. Вот Мухтар советует еврейскому мальчику забыть о человеке, который чуть не убил его: «Это, наверно, плохой казах. Хороший казах не угощает гостей нагайкой. Хороший казах угощает их кумысом и бешбармеком. Выкинь его из памяти! Нечего загаживать голову дерьмом. Я на фронте вон как пострадал, но, весь пулями искусанный, безногий, этих хвашистов ни за что помнить не буду.... Каждую свою овечку – да, каждого ягненка – да, а этих, гадов, – нет».

Вполне возможно, казаха этого автор придумал, но он не мог придумать удивительное качество национальной памяти. Евреи видели на протяжении всей своей истории столько несправедливости и зла, что одна лишь память об этом могла бы сделать безумным, вымирающим и более жизнелюбивый народ.

Но не забыть «хвашистов» призывает автор, а просто не жить памятью о них. Много чести. И с этим нельзя не согласиться, так как

все наши беды – явления временные и преодолимые. Психическое здоровье нации – вот величина постоянная.

Фашисты заставляли нас жить своим злом, сегодня тем же занят арабский террор. О терроре этом нет ни слова в повести Кановича, написанной в последние годы, но в этом и сила любой хорошей книги. В подобных книгах читатель находит все, что ищет.

Читаю простую, нехитрую фразу в финале повести Григория Кановича: «Мама говорит, что так и должно быть у евреев. Если они сами друг другу не помогут, то кто им тогда поможет».

На всех перекрестках истории от верности, надежности этой помощи и зависела наша судьба в прошлом, зависит сегодня и будет зависеть в будущем. «Так и должно быть у евреев».

В новой книге писателя, кроме повести «Лики во тьме», десяток превосходных рассказов. Не пишу о них, чтобы невольно не впасть в торопливость, в беглость и необязательность мысли.. В каждом из рассказов – свой мир, свои законы, своя ритмика повествования.

Попытался рассказать о «детской» повести Григория Кановича в этой красивой книге, но перечитал свои заметки и понял, что смог передать всего лишь свое впечатление о ней, как об удивительном лекарстве, способном помочь нам очнуться, остановится в беге, успокоить напряженные нервы, взглянуть в себя, и в свое время... Что там доставал старый аптекарь из ящичков? Какие удивительные, пахучие травы? Чемерица, пустырник, боярышник, омела...

Аркадий Красильщиков

Лорина ДЫМОВА. «Откровенные стихи о любви». – Иерусалим, Даатц, 2003.

Еще даже не открыв книгу, а только прочитав название, думаешь: какая любовь, какие откровенные стихи о ней могут быть в наше суровое время? Вспоминается доисторическая песня: «О любви не говори, о ней все сказано! Сердце, верное любви, молчать обязано!». Может, это не тот самый случай, но и не более легкий: все вокруг взрывается, обстреливается, наводняется, иссушается, воспламеняется, землетрясается, уносится ветром и вирусно-пневмонически атипизируется. Вялотекущий с каинских времен конец света, зародившийся в его начале, уже почти готов наступить на нас своей последней заключительной стадией, после чего ослепительно вспыхнет полная тьма, и на всем можно будет поставить жирную точку. Зачем же писать откровенные (да и прочие!) стихи о том, что никак не может притормозить наступающий суперкатаклизм?

Преодолев первое ошеломление от своего же вопроса, начинаешь вспоминать: а кому в послекаинскую эпоху, собственно, любилось очень-то уж комфортно и безопасно? Уж не Отелло ли, Суламифи, Самсону, Ленскому и Ромео с Джульеттой, горячая любовь которых не смогла их спасти даже от смерти? Да и другим, которым повезло больше, всем этим Русланам, Пьеро, Дон Кихотам, Онегиным и Тать-

янам – не принесла ли любовь им таких нерешаемых проблем, что мы до сих пор на них учимся? Даже на проблемах прародителей человечества Адама и Евы (хотя, помнится, они и жили до Каина).

Нет, видно, любовь, про которую когда-то Чехов, а до него апостол Павел, сказали, что «тайна сия велика есть» – действительно совершенно непредсказуема и способна прорасти на самой каменистой почве, а препятствий ей на этом свете не существует! И, наверное, правильно декларирует сквозную идею книги ее автор, говоря: «Без любви на этом свете обойтись нельзя!». Что правда, то правда!

Ну, а если нельзя, то давайте посмотрим: какие откровения заготовила нам в пятидесяти стихотворениях, составляющих новую книгу, Лорина Дымова.

С самого начала хочется поблагодарить ее за то, что в первом разделе, «Назовем вещи своими именами», она, чтобы избежать путаницы, почти каждое стихотворение (тридцать два из тридцати трех) назвала своим именем: стихотворение. Прибавив, правда, к каждому названию свой эпитет, что внесло некоторое разнообразие в оглавление. Зато теперь читателю никак не может придти в голову мысль о том, что он читает что-нибудь другое, а не стихотворения!

Читатель книги легко заметит, что каждое стихотворение посвящено своему виду любви. Из пятидесяти (!) видов больше половины повествуют о любви мужчины к женщине, а также наоборот. Но и другие виды любви не обойдены вниманием, представлены достойно, умно, остроумно и со знанием как стихотворного, так и любовного дела.

Трудно, а может, и невозможно назвать разновидность любви, о которой не сказано в откровенных стихах. Кроме любви человека к человеку в книге фигурируют и любовь человека к родине («только с родиной бессонно сердце бьется в унисон»), и к компромиссам, и любовь к коньяку в Ницце в противоположность неприязни к тюремным горбушкам...

Гастрономическая тема раскрыта настолько же откровенно, насколько и подробно. Здесь вы найдете и горячую любовь к холодным салатам оливье, и к холоду, и восхваления пельменям и звездному нектару, которым питаются поэты, и любовь к гречке, гороху, голубцам, и теплую привязанность к помидорам (при прохладном отношении к огурцам), и временную любовь к рису, сменившуюся, правда, потом ненавистью к этому полезному безобидному продукту..

Немного настораживает в книге любовь автора к разгульной жизни, а также неадекватное отношение к такому человеческому качеству, как скромность, которая, как известно, украшает человека: «Потому что в притоне настоящая жизнь» и «Скромность – жуткая помеха в достижении успеха». Такая концепция, высказанная столь привлекательно и афористично, вполне может немного пошатнуть и даже подрастлить сознание молодого еще несформировавшегося читателя!

Найти причину, по которой последние слова рецензии изображены курсивом, читатель может, внимательно прочитав всю книгу, чего я ему от всей души и желаю.

Павел Хмара

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас». – Иерусалим, «Скопус», Библиотека Иерусалимского журнала, 2002.

В 1991 году, незадолго до отъезда в Израиль, случай привёл меня на занятия по иудаизму в ешиве, одной из первых открывшихся в Москве. Молоденький преподаватель, почти мальчик, сам ещё совсем недавно учившийся в Иерусалиме, со страстью рассказывал своим великовозрастным слушателям о великих еврейских мудрецах прошлого. Почему-то более всего поразили меня процитированные им слова одного из них: «Всегда плывите против течения!»

В перерыве я подошёл к нему и спросил, как согласовать с этой мыслью тот факт, что мы, как и многие тысячи «русских» евреев, плывём сейчас по течению – уезжаем в Израиль. Он ответил: «Сейчас вы спасаете свои жизни; это по еврейским законам превыше всего. А вот когда приедете – всё равно плывите против течения!»

Я вспомнил этот, давний уже, эпизод, прочитав новую книгу стихов Зинаиды Палвановой. Не знаю, знакома ли поэтесса с философской формулой древнего цадика, но стихи её, сложившиеся в сборник со знаковым названием «Счастье без прикрас», убедили меня: она плывёт против течения.

Зинаида Палванова давно уже идёт в поэзии по своей дороге, а коль скоро жизненная дорога привела в Израиль, то в стихах эти две дороги не могли не слиться. Сама поэтесса в авторском предисловии сказала очень точно: «Спросят меня: ну как ты там, довольна ли, не жалеешь ли, что уехала? Что ответить? Любой однозначный ответ будет звучать... однозначно».

А стихи Палвановой почти всегда неоднозначны, потому что вмещают в себя многообразие действительности с её бытом и взлётами, радостями и бедами, трагичностью и юмором. И обо всём этом рассказывается негромким голосом и с доверительной, даже исповедальной интонацией, так соответствующими реальному мироощущению, реальному голосу и реальной интонации этой обаятельной женщины, дружба с которой уже много лет согревает мою душу. Не хочу скрывать того факта, что пишу совершенно субъективно и не претендую на то, чтобы поверять алгеброй гармонию. Просто я слышу и чувствую замечательную гармонию в поэзии Зинаиды Палвановой – и о том пишу. Сборник можно открыть на любой странице – и с первых прочитанных строк узнать автора. А свой голос, своя интонация – единственно самоценное и редкое качество в поэзии. Как сказал некогда Иосиф Бродский, «подлинный поэт всегда выбирает между репутацией и правдой. Если его интересует больше репутация, он может стать “новатором” или, наоборот, “архаистом”. Если его больше занимает правда – он стремится говорить своим собственным голосом».

Но почему же всё-таки «против течения»? Прежде всего, по содержательной сути стихов. Вся книга Палвановой – о маловероятном: о счастливой встрече двух одиноких людей, о поздней любви и обрётённом наконец счастье своего дома, наполненного редким в наши дни взаимопониманием; а то, что это всё случилось в Израиле, не переполняет стихи восторгом, а только сопровождается тихим вздо-

хом благодарности Иерусалиму, Святой земле, Всевышнему... (вслушайтесь, как негромко и неброско сказано: «несомненным участием с небес повеяло»). Оттого пейзажи в стихах – не ошеломляющие, а соразмерные взгляду; о трудностях жизни в новой стране говорится иронично («Синевою небосвод / с птицею поделится. / А неустройство подождёт, / никуда не денется.»); а любовная лирика – лучшие, на мой взгляд, стихи сборника – чиста и прозрачна.

И глупая женщина,
напоминающая мужу на ночь
о долгах, о проблемах,
подходит к нему и трётся
седеющей головой
о поникшие сильные плечи.
Потому что долги долгами,
а нежность нежностью.

Любовные стихи, когда они продиктованы истинным чувством, в комментариях не нуждаются, но я всё же рискну обратить внимание читателя на эти потрясающие «*поникшие сильные плечи*». Вот уж воистину, мы диалектику учили не по Гегелю...

Теперь о форме. И тут поэтесса не плывёт по течению. Бóльшая часть стихотворений книги – верлибры. У неё и «обычные» стихи частенько достаточно свободны по форме – то ритм слегка ломается, то по ходу меняется строфа, то белый стих как бы невзначай превращается в рифмованный. Мне представляется, что это традиция Бориса Слуцкого, но изящно трансформированная на женский лад:

Хотела достать из сумки стихи,
а достала счета.
То ли сумка не та,
то ли жизнь совершенно не та.

Как и у Слуцкого, стержнем стихотворения у Палвановой служит точно найденная разговорная интонация. Когда я говорю «точно найденная», я, конечно, имею в виду не уподобление стихов прозе, а такое звучание стиха, которое достигнуто прицельным выбором слов и их сочетаний. А это даётся, говоря словами самой поэтессы, «*стихотворением, стихотвореньем свободным*» (здесь, понятно, *стихотворенье* – не объект, а процесс):

Склонясь над белым светом,
Создатель наш таинственный
Живописует жизнями
И судьбами, как виршами,
Безудержно вершит.

При таких внутренних переключках рифма становится и вправду необязательной – вот вам и шаг к стиху, свободному от всех «обязательных» категорий.

Лучшие верлибры Палвановой неординарны по мысли и совершенны интонационно. Хочу выделить особо «Похороны на холме Саула» и «Старые вещи». Не могу позволить себе длинное цитирова-

ние, хотя делить эти тексты на фрагменты просто невозможно, но пусть об их выразительности скажут два небольших отрывка. Вот финал первого стихотворения:

Нечаянно
подняла я голову.
С кладбищенского холма
открывается вид на жизнь –
без меня, без нас.
Потрясающий вид.

А вот одна лишь строфа из второго, в котором автор обращается к старьёвщику-арабу, идущему по иерусалимской улице:

Есть такая старая вещь –
мир она называется. Хочешь?
Правда, есть и война –
ой, какая старая вещь!

Книжка Зинаиды Палвановой и оформлена соответственно её поэтической сути. Любительские фотографии: улицы, дворики с развешенным бельём, пустыри и даже домашние кошки. Это ли не вызов апологетам высокого искусства? Нет, никакой не вызов. Это снова верность себе, своему чувству и своему мироощущению. Это действительно счастье без прикрас, заявленное в названии книги.

Что же касается самого понятия «счастье», такого вроде бы понятного и такого ускользающего при попытке определения, то поэсса дала нам в сборнике два взгляда на него. Это очень разные взгляды – но ведь и жизнь всё время разная. Важно, что это очень честные взгляды:

Утром в Иерусалиме,
в переулке вертикальном –
счастьем, словно откровеньем,
озарённое лицо.

Никогда я не узнаю
о прямой причине счастья
утром в Иерусалиме.
И не важно, и не важно.
Есть оно – об этом весть.

Это – фиксация счастья другого человека, незнакомого. Но для такой дружеской фиксации должно быть внутреннее созвучие.

А вот о счастье собственном – мудро, просто, очень точно, очень доверительно:

Как относиться к собственному счастью?
Нет опыта, сноровки нет. Попробуй
смириться. Отрабатывай подённо.
Даст Бог, и перед счастьем устоишь.

И здесь – против течения...

Наум Басовский

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии». – Иерусалим, Библиотека Иерусалимского журнала, 2002.

Когда я читаю книгу стихов, то всегда стараюсь найти стихотворение или строфу, особенно близко меня задевающую, вплоть до – «ах, зачем это не я написал!». (Георгий Иванов считал именно это признаком настоящей поэзии.) Потом эти строки уже служат камертоном, ключом к другим стихам.

В книге Самуила Шварцбанда я нашел это почти сразу:

Тихие сумерки. Воздух рассеян.
Дышат прохладою камни уже.
Вот и звезда, повернувшись на север,
Стала желтей на небесном верже.

От этих строк веет каким-то точным созерцанием, нет – просто взглядом, равным вниманием окидывающим и вселенную, и то, что за углом. А что за углом?

За поворотом – улочка Схолия,
а за руинами – новый сюжет.

Такая улочка наверно действительно есть где-то в Риме, ведь поэт очень точен в топографических приметах. Но вообще-то слово «схолия» означает комментарий, и, разумеется, не случайно книга названа «Схолии», т.е. комментарии. Так в античности философы называли свои беседы, так в средневековой Европе ученые монахи поясняли священные тексты. Комментарии Шварцбанда – это пояснения, беглые, но точные заметки на полях: и времени, и места.

Чужие судьбы, вписанные в свитки,
Как молнии, над памятью моей...

В этой памяти есть многое: и чужие судьбы, и своя, и все стороны света.

Есть две чужбины – Запад и Восток.
Теперь я понял, почему лениво
Вода морская в Хайфе на песок
Выносит тину Рижского залива.

Заметки на полях объединяют в единый, хоть и прерывистый, текст многое: и Латвию, где поэт вырос, и Израиль, где он живет сейчас и где

...опять прозрачная луна
покрыта пылью северо-востока.

И где он чувствует себя настолько дома, что запросто обращается со временем:

За углом от Бен-Иегуды
Я прокручивал часами
То, что, видимо, не будет
Повторяться больше с нами.

Но есть и еще один дом, и это – Европа, прежде всего – Рим. В Риме поэт тоже как дома, не заблудится на его улицах.

...А я и не знал, что от Рима глупеют,
Точнее, от счастья кружить и кружить
За виллой Боргезе по виа Помпеи
И думать, и думать, что стоило жить.

Это Рим впервые, это восторг и кружение по улицам и почти узнавание этих мест, этой жизни и этого времени. Но то, что привязывает к Вечному городу, это еще впереди, это еще будет записано на полях после долгих дней и месяцев, проведенных в Риме.

Я Рим люблю не столько за красу
цветущих крыш или заросших зданий,
я Рим люблю за то, что на весу,
как на ладони, держит мирозданье.

В этом мире всё рядом: и рижский Старый Город, и Рим, и Греция, и, конечно, Иерусалим. Невольно вспоминаются средневековые карты, где Иерусалим – в центре мира, а по краям, не так уж и далеко, располагаются части света, и все мироздание обозримо. Помните у Пастернака: «И через дорогу за тын перейти / Нельзя, не топча мирозданья».

Мир Самуила Шварцбанда – это мир вещественных примет, замечток на полях, и время и место поэту важнее, чем вечность, о которой он может сказать насмешливо и почти пренебрежительно:

Внизу Кинерет, как скрипичный профиль,
Пиликает волной в полночный час.
Свари-ка, друг, по-бедуински кофе,
А вечность обойдется и без нас.

А то и так:

Прощай, мой Рим! И весел будь, и светел
На все четыре стороны! Клянусь,
Не оглянусь на этом белом свете,
Да и на том, клянусь, не оглянусь.

Первые разделы сборника – «Черепки» и «Летаргия» – это избранное из двух предыдущих книг. А затем разделы, озаглавленные «алеф», «бет», «гимел», «далет». И там стихи о Иерусалиме, Земле Израиля, Риме, Италии, Греции... Мне такое деление кажется не случайным. Весь мир – в еврейском алфавите, и все стороны света и жизни поэта – как текст, разный и единый одновременно. На полях этого текста и разбросаны там и тут заметки, комментарии поэта, который везде дома и все же несколько чужой, как поэту и быть положено.

...и я среди непрошенных гостей,
а, может быть, свидетелей случайных
оживших встреч и выдуманных лиц...

Владимир Френкель

Леонид СОРОКА «Галилейский круг». – Иерусалим – Нью-Йорк – Санкт-Петербург, «Академический проект», 2002

*Перебираешь четки-словеса,
Не подавая виду, когда тяжко.
А где-то там костлявая бумажку
Уже достала – сверить адреса.*

Итак, круг. То есть, замкнутое пространство: из какой бы точки ты не вышел, в каком бы направлении не пустился, все едино вернешься в исходную точку. И каждая отдельная точка круга расплескивает вокруг себя пространство жизни, пространство памяти, из которого поэт не может, да и не хочет выбираться. Память для него как форма переживания – и бывшего, и длящегося.

В зеркале для заднего обзора
Мы теперь рассматриваем жизнь.

Отношения поэта с памятью не линейны. Они бывают противоречивыми, даже запутанными, что создает подчас незавершенную и потому интригующую драматическую коллизию:

И как быка тряпицей красной,
Не надо прошлое дразнить.

Предполагаю, что в данном случае инстинкт самосохранения опередил и чувство, и мысль, и даже самоощущение поэта, ибо такое «рассматривание» прошлого – исключение в его системе ценностей. Но при всей многовекторности отношений поэта с памятью, они всегда и прежде всего честны той негромкой, не для других честностью.

По-волчьи про себя повою
И про себя же помолчу.
Скажу спасибо папе, маме.
Их просветленными глазами
Я душу темную лечу.

Органическое и даже обыденное как будто «про себя же помолчу», попадая в пересечение лучей «просветленных глаз» умерших родителей, трансформируется в метафору, раздвигающую не только «отточенные пики» родительской могилы, но и рамки всего стихотворения. И «темной душе» автора, тоже опущенной в *это целебное пятно света*, доверяешь больше, чем иным велеречивым душам.

Следует, по-моему, призадержаться на уже цитированном стихотворении «Слева хорошо, а справа плохо», вслушаться в «вершинное» (А. Блок) для него слово «рассматриваем». Неторопливо, вдумчиво, внимательно и сторожко, не без опаски и не всегда охотно – вот в какой контекст уводит глагол *р а с с м а т р и в а е м*. А стоящие рядом «мы теперь» не без иронии уточняют человеческий возраст, напоминают: а по-другому – «теперь» уже не получится. А эти два «с» в слове тоже *р а б о т а ю т*. Попробуйте их проглотить. Не получится. Они стоят перед ударным слогом и произнести их без остановки невозможно. И эта остановка помогает понять: не пустое

любопытство движет автором. И еще одна немаловажная деталь: прошлое автор рассматривает, глядя вперед. А появившееся в последней строчке, «вершинное» слово приподнимает все стихотворение: гармонизирует его звучание, организует словосмыслы.

Появление такого слова - в с п ы ш к и чаще всего в финале характерно для поэтики Сороки. Правда, в этом потоке света заметнее становится неточное слово или художественно не осуществленная декларация, скорее напоминающая декор, чем естественное и необходимое желание самоопределиться, «*продекларировать себя*». Помните: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» – это р а з р е ш е н и е и для всех остальных, думаю. Но не каждому оно по плечу...

Досадно, что риторика и нарочитый пафос соседствуют с чистым тонко и поэтически точно реализованным словом:

И весело вспомнив о чем-то,
Чему и названия нет,
В старухе смеется девчонка
Неполных семнадцати лет.

Это все стихотворение. В нем нет ни одного тропа. Но это истинная поэзия, потому что в единственно возможной (для этого стихотворения) точке пересеклось видимое и незримое, явное и загадочное, а слово совпало с мыслью и чувством, само став тайной, т.е. поэзией. Попробуйте убрать или заменить одно только *в е р ш и н н о е* слово «неполных» и тайна исчезнет.

Масштаб взаимоотношения слова поэта с жизнью, с миром сужен. Мне кажется осознанно сужен. В стихе Сороки почти нет неба и природы как объекта внутреннего переживания, отсутствуют *верх и низ* как средство постижения метафизического в реальном, да и тематически поэт о п у с к а е т свое слово в коллизии бытовых сюжетов. Что это: проявление слабости? Боязнь попадания в места о б щ е г о п о л ь з о в а н и я? Скудость мысли и приземленность чувств? Не то и не другое. Все проще и – это главное – честней. Поэт полностью зависим от живущего в нем обостренного чувства «своего» и «не своего». Чувства, на мой взгляд, очень необходимого для пишущего. Чувства, без которого внутренняя свобода – единственный продуктивный гумус для произрастания и с т и н н о г о – быстро мутнеет, мертвоет, перерождается в свою противоположность, способную продуцировать только с л о в а, о которых Гумилев сказал: «Как дурно пахнут мертвые слова».

Л. Сорока счастливо избежал засилья мертвых слов как раз благодаря активно живущему в нем чувству с в о е г о. Стихотворение «В деревне», к слову, оказавшееся как бы на обочине книги: нехарактерное, естественно выпадающее, но так же естественно необходимое, чтобы подчеркнуть – это н е м о ж е.

Поэт по случаю попадает в деревенский дом, где он «ежевечерне видел тьму», заставившую его и самого «темнить непонарошку», где «календарь – единственное чтиво» и где (вот оно!) «ужас вдруг одолевал: представь себе судьбу такую!» Поэт ужаснулся, разглядев лишь поверхность неведомого ему быта, иного мира. Любопытно, что

дальше и глубже он и не стремится заглянуть и, думаю, не потому, что лишен здорового любопытства, а потому, что точно и остро почувствовал: это не мое, во мне нет живого слова для э т о г о мира.

«Киевский блаженный», «В Кармизле», «Холодный град Ерусалим», «Вилково»... В обжитых судьбой пространствах слово, живущее в поэте, находит отзвучие, соизмеримость чувству и мысли. Здесь зрение выхватывает то, что другой не увидит: «Изумрудное чудо Растрелли» или «А мужьям дунайская селедочка \ строит глазки, душу веселя», а слух уловит такую малую долю тона, что душу зашемит: «Тень жизни, пролетевшей над плечом, \ прозрачные и тающие руки». Услышать, увидеть, почувствовать такое возможно только живя в с в о е м духовном пространстве, «перехватить с чужого поля» такое нельзя.

И э т о с в о е, когда поэт безошибочно его улавливает, приносит удачи, находя с в о ю точную интонацию, выстраивая *свои* лексические ряды, в которых соседство просторечия и более высокого штиля создает характерный аромат, делает голос поэта узнаваемым.

Я не хочу сказать, что Сорока – поэт города. Нет. Но город, его стесненное камнем пространство, его коллизии и проблемы, его отражение в человеке – едва ли не основная среда обитания слова поэта.

Но и город живет в поэте в отмеренном своим мировиденьем и словом пространстве. Это, как правило, заповедные уголки мегаполиса. Потому-то, наверно, взгляд и сердце поэта быстро прикипают к «неприметным городкам», к их малому масштабу, чем-то, как я понимаю, напоминающие заповедные места родного Киева. А стихотворение «В Кармизле», одно из лучших, на мой взгляд, в книге, – серьезное тому свидетельство

Не стану ссылаться на дефицит журнальной площади, потому что сказал почти все, что хотел. Не сомневаюсь, что будут и другие варианты прочтения. И это предположение основано на личном ощущении: через некоторое время после того, как первый раз прочел книгу, я почувствовал, что мне хочется еще раз встретиться со многими стихами. Захотелось еще раз услышать, как поэт высвистывает на свирели свою незатейливую песенку для тех, кто хочет его услышать, мало заботясь, кажется, о других ушах и душах, привыкших к звукам пионерского горна, труб и барабанов. Высвистывает не пасторали, а нечто такое, что требует и сердца, и ума, чтобы услышать. Высвистывает, четко осознавая, что «...это неудобно / Быть всегда самим собою, / Раздражать глаза и уши / Окружающих людей».

И совсем коротко об иллюстрациях: художник Михаил Глейзер, по-моему, полноправный соавтор поэта.

Такие удачи случаются редко.

Юрий Каминский.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2001 году¹

Вестник Еврейского университета. № 19-22, 23(5), 24(6). – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 432 с., 392 с., 424 с. Тел. 972-2-6242527.

Зильбербод А. Краткая энциклопедия лекарственных растений Израиля. – Герцлия: Исрадон. – 288 с. Тел. 972-9-9584201.

Мани Рафи. Что ты сделал для страны? – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 208 с. Тел. 972-2-6242527.

Торик Игорь. Энциклопедический путеводитель по Израилю. [350 фотографий, рисунков и схем]. – Герцлия: Исрадон. – 560 с. Тел. 972-9-9584201.

Фалькович Игаль. Грамматика иврита. [Правила, таблицы, примеры]. – Герцлия: Исрадон. – 304 с. Тел. 972-9-9584201.

Фалькович Игаль. Таблицы глаголов с примерами. [Русский–Иврит. Иврит–Русский. Словарь глаголов с транскрипцией]. – Герцлия: Исрадон. – 480 с. Тел. 972-9-9584201.

Фалькович Игаль. Домашний адвокат. [Израильское законодательство. Вопросы и ответы]. – Герцлия: Исрадон. – 416 с. Тел. 972-9-9584201.

Шавинер И., Шавинер М. Современные лекарственные препараты. [Практическое руководство]. – Герцлия: Исрадон. – 916 с. Тел. 972-9-9584201.

Шехтер Давид. Рядом с премьер-министрами. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 352 с. Тел. 972-2-6242527.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2002 году²

Александров Вильям. Время потерь – время надежд. [Трилогия]. – Иерусалим: ЛИРА. – 476 с. Тел. 972-2-6412690.

Гончарок Моше. Очерки по истории еврейского анархизма. – Иерусалим: ЛИРА. – 224 с., илл. Тел. 972-2-6412690.

Горенштейн Владимир. Сто две ступени. [Сб. стихов]. – Илл. Беллы Гродинской. – Иерусалим: ЛИРА. – 200 с. Тел. 972-2-6412690.

Евилевич Реувен. Кому светят звезды? – Иерусалим: ЛИРА. – 268 с., илл. Тел. 972-2-6412690.

История еврейского народа. [Ред. Ш. Эттингер]. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 688 с. Тел. 972-2-6242527.

Знаковская Любовь. Поступь Береники. [Сб. стихов]. – Илл. В. Шкоды. – Иерусалим: ЛИРА. – 128 с. Тел. 972-2-6412690.

Кандель Феликс. Книга времён и событий. Том I, II. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 872 с. Тел. 972-2-6242527.

¹ Начало списка см. в № 9–13 «Иерусалимского журнала». Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1–3 «Иерусалимского журнала»; в 1999 году – №№ 4–8; в 2000 году – №№ 7–12.

² Начало списка см. в № 12. Продолжение списка – в следующем номере.

Кандель Феликс. Книга времён и событий. Том III. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 488 с. Тел. 972-2-6242527.

Кацис Леонид. Осип Мандельштам: мускус иудейства. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 600 с. Тел. 972-2-6242527.

Левинсон Израиль. А что такое любовь? – Иерусалим: ЛИРА. – 64 с., илл. Тел. 972-2-6412690.

Мирон Дан. Ивритская поэзия от Бялика до наших дней. – Москва–Иерусалим: Гешарим. – 208 с. Тел. 972-2-6242527.

Плоды Святой земли лечат. Сост. Елена Косоновская. – Иерусалим: ЛИРА. – 160 с., илл. Тел. 972-2-6412690.

Резницкий Юрий. Как живешь, старина? – Иерусалим: ЛИРА. – 72 с. Тел. 972-2-6412690.

Стоянова Елена. Особенности национальных продуктов Израиля. – Герцлия: Исрадон. – 207 с. Тел. 972-9-9584201.

Торик Игорь. Италия и Сан-Марино глазами израильтянина. [Первая книга серии путеводителей, написанных русскоязычным израильским гидом для русскоязычных израильских туристов]. – Герцлия: Исрадон. – 320 с. Тел. 972-9-9584201.

Фалькович Игаль Иврит в кармане. [Словарь. Русский-Иврит. Иврит-Русский. С русской транскрипцией. 5000 слов]. – Герцлия: Исрадон. – 416 с. Тел. 972-9-9584201.

Халупович Вадим. Поколение пустыни. [Сборник стихов]. – Илл. Аси Векслер. – Иерусалим: ЛИРА. – 128 с. Тел. 972-2-6412690.

Ханан Владимир. Аура факта. [Сборник рассказов]. Иерусалим–Санкт-Петербург: Сыч, 2002. – 72 с. Тел. 972-2-6793507.

Ханан Владимир. Неопределенный артикль. [Из записной книжки]. Иерусалим: ЛИРА, 2002. – 216 с. Тел. 972-2-6793507.

Штереншис Михаил. Многоликий иудаизм. [Первая популярная книга на русском языке, описывающая различные направления и течения в иудаизме]. – Герцлия: Исрадон. – 272 с. Тел. 972-9-9584201.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

**Издатели и авторы, желающие опубликовать
в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах,
могут прислать эти сведения в редакцию.**

Леонид АГРАНОВИЧ родился в Орловской губернии в 1915 году. Начиная с актерства в передвижном театре, театре В. Мейерхольда, театре Сатиры, в провинции, во фронтовом театре. Преподавал во ВГИКе, на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Автор нескольких пьес, в т. ч. «В окнах горит свет» (1949), «Летчики» (1954), «Чертова речка» (1957), и более десяти киносценариев. Кинофильмы по сценариям Л. А.: «Человек родился», «Обвиняются в убийстве» (отмечены премиями), «Человек, который сомневается», «Свой», «Им покоряется небо», «Случай из следственной практики», «Срок давности». Повести «Мейерхольд», «Воркута», «Якир», «Процесс», «Открытая бездна» – о непоставленных картинах, о том, как они сочинялись и гробились на кухне советского кино. Книга о них и о Времени называется «Неосуществленное». В планах автора – увидеть её изданной и, может быть, написать еще одну книгу, о том же – про ушедший век, про людей, которые не заслуживают забвения.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатриировался в 1992 году. Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Козлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля. Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» опубликованы: подборка стихов «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4), эссе «Три аквариума» (№ 6), рецензия на книгу Юрия Колкера и заметки о переложении Экклезиаста (№ 7), переложения из книги Исайи (№ 8) и из книги Псалмов (№ 12).

В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов Н. Б. «Полнозвучие».

Татьяна БЕК родилась и живет в Москве. Окончила МГУ. Автор нескольких сборников стихов (первый, «Скворешники», вышел в 1974 году) и многочисленных статей о современной русской поэзии. Составитель и комментатор книги «Антология акмеизма» (1997), сотрудник журнала «Вопросы литературы».

В «ИЖ» № 11 опубликована ее беседа с Дмитрием Сухаревым.

Илья БЕРКОВИЧ родился 1960 году в Ленинграде. Репатриировался в 1990 году. Автор книги «Стихотворения» (1990). Живет в Кирьят-Арбе. Его рассказы публиковались в «ИЖ» № 5.

Борис БОРУХОВ родился в 1957 году в Саратове. Доктор филологии. Автор статей по поэтике, стилистике, эстетике, философии. Переводил стихи Рильке, Гессе, Валери.

Репатриировался в 1995 году. С иврита переводил произведения Ханоха Левина, Давида Гроссмана, Амоса Кенана и др.

Живет в Иерусалиме. Работает в области компьютерной техники. В «ИЖ» № 11 опубликованы переводы Б. Б. из Ханоха Левина и эссе о нем «Аппендицит без наркоза»; в № 12 – из Этгара Керета и Авнера Ротенберга.

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор семи поэтических книг для детей и сборников стихов «Моление о памяти» (1995) и «Репортаж из Эдема» (1998). Лауреат литературной премии им. Б. Горбатова (1983). Живет в Холоне.

Подборка стихов «Пока душа не сменит оболочку» опубликована в «ИЖ» № 5. В 2002 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов **М. В.** «Третья попытка».

Хаим ВЕНГЕР родился в 1932 году в Ленинграде. Окончил Холодильный институт. Работал патентоведом, внештатно сотрудничал с прессой. Репатриировался в 1980. В Израиле работает как профессиональный журналист. Автор пяти книг прозы и трех поэтических сборников. Живет в Иерусалиме.

Ася ВЕКСЛЕР родилась в Глазове. С детства жила в Ленинграде. Окончила Институт им. Репина по специальности «Книжная графика». Автор книг стихов «Чистые краски» (1972), «Поле зрения» (1980), «Зеркальная галерея» (1989), «Под знаком стрельца» (1997). Репатриировалась в 1992 году. Живет в Иерусалиме.

Еудит ГЕНДЕЛЬ родилась в Варшаве в семье раввина, в 1930 году маленькой девочкой переехала с родителями в Хайфу. Первую книгу выпустила в 1950 году. Автор нескольких романов и сборников рассказов, в т. ч. «Они – другие люди», «Двор великого Момо», «Другая сила», «Мелочь», «Гора заблудших». Произведения **Е. Г.** послужили основой кинофильмов, театральных спектаклей и радиопостановок. Ее проза переведена на английский, итальянский, китайский, хинди и др. языки. Лауреат премии Иерусалима, премии Бялика, Государственной премии Израиля по литературе (2003). Живет в Тель-Авиве.

Инна ГЕРШОВА-СЛУЦКАЯ родилась в 1956 году в Черновцах. С 1967 года жила в Ленинграде. Репатриировалась в 1990 году. Иллюстрировала книги: «Давид Гофштейн. Избранные стихотворения, письма. Фейга Гофштейн. С любовью и болью о Давиде Гофштейне», Иерусалим, 1997; «Из еврейской поэзии XX века. В переводах Валерия Слуцкого», Иерусалим, 2001. Избранные работы (графика, живопись) представлены в альбоме: «Inna Gershova-Slutskaia. Drawings, paintings», Jerusalem, 2002. Живет в поселении Кдумим.

Моше ГИМЕЙН родился в 1949 году в Казани. Закончил театрально-постановочный факультет Художественного училища им. Фешина. С 1978 по 1979 гг. главный художник Камерного еврейского музыкального театра (Москва). Во время пребывания в отъезде подвергся принудлению в психбольнице (1980). Работал помощником кочегара, рабочим сцены, зав. постановочной частью в театре «Шалом». Репатриировался в 1989 году. Персональные

выставки в Москве и в Иерусалиме. Живет в Мевасерет-Ционе. В «ИЖ» № 5 опубликованы рисунки М. Г. и эссе «Из автобиографии».

Юрий КАМИНСКИЙ родился в 1942 году в кишлаке Кассан (Узбекистан). По образованию филолог. Жил в России, Белоруссии и на Украине. Автор четырех книг прозы и семи сборников стихов, последний – «Мгновенья света и свирели» (2001).

Репатриировался в 1998 году. Живет в Бат-Яме.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Длящийся свет» (№ 13) и рецензия на книгу Рэны (№ 11).

Имре КЕРТЕС родился в 1929 году в Будапеште. В 1944–45 гг. – узник Освенцима и Бухенвальда. После выхода из концлагеря закончил школу, до 1950 года сотрудничал в прессе, затем работал на заводе. С 1953 года зарабатывал на жизнь переводами Фрейда и Ницше и писал своё. Роман И. К. «Обездоленность» вышел в свет в 1975 году. Другой известный роман – «Кадиш по нерожденному ребенку» (1990). На многие языки переведены также повести «Английский флаг» и «Следопыт», книги «Холокост как культура», «Когда расстрельный отряд перезаряжает винтовки» и «Язык в ссылке». В последнее время живет в Германии. Лауреат Нобелевской премии по литературе (2002).

Юлий КИМ родился в 1936 году в Москве. Автор около пятисот песен, трех десятков пьес и десяти книг. Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000).

С 1998 года живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы заметки Ю. К. о Венечке Ерофееве (№ 7), циклы стихов и песен «Из иерусалимской тетради» (№ 1), «Я всё время шёл к тебе» (№ 6), «Любовь на все лады» (№ 11) и повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием, куда вошли стихи, проза и пьесы, издана в 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Закончил ВГИК, автор и режиссер 20 художественных и документальных фильмов. Репатриировался в 1996 году. Автор книг «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999) и «Рассказы в дорогу» (2000). Живет в Холоне.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Добрые люди Вениамина Клецеля» (№ 11) и «Текст и линия» (№ 13).

Феликс КРИВИН родился в Мариуполе (1928). Детство провел в Одессе. Окончил пединститут в Киеве. Плавал моряком по Дунаю, преподавал в школе русский язык и литературу, логику и психологию, работал корректором и редактором. С 1955 года жил в Ужгороде. Автор сорока книг. Лауреат литературной премии имени В. Короленко. Репатриировался в 1998 году.

Живет в Безр-Шеве. В «ИЖ» опубликованы проза Ф. К. «Сказки из жизни» (№ 3) и «Парк» (№ 8).

Любовь ЛАТТ родилась в Ленинграде. Окончила искусствоведческое отделение истфака ЛГУ. Более тридцати пяти лет проработала в Эрмитаже – экскурсоводом, лектором, старшим научным сотрудником. Репатриировалась в 1988 году.

Работы Л. Л. о российских и западноевропейских скульптурах публиковались в сборниках научных трудов Эрмитажа и литературной периодике, выходили отдельными изданиями.

Живет в Иерусалиме.

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград–Иерусалим» (1997).

Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса».

В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), повесть «Проект» (№ 6) и эссе «И вот я увидел» (№ 11).

Эли ЛЮКСЕМБУРГ родился в 1940 году в Бухаресте. Жил в Молдавии, на Украине и в Средней Азии. Окончил Ташкентский ирригационный техникум, Институт физкультуры; учился на филфаке университета. Репатриировался в 1972 году.

Автор книг прозы «Третий Храм» (1975), «Прогулка в Раму» (1978), «Десятый голод» (1985), «Созвездие Мордехая» (1988), «Волчонок Итро» (1998). Лауреат литературных премий Рафаэли, Сапира и Союза русскоязычных писателей Израиля. Его произведения переводились на иврит, английский и французский языки. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 3 опубликован рассказ Э. Л. «Ворота с калиткой»

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Репатриировался в 1972 году. Автор более двух десятков книг; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» опубликованы его рассказы «Конец света» (№ 6), «Гуревич» (№ 8), «Золотая башня» (№ 11), «Зюня» (№ 12).

Шимон МАРКИШ родился в 1931 году в Баку. Работает в области классической филологии, художественного перевода, истории культуры, литературной критики. Последние 30 лет занимается историей еврейской словесности на русском языке. Книги последнего десятилетия: «Три примера: Бабель – Эренбург – Гроссман» (1994, на иврите); «Бабель и другие» (1997, 2-е издание); «Сумерки в полдень: очерк истории греческой культуры в эпоху Пелопоннесской войны» (1999, 2-е издание). Живет в Женеве. В «ИЖ» опубликованы его заметка памяти Авраама Белова (№ 5), очерк о Григории Богрове «Третий отец-основатель или «К чужим кострам» (№ 6) и перевод романа Кароя Папа «Азарел» (№№ 11, 12).

Ицхокас МЕРАС родился в 1932 году в Литве. Окончил Каунасский политехнический институт. Пишет на литовском. Репатриировался в 1972 году. Автор повести «Желтый лоскут» (1960); книг прозы «Земля всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж–Рим–Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения И. М. изданы на двадцати языках. Лауреат литературных премий разных стран. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса. Живет в Холоне, почетный гражданин этого города. В «ИЖ» № 12 опубликован рассказ «Старуха с зеленым ведром».

Леонид СЛОВИН родился в 1930 году в Черкассах. С самого раннего детства жил в Москве. Закончил юрфак МГУ. Работал адвокатом, затем – более двадцати лет в угрозыске Костромы и Московской транспортной милиции. Наиболее известные произведения – «Дополнительный прибывает на второй путь», «На темной стороне Луны», «След черной рыбы» (два последних в соавторстве с Георгием Вайнером), по которым созданы одноименные телесериалы. Лауреат литературной премии РСФСР им. Николая Кузнецова. Репатриировался в 1994 году. Живет в Иерусалиме. Советник президента охранно-сыскной ассоциации «Лайнс» (Москва).

Валерий СЛУЦКИЙ родился в 1954 году в Даугавпилсе. Жил в Ленинграде. Закончил ЛГПИ им. Герцена. Участник сборника «Круг» (Ленинград, 1985). В 1988–90 г.г. заведовал отделом поэзии журнала «ВЕК» («Вестник еврейской культуры»). Репатриировался в 1990 году. Автор книг стихов: «Стихотворения 1970–1977» (2002), «Omnia» (1993), «Новый век» (2002), а также сборника переводов «Из еврейской поэзии XX века» (2001). Живет в поселении Кдумим. Работает учителем. Подборка новых стихов В. С. опубликована в «ИЖ» № 13.

Дмитрий СУХАРЕВ (САХАРОВ) родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000) и российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001). В «ИЖ» опубликованы эссе «Последний день Юрия Визбора», «Формула сплава», «Переделкинские посиделки» (№№ 3, 11, 13), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7), беседа с Татьяной Бек «Другой имеет право быть другим» (№ 11). В 2001 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга новых стихов и песен Д. С. «Холмы».

Алекс ТАРН родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991). Живет в поселении Бейт-Арье, в Самарии. Техник по счетным машинам.

Александр ФАЙНБЕРГ родился (1939) и живет в Ташкенте. Окончил Топографический техникум и журфак Ташкентского государственного университета. Автор двенадцати книг стихов. По его сценариям поставлены четыре кинокартины и более двадцати мультфильмов. Перевел на русский стихи многих узбекских поэтов.

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов А. Ф. «Блаженны, кто себя не потерял» (№ 5) и его поэма «Изабелла» (№ 8).

Владимир ФРЕНКЕЛЬ родился в 1944 году в Горьком, с 1946 года жил в Риге, в 1985-86 годах – политзаключенный. Автор четырех книг стихов. Репатриировался в 1987 году. Живет в Бейт-Шемеше. В «ИЖ» (№№ 2, 3, 4, 5) опубликованы его рецензии на книги израильских авторов и подборка стихов «Размышления в пустом кафе» (№ 4).

Жуза ХЕТЕНИ родилась и живет в Будапеште. Перевела на венгерский прозу Бабеля, Булгакова, Замятина и других российских писателей. Автор монографий о Бабеле (1992) и русско-еврейской литературе (2000); один из авторов и редакторов-составителей двухтомной «Истории русской литературы» (1997, 2002). Составила и перевела на венгерский язык антологию русско-еврейской литературы. Профессор Будапештского университета. В «ИЖ» опубликован ее биографический очерк о Карое Папе (№ 11) и статья «Делать все, как они» (№ 12).

Павел ХМАРА (Хмара-Миронов) родился в 1929 году, в день рождения Бетховена, в связи с чем, поскольку два гения в один день не рождаются, вынужден был, для сохранения надежды, не считать гением любимого композитора. 27 лет в армии (училище, летчик-истребитель, Академия им. Жуковского, военный инженер), 27 лет – в журналистике (полтора года в «Крокодиле», 25 с половиной – в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты»). В «ИЖ» опубликована его рецензия на книгу Л. Дымовой (№ 6) и подборка стихов «Если мы только не все обалдели» (№ 8).

Велвл ЧЕРНИН родился в 1958 году в Москве. Закончил истфак МГУ и Высшие литературные курсы. Репатриировался в 1990 году. Преполагает еврейскую литературу в университете им. Бар-Илана, где защитил докторскую диссертацию. Автор трех книг стихов на идише. Лауреат литературной премии им. Давида Гофштейна. Живет в поселении Кфар-Эльдад.

В «ИЖ» № 12 опубликована рецензия В. Ч. на книгу Валерия Слуцкого «Новый век».

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Вышэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатриировалась в 1989 году. Сотрудничает с израильской и зарубежной русскоязычной прессой. Живет в Ашдоде.

СОДЕРЖАНИЕ

СИОНСКИЕ ВОРОТА

ФЕЛИКС КРИВИН. Из новой книги	3
-------------------------------------	---

ДОРОГА НА ХЕВРОН

ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. Свобода. <i>Повесть</i>	17
--	----

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

АСЯ ВЕКСЛЕР. Ближний свет. <i>Стихи</i>	47
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН. Штука сложная и неправильная. <i>Рассказы</i> ..	54
ЮЛИЙ КИМ. Тема любви. <i>Стихи</i>	78
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Приношения сыновей Ктуры	
<i>Глава из новой книги</i>	87

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

МАРК ВЕЙЦМАН. Цветок эвкалипта. <i>Стихи</i>	105
ЕУДИТ ГЕНДЕЛЬ. Рассказ без адреса.	
<i>Перевел с иврита Борис Борухов</i>	112
ИЦХОКАС МЕРАС. Оазис. <i>Рассказ</i>	
<i>Авторизованный перевод с литовского Софии Шегель</i>	119
НАУМ БАСОВСКИЙ. Длющийся свет. <i>Стихи</i>	123

ВЕНГЕРСКИЙ КВАРТАЛ

ИМРЕ КЕРТЕС. Обездоленность. <i>Роман (часть первая)</i>	
<i>Перевод с венгерского Шимона Маркиша и Жужи Хетени</i>	131

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Яхта на ветру. <i>Стихи</i>	187
---	-----

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. Все свои. <i>Венок сонетов</i>	194
---	-----

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ. Текст и линия	235
ИННА ГЕРШОВА-СЛУЦКАЯ. Графика и камни	245

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

СКАЗКИ ЕВРЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

<i>Перевод с идиша и предисловие Велела Чернина</i>	253
ДАВИД МАРКИШ. Русская рулетка Олеши	265
ТАТЬЯНА БЕК. Центральный защитник	269
АЛЕКС ТАРН. Сумерки идеологий	278

ХОЛМ ПАМЯТИ

ЛЮБОВЬ ЛАТТ, МОШЕ ГИМЕЙН. Его назначение было – художник	290
МОРДЕХАЙ ЛИПКИН. Рисунки	292
ЛЕОНИД АГРАНОВИЧ. В те разнообразные годы... ..	296
ХАИМ ВЕНГЕР. В журнале «Родина»	308
ЛЕОНИД СЛОВИН. Писательское нагорье	316

НОВЫЕ ВОРОТА

Наум БАСОВСКИЙ, Юрий КАМИНСКИЙ, Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ, Владимир ФРЕНКЕЛЬ, Павел ХМАРА о книгах Лорины ДЫМОВОЙ, Григория КАНОВИЧА, Зинаиды ПАЛВАНОВОЙ, Леонида СОРОКИ, Самуила ШВАРЦБАНДА	325
--	-----

ШАТЕР КНИГИ

Издания 2001–2002 годов	338
-------------------------------	-----

ИМЕНА

Авторы и персонажи	340
--------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ «ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
сердечно поздравляет с семидесятилетием
любимого писателя, нашего автора –
Феликса КРИВИНА

РЕДКОЛЛЕГИЯ «ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
сердечно поздравляет с семидесятилетием
любимого барда, нашего автора –
Александра ГОРОДНИЦКОГО

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя
Jerusalem Anthologia
по адресу:

Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Игоря Грызлова (Москва),
Александра Дова (Петах-Тиква), Лорину Дымову (Иерусалим),
Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям),
Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Аркадия Красильщикова (Холон),
Вадима Левина (Марбург), Якова Лившица (Иерусалим),
Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим),
Марину Меламед (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Иегуда),
Ренату Муху (Беэр-Шева), Алекса Резникова (Иерусалим),
Дмитрия Сухарева (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго),
Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Ехизля Фишзона (Нокдим),
Владимира Фромера (Иерусалим), Наума Шаца (Иерусалим),
Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала

*Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью*

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2002 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки»

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Илья БОКШТЕЙН. «Говорит звезда с луной»

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики предпоследние»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики из Атлантиды»

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»

Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний»

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ

Новая книга стихов Владимира ДРУКА

Новая книга Феликса КРИВИНА

Новая книга Алекса РЕЗНИКОВА

Новая книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ

Новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра АДОНИНА, Анатолия БАРАТЫНСКОГО, Лиоры БАРШТЕЙН, Николая БЕЗЗУБОВА, Леи ЗАРЕМБО, Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА, Бориса КАРАВАНОВА, Бориса КАРАФЕЛОВА, Бориса КИНКУЛЬКИНА, Вениамина КЛЕЦЕЛЯ, Григория КОЭЛЕТА, Эммануила ЛИПКИНДА, Ителлы МАСТБАУМ, Михаила МОРГЕНШТЕРНА, Бориса ЛЕКАРЯ, Зелия СМЕХОВА, Сергея ТЕРЯЕВА, Юлии СЕГАЛЬ, Якова ФЕЛЬДМАНА, Давида ХАНАНА, Юлии ШУЛЬМАН, Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ, Михаила ЯХИЛЕВИЧА и других мастеров искусства

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 13-14, 2003

ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velv Chernin, **Yuly Kim**, **Shimon Markish**, **Zinaida Palvanova**,
Dina Rubina, **Svetlana Schoenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Web Designer – **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors – **Binah Smekhova**, **Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support – **Olga Aksyutina**, **Boris Bronshtein**,
Daniel Burshtein, **Michael Byalsky**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**,
Svetlana Moiber, **Anton Mukhin**, **Ilan Riss**, **Lina Vilensky**

SCOPUS Publishing House

Print: **TSUR OT**

With the support of Absorption Ministry; Education and Culture Ministry;

Center for the Absorption of Outstanding Immigrant Artists;

Culture Department of Jerusalem City Council

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2002. All rights reserved

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-6716184

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; rmasis1@home.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@wanadoo.fr

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

In ISRAEL:

Lyuba Seryogina – *Afula*, 972-6-6492095

Olga Kravchenko – *Arad*, 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – *Ariel*, 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – *Herzliya*, 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – *Kfar Saba*, 972-9-7673293

Michael Basin – *Khaifa*, 972-4-8213657

Michael Gil – *Lod*, 972-8-9201291

Mark Pavis – *Rekhovot*, 972-8-9353758

CONTENTS

ZION GATE

FELIX KRIVIN. From a New Book

HEBRON ROAD

ILIYA BERKOVICH. Freedom. *Novelette*

LION GATE

ASYA VEKSLER. Dimmed Headlight. *Poems*

LEONID LEVINSON. A Complicated and Faulty Thing. *Short Stories*

YULI KIM. The Love Theme. *Poems*

ELY LYUKSEMBURG. The Sacrifice of Ktura Sons.

A Chapter from a New Book

JAFFA GATE

MARK WAITSMAN. An Eucalyptus Flower. *Poems*

YEHUDIT GENDEL. A Story Without an Address

ITSCHOKAS MERAS. An Oasis. *Short Story*

Translated from Lithuanian by Sofia Shegel

NACHUM BASSOVSKY. A Lasting Light. *Poems*

HUNGARIAN QUARTER

KERTESZ IMRE. Faithlessness. *Novel, Part I*

Translated from Hungarian by Zsuzsa Hetenyi and Shimon Markish

BUKHARA QUARTER

ALEXANDER FEINBERG. A Yacht in the Wind. *Poems*

RUSSIAN COMPOUND

DMITRY SUKHAREV. Everybody's at home. *A Sonnet Sequence*

BETZALEL STREET

VALERY SLUTSKY. Text and Line

INNA GERSHOVA-SLUTSKAYA. Graphics and Stones

MOUNT SCOPUS

JEWISH MEDIEVAL TALES.

Translation from Yiddish and Foreword by Velvl Chernin

DAVID MARKISH. Olesha's Russian Roulette

TATIANA BEK. The Central Stopper

ALEX TARN. Twilight of Ideologies

MEMORY HILL

LYUBOV LATT, MOSHE GIMEIN. His Destiny Was to Be an Artist

MORDECHAI LIPKIN. Drawings

LEONID AGRANOVICH. Those Variegated Years

CHAIM VENGER. In *Motherland Magazine*

LEONID SLOVIN. The Writers' Upland

NEW GATE

Reviews by Nachum BASSOVSKY, Yuri KAMINSKY,

Arkady KRASILSHCHIKOV, Vladimir FRENKEL, Pavel KHMARA

of books by Lorina DYMOVA, Gregory KANOVICH,

Zinaida PALVANOV, Leonid SOROKA, Samuel SCHWARZBAND

SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Year 2001-2002

NAMES

Authors and Characters

תוכן העניינים:

שער ציון

פליקס קריבין. מתוך ספר חדש

דרך חברון

איליה ברקוביץ'. חרות - סיפור

שער האריות

אסיה ווקסלר. בסביבה הקרובה - שירים

לאוניד לווינזון. משהו מורכב ומוטעה - סיפורים

יולי קים. נושא של אהבה - שירים

אלי ליוקסמבורג. דורות של בני קטורה - פרק מספר חדש

שער יפו

מרק וויצמן. פרח האקליפטוס - שירים

יהודית הנדל. סיפור ללא כתובת (מעברית - בוריס בורוכוב)

יצחקס מרס. נווה - סיפור (מליטאית - סופיה שגל)

נחום בסובסקי. האור הנמשך - שירים

בתי הונגריין

אימרה קרטס. בלי גורל. רומן. (חלק ראשון)

(מהונגרית - זיוזיה חטני ושמעון מרקיש)

שכונת הבוכרים

אלכסנדר פיינברג. יכטה ברוח - שירים

מגרש הרוסים

דמיטרי סוחרב. כליל סונטות

רחוב בצלאל

וולרי סלוצקי. טקסט וקו

אינה גרשובה-סלוצקאיה. גרפיקה ואבנים

הר הצופים

אגדות יהודיות מימי-ביניים

(מבוא ותרגום מידיש של וולול טשרנין)

דוד מרקיש. הרולטה הרוסית של אולשה

טטיאנה בק. המגן המרכזי

אלכס טארן. דמדומים של אידיאולוגיות

הר הזיכרון

ליובוב לאט, משה הימין. ייעודו היה להיות צייר

מרדכי ליפקין. רישומים

לאוניד אגרנוביץ'. בשנים הססגוניות ההן

חיים וונגר. בכתב עת "מולדת"

לאוניד סלובין. רמות הסופרים

השער החדש

נחום בסובסקי, יורי קמינסקי, ארקדי קרסילשיקוב, וולדימיר פרנקל,

פאוול חמארה. על הספרים מאת: לוריה דימובה, גריגורי קנוביץ',

זינאידה פלבנובה, לאוניד סורוקה, שמואל שוורצבנד

היכל הספר

פרסומי 2001-2002

שמות

יוצרים ודמויות

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

**אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"**

מערכת:

**איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
רומן טימנצ'יק, יולי קיס, שמעון מרקיש,
זינאידה פלבנובה, וולוד טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר - לאוניד לוינזון
ציירת - סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט - קרינה פסטרנק
עריכה והגהה - בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית - אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס בורשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,
סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס**

הוצאה לאור: "סקופוס" הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



**המרכז לקליטת אמנים עולים
משרד לקליטת העלייה,
משרד התרבות והספורט**



**עיריית ירושלים
אגף התרבות,
הרשות העירונית לקליטת עלייה
והספריה הרוסית העירונית בירושלים**

© 2003 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

**כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 055-766722, 02-6451288, 054-745322, 02-6720025
E-mail: review@antho.net**

